1Ф
П38

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Г.В.ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ТОМ

XXII

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

РФ87.31ф 3Р9 335 П-38

ИНСТИТУТ К. МАРКСА и Ф. ЭНГЕЛЬСА

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

БИБЛИОТЕКА НАУЧНОГО СОЦИАЛИЗМА
ПОД ОБЩЕЙ РЕДАКЦИЕЙ Д. РЯЗАНОВА

Г. В. ПЛЕХАНОВ

СОЧИНЕНИЯ

ЧИТ. ЗАЛ

ТОМ XXII

Комсомольск н/А им. Н. А. Островского книгохранение

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Д. РЯЗАНОВА

Центр Гор Библиотека им Н. А. Островского г. Комсомольск

ПРОВЕРЕНО-69

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1925 ЛЕНИНГРАД

Содержание

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ (КНИГА ТРЕТЬЯ)

Часть III. Движение русской общественной мысли после Петровской реформы

(Продолжение)

Стр.

Гл. VII. Западная общественная мысль в XVIII веке и ее влияние на Россию. 5
Д. И. Фон-Визин 73

Гл. VIII. Движение общественной мысли под влиянием взаимной борьбы различных общественных элементов.—Комиссия об Уложении 94

Гл. IX. Вопрос об отношении России к Западу во второй половине XVIII века. 140

Гл. X. Вопрос о самодержавии. — Братья Панины, Щербатов, Княжнин, Кречетов 199

Гл. XI. Реакция против освободительной философии XVIII века на Западе и в России 242

Гл. XII. Деятельность Н. И. Новикова 288

Гл. XIII. А. Н. Радищев. 333

Приложения. 357

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

КНИГА ТРЕТЬЯ

ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ В РОССИИ.

Часть III

ДВИЖЕНИЕ РУССКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ ПОСЛЕ ПЕТРОВСКОЙ РЕФОРМЫ

(продолжение)

Глава VII

Западная общественная мысль в XVIII веке и ее влияние на Россию

I

Винский говорил в своих «Записках», что «французы одни гораздо более способствовали нашему научению, нежели совокупно вся Европа». Это вполне справедливо, по крайней мере, в применении к нашей передовой общественной мысли XVIII столетия. Французскому влиянию она обязана гораздо больше, нежели влиянию всей остальной Европы. Впрочем, вся остальная Европа тоже находилась тогда под сильнейшим влиянием Франции [1]). Поэтому нам нужно несколько ближе ознакомиться со стремлениями, взглядами и вкусами передовых французов того времени.

Уже не раз, мимоходом упоминая о французских просветителях, я говорил, что они были идеологами третьего сословия в его борьбе с духовной и светской аристократией. Но третье сословие не было однородным по своему социальному составу. К нему принадлежали как те общественные элементы, из которых сложилась потом *буржуазия*, так и те, из которых образовался *пролетариат*. В недрах третьего сословия уже тогда существовали и мало-по-малу развивались экономические противоречия, определившие собою ход общественной жизни и мысли в следующем столетии. Весьма естественно ожидать, что противоречия эти, хотя сравнительно мало развитые в то время, не остались без влияния на все — и, конечно, прежде всего на экономические и политические, — взгляды французских просветителей. Так оно и было на самом деле.

---

[1]) Итальянец Беккария говорил, что он «всем обязан французским книгам». Корсиканцы просили Руссо написать для них конституцию, о том просили его поляки и т. д.

Франция XVIII века внесла крупный вклад в экономическую науку. Маркс недаром так высоко ставил французских физиократов. Но физиократы смотрели на капиталистические отношения производства, как на такие, которые определяются самой природой. Капиталистический порядок был в их глазах «естественным и существенным порядком» цивилизованных обществ (ordre naturel et essentiel des sociétés politiques). Они учили, что только *земледельческим* трудом создается в этих обществах *чистый доход*. Но этот чистый доход есть не что иное, как *прибавочная стоимость*. Вопрос о том, какой именно род труда создает эту стоимость, и был для них основным вопросом всей политической экономии. И они много занимались им. Маркс сказал, что физиократам принадлежит заслуга «анализа капитала в пределах буржуазного кругозора» [1]).

Капиталистический порядок характеризуется тем, что средства производства принадлежат не работнику, который обладает только своей рабочей силой и потому вынужден продавать ее на рынке, а предпринимателю, покупающему эту силу и заставляющему работника употреблять ее в дело. Предприниматели и работники составляют два главнейших класса развитого капиталистического общества. Рядом с ними стоит еще класс землевладельцев, который местами сам выступает в предпринимательской роли. Вот такое-то общество, состоящее из землевладельцев, предпринимателей и наемных рабочих, и было, по учению физиократов, *естественным* порядком. Родоначальник их школы, Ф. Кенэ, доказывал, что Франция выиграла бы очень много, если бы в ней установился такой порядок. Правда, считая земледельческий труд единственным родом труда, способным создавать «чистый доход», он рекомендовал капиталистические отношения производства преимущественно, — чтобы не сказать: исключительно, — в области земледелия. Но это — частность, отнюдь не отнимающая у физиократии ее характера буржуазной идеологии [2]).

---

[1]) *К. Маркс,* Теории прибавочной стоимости, выпуск I, перевод П. Стрельского под редакцией и с предисловием Г. Плеханова, стр. 35.

[2]) Ф. Кенэ принадлежит положение: «бедны крестьяне — бедно королевство, бедно королевство — беден король». Это положение очень напоминает замечание нашего Посошкова о том, что «крестьянское богатство — богатство царственное». А так как Посошков писал раньше, нежели Кенэ, то у нас, вслед за М. П. Погодиным, стали говорить, что Посошков предупредил открытия величайших западных экономистов. Я подробно разобрал это мнение во второй книге (глава III). Теперь прибавлю, что Посошкову и в голову не приходило отстаивать тот экономический порядок, проповедником которого выступил Кенэ. Согласно взгляду этого послед-

Если от экономистов мы перейдем к писателям, носившим тогда общее название *философов* [1]), то увидим, что те видели в *капиталистических* отношениях *естественные* отношения производства. Так, Вольтер, остроумно осмеявший физиократическое требование единого налога в своем «L'homme aux quarante écus», с полным убеждением говорил в своем «Dictionnaire philosophique»:

«Человеческий род, такой, каков он есть, не может существовать без того, чтобы не было множества полезных людей, не имеющих ровно ничего (une infinité d'hommes utiles, qui ne possèdent rien du tout), ибо зажиточный человек, наверно, не покинет своей земли для того, чтобы обработать вашу, и если вам нужна пара башмаков, то шить ее не станет лицо, более или менее высокопоставленное [2]). Таким образом, равенство есть нечто наиболее естественное и в то же время наиболее химерическое».

Другими словами: нет ничего естественнее *равенства прав* и нет ничего более несбыточного, как требование *экономического равенства*. Это был взгляд, общий всем французским просветителям. Буржуазный порядок, исключающий экономическое равенство, был до такой степени à l'ordre du jour, что даже те писатели, которые в *теории* предпочитали коммунистический строй, находили его совершенно невозможным при данных условиях [3]).

него, *крестьянское богатство* предполагает наличность *богатых фермеров*, у которых крестьяне работают по найму. Это ясно высказано и подробно обосновано в статьях Кенэ: «Les fermiers» и «Les grains». В первой из них он пишет: «Чем богаче земледельцы, тем больше увеличивают они производительность земли и могущество наций. Бедный же фермер может обрабатывать землю только в ущерб государству» («Encyclopédie», t. XIV, p. 49 швейцарского издания). Во второй—он оговаривается: «Под богатым фермером мы понимаем не работника, лично обрабатывающего свою землю; это—предприниматель, руководящий предприятием и поддерживающий его посредством своего ума и своего богатства». («Encyclopédie», XVI, p. 447.) Стало быть, вышеприведенное подожение Кенэ может быть формулировано следующим образом: *король беден там, где бедно королевство; королевство бедно там, где бедны крестьяне, а крестьяне бедны там, где они являются самостоятельными хозяевами*. Ясно, что Посошков не говорил и не мог сказать ничего подобного.

[1]) Впрочем, физиократов тоже называли философами: «les philosophes économistes».

[2]) Вольтер говорит: «un maître de requêtes».

[3]) В защиту «приятной идеи общности имуществ» Мабли написал целую книгу против физиократов. Но и он заявлял, что зло частной собственности слишком вкоренилось теперь и что оно неустранимо. (См. его «Doutes proposés aux philosophes économistes sur l'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques». A la Haye

С этой стороны разница между тогдашними передовыми писателями разных оттенков сводилась собственно к тому, что одни считали экономическое неравенство не только неизбежным, но и выгодным, а потому старались обнаружить преимущества, проистекавшие из него для народного хозяйства, — Кенэ и его ученики, — другие же мирились с ним, как с необходимым злом, и, выставляя его вредные последствия, старались придумать меры, способные смягчить их. К числу этих последних принадлежали, например, Гольбах и Гельвеций [1]).

Убеждение в невозможности экономического равенства перешло от просветителей к деятелям великой революции. За самыми немногими исключениями (Бабёф и его единомышленники), даже самые крайние революционеры отвергали экономическое равенство, как неосуществимую и вредную для их дела утопию.

Больше того. Убеждение просветителей XVIII столетия в невозможности экономического равенства унаследовано было от них *социалистами-утопистами XIX века,* которые, *в противоположность коммунистам,* тоже стремились *не устранить, а только смягчить это неравенство.*

II

Естественный порядок вещей господствует всюду, где он не был нарушен теми или другими исключительными обстоятельствами. Вольтер полагал, что даже в «диких» обществах существуют те же экономические отношения, которые были, по его твердому убеждению, необходимы в цивилизованных странах. «Кем созданы ваши законы?—спра-

---

1768, p. 15 et 24). Так же думал и Руссо, несмотря на то, что все отрицательные стороны жизни цивилизованных обществ приурочивались им к исчезновению первобытного равенства между людьми.

[1]) У Гольбаха мы встречаем мысль, подробно развитую впоследствии Сен-Симоном: он говорил, что правительства, как и все справедливые частные люди, должны постоянно иметь в виду благо возможно большего числа жителей и не жертвовать им ради какого-нибудь отдельного класса («Système social» etc. Londres, 1673, t. 3, p. 74). Гельвеций утверждал, что для счастья людей необходимо «diminuer les richesses des uns, augmenter celles des autres» (уменьшить богатство одних и увеличить богатство других) См. его Oeuvres complètes, парижское издание 1818 г., т. II, стр, 430—431. Подробнее о Гольбахе и Гельвеции см. в моем сочинении «Beiträge zur Geschichte des Materialismus.—Holbach, Helvetius, Marx». Stuttgart 1895. [Сочинения, т. VIII.] Здесь прибавлю еще, что, когда Гольбах и Гельвеций хотели пояснить свою мысль о вреде имущественного неравенства, они никогда не заимствовали своих примеров из области *капиталистических* отношений. Это характерно для склада понятий в головах передовых французов того времени.

шивают дикаря в одном из его произведений. — Общественным интересом, — отвечает дикарь. Я хочу этим сказать, что те, у которых были кокосовые орехи и маис, запретили посторонним накладывать на них руку, а те, которые их не имели, должны были работать, чтобы получить право с'есть некоторую часть их. Все, виденное мною в нашей и в вашей странах, показывает, что другого *духа законов* и не бывает» (намек на «Esprit des lois» Монтескье).

Естественный «дух законов» должен определять собою не только *гражданское,* но и *политическое* право. Вольтер пришел бы в большое изумление, если бы ему сказали, что «его» фернейские крестьяне и даже его слуги должны пользоваться такими же политическими правами, как он, просвещенный фернейский помещик, и другие люди «хорошего общества» (de bonne compagnie).

В своей «Энциклопедии» Дидро высказался в пользу представительного правления. Однако и он признавал избирательное право только за имущими. «C'est la propriété qui fait le citoyen, — писал он; — tout homme qui possède dans l'état, est intéressé au bien de l'état» (гражданином делает собственность; всякий, у кого в государстве есть имущество, заинтересован в государственном благе). Так как в тогдашнем государстве существовали некоторые сословия, обладавшие известными политическими привилегиями, то Дидро нашел нужным пояснить, что привилегии эти не должны распространяться на право представительства: «Каково бы ни было то положение, в которое ставят человека известные условные отношения, право быть представленным приобретается им, как собственником» [1]). Это значит, что *политические* права должны определяться *классовым* положением человека, а не принадлежностью его к тому или другому *сословию.* Между тем Дидро был одним из крайних между просветителями [2]).

Известно, что впоследствии французское учредительное собрание признало избирательные права только за «активными гражданами», удовлетворявшими известным цензовым требованиям. И это показывает, что большинство депутатов, входивших в его состав, разделяло взгляд на собственность, как на источник избирательного права.

Выступая идеологами третьего сословия, французские просветители отстаивали интересы *имущих* его элементов там, где им противоречили интересы *неимущих.* Их идейная освободительная борьба была

[1]) «Encyclopédie» t. 28, p. 366.

[2]) Руссо иначе смотрел на эти вопросы. Но его взгляды в очень многом расходились со взглядами просветителей.

борьбой «в пределах буржуазного кругозора». Это неоспоримо. Но было бы крайне ошибочно предполагать, будто они всегда и всюду сознательно стремились отстаивать эгоистический интерес буржуазии.

Маркс очень хорошо замечает в сочинении о «18-м брюмере Луи Бонапарта»: «Не следует думать, что все демократы (буржуазные — *Г. П.*) — лавочники или поклонники лавочников. По своему образованию и индивидуальному положению они могут быть далеки от лавочников, как небо от земли. Их делает представителями мелкой буржуазии то, что их мысль не выходит за пределы жизненной обстановки мелкой буржуазии, что они поэтому теоретически приходят к тем же задачам и решениям, к которым мелкий буржуа приходит практически, благодаря своим материальным интересам и своему общественному положению».

К этому Маркс прибавляет: «Таково всегда общее отношение между политическими и литературными представителями класса и представляемым классом». Именно таково было и отношение между французскими просветителями, с одной стороны, и буржуазией,—крупной и мелкой,— с другой. Реформаторские стремления просветителей не выходили за пределы буржуазных производственных отношений и соответствующей этим отношениям общественной обстановки. Но противоречия, свойственные буржуазному способу производства, тогда еще слабо обнаруживались, а потому и соответствующая им общественная обстановка должна была представляться в виде несравненно более привлекательном, чем ее нынешний вид. Скажу больше. *Когда просветители отстаивали права собственников, они имели в виду не эксплоататоров, а эксплоатируемых.*

Вот пример. Руссо говорит в «Эмиле», что идея *собственности* должна быть внушена ребенку даже раньше идеи *свободы*. На этом основании Но прочтите со вниманием относящееся сюда место второй книги «Эмиля», — и вы увидите полную неосновательность подобного обвине- «Эмиля», — и вы увидите полную несновательность подобного обвинения. Каким образом следует внушать ребенку идею собственности? По мнению Руссо, надо выяснить ему, что *предметы составляют собственность тех, кто произвел их своим трудом*. Это, как видите, вовсе не капиталистическое понятие о собственности. В развитом капиталистическом обществе *собственность* есть, по меткому выражению Лассаля, *чужесть* (Eigenthum ist Fremdenthum), так как доход богатого создается *не его собственным,* а *чужим трудом,* трудом наемных рабочих. Но в том обществе, в котором капиталистические отношения производства еще не стали господствующими, главным основанием собственности служит

труд собственника. И потому ее с убеждением и жаром защищают люди, дорожащие интересами трудящейся массы. Однако трудящаяся масса может быть эксплоатируема не только посредством найма. В эпохи, предшествующие капиталистической, она нередко находится в известной *юридической* зависимости от господствующего сословия, которому она отдает бóльшую или меньшую часть продуктов своего труда. При таком положении дел понятие «собственник» может иметь двоякий смысл. «Собственник», это — *или тот,* кому принадлежит право обложения производителя известною данью, *или же тот,* кто обязан уплачивать эту дань, т.-е. производитель. Когда начинает клониться к упадку общественный порядок, основанный на таких отношениях, тогда идеологи *господствующего* сословия понимают под собственниками *получателей дани,* а идеологи сословия *подчиненного — тех, которые уплачивают ее.* И когда идеологи этого последнего сословия защищают права собственности, они отстаивают интерес эксплоатируемых, а не эксплоататоров. Именно так и было с идеологами третьего сословия во Франции XVIII столетия, где капиталистические отношения еще не сделались господствующими и где в то же время продолжали существовать некоторые старые, *феодальные,* формы эксплоатации производителей [1]).

Понятие эксплоатации само изменяется в зависимости от изменения способов производства. В другом месте я показал, что еще французские социалисты-утописты знали только два вида дохода, основанного на эксплоатации чужого труда: поземельную ренту и процент на капитал, между тем как доход предпринимателя представлял собою, по их мнению, один из видов вознаграждения трудящихся. Это необходимо помнить, чтобы понять образ мыслей, по крайней мере, левого крыла французских просветителей.

Я указал на Руссо, который в очень многом расходился с просветителями. Но в данном случае взгляд Руссо был совершенно сходен с их взглядом [2]). На Руссо я предпочел сослаться единственно потому, что его пример показался мне самым наглядным.

Спора нет, когда люди защищают интересы эксплоатируемых, не выходя, — в данном случае надо сказать: не имея об'ективной, а потому и суб'ективной, психологической, возможности выйти, — за пределы буржуазного кругозора, они неизбежно попадают в противоречия.

[1]) Этим об'ясняется психологическая возможность того благородного энтузиазма, каким пропитаны их сочинения.

[2]) Ср. хотя бы седьмую главу десятого отдела «De l'Homme» *Гельвеция.*

Попадали в них и французские просветители, особенно те, которые принадлежали к числу умеренных. Так, когда скептический Вольтер,—который вел такую жестокую войну с католицизмом, — заговаривал о загробном возмездии за грехи, совершаемые нами при жизни, то это плохо вязалось с его собственным философским понятием о душе и нужно было ему главным образом для назидания трудящейся массы. Если он постоянно и решительно отвергал материализм, то делал это не только потому, что не умел отделаться от старого спиритуалистического взгляда на материю, но также и потому, что ему внушали страх опасные, с точки зрения общественного спокойствия, последствия (les conséquences dangereuses) материалистической проповеди [1]). Да и его неуменье понять несостоятельность спиритуалистического взгляда обусловливалось тем же самым, но только *не сознанным,* страхом. То, что представлялось ему *полезным* с точки зрения буржуазного общества, было для него важнее *истинного* в теоретическом смысле. Его возможно, пожалуй, назвать предшественником нынешних прагматистов. Но между ним и этими прагматистами есть, к его большой выгоде, огромная разница.

В эпоху Вольтера буржуазный строй не только не был отживающим, но, напротив, приобретал все бо́льшую и бо́льшую жизненную силу, все шире и шире развертывал те свои стороны, *которые выгодны были для всей массы населения.* А пока данный общественно-политический строй не пережил этой фазы своего развития, до тех пор его радостно приветствуют, — как справедливо заметил Энгельс в своей полемике с Дюрингом, — даже те, которым суждено остаться в нем обездоленными. И если, выступая в роли идеолога этого нового порядка, иной писатель иногда руководствуется соображениями *пользы* больше, нежели требованиями *теоретической истины*, то в конце концов это не мешает ему служить прогрессу, так как польза, которую он имеет в виду, является в последнем счете *общественной* пользой. А современные нам прагматисты, живя в такую эпоху, когда буржуазный способ производства отживает свое время и сам готовится стать «старым порядком», уже не могли бы сослаться на это смягчающее обстоятельство, огромную важность которого должен признать всякий исследователь, возвысившийся до научного понимания истории общественной мысли.

---

[1]) Подробнее об этом см. у *Ж. Пелиссье,* Voltaire philosophe. Paris 1908, p. 173—175.

III

Гегель назвал эпоху французской просветительной философии величественным восходом солнца (ein herrlicher Sonnenaufgang). Этим своим характером она обязана была тому, что звала перед судилище разума все старые верования, предания и учреждения. И хотя, произнося над ними свои приговоры, разум не выходил за пределы «буржуазного кругозора», но пределы эти были тогда настолько широки, что, как сказал тот же Гегель, мир проникся *энтузиазмом духа*. Просветители являлись защитниками всех тех, кого тем или другим способом угнетал старый порядок. Чтобы убедиться в этом, следует вспомнить, например, драматическую литературу того времени.

Философия овладела сценой и превратила ее в одно из самых действительных средств распространения освободительных идей. Как не один раз было замечено мною выше, просветители мирились с абсолютной монархией, однако они мирились с абсолютизмом лишь под тем непременным условием, чтобы он служил делу просвещения. Хулители Вольтера до сих пор нередко ставят ему в вину его бесчисленные комплименты коронованным особам. Но они, во-первых, упускают из виду, что Вольтер льстил этим особам, надеясь подвинуть их на борьбу с ненавистными ему предрассудками и учреждениями. Во-вторых, они забывают, какие уроки давал он власть имущим в своих трагедиях А. Фонтен прекрасно характеризовал перемену в настроении французского образованного общества, сопоставив «Эдипа» Корнеля с «Эдипом» Вольтера. У Корнеля мы встречаем характерную для Франции XVII века фразу:

Le peuple est trop heureux quand il meurt pour ses rois.

У Вольтера же, наоборот, Эдип говорит:

Mourir pour son pays, c'est le devoir d'un roi.

Это целый переворот во взгляде на отношение монарха к своим подданным. Не меньший переворот произошел и в понятии правовой основы королевской власти. В «Мерope» Вольтер провозглашает устами Полифонта:

Le premier qui fut roi fut un soldat heureux.
Qui sert bien son pays n'a pas besoin d'aïeux...

Его Брут говорит о короле:

Il rompt tous nos serments lorsqu'il trahit le sien,
Et dès qu'aux lois de Rome il ose être infidèle,
Rome n'est plus sujette, et lui seul est rebelle.

Католическому духовенству Вольтер преподносил еще менее лестные истины. Всякий понимал тогда, что преимущественно в это духовенство метил он, провозглашая:

Nos prêtres ne sont point ce qu'une vaine peur le pense:
Notre crédulité fait toute leur science.

Нечего и говорить об его «Магомете», в котором выражался господствовавший тогда между просветителями взгляд на происхождение религии. А ведь Вольтер был не один; по его следам шло много авторов, не имевших его могучего таланта, но разделявших его воззрения. У Мармонтеля («La mort d'Hercule») Деянира восклицает, обращаясь к Демофонту по поводу оракула, возвестившего, что Церера требует человеческой жертвы:

M'osez-vous démentir un oracle odieux?
Et quoi! Si dans leur temple un fourbe assez farouche
Prête son âme au Dieu que fait parler sa bouche,
Est-ce à vous d'écouter son horrible fureur?
Il reste une hydre à vaincre, et cette hydre est l'erreur;
Osez la terrasser... и т. д.

Это, как две капли воды, похоже на Вольтеровское «écrasons l'infâme!».

Но французская классическая трагедия, служившая во время своего расцвета самым ярким выражением понятий и вкусов аристократического общества, не вполне соответствовала психологии третьего сословия, вступившего в борьбу с аристократией. Литературным плодом освободительных стремлений этого сословия явилась буржуазная драма. Одним из ее творцов был Дидро, главный редактор знаменитой «Энциклопедии». Если буржуазная драма не блистала художественными достоинствами, то она, бесспорно, много сделала для распространения освободительных идей. Она и создана была ради их пропаганды. Тогдашняя трагедия не удовлетворяла идеологов буржуазии уже одним тем, что, согласно старому правилу, ее героям выступали только высокопоставленные лица. «Думали, что в трагедии должны выступать короли, — говорил С. Мерсье в письме к Тома от 10 июля 1770 г. — Внешний признак величия принимали за величие действительное. Поэт... вводил людей в заблуждение, — смею сказать, что он обманывал их. Но им следует, думается мне, показать, что мужество, героизм и добродетель принадлежат темным классом общества (aux classes obscures de la société), что

каждый может надеяться стать героем в глазах своих современников и своих потомков, исполнив обязанности, вытекающие из его общественного положения, что человек — все, а стимулы — ничто» [1]).

Католическое духовенство утверждало, что человеческая природа испорчена грехопадением Адама и Евы. Просветители совсем иначе смотрели на этот вопрос. Одни из них держались того мнения, что человек по своей природе *не дурен и не хорош,* а становится дурным или хорошим в зависимости от обстоятельств его развития. Другие разделяли то убеждение Руссо, что природа делает человека добрым и что он портится лишь в обществе. Во всяком случае и те и другие решительно отрицали взгляд церкви. «Поэт, — говорит Мерсье, бывший одним из самых видных теоретиков буржуазной драмы, — поэт должен верить, что человек родится хорошим... Если бы я думал, что он родится злым, я сломал бы мое перо, и чернила высохли бы в моей чернильнице. Кто ты, осмеливающийся утверждать, что человек родится злым? Чудовище, кто воспитал тебя? Люди родятся поистине братьями... Все великие преследования, все великие преступления, покрывающие лицо земли, совершаются, так сказать, во имя призрака, которым люди наполняют и горячат свое воображение».

Под «призраком» надо понимать религиозные суеверия, а под преступлениями, которые совершаются во имя призрака, — кровавые исторические события, вроде Варфоломеевской ночи, и вообще преследования за веру. Таким образом, тирада Мерсье направлена здесь прямо и решительно против духовенства. Но ни он и никто другой из свободомыслящих драматургов XVIII века отнюдь не думал, что человеческая природа портится только под влиянием религиозного «призрака». В буржуазной драме выражался протест против общественных учреждений, не имевших в себе ровно ничего «призрачного», против всех вообще привилегий высших сословий. Эти привилегии и рассматривались драматургами как основная причина искажения природы человека. Притом обладатели привилегий изображались,—что, впрочем, не противоречило действительности, — более испорченными, нежели те, которые от них страдали. «Между 1760 и 1790 г.г. существует насчет природы предрассудок навыворот, — говорит Ф. Гэфф: — если выводят двух детей неодинакового происхождения, то можно быть уверенным, что дворянчика наградят смешными ужимками, значительными недостатками и даже

---

1) «Sébastien Mercier, sa vie, son oeuvre, son temps», par *Léon Béclard.* Paris 1903, p. 790—791.

каким-нибудь гнусным пороком, между тем как молодой разночинец (roturier) выкажет самые великодушные и самые благородные чувства» [1]).

Дети воспитываются в семье, а буржуазная семья того времени, несомненно, представляла собою более здоровое общественное учреждение, нежели аристократическая. Неудивительно поэтому, что буржуазная драма в неодинаковом свете выставляла эти две разновидности семейных отношений. Когда она изображала аристократическую семью, то заставляла супругов нарушать взаимную верность, а детей расти без всяких нравственных правил и следовать дурным примерам; наоборот, буржуазная или крестьянская семья представлялась спокойной и счастливой, и между ее членами царила взаимная привязанность [2]).

То же самое мы видим и в живописи, где Грёз красками превозносил мещанские и крестьянские нравы, что вызывало горячие похвалы со стороны Дидро и его литературных единомышленников [3]).

А комедия? Кто не знает Мольеровского «мещанина во дворянстве»? Нас теперь приводят в веселое расположение духа его смешные попытки усвоить себе утонченные дворянские манеры. Не такое впечатление производила названная комедия в XVIII веке на идеологов третьего сословия. Мерсье ставил Мольеру в вину, что он, в лице Журдэна, осмеял «простую и чистую честность» (l'honnêteté pure et simple) и хотел «унизить» буржуазию — сословие самое почтенное в государстве или, вернее, то сословие, которое и составляет государство» [4]). И вот, если французская комедия XVII века дала миру Журдэна, то в следующем столетии она выдвинула Вандерка-отца, который не только не смешит зрителя, но умиляет его благородством своих действий, и который, вдобавок, почти вдохновенно говорит о нравственном достоинстве торговли [5]).

Дидро, по весьма понятной психологической причине пришедший в восторг от пьесы Седэна, жаловался на несправедливость французской комедии *к прислуге*. Впоследствии Бомарше отомстил за прислугу в своем «Barbier de Séville» (1775) и особенно в «Mariage de Figaro» (1784), отведя лакею несравненно лучшую роль, нежели его знатному барину, и провозгласив, устами Фигаро, что если судить по тем требованиям,

---

[1]) «Le drame en France au XVIII siècle». Paris 1910, p. 364—365.

[2]) Там же, стр. 368.

[3]) Об этой стороне художественной деятельности Грёза см. *Louis Hautecoeur* Greuze. Paris 1913.

[4]) *Гэфф*, назв. соч., стр. 91.

[5]) Вандерки, — отец и сын, — действующие лица в пьесе *М. Ж. Седэна*, Le philosophe sans le savoir (1765).

которые пред'являются к слугам, немного найдется господ, достойных занять их места. Но это — шутка, хотя и чрезвычайно ядовитая. Остроумный и веселый Фигаро умел также говорить серьезно, и когда он говорил серьезно, в его словах слышалась угроза...

Еще слышнее она в устах бедного ткача Жозефа, выводимого Мерсье в драме «L'indigent». Жозеф живет с своей сестрой Шарлоттой в жалкой конуре, и оба они надрываются над работой, чтобы хоть как-нибудь перебиться самим и, кроме того, выкупить из тюрьмы своего отца, который попал туда потому, что, будучи приставлен властями к сбору подати, — знаменитой taille, — он не хотел описывать имущество бедных неплательщиков. Но скупщик, на которого они работают, платит мало, а жизнь дорога, и Жозеф ропщет: «Je ne suis pauvre que parce qu'il y a trop de riches» (Я беден только потому, что слишком много богатых), говорит он.

Людовик XIV терпеть не мог голландской живописи. Это так же понятно, как и то, что его преемник не любил буржуазной драмы. Скорее нужно удивляться тому, что привилегированное общество не дало более энергичного отпора литературным и художественным стремлениям идеологов третьего сословия. Впрочем, оно не сумело дать сильный отпор даже их политическим и социальным учениям, логическим выводом из которых являлось устранение старого порядка. Оно весьма плохо понимало ту связь, которая всегда существует между явлениями общественного *бытия* и произведениями общественного *сознания*.

Буржуазная драма, подобно картинам Грёза, имела огромный успех. В 1769 г. директор одного из французских театров хотел поставить «Гамлета», о чем и довел до сведения находившейся в театральном зале публики. Но публика стала кричать: «Point d'Hamlet! Le pére de famille!» [1]).

IV

Та же *социальная* причина, которая вызвала новые стремления *в литературе и в искусстве,* повела и к широкому распространению во Франции идей, в своей совокупности составлявших *философию XVIII века*. По своему теоретическому содержанию названная философия была прямым и беспощадным отрицанием идеалистической метафизики, господствовавшей во Франции в эпоху расцвета сословной

[1]) *Гэфф,* назв. соч., стр. 176, примечание. — Пьеса Дидро «Le père de famill» вовсе не отличается художественными достоинствами.

Гор. библиотека им. Н.А. Островского г. Комсомольск

монархии. В этом смысле она была *материалистической* даже тогда, когда ее сторонники считали себя *противниками материализма.* Вольтер, всегда и решительно отвергавший материализм, сам рассуждал, как материалист, всякий раз, когда, не довольствуясь остроумными скептическими замечаниями по адресу мыслителей всех школ и язвительными насмешками над «метафизиками», давал себе труд серьезно обдумать коренной вопрос всей философии: вопрос об отношении суб'екта к об'екту, сознания к бытию. «Я тело, — говорил он, — и я мыслю; больше я ничего не знаю». Если это скептицизм, то, очевидно, такой, который не распространялся на учение материалистов о способности материи ощущать и мыслить без помощи другой, *нематериальной,* субстанции.

Консервативные французские писатели наших дней изображают это невольное тяготение Вольтера к материалистической философии как один из самых тяжких его грехов.

Если, принимая материалистические *посылки,* он упрямо отвергал материалистические *выводы,* то его непоследовательность об'ясняется,— как это сказано выше, — частью тем обстоятельством, что ему не удалось вполне освободиться от влияния спиритуалистических понятий, завещанных добрым временем, а частью тем, что я назвал его *прагматизмом,* т.-е. его нежеланием поддерживать такие философские истины, которые казались ему опасными с точки зрения общественного спокойствия.

То, чего пугался Вольтер, пугало, по всей вероятности, многих тогдашних идеологов третьего сословия. Материализм, как стройная система, никогда не господствовал в их среде. За него открыто и последовательно держались только самые смелые. Зато эти смельчаки сумели сделать из его теоретических посылок все те выводы, которые могли быть разумно сделаны из них при тогдашнем состоянии естествознания и общественной науки.

Необходимо помнить, что выводы эти, действительно, имели не только теоретическое значение. Маркс уже в сороковых годах прошлого века отметил тесную связь между материализмом и социализмом. Он справедливо сказал, что если человек получает все свои ощущения, знания и т. д. из внешнего мира, то надо, стало быть, так устроить этот окружающий его внешний мир, чтобы он получал оттуда достойные его впечатления; что если правильно понятый личный интерес есть основа всякой нравственности, то надо позаботиться о том, чтобы интересы отдельного человека совпадали с интересами человечества; наконец, что если свобода человека заключается не в отрицательной способ-

ности избегать тех или других поступков, а в положительной возможности проявления своих личных свойств, то надо уничтожить противообщественные источники преступлений и отвести в обществе свободное место для деятельности каждого отдельного человека.

Какова должна быть та общественная организация, при которой интересы отдельного человека совпадают с интересами всего человечества или, по крайней мере, с интересами его сограждан? Отвечая на этот вопрос, социалисты расходились с французскими просветителями XVIII века. Но ведь и в лагере социалистов долго не было единомыслия на этот счет: разные социалистические школы давали различные ответы. И все-таки совершенно неоспоримо, что, давая свой особый ответ, каждая социалистическая школа, не только во Франции, но и в Англии, опиралась на выводы французского материализма XVIII века, хотя иногда и отвергала при этом его «безбожное» и будто бы безнравственное учение.

Если сами французские материалисты не делали, — да по обстоятельствам времени и никак не могли делать, — социалистических выводов из своей доктрины, то они все-таки очень усердно стремились перестроить, согласно требованиям разума, окружающий человека «мир», т.-е. общественные отношения. Так много нашумевшее в свое время и в самом деле замечательное сочинение «Système de la Nature», которое называли библией материализма, дает ясное представление о том, какими горячими и смелыми реформаторами были авторы этого замечательного сочинения. Наиболее поучительна в интересующем нас здесь отношении двадцать четвертая глава второго тома, озаглавленная: Abrégé du Code de la Nature (краткий свод законов природы) [1]).

Отправляясь от того положения, что ошибочное не может быть полезно людям, а вредное не может быть истинным, авторы «Системы природы» [2]) энергично восстают против всех «фантомов», вводящих человечество в заблуждения, которые, в свою очередь, порождают все общественное зло. Если авторы разбивают старых «идолов», то делают это затем, чтобы, ознакомившись с истиной, люди перестали, наконец, влачить в бедности жалкое существование рабов, отягощенных цепями. Если авторы отвергают старую нравственность, то единственно затем, чтобы «поставить науку о нравах на твердое основание человеческой природы». Иногда они почти вплотную подходят к коммунизму. Так,

[1]) Как увидим ниже, она производила сильное впечатление и на русских читателей.

[2]) Известно, что книга эта писалась всем кружком Гольбаха, к которому также принадлежал гениальный Дидро.

от имени природы, они говорят человеку: «наслаждайся и давай другим наслаждаться благами, отданными мною в общее пользование (que j'ai mis en commun) всех моих детей». Они гремят против богатых, обирающих своих сограждан и делающихся жертвами пресыщения и скуки. По их мнению, справедливы только те общественные учреждения, которые согласованы с законами природы. Мы уже знаем, что для согласования общественно-политического строя Франции с законами природы, *как понимали их французские просветители,* надо было совершенно устранить старый порядок и что его устранение было в интересах огромнейшего большинства французов. Поэтому авторы «Système de la Nature» имели полное право смотреть на себя как на защитников народа.

То же надо сказать и о Гельвеции, сочинения которого так усердно читались мыслящими русскими людьми, например лейпцигскими товарищами Радищева. Хотя Гельвеций тоже смотрел на буржуазную собственность как на естественное и необходимое условие существования человеческих обществ, но в его сочинениях нет ни одной строчки, которая доказывала бы, что интересы имущих классов были ему дороже, нежели интересы народа. Напротив, Гельвеций с убеждением повторял: «salus populi suprema lex» (благо народа — высший закон) и считал демократическую конституцию наиболее соответствующей народному благу. Общество, в котором господствует дворянское сословие,—le corps des nobles, — никак не могло, по его мнению, содействовать развитию у своих членов чувств справедливости и гражданского долга [1]). Он был врагом всяких привилегий и говорил, что в основе каждой из них лежит несправедливость [2]).

V

Когда просветители приступили к изданию своей знаменитой «Энциклопедии», они начали литературное дело, имевшее колоссальное *общественное* значение. Уже в самом об'явлении об ее издании (Prospectus), написанном Дидро, слышался голос *демократии,* если хотите— *народничества.* В об'явлении говорилось, что «*свободные* искусства» достаточно занимались сами собою и что им пора обратить внимание на искусства «*механические*», пора покончить с тем пренебрежением, с которым к ним относились благодаря старому предрассудку. Ремесленники, поденщики, вообще люди, живущие трудами рук своих,

[1]) Oeuvres complètes. Paris 1818, t. II, p. 236—237.

[2]) Oeuvres complètes, t. III, p. 3 8.

составляют большинство нации. Если они несчастны, то вместе с ними несчастна и вся нация. Обращаясь к поденщикам и ремесленникам, Дидро говорил им, что они «считали себя достойными презрения только потому, что их презирали другие», и что им следует быть о себе более высокого мнения [1]). С такими речами французская интеллигенция никогда еще не обращалась к трудящемуся населению своей страны [2]).

Но здесь, во избежание важных недоразумений, мне следует оговориться. Не должно впадать в преувеличения и воображать, будто французские просветители *сознательно* подготовляли революционную бурю, разразившуюся в конце XVIII века. Их настойчиво обвиняли в этом охранители. Однако охранители ошибались.

Некоторые тогдашние проповедники новых идей замечали, что народ теряет терпение и может, пожалуй, восстать против своих притеснителей (Вольтер, Руссо и другие). Но, не будучи сторонниками революционного способа действий, они пугались приближавшегося взрыва, а не приветствовали его. Они от всей души предпочли бы мирную реформу насильственной революции. Это *мирное* настроение проповедников *революционных* идей ярко отразилось как в литературе, так и в искусстве. Буржуазная драма, в образах выражавшая стремления третьего сословия, совсем не знает боевых мотивов. Нет таких мотивов и в живописи, например в картинах Грёза. Хотя просветители

---

[1]) «Diderot» par *Joseph Reinach*. Paris 1894, p. 43—44. В другом месте (статья «Art» в III томе «Энциклопедии») Дидро, нападая на пренебрежительное отношение к тем, которые занимаются «механическими» искусствами, говорит, что этот предрассудок способен населить наши города праздными резонерами и паразитами, живущими на счет невежественных маленьких тиранов. Высказывая все это, Дидро повиновался тому же чувству, под влиянием которого французские историки совершили впоследствии целый переворот в своей науке. «Кто из нас—писал в 1818 г. Огюстэн Тьерри,—слышал о том классе людей, который сохранил для человечества промышленные искусства и привычку к труду во время наводнения Европы варварами? Постоянно подвергаясь притеснениям и грабежу со стороны своих победителей и повелителей, эти люди вели тягостное существование, получая в вознаграждение за свой труд лишь сознание того, что они поступают хорошо и спасают цивилизацию для своих детей и для всего мира. Эти спасители наших искусств были нашими отцами. Мы дети тех крепостных, тех данников, тех буржуа, которых беспощадно попирали завоеватели... Мы всем восхищались и все изучали за исключением того, что было совершено ими». Дидро тоже происходил от тех «данников, тех буржуа», которых угнетали завоеватели и потомки завоевателей.

[2]) Приведенные слова Дидро напоминают одну из песен, распевавшихся во время революции. В этой песне говорилось: «Les grands ne nous paraissent grands que parce que nous sommes à genoux; levons nous!»

ставили третье сословие несравненно выше привилегированных сословий и, единодушно превознося его добродетели, не упускали случая оттенить порочность аристократов, однако они еще не теряли надежды на то, что эти последние сами сознают, наконец, несправедливость своего привилегированного положения и, по крайней мере, постараются значительно смягчить его вредные для народной массы последствия. Недаром они твердили: «la raison finit toujours par avoir raison». В деле такого смягчения они уповали и на монархов, которые, — думали они, — должны же понять, что им гораздо приятнее будет господствовать над свободными и счастливыми, нежели над порабощенными и несчастными подданными. Во Франции эти упования очень оживились со вступлением на престол Людовика XVI и с началом реформ Тюрго. Но Тюрго недолго продержался у власти, и за его падением последовала откровенная реакция. Разумеется, это не могло не огорчить просветителей. В их взгляды проникла значительная доза пессимизма. Это было тогда тем более неизбежно, что уже и раньше, в последние годы царствования Людовика XV, некоторые, наиболее впечатлительные и нетерпеливые, просветители, не ожидая ничего хорошего от французского правительства, стали крайне мрачно смотреть на будущность Франции. В предисловии к своему, не раз уже упомянутому мною, сочинению «De l'Homme», — напечатанному лишь после его смерти, — Гельвеций говорит, что его страна окончательно подпала под иго деспотизма и уже неспособна его сбросить, а потому она может надеяться разве только на иностранное завоевание. Мы видим отсюда, что «пораженчество», — да простит мне читатель этот варварский термин, к моему величайшему сожалению ставший у нас общеупотребительным, — вовсе не так ново, как это думают некоторые наивные «новаторы». Легко видеть также, откуда взялось своеобразное «пораженчество» Гельвеция. Оно было вызвано двумя психологическими причинами: полным разочарованием во французском правительстве и недоверием к способности французского народа своими собственными силами справиться с деспотизмом [1]). И надо согласиться, что как разочарование в монархии, так и недоверие к народу имели в то время достаточную психологическую причину.

Нет нужды доказывать это относительно первого; но что касается второго, то я напомню, что *народная масса* еще не доказала тогда

---

[1]) Гельвеций так и говорил о французах: «Nulle crise salutaire ne leur rendra la liberté».

своего понимания освободительных идей и своего сочувствия к ним. Этим и об'ясняются те, очень резкие, отзывы о ней, которые вырывались порой у просветителей и которыми реакционеры пользуются теперь для доказательства будто бы *антинародного* характера их стремлений. В среде французской интеллигенции издавна уже было немало людей, отличавшихся широтою своих политических воззрений и готовых горячо отстаивать интересы народа. В первом томе я приводил отрывки из речей купеческого головы Роберта Мирона на собрании Генеральных Штатов 1614 г. В них уже звучала революционная нота. Но зала, в которой происходили заседания Штатов, была заперта правительством под тем невероятным предлогом, что она нужна *для балета,* депутаты распущены по домам, а рабочий французский народ остался равнодушным и далеким от понимания того, какое наглое оскорбление нанесли ему его правители в лице его представителей. В 1789 г. он совсем иначе отнесся к закрытию залы заседаний Генеральных Штатов. Tempora mutantur! Но в то время, когда Гельвеций писал свое предисловие к «De l'Homme», он не мог знать, какой оборот примут события в 1789 г., — до которого он, мимоходом сказать, и не дожил, — как не могли предвидеть это и другие просветители. Они могли судить только на основании прошлого.

Правда, уже в середине XVIII века французский народ мало-помалу становился более сознательным, более отзывчивым и, главное, менее выносливым. Это раньше всего стало обнаруживаться в Париже. Уже в 1750—1751 г.г. там произошли, — вызванные циничным произволом полиции, — весьма значительные беспорядки, участники которых поговаривали, что надо итти на Версаль и сжечь королевский замок, построенный «на счет народа». Волнения эти были как бы зарницей, напоминавшей о возможности грозы. Во второй половине XVIII века подобные явления делались все более и более частыми. Но в высшей степени замечательно, что, восставая *против администрации* и даже очень резко осуждая *самого монарха,* парижский народ тогда еще вовсе не отказывался от *монархизма.* Во время волнений 1757 г. появились прокламации, угрожавшие королю смертью. Но угрозы по адресу *Людовика XV* дополнялись рассуждениями о том, что на престол следует возвести герцога Орлеанского [1]). Дальше смены лиц на королевском престоле народная мысль не шла и долго после этого.

---

[1]) См. интересную статью *Марселя Руффа*: «Les mouvements populaires» в сборнике: «La vie parisienne au XVIII siècle». Paris 1914.

Итак, народное настроение не могло побудить просветителей к отказу от старой привычки приурочивать надежду на реформу к доброй воле «просвещенных государей» (des princes éclairés). А сохраняя эту привычку, просветители могли, нисколько не изменяя себе, вступать в сношения с теми государями, которые в данное время казались им более или менее исполненными добрых намерений, более или менее способными осуществить хотя бы только небольшую часть их освободительных требований.

В действительности освободительные требования просветителей осуществлены были не монархами, а национальным французским собранием, получившим название *Учредительного*. Оно и понятно: только *революция* могла провести в жизнь требования, *революционные* по своему существу. Но так как, выдвигая требования, имевшие *революционный характер,* просветители стремились и надеялись в то же время осуществить их *мирным путем* и, между прочим, в союзе с «просвещенными» монархами, так как, с другой стороны, монархам порой приходилось тогда противиться некоторым совсем уже устарелым феодальным притязаниям привилегированных сословий, то иные монархи, в свою очередь, могли находить небесполезной дружбу с передовыми французскими философами. И тогда они писали им любезные письма, приглашали к себе в гости, дарили им шубы, награждали их пенсиями, слушали их комплименты и даже, хотя и гораздо менее охотно, их советы.

Все это изменилось уже после первых порывов революционной бури. И даже в годы, непосредственно предшествовавшие революции, молодые французы, воспитавшиеся под влиянием энциклопедистов, все более и более обнаруживали иное настроение. Они с упоением читали Плутарха и увлекались *античными республиканцами*. Эта перемена настроения тоже выразилась в литературе и в искусстве. Буржуазная драма и картины Грёза, одно время имевшие такой большой успех в передовых слоях населения, теперь уже не удовлетворяли их. Им дорога была теперь не столько буржуазная *домашняя добродетель,* изображавшаяся в этих картинах и в этой драме, сколько гражданская *доблесть политических борцов*. С целью изображения этой героической доблести сделана была попытка вновь оживить классическую трагедию [1]). И в то же самое время в живописи Грёз отступил перед Давидом.

Для новых песен понадобились новые птицы. Но о них потом.

---

[1]) См. чрезвычайно интересное предисловие (Discours préliminaire) *М. Ж. Шенье* к его трагедии «Charles IX ou l'école des rois», посвященной «*французской*

VI

Французская философия XVIII века главное свое внимание направляла на вопрос о том, каковы должны быть, — *с точки зрения разума,* — взаимные отношения между людьми, т.-е. на вопросы *общественного устройства.* Этим она и заслужила название — *освободительной.*

Если мы обратимся к XVII веку, то увидим совсем другое. По мнению Декарта, главное преимущество новой философии сравнительно с философией средних веков состояло в том, что она способна сделать нас «господами и обладателями природы» (maîtres et possesseurs de la nature [1]). Вопросы общественного устройства очень мало интересовали Декарта. Нечто совершенно подобное видим мы и в Англии. Бэкон Веруламский видел главную задачу новой философии в том же, в чем видел ее Декарт: Tantum possumus quantum scimus, — говорил он, тоже имея в виду не общественное переустройство, а именно увеличение власти человека над природой.

Увеличить власть человека над природой значит увеличить находящиеся в его распоряжении производительные силы. А из этого следует, что в истории новой философии был такой период, в продолжение которого она считала главной своей задачей содействие росту названных сил или, другими словами, накоплению технических знаний. Это — чисто утилитарный взгляд на задачу философии. Поэтому можно сказать, что мыслящие европейцы XVII века были во взгляде на философию такими же утилитаристами, как и просветители XVIII столетия. Все различие состоит здесь в *характере* утилитаризма.

В эпоху Бэкона и Декарта ход экономического развития передовых обществ Западной Европы сделал особенно ощутительной нужду в увеличении производительных сил. Великие мыслители отозвались на эту общественную нужду тем, что придали философии новое направление, имевшее чрезвычайно благотворное влияние на *естественные науки, а через них и на технику.* Но рост производительных сил, с своей стороны, очень значительно повлиял на внутренние отношения передовых европейских обществ. Благодаря ему, третье сословие стало играть в жизни этих обществ несравненно более важную роль, чем прежде. А так как этой *новой,* гораздо более важной, роли его не соот-

---

нации» и впервые представленной 4 ноября 1789 г. *Предисловие помечено 22 августа 1788 г.,* значит—написано еще до революции.

[1]) «Discours de la méthode», 6-e partie.

ветствовали *старые* общественные отношения, то оно захотело уничтожить их. Это стремление и выразилось в выработке идеологами третьего сословия освободительной философии XVIII века. Польза, которой ожидали от этой новой философии, заключалась уже не в умножении производительных сил, а в таком переустройстве общества, которое соответствовало бы уровню, достигнутому этими силами.

Теперь взглянем на Россию. Выше было замечено, что птенцы гнезда Петрова смотрели на просвещение главным образом с точки зрения его непосредственной, практической пользы. Они учились у Западной Европы прежде всего с тою целью, чтобы увеличить запас всякого рода технических знаний в своей стране. Вспомните рассуждение В. Н. Татищева о пользе наук и учения.

Реформа Петра дала весьма значительный толчок развитию русских производительных сил. Но если они стали расти у нас гораздо быстрее, чем росли до реформы, то все-таки рост их был не настолько быстр, чтобы сделать устранение прежнего общественного порядка очередным вопросом в России XVIII века. Знаменитая екатерининская Комиссия о составлении нового Уложения как нельзя более ясно показала, что тот «средний род людей», который существовал в тогдашней России, — наш торгово-промышленный мир, — не был затронут влиянием французской освободительной философии и не задумывался о создании нового общественного порядка. Он был консервативен, а отчасти даже и реакционен, ходатайствуя о восстановлении таких сторон нашего старого порядка, упадок которых, — отчасти вызывавшийся умножением дворянских привилегий, — наносил вред его интересам. Что касается дворянства, то хотя его образованные представители очень охотно читали Вольтера и других модных французских просветителей, но, *как сословие,* оно не могло увлечься тем, что составляло живую душу освободительной философии: стремлением *уничтожить все сословные привилегии* и тем поставить трудящуюся массу в новые, более свободные условия существования. Дворянство не только желало сохранения крепостного права, но, как мы знаем, с большим успехом добивалось его расширения. Тогдашняя дворянская гвардия очень легко и быстро справилась бы с таким правительством, которое вздумало бы освобождать крестьян. Этим последним, разумеется, глубоко ненавистна была тяжелая цепь крепостной зависимости: временами они пытались разорвать ее. Но самые попытки их показывают, как слабы были их силы и как далеки были они от стремления установить действительно новый общественный порядок.

Изо всего этого следует, что если во второй половине XVIII столетия затронутые западным влиянием руские люди уже гораздо меньше склонны были смотреть на просвещение с точки зрения той непосредственной, практической (технической) пользы, какую оно может принести государству, то у них еще не могло быть серьезного интереса к философским теориям, провозглашавшим необходимость коренного общественного переустройства.

VII

Часто говорят до сих пор, что если тогдашнее русское общество не желало осуществления практических требований французской освободительной философии, а потому и не имело серьезного интереса к ней, то и тогда уже были у нас отдельные личности, относившиеся к ней весьма серьезно и готовые всячески содействовать проведению в жизнь ее практических выводов. В ряду таких личностей первое место отводится императрице Екатерине II. Довольно многочисленные литературные произведения этой государыни рассматриваются как доказательство ее искреннего желания поднять грамотного русского обывателя на высоту передовых понятий и стремлений XVIII столетия. Наибольших похвал удостоивается при этом ее знаменитый «Наказ».

«День издания «Наказа», — писал в радикальных «Отечественных Записках» Гр. Елисеев по случаю столетней годовщины его первого издания, — был днем нашего действительного вступления в европейскую жизнь, нашего внутреннего приобщения к европейской цивилизации, днем, в который русские в первый раз получили право именоваться гражданами». По словам одного из новейших исследователей, в «Наказе» «царят Монтескье, Беккария и Дидро, великие умы и благородные сердца, влияние которых отразилось на многих поколениях» [1]).

К восторженным отзывам этого рода пора отнестись критически. Неоспоримо, что уже при Екатерине II у нас начали появляться личности, — пока еще *только* отдельные личности! — способные искренно увлечься передовыми освободительными стремлениями своей эпохи и посвятить свои силы их проведению в жизнь. Известно, как дорого поплатились они за эту свою способность. Но сама Екатерина не принадлежала к их числу. Она никогда не увлекалась серьезно освободительной

---

[1]) *Н. Д. Чечулин*, Памятники русского законодательства. — Наказ императрицы Екатерины II. СПБ. 1907. Введение, стр. CXLVI.

философией, хотя ей нравились некоторые взгляды французских просветителей и их литературные приемы, особенно — приемы Вольтера. Екатерина называла и, может быть, в самом деле считала себя ученицей Вольтера. Но, — как превосходно заметил П. Н. Милюков, — «ее вольтерьянство скорее отзывало фривольной эпохой регентства, чем эпохой Людовика XVI» [1]). В заметках, писанных ею задолго до воцарения, она говорила, между прочим, о своей свободе от предрассудков. Это правильно. Предрассудков у нее не было. И несомненно, что освободиться от них помогла ей гениальная насмешка Вольтера над старыми понятиями. Но, освободившись от влияния старых понятий, Екатерина нимало не подчинялась влиянию новых. Подобно Иосифу II австрийскому и Фридриху II прусскому, она являлась сторонницей новой французской философии, когда это обещало ей известные выгоды, и принималась высокомерно смеяться над нею, когда философы имели дерзость пред'явить ей те или другие практические требования, шедшие вразрез с ее выгодами. За примером ходить недалеко.

Во время известного пребывания Дидро в Петербурге, Екатерина часто беседовала с ним о созванной ею Комиссии для составления Уложения, и, конечно, не упускала случая похвастаться либерализмом своего «Наказа». Одна заметка великого энциклопедиста показывает, что его тщеславная собеесдница изображала себя непонятой своим народом, будто бы не сумевшим оценить благодеяния, оказанного ему созванием Комиссии. Дидро внимательно слушал свою любезную собеседницу, но об'яснял дело по-своему. Читатель помнит, может быть, что некогда Юрий Крижанич приписывал все недостатки русского народного характера «крутому владанию». Дидро пришел к тому же самому выводу. Он решил, что главное зло русской общественной жизни заключается в *рабстве,* а вернейшее средство устранения этого зла состоит в *свободе*. И — заметьте это! — в свободе не только *гражданской,* но и *политической*. Задача просвещенных монархов сводилась, по его мнению, к тому, чтобы развивать в своих подданных свободолюбие и приучать их устраивать свои дела своими собственными силами. Гениальный в теории, но наивный на практике, Дидро пресерьезно обращал внимание Екатерины на ту большую опасность, которая кроется в «справедливом и просвещенном деспотизме» (un despotisme juste et éclairé). Под продолжительным влиянием такого деспотизма, — убежденно говорил свободолюбивый философ, — народ погружается в сон,

[1]) «Очерки по истории русской культуры», выпуск II, СПБ. 1903, стр. 398.

«сладкий, но смертельный» (un sommeil doux, mais c'est un sommeil de mort) [1]). Чтобы противодействовать усыпляющему влиянию своего просвещенного деспотизма, либеральная царица должна была сделать свою Комиссию *постоянной и формально передать ей часть своей законодательной власти.* Желая побудить ее к такому «весьма великодушному поступку» (acte bien généreux), Дидро уверял ее, что «несчастны не те государства, в которых увеличивается власть народа, а те, в которых становится неограниченной власть государей» [2]). Екатерина слушала его с тем любезным вниманием, которое так нравилось ее собеседникам, читала его записки, но, само собой разумеется, оставалась при своем собственном мнении насчет «несчастья» неограниченной монархической власти. Однажды, поспорив с ним об его освободительных планах, она сказала ему, что он забывает о разнице положения: «Вы работаете на бумаге, которая все терпит... между тем, как я, бедная императрица, работаю на человеческой коже, которая гораздо более чувствительна» [3]). Но Дидро не потерял надежды переубедить ее. Покинув Петербург, он на возвратном пути в Париж остановился на довольно продолжительное время в Гааге и там имел, — по его собственному выражению, — дерзость прочитать «Наказ» с пером в руке, т.-е., говоря проще, написать свои возражения на него. Первое из них гласит: «Нет и не может быть истинного государя, кроме народа».

В одном из последних сказано, что хорошо составленное уложение должно начинаться так:

«Мы, народ, и мы, государь народа, вместе присягаем в верности законам, согласно которым мы подлежим одинаковому суду: если нам, государю, случится нарушить их и потому стать врагом народа, то он, по всей справедливости, перестанет быть обязанным присягой в верности и может враждовать с нами, преследовать нас, низложить, а в случае надобности даже и осудить на смерть».

Уже это было, как видите, довольно сильно. Но Дидро не остановился на этом. Он прямо и резко высказал свой взгляд на русский политический строй. «Екатерина, — писал он, — несомненно обладает деспотической властью (est une despote). Намеревается ли она сохранить эту власть и передать ее своим наследникам или отречется от нее? Если она сохранит ее, то пусть она составляет свое Уложение, как

[1]) *Maurice Tourneux,* Diderot et Cathérine II. Paris 1899, p. 144.

[2]) Там же, стр. 150.

[3]) Так передала она впоследствии это свое замечание Сегюру.

хочет: ей не нужно одобрения нации. Если же она откажется от нее, то надо, чтобы ее отречение было оформлено» [1]).

Дидро почему-то не послал Екатерине своих возражений: может быть потому, что сам знал, как трудно пройти верблюду в игольное ушко. Они дошли до нее уже после его смерти. Излишне прибавлять, что «ученица Вольтера» совсем не одобрила их. В письме к М. Гримму она отзывалась о них, как о «настоящей болтовне, в которой нет ни знания вещей, ни осторожности, ни проницательности». «Если бы мой «Наказ», — прибавляла она, — пришелся по вкусу Дидро, то он был бы способен все поставить вверх дном (mettre les choses sans dessus dessous)» [2]). И с тех пор в ее переписке с Гриммом лишь очень редко встречается имя дерзкого философа.

Этот пример проливает яркий свет на разномыслие между передовыми французскими просветителями XVIII столетия и современными им «просвещенными государями». Лучшие из просветителей готовы были поддерживать абсолютную власть государей с тем, чтобы они как можно скорее воспользовались ею для *освобождения* своих подданных, т.-е. для *уничтожения* абсолютной власти. Наоборот, «просвещенные» государи заигрывали с философами для того, чтобы с их помощью как можно больше укрепить эту власть, уничтожив все старинные учреждения, налагавшие на нее какую-нибудь узду. При таком разномыслии сговориться было невозможно, несмотря на взаимные комплименты, раздававшиеся тем чаще, чем меньше серьезного влияния могли они иметь на деятельность обеих сторон.

VIII

Защищая свой «Наказ» от непочтительной критики неблагодарного энциклопедиста, Екатерина писала в том же письме к М. Гримму: «Я утверждаю, что мой «Наказ» был не только хорош, но даже превосходен и хорошо приспособлен к обстоятельствам, так как в продолжение своего осьмнадцатилетнего существования он не только не вызвал никакого зла, но все добро, им причиненное и всеми признаваемое, вытекало из установленных в нем принципов» [3]).

Принципы, «установленные» в «Наказе», были, как в этом признавалась сама Екатерина, заимствованы у французских просветителей. Если они были «хороши и даже превосходны», то это делало честь

---

[1]) *M. Tourneux,* назв. соч., стр. 563—564.

[2]) Там же, стр. 519—520.

[3]) Там же, стр. 520.

не ей, а французской освободительной философии. Екатерине могла принадлежать лишь честь *осуществления* «хороших и даже превосходных принципов». И она хорошо понимала это. Она писала г-же Жоффрен: «Скажите, прошу вас, д'Аламберу, что я скоро пришлю ему тетрадь, из которой он увидит, к чему могут служить сочинения гениальных людей, когда хотят делать из них употребление; надеюсь, что он будет доволен этим трудом; хотя он и написан пером новичка, но я отвечаю за исполнение на практике». Речь идет о том же «Наказе». Но хотя Екатерина ручалась за исполнение на практике принципов, положенных ею в его основу, она хорошо знала, что уже в то время *ее практика шла вразрез с ними*. «Сочинения гениальных людей» требовали свободы, а Екатерина тотчас по своем вступлении на престол взяла на себя, — указом от 3 июля 1762 г., — торжественное обязательство ненарушимо сохранить власть помещиков над крестьянами. И это обязательство было выполнено ею даже свыше меры, так как она не только сохранила крепостное право, но значительно расширила его пределы.

Д'Аламбер не мог этого знать, как не мог он знать и о том, что либеральный «Наказ» Екатерины очень скоро подвергся запрещению, конечно, с ее согласия. Сенатским указом от 24 сентября 1767 г. предписано было разослать в высшие учреждения 57 экземпляров его, при чем подтверждалось, чтобы «оные содержаны были единственно для сведения одних тех мест присутственных» и не выдавались не только посторонним лицам, но даже и канцелярским служителям, ни для списывания, ни для чтения. Во всяком случае, над трудящейся массой «царили», — вопреки мнению г. Чечулина, — не просветители, а их антиподы: Ханжихины, Скотинины и Простаковы.

У Фон-Визина Простакова возмущается тою мыслью, что дворянин не волен высечь, когда захочет, своего слугу. «На что же нам дан указ о вольности дворянства?» — спрашивает она. По этому поводу Стародум иронически замечает: «Мастерица толковать указы!». Ссылка на указ о вольности дворянства здесь, в самом деле, неуместна. Однако просвещенная императрица предусмотрительно издала довольно много других указов, вполне подтверждающих дворянскую «*вольность*» по части наказания своих слуг. Стало быть, Простакова ошибалась совсем не так уже сильно, как на это хотел намекнуть Фон-Визин [1]).

---

[1]) «В год первого представления «Недоросля» (1782) за дворянством числилось более половины (53%) всего крестьянского населения»,—весьма кстати замечает

Воспитанная вне условий русского быта, Екатерина не могла иметь пристрастия к той форме эксплоатации народного труда, которая господствовала в тогдашней России. Она не прочь была смягчить эту форму. Однако она никогда не стремилась к этому очень сильно. Притом она очень скоро сообразила, что это не понравится дворянству, а ее всегдашним правилом было избегать ненужной для нее борьбы с огнем. Вскоре после свержения Петра III, французский посланник Бретейль писал о ней: «Удивительно, как эта государыня, всегда слывшая за храбрую, слаба и нерешительна, когда нужно решить какой-нибудь малейший вопрос, который может вызвать противоречие внутри страны». Укрепившись на своем новом месте, она с годами приобрела значительную самоуверенность. Но никогда не забывала она о том пределе, перешагнуть который ей ни в каком случае не позволила бы ее дворянская гвардия. Человеческая кожа, на которую она ссылалась в разговоре с Дидро и которая отличалась, по ее словам, большой чувствительностью, была *дворянской, а не крестьянской кожей.*

Дворянская кожа действительно обнаруживала огромную чувствительность всякий раз, когда поднимался «проклятый вопрос» об улучшении участи крепостного населения. Этим в значительной степени об'ясняется вопиющее противоречие между теорией и практикой Фелицы. Екатерина была не из тех, которые способны рискнуть ради теории своим личным практическим интересом [1]).

Дидро жестоко ошибался, воображая, будто она может добровольно отречься от своей неограниченной власти в целях политического и нравственного воспитания своего народа. Власть была необходима ей,

---

Ключевский в своей статье «Недоросль Фон-Визина» («Очерки и речи», Москва 1913, стр. 304).

[1]) По вступлении своем на престол Екатерина щедро наградила своих приверженцев раздачей им крепостных душ и денег. Сорок лиц, побудивших «Ее Величества сердце милосердое к скорейшему принятию престола Российского и к спасению таким образом нашего отечества от угрожавших оному бедствий», получили 526.000 рублей и 18.000 душ. В своем манифесте о свержении Петра III Екатерина изображала дело так, будто эти люди явились к ней в качестве «от народа избранных верноподданных». Значит, «избранники» были награждены отдачей им в рабство некоторой части «избирателей». Не позабыла новая государыня и избирателей. Она наградила их понижением цены на соль в размере десяти копеек с пуда. «Нужно было с'есть пуд соли, чтобы восчувствовать императорскую благодарность на 10 копеек», справедливо говорит *В. А. Бильбасов* («История Екатерины II», Берлин 1900 т. II, стр. 92).

как воздух, и ради власти она готова была на все. Более или менее либеральный инстинкт «ученицы Вольтера» немедленно умолкал при виде хотя бы и незначительной опасности, утрожавшей потерей того, что она имела, — по выражению .Бретейля, — смелость взять.

Так, в своем «Наказе» Екатерина, следуя за Беккария и другими просветителями, осуждала пытку. И не может быть сомнения в том, что к теоретическому осуждению пытки она пришла гораздо раньше составления «Наказа». Но в деле Гурьева и Хрущевых, уличавшихся в заговоре против нее, она, — вопреки передовой теории и даже вопреки постановлению следственной комиссии, — приказала *пытать* обвиняемых. «1762 года октября 6 дня по силе Ее императорского величества всевысочайшего повеления Петр Хрущов против его допросов и очных ставок для изыскания истинны с пристрастием под батожьем расспрашиван». Тому же был подвергнут Семен Гурьев [1]). Монтескье, Беккария и Дидро, великие умы и благородные сердца, конечно, совсем не одобрили бы батожья. Но просвещенной государыне было не до них.

Утверждают, что Екатерина сильно изменилась к концу своего царствования, особенно под влиянием французской революции. И действительно, французская революция заставила ее отказаться даже от либеральной фразеологии, к которой она так охотно прибегала прежде. Но совершенно ошибочно говорить об ее разочаровании в своих прежних взглядах. Если она разочаровалась в чем-либо, то разве только в возможности с успехом выдавать себя за убежденную сторонницу либеральных — а подчас даже и «республиканских»! — взглядов, неуклонно стремясь в то же время к упрочению и расширению своей власти. «Ничто ей не может быть досаднее, — писал о ней кн. М. М. Щербатов, — как то, когда, докладывая ей по каким делам, в сопротивление воли ее законы поставляют, и тотчас ответ от нее вылетает: «Разве я не могу, не взирая на законы, сего учинить?». Такою она стала вовсе не под влиянием какого-нибудь разочарования. Такою она была всегда, и такою сделало ее безграничное властолюбие, — склонность к *самовластию,* как выражается тот же М. М. Щербатов.

В манифесте от 19 октября 1762 г. она возвестила, что «тайных розыскных дел канцелярия уничтожается от ныне на всегда». Ее подданные с восторгом встретили это известие об упразднении страшной

1) *В. А. Бильбасов,* История Екатерины II, Лондон 1895 т. II, стр. 174.

канцелярии; однако торжественно возвещенная реформа ограничилась одной переменой названия [1]).

Известен ответ, данный ученицей Вольтера Фон-Визину на его вопрос, отчего в прежние времена шуты, шпыни и балагуры чинов не имели, а нынче имеют и весьма большие: «Предки наши, — отвечала она, — не все грамоте умели». Это неясно, но зато тем яснее продолжение ответа: «Сей вопрос родился от свободоязычия, которого предки наши не имели». Фон-Визин хорошо понял смысл этих слов и решил: «Заготовленные еще вопросы отменить, чтобы не подать повода другим к дерзкому свободоязычию». Можно, пожалуй, сказать, что, когда Екатерина давала этот ответ, она уже была разочарована. Но с ее замечанием *о свободоязычии* можно сопоставить манифест «*о молчании*», — так она сама называла этот манифест, — изданный двадцатью годами раньше.

В манифесте этом, с барабанным боем прочитанном на улицах Москвы 4 июня 1763 г., доводилось до всеобщего сведения, что между подданными Екатерины есть такие «развращенных нравов и мыслей люди», которые позволяют себе рассуждать о делах, совсем до них не принадлежащих. Таких людей государыня матерински уговаривала замолчать и заняться исключительно своими частными делами. «А если сие Наше матернее увещевание и попечение не подействует в сердцах развращенных и не обратит на путь истинного блаженства (sic!): то ведал бы всяк из таковых невежде́й [2]), что Мы тогда поступим уже по всей строгости законов, и неминуемо преступники почувствуют всю тяжесть Нашего гнева, яко нарушители тишины и презрители Нашей Высочайшей воли» [3]).

Это грозное требование «молчания» пред'явлено было к русским обывателям по поводу толков, вызванных делом Хитрова, который находил, что следует всеми способами противодействовать вступлению императрицы в брак с Гр. Орловым.

Екатерина много распространялась о необходимости народного образования, хотя сделала для него в сущности весьма немного. К делу распространения образования она приглашала разных людей вплоть до

---

[1]) Тайная канцелярия получила при Екатерине название Тайной Экспедиции. В ней распоряжался благочестивый Ст. Ив. Шешковский, который, допрашивая обвиняемых, — даже «знатных персон», — наносил им удар палкой «под самый подбородок, так что зубы затрещат, а иногда и повыскакивают».

[2]) Сохраняю правописание подлинника.

[3]) *Бильбасов*, там же, стр. 267—268. Ср. *Соловьев*, История России, кн. 5, стр. 1457. Манифест был обнародован во всех городах империи.

известного серба Янковича-де-Мириево (т.-е. Мириева). Однако она не пригласила к этому делу Н. И. Новикова, усердно и бескорыстно работавшего для него по своему личному почину. Для нее Новиков был слишком независимым человеком.

«В чем состоит наш национальный характер?» — спрашивал Фон-Визин, обращаясь к «сочинителю былей и небылиц». — «В остром и скором понятии всего, в образцовом послушании и в корени всех добродетелей, от творца человеку данных», — отвечал «сочинитель» (т.-е. та же Екатерина).

Этим ответом ученицы Вольтера в значительной степени предвосхищалось то понимание нашей народности, которое заслужило одобрение Николая I, никогда никакими философиями не интересовавшегося.

И не подумайте, что Екатерина ответила так Фон-Визину под влиянием какого-нибудь мимолетнего настроения. Нет, она всегда требовала от своих подданных «образцового» послушания. А что разумела она под таким послушанием, видно из ее сказки о царевиче Февее. По приказанию своего отца, он усердно поливал сухой сучок, возражая тем, которые осмеивали его бессмысленное занятие: «Кто повелевает, тому и рассуждать; а наше дело слушаться, исполняя повеленное с покорностью, безропотно, не рассуждая того».

Вот каких образцовых подданных желала иметь Фелица!

Противоречие между теорией и практикой Фелицы перестанет удивлять нас, если мы примем во внимание, что теория была для нее не более, как средством достижения личных целей.

«Главным побуждением для ее правительственных предприятий, — правильно сказал М. Туманов, — являлось личное честолюбие, а вовсе не какие-нибудь соображения, имевшие в виду общественную и государственную пользу». Если некоторые из этих предприятий и принесли известную пользу стране, то вызваны они были единственно «желанием заставить, — как говорит тот же автор, — не только Россию, но и всю Европу провозглашать о ней восторженные похвалы. Вообще же говоря, все громкие и пышные начинания Екатерины почти никогда не доводились до конца и так же быстро проваливались, как наскоро затевались» [1]).

---

[1]) «Влияние русской литературы второй половины XVIII века», в «Сборнике отделения русск. языка и словесности Импер. Академии Наук», т. 75, стр. 9. Ср. отзыв *Державина*: «Она управляла государством и самым правосудием более по политике или своим видам, нежели по святой правде». (Сочинения, академич. издание, т. VI, стр. 626—627.) Мы имеем право прибавить к чести Державина, что

В характере Фелицы есть много черт, сближающих ее с итальянскими тиранами эпохи Возрождения: та же даровитость, та же свобода от «предрассудков»; та же способность интересоваться успехами культуры; та же упругая энергия; то же холодное самообладание; то же бессердечие; то же властолюбие и та же беспредельная неразборчивость в средствах. Говорить об ее идеалах и об ее разочарованиях — то же, что говорить об идеалах и разочарованиях какого-нибудь Людовика Моро или Цезаря Борджиа.

IX

Те русские люди, которые усвоили себе стремления передовых просветителей XVIII века, видели противоречие, существовавшее между теорией Екатерины и ее практикой, и раздражались им. Но таких было крайне мало. Огромное большинство не замечало противоречия, а если и замечало, то не видело нужды в его устранении. Оно было довольно.

«Сравнивая все известные нам времена России, — писал впоследствии Карамзин [1]), — едва ли не всякий из нас скажет, что время Екатерины было счастливейшее для гражданина Российского, едва ли не всякий из нас пожелал бы жить тогда, а не в иное время».

Под российским гражданином тут следует понимать, конечно, российского *дворянина*. Если положение трудящейся массы было тогда очень тяжелое, то дворянству жилось действительно лучше, нежели когда-либо прежде. Хотя и велико было противоречие между теорией и практикой Екатерины, но оно могло только нравиться помещикам, *поскольку означало сохранение и расширение крепостного права*. А что касается до «самовластия», то надо помнить, что, при всей своей склонности к нему, Фелица, как женщина, хорошо знавшая людей и обладавшая большим тактом, устроила дело так, что тут и волк был сыт, и овцы чувствовали себя хорошо. Она сохранила всю полноту самодержавной власти, но обращалась с дворянами уже не так, как обращались с ними прежние государи и государыни. При Анне кн. А. М. Черкасский жаловался: «Ныне опасно жить, безмерна на всех напрасная суспиция». При Екатерине безмерной суспиции уже не было, и кто не становился матушке-государыне поперек дороги, кто, согласно мали-

---

этот строгий отзыв был им сделан *после* того, как написаны были его восторженные стихотворения в честь Фелицы. Он сам говорит, что, когда он писал их, он еще не знал характера государыни.

[1]) В записке «О Древней и Новой России».

фесту «о молчании», не мешался в дела, до него не принадлежавшие, тот чувствовал себя спокойным. Екатерина умела мягко стлать. По сравнению с прежними царствованиями, даже с царствованием Елизаветы, ее царствование казалось, — опять-таки *дворянству*, — кротким и милостивым [1]). Одописец громко воспел эту перемену:

Стремятся слез приятных реки
Из глубины души людей.
О, коль счастливы человеки
Там должны быть судьбой своей,
Где ангел кроткий, ангел мирный,
Сокрытый в светлости порфирной,
С небес ниспослан скиптр носить!
Там можно пошептать в беседах
И, казни не боясь, в обедах
За здравие царей не пить,
Там с именем Фелицы можно
В строке описку поскоблить,
Или портрет неосторожно
Ее на землю уронить.
Там свадеб шутовских не парят,
В ледовых банях их не жарят,
Не щелкают в усы вельмож;
Князья наседками не клохчут,
Любимцы в'явь им не хохочут
И сажей не марают рож...
. . . . . .
Стыдишься слыть ты тем великой,
Чтоб страшной, нелюбимой быть... и т. д.

Карамзин, в цитированной мною выше записке, короче выразил ту же самую мысль: «Екатерина, — сказал он, — очистила самодержавие от примесов тиранства». Кн. М. М. Щербатов не признал бы этого без больших оговорок. Но он был гораздо требовательнее большинства

[1]) «Социальный строй государства,—говорит М. М. Богословский, весь, сверху донизу, носит печать крепостного права, так как все общественные классы были закрепощены. Самый императорский двор времен Анны и Елизаветы, устроенный по западному образцу, поражавший блеском и великолепием иностранцев, служивший проводником европейского тона в русское общество, был все-таки, в сущности, обширною помещичьей усадьбою. Обе названные императрицы были типичными русскими помещицами-крепостницами XVIII века». («Быт и нравы русского дворянства в первой половине XVIII века». «Научное Слово», Москва 1904 г., книга VI, стр. 37 — 38). Тут Екатерина с большим удобством могла выступить в либеральной роли, нимало не поступаясь неограниченной своей властью.

дворянского сословия. Большинство считало себя в самом деле освобожденным от тиранства. Перемена в обращении с ним верховной власти была естественным следствием постепенного раскрепощения служилого сословия [1]). Однако именно это обстоятельство и делало настоятельной нравственную потребность в ней.

Замечательно, что освободительная французская философия пригодилась и в деле раскрепощения русских служилых людей. Она являлась полезным духовным оружием всюду, где ставился на очередь вопрос об устранении, — хотя бы только частичном, — «крутого владания». Если идеологи русского дворянства решительно отвергали все те взгляды французских просветителей, которые были несогласимы с его привилегиями, то они, напротив, сочувственно встречали все те, которые могли быть использованы для «очищения самодержавия от примесов тиранства». Так, например, им очень нравилось то, что говорил Монтескье о различии между *европейским монархом,* апеллирующим к *чести своих подданных,* и *азиатским деспотом,* управляющим посредством *страха.* Устанавливая это различие, Монтескье высказывал уже знакомый нам взгляд Бодэна [2]). Но когда Бодэн писал свою книгу, европейская политическая литература была недоступна русскому служилому сословию, а когда Монтескье повторил мысль Бодэна, она пришлась по вкусу европеизованным элементам этого сословия. И поскольку она повторялась в «Наказе», постольку наше дворянство одобряло и должно было одобрять «Наказ».

В «Наказе» турецким странам, «где очень мало смотрят на стяжания, на жизнь и на честь подданных», противопоставляются «государства умеренные, где и самого меньшего гражданина имение и честь во уважение принимается» [3]). Раз убедившись в том, что под самым меньшим гражданином Екатерина понимает отнюдь не крепостного крестьянина, европеизованные русские дворяне могли только рукоплескать такому

---

[1]) Перемена в обращении с лицами служилого класса подсказывалась Екатерине уже одним тем обстоятельством, что она изображала свое восстание против Петра III настоящим подвигом милосердия по отношению к русским людям, страдавшим от самовластия государя. В манифесте от 7 июля 1762 г. она говорила: «Самовластие, необузданное добрыми и человеколюбивыми качествами, в Государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственною бывает причиною». Ввиду этого, ей необходимо было показать, что, «владея самодержавно», она умеет себя обуздывать.

[2]) Подобно Бодэну, Монтескье («Esprit des lois», l. XV, chap. VI) относил «московитов» к числу народов, управляемых деспотически.

[3]) См. параграфы 113 и 114 «Наказа».

противопоставлению турецких стран «умеренным государствам». Оно было равносильно обещанию ввести у нас управление, свойственное этим последним [1]).

По словам «Наказа», в умеренных государствах «не лишают никого жизни, разве когда само отечество против оныя восстанет: но и отечество ни на чью жизнь не восстанет инако, как дозволив ему прежде все способы защиты» [2]). Чего же лучше? Ведь о подобной «умеренности» управления русский служилый класс мечтал еще в московский период нашей истории. В тех подкрестных записях, которые давались некоторыми царями, речь шла именно только о государственном управлении, а не о государственном устройстве. *Права* верховной власти в них оставались попрежнему неограниченными: принимались только меры к тому, чтобы избежать *злоупотребления* этими правами. В прежнее время проекты таких мер были неосуществимы, вследствие антагонизма между разными слоями служилого класса: дворянством и боярством. А теперь, когда боярство перестало быть страшным дворянству, служилый класс общими силами всех своих слоев мог добиться известных уступок. Он чувствовал это; он хотел уступок и горячо рукоплескал всем намекам на уступки в либеральных рассуждениях императрицы.

Екатерина жеманно признавалась, что в своем «Наказе» она «обокрала» Монтескье. Не следует думать, однако, что она обкрадывала его без оглядки. Она во всем знала меру и никогда не забывала себя.

Г. Лютш правильно заметил, что, между тем как Монтескье являлся последователем ограниченной сословной монархии, «Екатерина исповедовала идеал так называемой монархии подзаконной, но бюрократической» [3]). Тут было большое различие. Однако русское дворянство не заходило далеко в своих политических требованиях. Оно готово было удовольствоваться «подзаконностью».

X

Автор комедии «О, время!» в своем письме к издателю «Живописца» (Новикову) сделал интересное «примечание» о толках, вызванных в публике вышеназванной комедией, в которой одно из действую-

---

[1]) «Дворовый не имел своего имущества, все его добро принадлежало барину; а что было менее гарантировано и прочно в XVIII веке, чем дворянское имущество, движимое и недвижимое, которое могло ежеминутно подвергнуться конфискации?» (*М. М. Богословский*, назв. ссч., стр. 41.)

[2]) Параграф 114.

[3]) Сборник «Итоги XVIII века в России», Москва 1910, стр, 16

щих лиц подвергается побоям. «Дошло до меня, — признается автор (Екатерина), — что некоторые критики за непристойно поставляют, что *господин Фирлифлюшков* за бесстыдные слова нездержание (за многократное неисполнение обещания заплатить свой карточный долг. — *Г. П.)* наказан палкою. Говорят они, что *«как, дескать, дворянина за бесчестное дело бить палкою?»* [1]). В свое оправдание Екатерина ссылалась на Уложение: «в нем господа критики найдут, чему за нездержание слова и за бездельство люди подвергаются». Но такая ссылка не могла удовлетворить дворянства, так как его новые стремления не укладывались в рамки старого законодательства. Екатерина поняла, что в подобных случаях должно и можно уступать. Жалованная грамота дворянству избавила его от телесного наказания.

Битье дворянина палкою, — хотя бы и за бесчестное дело, — бесспорно, плохо вязалось с понятием дворянской чести. Но до какой степени суживалось это понятие в головах благородных российских обывателей, показывает, например, следующее.

Герой комедии Лукина «Мот, любовию исправленный», — Добросердов, — человек легкомысленный, но совсем не злой, говорит о своем старом слуге Василии: «Хотя он мужик добрый, однако замерзелое в их роде мщение и злость остались». — Потом он убеждается, что в душе преданного ему Василия нет ни мщения, ни злости, и восклицает: «А ты, в ком я необычайную твоему роду честь вижу, не щади меня! Выговаривай, обвиняй, пристыжай и угнетай мою гордость!». — Растроганный барин хочет даже выдать вольную своему крепостному слуге, а когда тот от нее отказывается, его удивление не знает границ: «О редкая в человеке такого состояния добродетель! Ты своею честностью меня удивляешь!».

Подобные похвалы обиднее брани. Почему же растроганный Добросердов обижает своего слугу даже тогда, когда хочет похвалить его? Проф. Незеленов об'ясняет это тем, что Лукин, говорящий устами своего героя, был человеком «европейского просвещения». Это ни с чем несообразно. Благочестивый исследователь, неутомимо, но весьма неудачно разоблачающий «дурные стороны» французской просветительной философии, которой он, к слову сказать, совсем не знает, был сбит с толку тем обстоятельством, что Добросердов, — или, если хотите, Лукин, — говоря о *чести,* выдвигал идею, очевидно, заимствованную им у «человека европейского просвещения», Монтескье. Но когда двое го-

[1]) «Живописец», 1772 г., ч. I, лист 7, курсив в подлиннике.

ворят одно и то же, это не одно и то же. Под *честью* Монтескье понимал стремление к отличиям, побуждающее дворянина служить государству [1]). И это стремление противопоставлялось им вовсе не «*бесчестности*» или другим, подобным этому, «замерзелым» нравственным качествам непривилегированного сословия, а тому тупому равнодушию к почестям и отличиям, которое он считал свойственным жителям восточных деспотий [2]). Ясно, стало быть, что в голове Добросердова (Лукина) понятие о чести, несомненно заимствованное им у «человека европейского просвещения», приняло оттенок, с тогдашним европейским просвещением не имеющий ровно ничего общего. Если понятие о *чести* дворянина дополнялось у нас понятием о *бесчестности* крепостного слуги, то происходило это не от чего другого, как от закрепощения народа. Лукин, жаловавшийся на то, что русские писатели сочиняют для театра пьесы, «*не наше поведение знаменующие*», в данном случае подсказал своему герою рассуждения, «знаменовавшие» именно наш быт [3])

Если во Франции освободительная работа мысли ограничивалась пределами *буржуазного кругозора,* — тогда, в XVIII столетии, несравненно более широкого, чем теперь, в XX, — то у нас ее ограничивал *дворянский горизонт,* в то время, благодаря существованию крепостного права, еще более узкий, чем теперь. Поэтому даже и в той, крайне малой, части западно-европейских освободительных учений, которая могла быть усвоена европеизованными русскими дворянами, заметны весьма значительные «примесы» нашего домашнего «тиранства».

Соотношение общественных сил в шляхетско-самодержавной России было таково, что «тиранство» помещика над крестьянином шло рядом с «тиранством» верховной власти по отношению к помещику. Процесс раскрепощения дворянства не мог привести у нас к ограничению власти государя господствующим сословием. Владельцы крепостных душ чувствовали это и были очень скромны в своих требованиях. Они, — в огромном большинстве своем, — были довольны маленькими уступками, сделанными им Екатериной, потому что бо́льших уступок они и не требовали. Когда Екатерина распорядилась, чтобы русские обыватели в своих обращениях к верховной власти подписывались не *ра-*

---

[1]) Монтескье говорит: «La nature de l'honneur est de demander des préférences et des distinctions». («De l'Esprit des lois», l. III, chap. VII).

[2]) «Les hommes,—говорил он, — y étant tous esclaves, on n'y peut se préférer à rien».

[3]) Вспомним, как французские просветители упрекали старую французскую комедию за то, что она была несправедлива к слугам (см. предыдущую главу).

бами, а *подданными,* в нашей литературе началось ликование. В. В. Капнист, незадолго до того горько оплакивавший, — в своей «Оде на рабство», — распространение крепостного права на Малороссию, разразился одой «На истребление звания раба в России». Его восторг был так велик, что можно было подумать, будто Россия в самом деле стала свободной страной.

О, день светлее дня побед!
Царица небом ниспосланна
Неволи тяжки узы рвет;
Россия!—ты свободна ныне!—
Ликуй:—вовек в Екатерине
Ты благость Бога зреть должна:
Она тебе вновь жизнь дарует,
И счастье с вольностью связует
На все грядущи времена.

«Звание раба» в известном смысле противоречило грамоте на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства. Поэтому дворянство имело основание радоваться «истреблению» этого звания. Но радовались не одни дворяне. Ермил Костров, происходивший, как известно, из экономических крестьян, «пел» еще громче В. В. Капниста:

Рекла: не буди раб, отечества будь сын,
Герой, любитель муз, похвальный гражданин;
По долгу своему употребляй все силы,
Мне не названия, сердца мне ваши милы!
Будь добрый человек, пороков убегай
И матерью меня отныне называй...
Позволь, богиня, здесь пролить мне токи слезны!
Божественны твои слова сердцам любезны.
Но слезы радости... Скажи мне, где Твой храм?
Где жертвенник Тебе? Где милый фимиам?
В груди Россиян... [1]).

Разумеется, не г надобности быть дворянином для того, чтобы с удовольствием увидеть себя избавленным от унизительной обязанности именоваться рабом. Однако, только держась наших тогдашних дворянских понятий, легко было упустить из виду, что «истребление в России звания раба» совсем не выводило русских крестьян из их рабского положения. От разночинца Кострова как будто можно было ожидать более

[1]) «Эпистола на всерадостный день восшествия на престол Ее Имп. Вел. Екатерины II».

скептического отношения к этой реформе. Но восторги господствующего сословия заразительны.

XI

Поскольку освободительная французская философия способствовала у нас очищению самодержавия от «примесов тиранства», постольку ее влияние должно быть признано плодотворным, как бы ни были малы его размеры. Этого оспаривать не станут даже те исследователи, которые, подобно профессору Незеленову, терпеть не могут французских просветителей. Но когда речь заходит о *нравственном* влиянии названной философии на русских людей XVIII столетия, тогда дело быстро принимает другой оборот. Кроме проф. Незеленова, так очевидно враждебного так плохо знакомой ему освободительной философии, многие другие исследователи признавали, что философия *дурно* повлияла на русское общество своими «дурными сторонами». Вопрос этот заслуживает внимательного рассмотрения.

Казалось бы, что тут не о чем и спорить: раз имеет данная философия свои дурные стороны, — а какая же не имеет их? — то вполне естественно, что ими она оказывает дурное влияние на все те страны, в которые проникает. Это очень просто. Беда лишь в том, что простые соображения такого рода ровно ничего не выясняют, именно благодаря крайней своей простоте, обусловленной бессодержательностью.

Спора нет, освободительная французская философия, как и всякая другая, имела свои «дурные» стороны. Но в чем они состояли? Сколько-нибудь серьезно ответить на это может только тот, кто дал себе труд ознакомиться с нею. А вот этого труда и не дают себе многие из тех, которые говорят о ней. Поэтому они остаются в неизвестности насчет всех вообще сторон ее: как *«дурных»*, так и *хороших*. Ну, а при таком отношении к предмету чрезвычайно легко наговорить о нем вещей, не выдерживающих даже и самого легкого прикосновения критики.

Французская философия XVIII века изучается у нас чаще по немецким источникам. Известный Герман Геттнер до сих пор сплошь и рядом цитируется нашими исследователями как серьезный авторитет по части этой философии. Но, во-первых, он знал ее весьма поверхностно; во-вторых, он лишен был той смелости мысли, которая необходима всякому историку, имеющему дело с писателями революционной эпохи. Бесстрашной логике французских материалистов Геттнер часто умел противопоставить только негодование филистера. Он видел пропо-

ведь безнравственности там, где материалисты пытались решить новые теоретические задачи. Отрицательное отношение к французскому материализму XVIII века перешло от него и ко многим русским исследователям. Есть все основания думать, что, когда покойный А. Н. Пыпин называл материализм «Системы природы» «*грубым*» [1]), он следовал примеру Геттнера, а ведь он неоспоримо принадлежал к числу самых серьезных наших историков литературы. Чего же ожидать после этого от проф. Незеленова? При такой готовности без критики повторять отрицательные суждения об учениях крайних представителей освободительной философии легко было открыть в ней сколько угодно «дурных сторон» и отнести на ее счет многое из того, что совсем не имело причинной связи с нею.

Во вступительной статье к сочинениям Фон-Визина, изданным под общей редакцией П. А. Ефремова, Ал. Пятковский, справедливо указав на то, что наши писатели XVIII столетия часто не умели последовательно продумать учение французских просветителей, прибавляет:

«Если в литературных деятелях того времени мы находим так мало последовательности, то понятно, что в обыденной жизни французское влияние порождало в большом числе бригадирских сынков, Иванушек, которые болтали неосмысленные фразы о браке и отношениях к родителям, подслушанные в кругу лиц, знакомых с ходячими воззрениями французских мыслителей. В словах Иванушки об уважении к родителям отражается в комической форме мысль Гельвеция».

Тут что ни слово, то ошибка. Что такое французское влияние? Французское аристократическое общество оказывало одно влияние, а французские энциклопедисты, и вообще мыслящие представители третьего сословия, влияли совсем иначе. Какое же влияние испытал на себе, проведя некоторое время в Париже, Иванушка? Он говорит («Бригадир», действие I, явл. 3-е): «Педанты думают... что надобно украшать голову снутри, а не снаружи. Какая пустота! Чорт ли видит то, что скрыто, а наружное всяк видит». Так ли рассуждали сторонники освободительной философии? Нет, они рассуждали совсем иначе. Если нелепый Иванушка мог заимствовать у французов свои доводы против украшения головы снутри, — в чем вполне позволительно усомниться, так как нелепость доходит здесь до преувеличения, делающего ее невероятной,—то разве лишь у французских светских шаркунов, никогда не думавших

---

[1]) «История русской литературы» СПБ. 1907, т. IV, стр. 17. Ср. стр. 148, где французский материализм называется *узким*.

ни о какой философии [1]). Только у светского французского общества мог заимствовать Иванушка и свой взгляд на брак. Он признается, что постоянная жена в нем «ужас производит», и клятвенно обещает развестись со своей будущей половиной, если она окажется постоянной. Здесь перед нами как раз тот предрассудок, который был очень распространен во французской аристократии и против которого Нивелль-де-ла-Шоссэ восстал уже в 1735 г. в пьесе «Le préjugé à la mode». Просветители нимало не одобряли этого предрассудка. Расшатанности дворянской семьи они, — как сказано в предыдущей главе, — охотно противопоставляли прочность буржуазных семейных отношений. Из этого следует, что и тут совершенно ни при чем речи, будто бы подслушанные Иванушкой в кругу лиц, «знакомых с ходячими воззрениями французских мыслителей» [2]).

Об отношениях детей к родителям Иванушка, в споре со своим отцом, высказывается так: «Когда щенок не обязан респектовать того пса, кто был его отец, то должен-ли я вам хотя малейшим респектом?» [3]).

Подобно этому рассуждает Фидиппид в споре со своим отцом Стрепсиадом в комедии Аристофана «Облака». Сходство так велико, что невольно возникает вопрос, не следовал ли здесь Фон-Визин Аристофану, тем более, что он, как известно, вообще много заимствовал у иностранных писателей. Но во всяком случае А. Пятковский жестоко ошибся, сказав: «В словах Иванушки об уважении к родителям отражается в комической форме мысль Гельвеция». Они так же мало выразили *материалистическую мысль Гельвеция,* как аргументация Фидиппида выражала собою *идеалистическую мысль Сократа.*

XII

Нужно заметить, однако, что признанием «грубости» французского материализма удивительно упрощается решение вопроса о дурных сторонах освободительной философии XVIII столетия. Дурно было в ней все то, что приближалось к грубому учению, изложенному в «Системе

[1]) В стихотворении «Байрам на Севере», напечатанном в «Вечерней Заре» Н. И. Новикова, молодой франт говорит: «Не к философии дворяне родились». С ним безусловно согласился бы Иванушка.

[2]) В другом стихотворении, напечатанном в том же издании Новикова, поклоннику моды дается совет разойтись со своей женой тотчас после свадьбы, *как это водится в дворянстве.* Сотрудники Новикова лучше разбирались в вопросах этого рода, нежели А. Пятковский.

[3]) Действие III, явление 1-е.

природы». А так как сочинение это нашло в тогдашней России многих читателей, то совершенно ясно, чем могла французская философия оказать дурное влияние на русских людей того времени: распространением в их среде принципов грубого материализма. Мы знаем, что Вольтер не упускал случая оспаривать материалистов. Но и в его философском учении легко открыть весьма заметные следы материалистического влияния [1]). Поэтому и оно непременно должно было расшатывать нравственность русской читающей публики. В направлении такого вывода неустрашимее других исследователей пошел А. И. Незеленов, отнесший на счет освободительной философии, — и особенно материализма,— едва ли не все то, что не нравилось ему в русской литературе XVIII века. Французская философия вообще представлялась ему в самом непривлекательном виде. По его мнению, в ней «начало злое и ложное пересиливало свет истины» [2]).

Профессор Незеленов утверждал, что французская освободительная философия способствовала распространению в русской литературе чувственности, легкомыслия и снисходительного отношения к жизненному злу. Едва ли нужно пояснять, что не могла снисходительно относиться к жизненному злу та философия, которая сама была не чем иным, как идеологическим выражением борьбы третьего сословия с жизненным злом старого порядка. Точно так же всякий согласится, что знаменитая «Энциклопедия» отнюдь не может считаться литературным памятником легкомыслия. Принимать насмешку за легкомыслие значит смешивать педантизм с глубокомыслием. Как это превосходно сказал Маркс, — *серьезно* относится к *смешному* именно тот кто *смеется* над ним.

---

[1]) Непримиримый и весьма последовательный противник освободительной философии Жозеф де-Мэстр предлагал название «*matérialiens*» для тех философов, которые, не будучи материалистами, «слишком многое» приписывали материи и компрометировали «истинные принципы» («Examen de la Philosophie de Bacon». Bruxelles 1844, t. I, p. 263). Вольтер очень многое приписывал материи и потому несомненно принадлежал к «matérialiens».

[2]) «Литературные направления Екатерининской эпохи», стр. 46. Беспощадный обвинитель века разума, профессор Незеленов упрекал его также... в *неуважении к разуму!* Я не шучу. Излагая содержание напечатанного в одном из периодических изданий Новикова трактата о воспитании, он хвалит его автора за то, что тот не разделяет тех взглядов века, по которым ум был сущей безделицей и развитие его должно стоять на последнем плане» («Н. И. Новиков, издатель журналов». СПБ. 1875, стр. 329). Ниже мне еще придется разбирать эту изумительную путаницу понятий.

Не так обстоит дело с упреком в чувственности. Тут на первый взгляд в самом деле может показаться, что А. И. Незеленов и другие исследователи, стоящие на его точке зрения, — а имя им легион, — не совсем неправы. В романах Вольтера и в некоторых рассказах Дидро, неоспоримо, есть элемент — если не чувственности, то чего-то близкого к ней. Откуда проник он в эти произведения великих французских просветителей?

Между записками, составленными Дидро для Екатерины в бытность его в Петербурге, есть одна, в которой он шутя говорит, какие законы были бы им изданы, если бы он сделался государем. В ней он, между прочим, заявляет, что ровно ничего не имел бы против распространения в среде подданных «короля Дени» роскоши, поскольку она явилась бы плодом их экономического благосостояния. Предвидя возражения моралистов, он сам ставит вопрос: как повлияла бы такая роскошь на нравы его народа? И он дает на него замечательный ответ: «прекратились бы преступления (plus de crimes), но было бы много того, что богословие называет пороками и смертными грехами». Между этими грехами первое место отводится у него *чувственным наслаждениям* [1]).

Что это? Проповедь безнравственности? Не совсем. «Король Дени» хочет, чтобы в его государстве прекратились преступления. Ясно, что если бы осуществилось его желание, то нравственность выиграла бы чрезвычайно много. Какое же значение имеет эта готовность воображаемого государя-философа помириться с тем, что на языке богословия называлось смертным грехом и пороком? *Значение протеста против христианской морали.* И только!

В христианской морали был очень силен чуждый античным нравам *элемент аскетизма.* Как реакция против этого элемента, явился *элемент чувственности* в светской морали идеологов третьего сословия. Но далеко не всякая чувственность заслуживает осуждения. Аскетический элемент в христианской морали был отрицанием естественных и непререкаемых прав плоти. Отрицание *такого* отрицания явилось не чем иным, как *восстановлением этих прав,* составляющим одно из необходимых условий здоровой нравственности. Тому, кто считает смертным грехом всякий протест против аскетического элемента христианской морали, учение французских просветителей непременно должно представляться исполненным безнравственности. Тут все зависит от точки зрения. Но кто осуждает освободительную французскую философию за ее отри-

---

[1]) *Tourneux,* назв. соч., стр. 238—239.

цание аскетизма, тому не следует забывать, что совершенно подобным же отрицанием пропитаны были все передовые культурные стремления Западной Европы, начиная с эпохи Возрождения. Так, например, вся история искусства этой эпохи была историей борьбы эстетического идеала, подсказанного здоровой чувственностью, с идеалом, выросшим на почве болезненного христианского аскетизма.

В одном своем письме из-за границы гр. П. И. Панину Д. И. Фон-Визин заметил: «Сколько я понимаю, вся система нынешних философов (т.-е. тех же просветителей. — *Г. П.)* состоит в том, чтоб люди были добродетельны независимо от религии». Фон-Визин приписал здесь философскому учению просветителей слишком узкое содержание: его нельзя *целиком* свести к провозглашению независимости морали от религии. Но, в самом деле, оно настойчиво провозглашало эту независимость, и в этом состояла одна из важнейших его особенностей. Вполне понятно, чем она была вызвана. Идеологи сословия, вступившего в непримиримую борьбу со светской и духовной аристократией, были бы непоследовательны, если бы не постарались положить конец нравственной зависимости населения от духовенства. Не менее понятно и то, что людям, воспитанным в такой зависимости, светская мораль просветителей представлялась проповедью безнравственности. Исследователь непременно должен считаться с этим психологическим явлением, находя в литературе того времени упреки в развращенности нравов, выдвигаемые против сторонников освободительной философии.

XIII

Подобная осторожность особенно необходима при изучении русской культуры XVIII столетия. В допетровской Руси мораль была покорной служанкой религии. Петровская реформа не могла сразу положить конец такому подчинению нравственных заповедей религиозным догматам и даже обрядам. Не говоря уже о раскольничьей реакции против западного влияния, мы знаем, что уже «ученая дружина» далеко не была последовательна в своем отношении к вопросам этого рода.

Если в мышлении В. Н. Татищева господствовал светский элемент, то все-таки и Татищев не разрывал с религией. Что касается Кантемира, то хотя он, охотно и часто распространяясь о морали, ссылался не на Жития святых, как это делали московские начетчики, а на светских, — и даже на языческих, — мыслителей, однако религия сохранила огромную власть над его умом, и он уже пугался тех выводов, к которым

начинали приходить французские просветители в своей борьбе с духовенством [1]). Дидро, по всей вероятности, показался бы Кантемиру весьма опасным для нравственности безбожником. А между тем Татищев и Кантемир были самыми передовыми людьми своего времени. У людей отсталых, сравнительно с ними, московская привычка подчинять нравственность религии должна была уцелеть в гораздо большей степени. И, разумеется, не только в течение первой половины XVIII века. Правда, в эпоху Екатерины европеизованный слой русского дворянства с большим любопытством прислушивался к антирелигиозной проповеди французских просветителей. Увлечение этой проповедью отчасти стало даже делом моды. Но какая реакция следовала нередко за таким модным увлечением, видно из примера И. В. Лопухина.

На короткое время он увлекся материализмом и даже перевел, с целью пропаганды, последнюю главу второй части Гольбаховой «Системы природы» [2]). Но, едва закончив перевод, он почувствовал жгучее раскаяние, провел мучительную ночь без сна и сжег свою безбожную рукопись [3]).

Фон-Визин в молодости заразился вольнодумством, но очень скоро вернулся к религиозным верованиям и, по его собственному «чистосердечному признанию», не мог без ужаса вспомнить о своих сношениях с вольнодумцами.

Как известно, он был впоследствии разбит параличом, и вот рассказывают, что однажды, сидя в московской университетской церкви, он обратился к студентам со словами: «Возьмите меня в пример, я наказан за вольнодумство». Может быть, это и неправда, однако невероятного тут ничего нет: *взгляд на болезнь, как на кару за грех,* принадлежал к числу тех самых взглядов, против которых восставал Фон-Визин в своей молодости.

Лопухину и Фон-Визину естественно было считать безнравственными людей, переставших смотреть на религию, как на необходимую основу нравственности. Но мы сделали бы огромную ошибку, если бы

---

[1]) См. выше, кн. II, стр. 83.

[2]) Глава эта называется: «Abrégé du Code de la Nature». Лопухин назвал ее «Уставом Натуры».

[3]) Нечто подобное пережила П. Н. Татлина. Сочинения Вольтера произвели на нее сильнейшее впечатление. «Однако старые понятия не уступали новизне,— говорит она, — и по прочтении Вольтера на меня напал такой страх, что я хотела бросить книги в огонь; но они были не мои». В отличие от И. В. Лопухина, Татлина преодолела свой страх и стала разумнее относиться к опасному писателю; как утверждает она, ее сознание вступило в новую фазу развития.

без критики приняли их отзывы о таких людях. В «Чистосердечном признании» Фон-Визин говорит о своем знакомстве «с одним князем, молодым писателем», который свел его с целым кружком безбожников, проводивших время «в богохулии и кощунстве». Проводить время в богохулии и кощунстве значит проводить его в праздности, т.-е. быть человеком, не имеющим серьезного занятия. И если мы поверим Фон-Визину, то придем к тому заключению, что его вольнодумный ментор отличался, хотя, может быть, и не безнравственностью, но, во всяком случае, пустотою. С другой стороны, в одном из писем того же Фон-Визина к родным, *написанном до покаяния нашего сатирика,* тот же князь [1]) выступает перед нами человеком, имевшим серьезные умственные интересы. А по другим свидетельствам, он оказывается, кроме того, и весьма нравственным человеком. Автор «Елисея», В. И. Майков, любил молодого вольтерьянца «за его просвещенный ум и благородство его характера» [2]). Вернувшись к своим детским верованиям, Фон-Визин стал считать безнравственными не только *русских* «вольтерьянцев», но и всех передовых французов. «Д'Аламберты, Дидероты во своем роде такие же шарлатаны, каких видал я всякий день на бульваре, — говорил он в письме к гр. П. Панину из Аахена от 18/29 сентября 1778 г.: — все они народ обманывают за деньги, и разница между шарлатаном и философом только та, что последний к сребролюбию присовокупляет беспримерное тщеславие». Согласитесь, что показания *таких* свидетелей доверия не заслуживают. А ведь их немало. Как в изящной литературе того времени, так и в воспоминаниях о нем преобладает *отрицательное* отношение к вольтерьянцам. И, по справедливому замечанию В. В. Сиповского, это обстоятельство убеждает нас, что в своей массе русское общество было почти враждебно им [3]). А это значит, что в своей массе оно склонно было верить даже и таким рассказам о них, которые отнюдь не соответствовали истине.

Положим, у нас есть показания свидетелей, заслуживающих несравненно большего доверия. А. И. Герцен лично знал многих русских вольтерьянцев. Он говорит даже, что старики, с которыми приходилось ему встречаться, «были вольтерьянцами или материали-

---

[1]) Ф. А. Козловский, учившийся в Московском университете, служивший потом в Преображенском полку и убитый в Чесменском сражении.

[2]) См. вступительную статью *Л. Н. Майкова* к Сочинениям В. И. Майкова в сборнике *С. А. Венгерова*, «Русская поэзия», стр. 268.

[3]) См. ст. «Из истории русской мысли XVIII—XIX в.в.» («Русское вольтерьянство»).—«Голос минувшего», 1914, кн. 1, стр. 125.

стами, если не были масонами». И вот этот, — уже, конечно, заслуживающий внимания, — свидетель тоже находит, что философия XVIII века имела «в Петербурге» отчасти вредное влияние, в противоположность тому, что было во Франции. По его мнению, разница эта обусловливалась тем, что во Франции новое учение, освобождая человека от его старых предрассудков, внушало ему также более высокие нравственные стремления, — «делало его революционером», — тогда как у нас оно разрывало последние узы, связывавшие полудикую природу, и ничего не ставило на место старых верований, старых нравственных понятий. Русские вольтерьянцы охотно откликались на призыв к наслаждению жизнью, «но в их душу не проникал торжественный звук набата, звавшего людей к великому воскресению» [1]).

Нельзя не считаться с этим показанием. Выше, говоря о кн. Хворостинине, я уже заметил, что нравственность, умеющая ходить только на религиозных костылях, начинает хромать, когда лишается их [2]). Нет ничего невероятного в том предположении, что некоторые европеизованные русские люди пользовались новым учением, как средством для усыпления своей совести, т.-е. для оправдания перед самими собой, а иногда и перед другими, своих безнравственных поступков. Очень возможно также, что и у нас повторилось то, что происходило во Франции *значительно раньше эпохи энциклопедистов*. Привыкнув связывать в своем уме представление о нравственных заповедях с представлениями о религии и о церкви, некоторые французские «libertins» нарушали эти заповеди из-за неприязни к духовенству. «Они были безнравственны вследствие антирелигиозности», как выражается один французский исследователь [3]). Винский говорит, что между его русскими современниками распространялось несоблюдение постов и невыполнение предписанных церковью обрядов «с вольными отзывами насчет духовенства и самых догматов». Антагонизм между служилым классом и духовенством существовал еще в Московской Руси. Если тогда он мог способствовать усвоению служилыми людьми *религиозных* еретических учений, то в послепетровской России он мог содействовать усвоению некоторой, — *очень малой*, — частью благородного дворянства отрицательного отношения к *религии вообще*. А раз усвоено было такое

[1]) «Du développement des idées révolutionnaires en Russie», par *A, Iskander*. Paris 1851, p. 46—48.

[2]) См. выше, кн. I, стр. 267.

[3]) *Louis Ducros*, Les encyclopédistes. Paris 1900, p. 22—23.

к ней отношение,—неизбежно было и у нас появление безнравственности, обусловленной антирелигиозностью.

Но безнравственность этого рода остается обыкновенно весьма поверхностной: тут мы имеем дело скорее с «фанфаронами порока», нежели с его настоящими друзьями. Мы знаем, что «фанфароны порока» сплошь да рядом обнаруживали несравненно более возвышенные нравственные чувства, нежели их обличители [1]). Свойственное русскому правящему классу XVIII века «повреждение нравов», — так ярко описанное Щербатовым [2]), — обязано своим происхождением вовсе не влиянию энциклопедистов. Оно весьма сильно давало себя чувствовать еще при дворе малограмотной Екатерины I. И те же французские просветители, влиянию которых оно приписывается, выдвинули известные общие соображения, помогающие понять его происхождение. Гельвеций очень недурно выяснил причинную связь между рабством и деспотизмом, с одной стороны, и некоторыми родами разврата — с другой [3]).

Надо принять в соображение еще и то, что люди, обличавшие у нас безнравственность «вольтерьянцев», нередко сами отличались очень сомнительной нравственностью. Достаточно будет назвать Г. Н. Теплова, с которым вернувшийся на путь благочестия Фон-Визин вел назидательный разговор о вере. Известно, как много вынес Ломоносов от этого глубоко испорченного «под'ячего и плута».

В пределах тесного кругозора русского дворянства учение, развившееся при иных общественных условиях, порой принимало нелепый вид. Это было естественно. Русские последователи освободительной французской философии бывали весьма непривлекательны. Они бывали также и просто смешны. Но бывали между ними и поистине трагические фигуры. Если в их души не проникал торжественный звук набата, звавшего человечество к воскресению, то они же первые и поплатились

---

[1]) А. С. Пушкину тоже случалось, в Александровскую эпоху, выступать «фанфароном порока», но это не мешало ему быть неизмеримо благороднее, чем его строгие обличители и каратели. Кн. Хворостинин, горько сетовавший на то, что жители Московского государства «сеяли землю рожью, а жили ложью», тоже был нравственно выше своих современников, хотя, может быть, и он не чужд был «фанфаронад» и даже отчасти шатался в своих нравственных понятиях.

[2]) Да и один ли Щербатов говорил о нем? «Развращенность здешнюю описывать излишне, — говорил в 1773 г. Фон-Визин в одном из писем к своей сестре.—Я ничего у Бога не прошу, как чтоб вынес меня с честию из этого ада». Сочинения Фон-Визина, стр. 403.

[3]) «De l'Esprit», Discours III, chap. XVIII — XXI; «De l'Homme», section X, chapitre IX.

за эту глухоту, которой они страдали не по своей вине. Их понятия оставались односторонними. Но несмотря на односторонность своих понятий, они все-таки были гораздо выше окружавшей их среды. Их «тошнило» в ней, как тошнило в дореформенной Москве молодого Ордина-Нащокина и «дукса» Хворостинина. На их долю тоже выпало тяжелое *горе от ума*. И многие из них не вынесли этого горя. В 1793 г. богатый ярославский помещик Опочинин, решившись на самоубийство, писал в своем завещании: «Смерть есть не что иное, как перехождение из бытия в совершенное уничтожение... Я никакой причины не имел пресечь свое существование. Будущее, по моему положению, представляло мне своевольное и приятное существование. Но сие будущее миновало бы скоропостижно». Эти строки как будто дают повод предполагать, что в лице Опочинина мы имеем дело с человеком, потерявшим волю к жизни вследствие утраты веры в загробное существование. Отсюда можно, пожалуй, заключить, что новая философия не закаляла энергии европеизованных русских людей, а, напротив, ослабляла ее по причине их неподготовленности к усвоению некоторых научных истин. Но прочтите распоряжение Опочинина о своих книгах, — и вы увидите, что дело тут не в том.

«Книги, мои любезные книги! — писал он, — не знаю, кому оставить их. Я уверен, что в здешней стороне они никому не надобны... Прошу покорно моих наследников предать их огню... Они были первое мое сокровище; они только и питали меня в моей жизни... Напоследок, если бы не они, моя жизнь была бы в беспрерывном огорчении, и я бы давно оставил с презрением сей свет».

Тут перед нами самоубийство от полного умственного одиночества, которое является едва ли не самым страшным видом горя от ума. Самоубийца так и говорит: «А напоследок самое отвращение к нашей русской жизни есть то самое побуждение, принудившее меня решить самовольно мою судьбу».

Так древние римские стоики отворяли себе жилы, чтоб избавиться от зрелища рабства и разврата. И ведь возможно, что окружавшее Опочинина темное царство лжи и зла считало его образцом безнравственности!

Говорят, что на лицах наших вольнодумцев XVIII столетия лежал отпечаток какого-то утомления, душевного разлада. Не оттого ли это, что все они в большей или меньшей степени переживали драму, сведшую Опочинина в могилу?

Наши вольнодумцы не расслышали торжественного набата, будившего современное им цивилизованное человечество: «русский вольтерь-

янец» часто был совершенно равнодушен к политике. Однако религиозное вольнодумство, — разумеется, поскольку оно не было простым обезьянством, — в известной степени прокладывало, шевеля умы, дорогу политическому вольномыслию. «Если XVIII век был по преимуществу веком безбожия, — говорит В. В. Сиповский, — то начало XIX века, начало и 20-е годы царствования Александра I, сделались в истории нашей мысли эпохой либерализма, по преимуществу политического. Но любопытно, что у этих либералов-утопистов нет прежней дедовской веры: либерализм политический шел у них рука об руку с религиозным» [1]).

Это требует известного ограничения: не все либералы Александровской эпохи были религиозными вольнодумцами. Но многие из них действительно пришли к политическому свободомыслию через философию XVIII века и именно через материализм, как это убедительно показал покойный Павлов-Сильванский. Типичными носителями передовой мысли двадцатых годов XIX века явились, по его справедливому мнению, «политики и материалисты, воспитанные на французской литературе века просвещения» [2]).

Это еще не все. Мы скоро увидим, что уже и в XVIII столетии те русские люди, которым пришлось (не по недоразумению) пострадать за свои передовые политические взгляды, воспитались на освободительной французской философии.

Но и это не все. Мы уже видели выше, что эта идеология третьего сословия оказалась весьма пригодным духовным оружием даже в процессе раскрепощения нашего служилого класса. А если ко всему этому прибавить, что ей обязана русская литература века Екатерины решительно всем, что проникло в нее человечного, возвышенного, благородного, то нетрудно будет составить себе понятие о том, в какой огромной степени *положительная* сторона тогдашнего французского влияния была *важнее отрицательной* [3]).

---

[1]) Назв. статья, «Голос минувшего», 1914, кн. 1, стр. 126—127.

[2]) См. его превосходную статью «Материалисты двадцатых годов», напечатанную первоначально в «Былом» (июль 1907 г.), а потом вошедшую во второй том его сочинений.

[3]) К какому времени жизни А. И. Герцена могли относиться встречи его со стариками, воспитанными на французской философии XVIII века? Ясно, что главным образом к его молодости. Но в его молодости у него были годы мистического увлечения. В эти годы его, естественно, должны были раздражать взгляды старых «вольтерьянцев». Его двоюродный брат, которого называли *химиком*, как видно был материалистом во вкусе XVIII века. Герцен прямо говорит (в «Былом

В. В. Сиповский привел в цитированной мною статье немало данных, могущих служить для правильной оценки этого плодотворного влияния. Однако и он заимствовал «у французского историка Мориссона» крайне пристрастную, — в *отрицательном* смысле, — характеристику вольтерьянства. Замечу мимоходом, что историк, на которого он ссылается, в действительности есть не Мориссон, а Нуриссон (Jean-Felix Nourisson) [1]), и принадлежит к числу французских консерваторов нынешнего времени, не могущих простить великим просветителям XVIII века их революционной роли в истории умственного развития Европы [2]). Не везет у нас «вольтерьянцам»!

XIV

Французская просветительная философия учила, что человек, по своей природе, не добр и не зол, а делается добрым или злым под влиянием общественной обстановки. Отсюда сам собою следовал тот вывод, что надо сделать эту обстановку как можно более разумной, т.-е. как можно более соответствующей интересам народа. Поэтому старый порядок был признан неразумным, подлежащим устранению. Руссо и его единомышленники рассуждали, правда, не совсем так. Они безусловно признавали естественную доброту человеческой природы. Но в практическом отношении это сводилось к тому же самому: чтобы предупредить или, по крайней мере, ослабить искажение человеческой природы, нужно было решительно устранить недостатки общественного устройства.

Во Франции этот вывод соответствовал настроению третьего сословия, которое вскоре и принялось за его практическое осуществление. У нас, как мы знаем, еще не было в то время такого сословия, настроению которого соответствовало бы революционное учение передовых французов о человеческой природе. Вследствие этого названное учение, будучи перенесено на русскую почву, непременно должно было претерпеть существенное изменение. Это мы и видим на самом деле.

и думах»): «Меня возмущает его материализм». Но замечательно, что,—как видно из слов самого Герцена, — «химик» обращался со своими крепостными лучше, нежели другие владельцы крепостных душ. Впоследствии Герцен совсем отделался от мистицизма, но старые впечатления оставили свой след на некоторых его отзывах о влиянии французской философии на Екатерининскую Россию.

[1]) См. его книгу «Voltaire et le voltairianisme», Paris, P. Lethilleux (avant-propos помечено 1896 годом).

[2]) У Нуриссона есть не менее ненавистническое сочинение и о Руссо «J.-J. Rousseau et le rousseauisme». Paris 1903.

Если человек становится дурным или хорошим в зависимости от испытанных им влияний, то ясно, что его характер определяется воспитанием. Передовые французы XVIII века приписывали воспитанию огромное значение. «L'éducation peut tout» (воспитание все может), — писал Гельвеций. У нас эта мысль чрезвычайно охотно повторялась Екатериной и теми общественными деятелями, которые призваны были проводить в жизнь ее взгляды. «Ясно, что корень всему злу и добру воспитание», — писал Бецкий. Это, как видим, совершенно то же, что говорили французские просветители. Но далее возникает вопрос: что нужно для хорошего воспитания молодого поколения?

По мнению Бецкого, достигнуть этого «не инако можно, как избрать средства к тому прямые и основательные, т.-е. произвести сперва способом воспитания, так сказать, новую породу, или новых отцов и матерей, которые детям своим те же прямые и основательные воспитания правила в сердце вселить могли, какие они получили сами, и от них дети передали бы паки своим детям и так следуя из родов в роды в будущие века». С этой целью и заводились правительством Екатерины II разные, — впрочем, весьма немногочисленные, — воспитательные заведения.

По поводу только что приведенного мною рассуждения Бецкого о воспитании В. В. Каллаш заметил: «В этой тираде вся новая теория, как на ладони, со всеми ее сильными и слабыми сторонами. Искреннее желание общего блага, патриотическое стремление поднять нравственный уровень отечества — и наивность приемов, юный оптимизм. Казалось таким легким создание новой породы людей» [1]).

С этим нельзя согласиться. В тираде Бецкого далеко не вся новая теория с ее сильными и слабыми сторонами. В ней именно отсутствуют ее *сильные* стороны.

Создание новой породы людей представлялось французским просветителям совсем не таким легким делом, каким изобразил его Бецкий. В доказательство можно сослаться на того же Гельвеция.

Он писал, что существует *двоякое* воспитание: во-первых, воспитание детей (celle de l'enfance); во-вторых, воспитание юношей (celle de l'adolescence). Первое дается школой; второе — окружающей юношу общественной жизнью или, — как говорит наш философ, — формой правительства и народными нравами, при чем эти последние, в свою

---

[1]) *В. В. Каллаш*, Очерки по истории школы и просвещения. Москва 1902, стр. 134.

очередь, определяются политическим строем. Если второе воспитание противоречит первому, то оно совершенно подрывает его влияние.

«Предположим, что я с детских лет внушал моему сыну любовь к отечеству и что я приучил его связывать свое счастье с совершением добродетельных, т.-е. полезных большинству населения, поступков. Но если, при своем вступлении в свет, мой сын увидит, что патриоты живут в презрении, бедности и угнетении; если он узнает, что, будучи ненавидимы высокопоставленными богатыми людьми и пользуясь дурной репутацией в городе, добродетельные граждане, кроме того, лишаются доступа ко двору, этому источнику милостей, почестей и богатств (бесспорно составляющих положительное благо), то можно прозакладывать сто против одного, что он увидит во мне лишь нелепого болтуна и сурового фанатика; что он станет презирать мою личность, что это презрение распространится также на мои правила и что он предастся всем тем порокам, распространению которых содействует форма правительства и нравы его соотечественников» [1]).

По мнению Гельвеция, в деспотической Турции нечего было бы и заикаться о хорошем воспитании. Правда, существуют деспотические правители, расточающие похвалы умеренности мудрецов и доблести древних героев. Но эти похвалы никого не обманут, так как всем известно, что эти правители говорят одно, а думают другое. В странах, ими управляемых, тоже невозможно возлагать никаких надежд на воспитание, получаемое в семье и школе [2]).

Если мы примем в соображение, что Екатерина II целиком принадлежала к числу тех правителей, дела которых противоречили их словам, то нам станет ясно, что Гельвеций решительно отказался бы разделить радужную уверенность Бецкого в возможности создания новой породы людей в тогдашней России. Согласно учению Гельвеция, всякая серьезная реформа нравственного воспитания *предполагает* такое же серьезное преобразование законов и форм правления [3]). А так как на преобразование русского государственного строя тогда не могло быть никакой надежды, то Гельвеций не только не заразился бы оптимизмом Бецкого, но, напротив, высказал бы совершенно пессимистический взгляд на наше положение. Вспомним, что он даже на положение Франции смотрел глазами пессимиста. Конечно, не все французские просветители были так последовательны, как он. Непоследовательность мысли позволяет иногда

[1]) Oeuvres complètes d'Helvetius, Paris 1818, t. II, 595—596.

[2]) Там же, стр. 596—597.

[3]) Там же. стр. 598.

питать розовые надежды даже там, где теория подсказывает мрачные умозаключения. Но все-таки неоспоримо, что все французские просветители считали политическую и общественную реформу необходимым *предварительным* условием реформы педагогической.

XV

Мы видели, что в рассуждениях Бецкого о создании новой породы людей не было и намека на необходимость государственной реформы. Не было намека на эту необходимость и в рассуждениях огромнейшего большинства тогдашних русских просветителей. Когда они говорили о воспитании, они всегда имели в виду именно *только* семейное и школьное воспитание. Гельвеций сказал бы, что они всегда рассуждали только о воспитании *детей* и не касались воспитания *юношей*. Но если они не касались воспитания юношей, то от этого дети не переставали постепенно превращаться в молодых людей, а характер молодых людей не переставал складываться под влиянием окружающей их общественной среды. Русские просветители не могли отрицать правильности того вывода из учения французских философов о человеческой природе, согласно которому характер человека становится хорошим только там, где хороша общественная обстановка. Разделяли они и тот взгляд, что хороша лишь та общественная обстановка, которая самой организацией своей убеждает отдельных лиц в солидарности их частных интересов с интересами целого. По учению французских философов, такой общественной обстановки еще не существовало даже в самых передовых странах цивилизованного мира. Речь шла именно о том, чтобы создать ее посредством общественной и политической реформы. Стремление к такой реформе и составляло революционную сущность французской освободительной философии.

В своем огромнейшем большинстве русские просветители не разделяли этого стремления. Они еще не пришли к той мысли, что русская действительность нуждается в коренной переделке. Спрашивается, каким же образом могли они надеяться на то, что окружающая русского обывателя общественная среда будет убеждать его в тождестве его частных интересов с интересами целого? На этот вопрос отвечает Фон-Визин в 1-м явлении V действия своего «Недоросля».

Правдин высказывает там то мнение, что люди становятся несчастными по своей собственной вине: вследствие своего развращения; но ему хотелось бы знать те способы, которые могли бы сделать людей до-

брыми. Стародум, перебивая Правдина, высказывает на этот счет следующее категорическое убеждение.

«Они (т.-е. способы. — *Г. П.)* в руках государя. Как скоро все увидят, что без благонравия никто не может выйти в люди; что ни подлой выслугой и ни за какие деньги нельзя купить того, чем награждается заслуга; что люди выбираются для мест, а не места похищаются людьми, — тогда всякий найдет свою выгоду быть благонравным и всякий хорош будет».

Как видите, в голове Стародума вопрос решался несравненно проще, нежели в головах французских философов. Если эти последние обращались к просвещенным государям, то они ждали и требовали от них серьезных реформ (пример: советы, данные Дидро Екатерине). Реформы эти должны были связать личный интерес каждого отдельного гражданина с общим интересом страны. Стародум гораздо умереннее в своих требованиях. Он желает только того, чтобы государь не выводил «в люди» тех из своих слуг, которые лишены «благонравия». Когда государь станет неуклонно следовать этому прекрасному правилу, тогда всякий будет хорош, потому что всякий найдет, что выгодно быть благонравным. И Стародум убежден, что государь может с большим успехом последовать указанному правилу. «Поверь мне, друг мой, — говорит он, — где государь мыслит, где знает он, в чем его истинная слава, там человечеству не могут не возвращаться его права; там все скоро ощутят, что каждый должен искать своего счастья и выгод в том одном, что законно».

В голове Стародума взгляды французских просветителей совершенно утратили свое революционное содержание и приобрели консервативный характер. Такой же характер получили они и в голове собеседника Стародума, — тоже весьма симпатичного автору, — Правдина. «Надобно действительно, — говорит Правдин, — чтоб всякое состояние людей имело приличное себе воспитание». В противность тому, что мы видели у Гельвеция, воспитание не только не предполагает здесь коренной общественной реформы, но, напротив, вполне приспособляется к существующему порядку вещей.

Когда Фон-Визин задумал издавать (в 1788 г.) журнал «Друг честных людей или Стародум», он, в «Письме к Стародуму», так об'яснил выбор этого заглавия: «Я должен признаться, что за успех комедии моей: *Недоросль* одолжен я вашей особе. Из разговоров ваших с Правдиным, Милоном и Софьею составил я целые явления, кои публика и доныне с удовольствием слушает». — Публика слушала их даже охот-

нее, чем смотрела те сцены, в которых сказывался несомненный и большой сатирический талант он-Визина. Это показывает, что большинство европеизованных россиян разделяло взгляды Стародума и Правдина. А раз это было так, то неудивительно, что наша тогдашняя литература вообще и наша тогдашняя сатира в частности сама отличалась, за немногими исключениями, большим «*благонравием*». Сатирические журналы 1769 — 1779 г.г. восставали, — и иногда довольно смело, — против некоторых отдельных явлений русской общественной жизни, повидимому даже не подозревая, что явления эти находились в неразрывной связи с самыми глубокими основами тогдашнего порядка вещей. Возьмем пример.

Лучшие из сатирических журналов бичевали жестоких помещиков. В «Трутне» Н. И. Новикова выведен некий г. Безрассуд, твердо убежденный, что крестьяне не люди, а только крестьяне. Видя, как его крепостные кланяются ему, «по восточному», в ноги, он думает: «*Я господин, они мои рабы, они для того и сотворены, чтобы, претерпевая всякие нужды, и день и ночь работать и исполнять мою волю исправным платежем оброка: они, памятуя мое и свое состояние, должны трепетать моего взора.* В дополнение к сему прибавляет он, что точно о крестьянах сказано: *в поте лица своего снеси хлеб твой*» [1]).

Не лучше Безрассуда и его превосходительство г. Недоум, которого немедленно начинает трясти лихорадка, как только в его присутствии кто-нибудь «упомянет о мещанах или крестьянах: он их в противность моднова наречия не удостаивает ниже имени подлости, а как их называть, того еще в пятьдесят лет бесплодной своей жизни не выдумал» [2]).

В листах XXVI и XXX «Трутня» за тот же год напечатаны «Отписки» одного старосты к помещику и помещиков указ к крестьянам, превосходно изображающие положение тогдашних крепостных. Сатирик заставляет старосту сообщить помещику о телесном наказании на сходе и об оштрафовании пятью рублями крестьянина Антошки за то, что тот, в своей челобитной к помещику, назвал его отцом, а не господином. «Он сказал, — прибавляет староста, — *я де это сказал с глупости* и на предки он тебя, государя, отцом называть не будет» [3]).

В «Живописце» того же Новикова напечатан был замечательный отрывок из «Путешествия в И*** Т***». Подводя итоги своим путевым впечатлениям, автор отрывка писал: «*Бедность* и *рабство* повсюду встре-

[1]) «Трутень», 1769, лист XXIV. Курсив подлинника.

[2]) Там же, лист XXIII.

[3]) «Трутень», лист XXVI.

чалися со мною во образе крестьян. Непаханные поля, худой урожай хлеба возвещали мне какое помещики тех мест о земледелии прилагали рачение. Маленькие покрытые соломою хижины из тонкого заборника, дворы огороженные плетнями, не большие *адоньи* хлеба, весьма малое число лошадей и рогатого скота, подтверждали сколь велики недостатки тех бедных тварей, которые богатство и величество целого государства составлять должны» [1]). Это напоминает знаменитое «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. И мы знаем, что отрывок этот в свое время произвел сильное впечатление на читателей. Новикову сообщали, что «многие наша братья дворяне пятым вашим листом (т.-е. тем, в котором напечатан был отрывок. — *Г. П.)* не довольны». Другие читатели, напротив, «за оной же лист» хвалили Новикова [2]). Однако продолжения «Путешествия» не появилось: как видно, начальство приняло против его печатания свои меры.

Новиков оправдывается тем, что автор «Путешествия» нападает не на целый «дворянский корпус», а только на дворян, власть свою во зло употребляющих. Этому мало верили тогда и мало верят до сих пор.

Некоторые исследователи утверждают, что Новиков был против крепостного права в его целом, а не только против злоупотреблений помещичьей властью [3]). Возможно, что в глубине души Новиков действительно осуждал крепостное право, как таковое. Однако печатно он осуждал именно только дурных помещиков. Говорят, что это происходило по причине слишком хорошо известных у нас «независящих от редакции обстоятельств». Это тоже возможно; но и это остается недоказанным. Более того, есть основание думать, что не только впоследствии, сделавшись мистиком, но и в эпоху издания «Трутня», «Живописца» и «Кошелька» Новиков не доходил до принципиального осуждения крепостного права. Нас не должны вводить в ошибку часто встречающиеся в этих журналах рассуждения на ту тему, что «крестьяне такие же человеки». Ведь и Сенека писал, что рабы такие же люди, как их господа [4]), а между тем против рабства, как общественного учреждения, он нигде не высказывался. Кроме того, исследователи, приписывающие Новикову принципиальное осуждение крепостного права, не обращают

---

[1]) «Живописец» на 1772 г., лист 5-й. Курсив подлинника.

[2]) Там же, лист 13-й.

[3]) Ср. *Незеленов,* Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769—1774. СПБ. 1875, стр. 153 и след.

[4]) См. его знаменитое письмо к Луцилию о том, что следует человечно обращаться с рабами.

внимания на весьма важный литературный документ, напечатанный в 6-м листе «Кошелька» (1774 г.) Я имею в виду одноактную комедию «Народное игрище».

В ней, как бы в назидание злым помещикам, изображается добрый барин Толстосум, «отец, а не господин». Один из подданных этого доброго барина говорит, что сердце радуется, смотря на его крестьян, и прибавляет, как общее правило, что «ежели у доброва помещика крестьянин беден, так он на себя должен пенять: либо он ленивец, или пьяница». Это, кажется, довольно далеко от принципиального осуждения крепостного права. Но это еще не все. Тот же верный крепостной слуга доброго Толстосума высказывает следующее, весьма назидательное и в то же время очень характерное, соображение: «Честной слуга, не только что угождать господину, но должен иногда представлять ему с учтивостию о его непорядках. Доброй господин никогда за ето не прогневается, а хотя сперва и осердится, так ето не надолго: после сам признается. Я ето много раз испытал, представляя старому барину; и за то-то он меня ото всех отменно и жалует».

Заметьте, что комедия «Народное игрище» предназначалась для зрителей *из народа* и, по мнению издателя «Кошелька», должна была принести им *пользу*. Однако только что приведенное соображение могло быть «полезно» разве только в смысле защиты крепостного права, как такового.

Другой крепостной Толстосума, лакей его сына Василий, сообщает, что крестьяне очень любят старого помещика, «а по нем и молодова барина также любят, хотя он им ни какова еще добра не сделал». Но тот же Василий, принимая участие в кутежах своего молодого господина, очень опасается, что о них узнает старый барин. «Как он до нас ни милостив, только спине моей за ето отвечать будет: и мне после етова гулянья такое будет похмелье, что и в год незабудешь». Отсюда видно, что идеальный помещик Толстосум, заботясь о благонравии своих крепостных, не чуждался и весьма чувствительных телесных наказаний.

Правда, разбираемая комедия написана была *не Новиковым*. В. П. Семенников считает вероятным, что ее написала, по желанию Екатерины, княгиня Е. Р. Дашкова [1]). Однако Новиков не только напечатал ее, но предпослал ей несколько вполне сочувственных замечаний. Поступил ли бы он так, если бы не разделял основной мысли присланной

[1]) «Русские сатирические журналы 1769—1774 г.». СПБ. 1914, стр. 58.

ему комедии? А ведь мысль эта, без всякого сомнения, сводится к тому, что барин должен и может с успехом заботиться о своих крепостных крестьянах, а крепостные крестьяне должны и могут искренно любить своего барина: тут нет ровно ничего общего с мыслью о крестьянской эмансипации.

Что в эпоху издания «Трутня», «Живописца» и «Кошелька» Новиков был одним из самых передовых русских людей, это совершенно неоспоримо. Но как умеренны были взгляды этого, тогда еще весьма передового человека, видно из его отношения к вопросу о свободе печати. Подобно всем своим европеизованным современникам, Новиков восхищался тем, что Екатерина дала своим подданным свободу мыслить и говорить. Как журналист, он был ex professo заинтересован в возможно большем расширении пределов этой свободы. Но ему и в голову не приходило, что можно совсем отменить цензуру. По его мнению, спокойствие государства и безопасность граждан требуют, «чтобы не дозволено было издавать книги опровержениями Божия закона наполненные, самодержавию и отечеству противные, також сочинения язвительные и соблазнительные, могущие повредить сердце и душу молодых людей, или привести невинность на злодеяние». Люди, пишущие такие сочинения, недостойны носить имя авторов или, как выражается Новиков, творцов, а должны считаться «вредительными гадинами». Чтобы предохранить общество от вредного влияния подобных «гадин», правительство должно «свидетельствовать» вновь выходящие книги, при чем первая роль в деле их освидетельствования отводилась у Новикова *духовным* цензорам [1]). Если мы примем в соображение, что Новиков был, вероятно, наиболее независимым и, наверно, самым благородным человеком между издателями русских сатирических журналов, то мы убедимся, что требования наших тогдашних сатириков в самом деле были весьма скромными. Тем не менее лучшим из них пришлось встретить на своем литературном пути непреодолимые препятствия.

Первым по времени сатирическим журналом (1764 г.) была, как известно, «Всякая Всячина», которая издавалась Г. В. Козицким по желанию и под руководством самой Екатерины. В одном из номеров этого журнала появилось восторженное похвальное слово по адресу печати: «О печать! конечно, сам Бог просветил того человека, кто тебя выдумал! Тобою сохраняются описания великих дел человеческих, тобою летают мысли человеческие от востока до запада, от полудня до полуночи; ты

[1]) «Живописец» на 1772 г., лист 20-й.

истребляешь вредные роду человеческому предрассуждения; тобою открывается истинна; тобою из примеров научаются цари царствовать, министры охранять отечество, полководцы искуству воинскому, судьи разысканию правды. Колико споспешествуешь ты людям ко благополучию!» и т. д. Но в данном случае, как и во всех прочих, практика Фелицы шла вразрез с ее теорией.

Принимая на себя руководство «Всякой Всячиной» и поощряя издание других журналов, Екатерина, как видно, льстила себя той надеждой, что русская периодическая печать ограничится усердным воспеванием славы новой государыни. Но как ни скромны были наши тогдашние журналисты в своих общественных стремлениях, они все-таки гораздо серьезнее поняли свою задачу. Они считали себя в праве *критиковать,* между тем как Фелица считала их обязанными *восторгаться.* Отсюда, естественно, возник разлад, тяжело отразившийся на судьбе сатирических журналов.

Уже во втором листе «Трутня» за 1769 г. напечатано было письмо одного воеводы к своему племяннику, избегавшему приказной службы. «По чему она тебе противна? — недоумевал заботливый дядюшка. — Ежели ты думаешь, что она по нынешним указам ненаживна, так ты в етом, друг мой, ошибаешься. Правда, в нынешние времена против прежнего не придет и десятой доли, но со всем тем, годов в десяток можно нажить хорошую деревеньку. Каковож наживочно бывало прежде, сам рассуди, нынешние указы много у нас отняли хлеба!»

Екатерина увидела в этом письме личную обиду, и ее «Всякая Всячина» немедленно начала кампанию против «Трутня».

Журнал «ученицы Вольтера» доказывал, что суды и судьи вовсе не так плохи, как думает автор цитированного мною письма, и что хотя приказные в самом деле берут иногда взятки, но виноваты в этом не столько они, сколько сами просители. «Подлежит еще и то вопросу, — писала «Всякая Всячина», — если бы менее было около них искушателей, не умалилася ли бы тогда и на них жалоба». Это неожиданное и поистине оригинальное соображение вызвало резкий отпор со стороны других журналов.

В «Смеси» появилось письмо, едко осмеивавшее «бабушку» [1]) за ее защиту под'ячих... Бабушка говорила, что лучше поменьше тягаться и почаще решать дела миром. «Смесь» возражала, что это всякому из-

---

[1]) Так называли «Всякую Всячину» потому, что она стала выходить раньше всех других журналов.

вестно и что никто не станет тягаться по пустякам. Если бы все были добросовестны и все подчинялись бы закону, то не было бы нужды ни в судах, ни в судьях. Но в действительности без судов обойтись нельзя, и потому следует добиваться, чтобы под'ячие строго исполняли свои обязанности. «Пожалуйста, — говорил автор письма, обращаясь к редактору «Смеси», — откажитесь от бабушки, которая ныне сказывает простые сказки и тем самым изображает слабости своего разума» [1]). «Адская Почта» напоминала бабушке о всеми уважаемых сатириках древности и ставила ей на вид, что сатира существует именно для осмеяния пороков. Это замечание направлялось против той мысли «Всякой Всячины», что надо иметь человеколюбие и снисхождение к человеческим слабостям. «Добросердечный сочинитель, — проповедывала бабушка, — из редка касается к порокам, чтобы тем под примером каким не оскорбити человечества, но располагая свои другим наставления, поставляет пример в лице человека украшенного различными совершенствами, то есть добронравием и справедливостью, описывает твердого блюстителя веры и закона, хвалит сына отечества, пылающего любовию и верностию к государю и обществу, изображает миролюбивого гражданина, искреннего друга, верного хранителя тайны» и т. д. [2]).

Здесь едва ли не впервые выдвинуто было в русской литературе всем нам хорошо знакомое учение охранителей о том, что лучше выставлять положительные типы, нежели отрицательные. Как это много раз повторялось и впоследствии, орган ученицы Вольтера утверждал, что склонность авторов к изображению отрицательных сторон действительности обусловливается отсутствием *доброты* в их сердце. Отвечая некоему «Правдулюбову», выступившему против нее в пятом листе «Трутня», «Всякая Всячина» писала: «Добросердечие его не понимает, чтобы где нинаесть быть могло снисхождение; а может статься, что и ум его не достигает до подобного нравоучения. Думать надобно, что ему бы хотелось за все да про все кнутом сечь. Как бы то ни было, отдавая его публике на суд, мы советуем ему лечиться, дабы черные пары и желчь не оказывалися даже и на бумаге, до коей он дотрогивается» [3]). На самом деле Правдулюбову тем меньше нужно было лечиться, что в его взгляде на предмет спора не было и следа жестокости. Он был совершенно прав, говоря, что жестоким является не тот, кто

[1]) «Смесь», лист 11-й.

[2]) «Всякая Всячина», 1769 г., новое издание редакции журнала «Будильник», Москва 1893, стр. 48.

[3]) Там же, стр. 39.

восстает против беззакония, а тот, кто мирится с ним. «Многие слабой совести люди, — писал он, — никогда не упоминают имя порока, не прибавив к оному человеколюбия. Они говорят, что слабости человекам обыкновенны, и что должно оные прикрывать человеколюбием; следовательно они порокам сшили из человеколюбия кафтан; но таких людей человеколюбие приличнее называть пороколюбием. По моему мнению больше человеколюбив тот, кто исправляет пороки, нежели тот, который оным снисходит или (сказать по Руски) потакает» [1]).

Что орган Фелицы готов был потакать порокам, это совершенно очевидно. Однако происходило это вовсе не потому, что он будто бы поддался влиянию «материализма и отрицания», — как это думал догадливый А. И. Незеленов [2]), — а по совершенно другой причине.

Три недели спустя по своем восшествии на престол, Екатерина обнародовала манифест о лихоимстве, изображавший это застарелое зло русской общественной жизни такими яркими красками, какими не описывал его, пожалуй, ни один из сатирических журналов ее времени [3]). Но манифест, именно потому, что был опубликован вскоре после воцарения новой государыни, являлся упреком *предыдущему* царствованию, между тем как нападки, сыпавшиеся на лихоимцев со стороны сатирических журналов, начавших выходить после того, как эта государыня процарствовала уже пять лет, могли быть поняты как *упрек ей самой*. Так и поняла их Екатерина. Тщеславная выше всякой меры, она хотела, чтобы ее подданные всерьез принимали уверения одописцев насчет всеобщего благополучия, будто бы установившегося у нас после ее воцарения. Впоследствии, в «Собеседнике любителей Российского слова» (1783 г.) она осмеивала, как ветхозаветных чудаков, тех, которые

---

1) «Трутень», лист V.

2) «Литературные направления в Екатерининскую эпоху», стр. 78—80.

3) «Мы уже от давного времяни слышали довольно, а ныне и делом самым увидели, до какой степени в государстве Нашем лихоимство возросло, так что едва есть-ли малое самое место правительства, в котором бы божественное сие действие (суд) без заражения сей язвы отправлялося. Ищет-ли кто место, платит; защищается-ли кто от клеветы, обороняется деньгами; клевещет-ли на кого кто, все происки свои хитрые подкрепляет дарами. Напротиву того, многие судящие освященное свое место, в котором они именем Нашим должны показывать правосудие, в торжище превращают, вменяя себе вверенное от Нас звание судии бескорыстного и нелицеприятного за пожалованный будто им доход в поправление дому своего, а не за службу приносимую Богу, Нам и отечеству и мздоимством богомерзким претворяют клевету в праведный донос, разорение государственных доходов в прибыль государственную, а иногда нищего делают богатым, а богатого нищим» (*В. А. Бильбасов*, История Екатерины II. т. II, стр. 190.)

полагали, что в России еще не истреблено взяточничество. От имени автора «Былей и Небылиц» она выводила одного из подобных чудаков в лице старого друга дедушки этого автора. Этот старик охотно читал книги, но, во-первых, имел слабость без критики принимать все, что говорят сочинители, а во-вторых — «мысли и понятия о вещах, кои сорок лет назад имел, и теперь те же имеет, хотя вещи в существе весьма переменились... Поныне еще жалуется на несправедливость воевод и их канцелярий, коих однако уж ни где нет». Таким образом, Екатерина уверяла читателей «Собеседника», что жаловаться на несправедливость органов управления и суда могли только очень отсталые люди. «В свое время сей человек слыл смышленым и знающим, — писала она о недовольном старике, — но как ныне вещи переменились и смысл распространился, а его понятие отстало, он же к тому понятию привык и далее не пошел, то о настоящем говорит он, как говаривал сорок лет назад о тогдашнем».

В то время, когда выходил «Собеседник», в самом деле уже не существовало ни воевод, ни их канцелярий [1]). Однако число лихоимцев от этого нимало не уменьшалось. Это известно было всем и каждому. Но Екатерина не желала об этом и слышать. Она была как нельзя более довольна собою. От имени дедушки автора «Былей и Небылиц» она настойчиво твердила: «Припомните мои слова; все теперешние пороки ничего не значут; они схожи на стекающее полноводие; вода же, пришед в прежние границы и берега свои, воз'имеет течение естественнее прежнего».

Когда Фон-Визин, превознеся литературный талант Екатерины, посоветовал ей, — т.-е. собственно тому же автору «Былей и небылиц»,— хлестнуть сатирическим бичом бессовестных судей, она отвечала за этого автора: «В Быле и Небылице гнусности и отвращение за собой влекущее не вмещаемо; из оных строго исключается все то, что не в улыбательном духе, и не по вкусу Прародителя моего, либо скуку возбудить могущее, и наипаче горесть и плач разогревающие Драмы. Ябедниками и мздоимцами заниматься не есть наше дело; мы и Грамматику худо знаем, где нам проповеди писать!»

Произведения «в улыбательном духе» нравились Фелице несравненно больше, нежели «гнусности» и «скука» сатиры. Но так как совершенно обойтись без сатиры было невозможно, то Екатерина пред'явила

[1]) Прежде воеводы стояли во главе провинций, но «Учреждение для управления губерний», разделившее губернию прямо на уезды, уничтожило ее разделение на провинции.

к ней, во-первых, уже известное нам требование будто бы человечного отношения к порочным людям, а во-вторых, — и это было вполне естественным дополнением первого требования, — она желала, чтобы сатира не касалась отдельных лиц. Наоборот, Новиков в своих первых сатирических изданиях доказывал необходимость «критики на лицо». Это опять весьма знаменательное разногласие.

Как понимал «критику на лицо» издатель лучших сатирических журналов 1769—1774 г.г.?

Я думаю, что это лучше всего можно пояснить примером.

В двадцать пятом листе «Трутня» за 1769 г. рассказана история некоего Пролаза, бывшего «человеком чиновным и непоследнем мотом». Задолжав деньги одному купцу, он вот что придумал для избежания уплаты.

«Случилося им быть вместе в гостях, купец подпил и *Пролаз* не упустил ево по разгорячить, что он ему денег не отдаст, и что ежели он будет и просить на него, так ничево не сыщет. Купец после сего Пролаза выбранил; а *Пролаз* ничево ему не отвечая сказал *милости прошу прислушать*, и на другой день подал челобитную. На конец вместо бещестия взял обратно свой вексель с надписью, что по оному деньги получены, да для наступившей зимы, супруге своей не худой на шубу мех. Пролаз долгом поквитался, а купец за то, что плута назвал бездельником, потерял свои деньги».

Новиков был убежден, что осмеяние порока уменьшает его силу больше, нежели нравоучение, подчас вызывающее одну скуку. Но если сатирик ограничивается осмеянием данного порока в его общем виде, то ни одно из лиц, этим пороком зараженных, не отнесет осмеяние на свой собственный счет: всякий подумает, что речь идет о ком-то другом. Поэтому нужно сделать намек, благодаря которому данное порочное лицо поняло бы, что автор говорит именно о нем, а не о ком-нибудь из его ближних. «Я утверждаю, — писал Правдулюбов, изобразивший выше указанный подвиг чиновного *Пролаза,* — что критика, писанная на лицо... больше может исправить порочного». Но и тут следует поступать очень осторожно: надо, чтобы намек, направленный по адресу того или другого лица, служителя порока, оставался не для всех понятным. «Впротивном же случае, естьли лицо так будет означено, что все читатели ево узнают, тогда порочный не исправится, но к прежним порокам прибавит и еще новый, то есть злобу».

Из этого, по правде сказать, довольно наивного рассуждения следует, что под «критикой на лицо» Новиков и его единомышленники по-

нимали просто-напросто *обличение предосудительных поступков отдельных лиц*. Пример чиновного *Пролаза* и довольно многие другие, встречающиеся в «Трутне» и в «Живописце», показывают, что «критика на лицо» склонна была обличать преимущественно *лиц, имеющих власть и ею злоупотребляющих*. Осторожное отношение к обличаемому, которого требовал Правдулюбов, подсказывалось, может быть, не только опасением того, что намек, для всех понятный, окажет слишком сильное психологическое действие, но также и бессознательной боязнью возмездия со стороны обличаемых чиновных особ.

На первых ступенях своего развития сатира везде является «критикой на лицо». Но как ее начальные шаги, так и ее дальнейшее развитие принимают различный вид в зависимости от общественных условий. Комедии Аристофана тоже были, как известно, «критикой на лица». Но он жил в демократической афинской республике, пользовался весьма значительной свободой слова и не боялся называть по именам лиц, совершавших дурные, по его мнению, поступки. Наоборот, в Екатерининской России даже и весьма осторожное обличение особ, власть имевших, грозило обличителю большими неприятностями. Подобно матушке-государыне, высокопоставленные особы предпочитали «критике на лица» общие изображения пороков, а общие изображения пороков нравились им гораздо меньше, нежели сочинения в улыбательном духе. И, конечно, сатирические журналы должны были навлечь на себя большую неприязнь с их стороны.

Так как сатирику, достойному этого названия, писать в «улыбательном духе» крайне трудно, то вполне понятно, что положение русских сатириков-обличителей вскоре стало весьма незавидным. Один за другим прекратились, — *во многих случаях по независящим обстоятельствам,* — сатирические журналы 1769—1774 г.г. Разумеется, их исчезновение не могло удовлетворить те общественные нужды, которые находили в них свое выражение. Поэтому потребность в сатире не исчезала, и время от времени появлялись новые сатирические издания. Но трудности, на которые они наталкивались, не только не уменьшались с течением времени, а, наоборот, все более и более увеличивались по мере того как ученица Вольтера все лучше и лучше уясняла себе практический смысл новых французских теорий. Дело приняло совсем плохой оборот, когда во Франции разразилась революционная буря. Тогда некоторые наши писатели испытали жестокие преследования. Известна судьба Новикова и Радищева. Менее известен тот факт, что неудовольствие императрицы навлек на себя также и еще молодой тогда И. А. Крылов.

XVI

«Одну из моих повестей, которую уже набирали в типографии, — рассказывал он впоследствии, — потребовала к себе императрица Екатерина; рукопись не воротилась назад, да так и пропала» [1]). Как кажется, Крылова даже брали «под караул» и притом не одного, а в целой компании. Дело происходило в 1792 г., когда он вместе с Дмитриевским, Плавильщиковым, Клушиным и другими издавал сатирический журнал «Зритель»[2]). Вся эта история до сих пор остается не вполне раз'ясненной. Достоверно известно только, что Крылов унялся не сразу. В следующем году он, вместе с Клушиным, приступил к изданию нового журнала «С.-Петербургский Меркурий». Хотя сатира «Меркурия» была уже далеко не такой смелой и яркой, как сатира «Зрителя», однако новый журнал тоже навлек преследования на своих издателей. В его третьей части Клушин написал разбор трагедии Княжнина «Вадим», как известно, сильно не понравившийся государыне. Издатели «Меркурия» получили внушение, вследствие которого Крылов уехал куда-то в деревню, а Клушин за границу [3]). После этого литературные выступления Крылова прекратились на довольно продолжительное время. А когда он снова взялся за перо, его уже не привлекала к себе сатира. Он лишь изредка пописывал свои басни, старательно избегая раздражать власть имущих и неизменно памятуя, что лучше всего держать язык за зубами.

«Русская жизнь, — говорит В. В. Каллаш, — загубила в Крылове одного из величайших наших сатириков, направив его сатирическое дарование по узкому и тесному руслу, не дав ему правильно развиться, даже во многих отношениях исказив его... *Настоящий* Крылов, каким бы он мог выработаться для нашей литературы, проглядывает *больше всего,* хотя и не вполне, в его сатирических статьях, и в этом заключается их громадное историко-литературное значение» [4]).

Неблагоприятные условия русской действительности весьма своеобразно изменили, как мы видели, заимствованное у французских про-

---

[1]) См. биографический очерк, приложенный к I тому «Полного собрания сочинений И. А. Крылова», изданного под редакцией В. И. Каллаша, стр. XLIV.

[2]) В письме к И. И. Дмитриеву от 3 января 1793 г. Карамзин спрашивал: «Мне сказывали, будто издателей «Зрителя» брали «под караул»: Правда ли это? и за что?».

[3]) «Журнальная деятельность и сатиристические статьи Крылова», указ. издание Сочинений И. А. Крылова, том II, стр. 301.

[4]) Там же, та же страница.

светителей учение о человеческой природе. Это изменение отразилось также и на взглядах наших сатириков. Мы уже знаем, как высказался о способах исправления наших нравов Фон-Визин устами Стародума. В сатирической «Почте Духов», которую Крылов издавал с Рахманиновым в 1789 г. и которая, по справедливому замечанию В. В. Каллаша, возвращает нас к лучшим традициям и преданиям Новиковской сатиры, было, между прочим, напечатано письмо от «волшебника Маликульмулька к Эмпедоклу», заключающее в себе следующее характерное рассуждение.

«Из всех доказательств, предлагаемых древними мудрецами, — говорит Маликульмульк, — ни одного нет яснее и правдоподобнее того, которое предложил один ученый муж, что *большая часть людей злобны и развращенны*». Пессимистическое замечание это относится, правда, лишь к «нынешнего века людям», так что с ним согласились бы, вероятно, и многие французские просветители. Только они прибавили бы, что злоба и развращенность господствуют преимущественно в привилегированных сословиях и что для исправления нравов необходима отмена привилегий. Русский автор [1]) рассуждал иначе. У него *глубочайшей причиной развращенности оказываются не общественные учреждения, а человеческие желания* [2]).

Это уже и само по себе достойно замечания. Но интереснее всего делаемый отсюда вывод о задачах сатирика.

«В нынешнем веке, — продолжает Маликульмульк, — много есть таких людей, которые впадают в превеликие несчастия или приходят в совершенное раззорение, не зная или пренебрегая тем правилом, которое предложено мною в начале сего письма» (т.-е. мнением о злобе и испорченности людей. — *Г. П.)*. Сатирик и должен предостерегать своих читателей, — а особенно неопытных молодых людей, — чтобы они не попадались в расставляемые им сети.

«Легковерие есть обыкновенная погрешность неопытных молодых людей; а потому и нужно бы было почасту им твердить, что вступать в свет без всякой осторожности, в надежде найти в нем справедливость и чистосердечие, есть равно, как бы пускаться в море без карты и без компаса, в надежде иметь всегда благоприятный ветер и найти у всякого берега, куда ни пристанешь, спокойную пристань».

---

[1]) Вероятно, сам Крылов.

[2]) Полное собрание соч. И. А. Крылова, т. III, стр. 196—197.

Уже в этих рассуждениях виден зародыш того пессимизма, который впоследствии сделал Крылова совершенно равнодушным ко всякого рода общественным вопросам [1]).

Но дело в том, что пессимизм этот не был личной особенностью будущего нашего великого баснописца. Говоря о русских вольтерьянцах, я уже отметил, что во второй половине XVIII века между выдающимися русскими людьми то там, то здесь встречались тратические личности, считавшие свое положение почти или совершенно безвыходным. Не подлежит сомнению, что тогда таких людей было значительно больше, чем в первой половине того же столетия. Это может показаться непонятным: откуда взялся пессимизм в такое царствование, которое породило великое множество самых отрадных надежд? Ответа надо искать в много раз отмеченном выше противоречии между теорией Фелицы и ее практикой.

Теория порождала отрадные надежды, а практика разбивала их,— конечно, не у всех: большинство было довольно деятельностью Екатерины, — а только у тех, которые отличались наибольшею требовательностью и чуткостью. Такие люди составляли численно ничтожное меньшинство. Но это численно ничтожное меньшинство шло впереди, оно искало новых путей для русской общественной мысли, и потому разочарования, им испытанные, представляют собою весьма поучительный факт тогдашней общественной психологии.

Уже Крижанич возлагал свои прогрессивные упования на широкую реформу сверху. Он видел в самодержавии «Моисеев жезл», способный извлечь из бесплодной скалы живой источник. Еще больше верили в чудесную силу «Моисеева жезла» птенцы гнезда Петрова. «Ученая дружина» служила самодержавию не токмо за страх, но и за совесть. Лица, державшие в своих руках верховную власть после Петра I, своими действиями должны были, казалось бы, значительно умерить веру передовых русских людей в прогрессивное значение самодержавия. Но передовые русские люди склонны были рассматривать весьма непохвальные подвиги преемников Петра не как общее правило, а как случайные исключения. Они ждали, что вот-вот, не сегодня-завтра, исключения отойдут в область тяжелых воспоминаний, и общее правило обнаружит, наконец, свою плодотворную силу. Когда на престол вступила Екате-

[1]) По словам Гнедича, Крылов в свои старые годы принадлежал к числу тех людей, которые, убеждаясь очевидностью, «согласны в том, что существующий порядок соединен с большим злом; но утешают себя мыслию, что другой порядок невозможен». (Полное собрание соч. Крылова, биографический очерк, стр. LXIII.)

рина II, они было подумали, что «Моисеев жезл» начнет теперь работать, как не работал даже и при Петре I. А когда они увидели, что у жезла два конца, и что конец, направленный против слишком усердных просветителей, работает гораздо увереннее и энергичнее, нежели конец, обращенный против слишком тупых защитников старины, то в их душах возникли сомнения, оставшиеся чуждыми передовым людям Петровской эпохи: «ученая дружина» второй половины XVIII столетия, — я хочу сказать: наиболее передовая часть тогдашней интеллигенции,— начала мало-по-малу утрачивать веру в самодержавие.

Я не говорю: *утратила,* а именно только *начала утрачивать* и только *мало-по-малу*. Эта утрата представляет собою длительный процесс, захвативший часть XIX столетия и имевший свои периоды усиления и ослабления. Вполне понятно, что различные мыслящие личности неодинаково переживали этот процесс и что под его влиянием они приходили к весьма различным выводам. Скоро мы увидим, как отразился он на миросозерцании и настроении некоторых, наиболее заметных между ними. Здесь же мне нужно было только отметить, что в указанную эпоху он не только начался, но уже дал себя почувствовать в литературе.

XVII

Д. И. Фон-Визин (1744—1792)

1

И. А. Крылов обладал большим сатирическим дарованием. Однако оно не достигло полного расцвета. Самым крупным сатирическим талантом был у нас, во второй половине XVIII столетия, Денис Иванович Фон-Визин.

В. Г. Белинский в немногих словах превосходно выяснил истинное значение литературной деятельности Фон-Визина. «Бригадир» и «Недоросль» не могут называться комедиями в художественном смысле этого слова, заметил он; они представляют собою скорее плод усилия русской сатиры стать комедией. Это замечание Белинского не помешало ему, однако, признать, что, не будучи истинно художественными, эти комедии все-таки являются замечательными литературными произведениями, «драгоценными летописями общественности того времени». К этому следует прибавить, что наша общественность того времени довольно ярко характеризуется ходом умственного развития самого Фон-Визина.

Как я уже говорил выше, работа мысли наших тогдашних просветителей, — по-своему весьма полезная и почтенная, — совершалась *в пределах дворянского* горизонта. Только немногие из них покидали дворянскую точку зрения и более или менее решительно переходили на точку зрения *третьего сословия,* которой держались тогда передовые просветители западной Европы. Наиболее выдающейся личностью между этими немногими был А. Н. Радищев.

Но если только немногие способны были совершить указанный переход с одной точки зрения на другую, гораздо более прогрессивную, то довольно велико было число тех, которые, в течение известного периода своей жизни, *колебались* между ними. Для некоторых, — хотя и не для всех, — такие колебания были очень тяжелым, иногда прямо трагическим, процессом. Между колебавшимися и много страдавшими от колебаний заметнее всех Н. И. Новиков. К их числу принадлежал также и Д. И. Фон-Визин.

Сам он впоследствии с ужасом припоминал то время, когда на него приобрел влияние вольнодумный кн. Ф. А. Козловский. Я уже сказал, что надо критически относиться к находящемуся в «Чистосердечном признании» Фон-Визина отзыву о кн. Козловском и об его кружке [1]). Но интересно определить, какими именно воспоминаниями его об этом кружке вызывалось у нашего сатирика чувство ужаса.

По его словам, кружок кн. Козловского предавался богохульству и кощунству. «В первом, — признается наш сатирик, — не принимал я никакого участия и содрогался, слыша ругательство безбожников; а в кощунстве играл я и сам не последнюю роль... В сие время сочинил я послание к *Шумилову*, в коем некоторые стихи являют тогдашнее мое заблуждение» [2]).

Названное «Послание» заключает в себе много интересного. Но выраженное в нем «заблуждение» совсем не так велико, как это казалось Фон-Визину после возврата его к своим старым верованиям. Оно целиком заключается в последней строке «Послания»:

И сам не знаю я, на что сей создан свет!

---

[1]) К свидетельствам в пользу кн. Козловского, приведенным мною выше, можно прибавить еще отзыв далеко не вольнодумного Н. И. Новикова. В своем «Опыте исторического словаря о Российских писателях» Новиков говорит, что кн. Козловский, «по великой склонности к словесным наукам, ничего так не желал, как умножить то просвещение своего разума, которое приобрел своими трудами».

[2]) Сочинения Д. И. Фон-Визина, указанное выше издание, стр. 542.

Ужасного тут очень мало: перед нами просто-напросто одна из самых низших стадий развития скептицизма. Скептицизм Фон-Визина, очевидно, был навеян посредственным или непосредственным знакомством с сочинениями Вольтера. Известно, что скептическое мировоззрение фернейского патриарха служило вовсе не самым крайним выражением взглядов французских просветителей. В их среде были мыслители гораздо более смелые и последовательные. Но конечно, с точки зрения тех старых понятий, которых твердо держались в семье Фон-Визина [1]) и к которым он вернулся, разойдясь с кружком Козловского, всякое сомнение насчет истинной цели создания мира должно было казаться страшным грехом. Между скептицизмом Вольтера и наивной верой доброго старого времени — дистанция огромного размера. И совсем неудивительно, что, пройдя эту дистанцию в своем попятном движении к унаследованному от благочестивых предков образу мыслей, Фон-Физин почувствовал себя в положении человека, избежавшего смертельной опасности.

Достойно замечания, что, вместе с Вольтером отказываясь отвечать на вопрос, для чего создан сей свет, Фон-Визин в том же «Послании» показал себя гораздо бо́льшим, нежели Вольтер, скептиком во всем, касающемся взаимных человеческих отношений. Одно из тех лиц, к которым он обращался в своем «Послании» [2]), — его крепостной Ванька, — говорит, несомненно выражая мысли своего барина:

Куда ни обернусь, везде я вижу глупость.
Да сверх того еще приметил я, что свет
Столь много времени неправдою живет,
Что нет уже таких кащеев на примете,
Которы б истину запомнили на свете.
Попы стараются обманывать народ,
Слуги—дворецкого, дворецкие—господ,
Друг друга господа, а знатные бояря
Нередко обмануть хотят и государя;
И всякий, чтоб набить потуже свой карман,
За благо рассудил приняться за обман и т. д.

При всем своем скептицизме, Вольтер верил, что со временем разум восторжествует во взаимных отношениях людей, хотя с будущим торжеством разума у него и не связывалось таких светлых ожиданий, какими полон был, например, его почитатель и биограф Кондорсэ. Это

[1]) Он сообщает, что его родители были люди набожные. Его самого заставляли читать церковные книги, как только он научился грамоте.

[2]) Оно называется: «Послание к слугам моим Шумилову, Ваньке, Петрушке».

значит, что *скептицизм* уживался у Вольтера с довольно значительной дозой *оптимизма*. Но в «Послании к слугам» оптимизм совершенно отсутствует. Люди корыстолюбивы, хитры, склонны к обману. Их взаимные отношения неразумны. Фон-Визин указывает на это с язвительной насмешкой. Но всегда ли так будет? Нет ли надежды на то, что со временем цивилизованное человечество станет разумнее и сумеет лучше устроить свою судьбу? На этот вопрос ответа нет, да и самый вопрос, повидимому, не возникал у автора «Послания». И в этом существенная разница с тем, что мы находим у Вольтера. Она, конечно, об'ясняется различием общественных условий.

Во Франции уже росла та общественная сила, на которую могли, сознательно или бессознательно, рассчитывать просветители; в России такой силы пока еще не было. Вот почему французские просветители имели психологическую возможность питать отрадные надежды, — хотя мы знаем, что и они, наблюдая печальную действительность, становились подчас пессимистами (Гельвеций), — между тем как их русским последователям гораздо труднее было заразиться оптимистическим настроением.

Однако не подлежит сомнению, что с тем крайне пессимистическим взглядом на человеческие отношения, который выразился в «Послании к слугам», очень трудно жить всякому порядочному человеку, а особенно такому, у которого есть склонность принять деятельное участие в общественной жизни. Как это сказал еще Гегель в своей «Феноменологии духа», скептицизм способен привести к безотрадному настроению (das unglückliche Bewusstsein). Это мы и видели на примере тех русских «вольтерьянцев», которые подчас добровольно кончали свои счеты с жизнью. Но самоубийство было, разумеется, не единственным средством избавиться от безотрадного настроения. Да и вообще средство это, по самому характеру своему, могло быть выбрано только единицами. Другие развлекали себя разного рода чудачествами; наконец, третьи своевременно возвращались в тихую пристань своих детских верований и тем благополучно избавлялись от безотрадного настроения. Таких, наверно, было гораздо больше, нежели всех остальных.

2

В непродолжительную эпоху своего религиозного вольнодумства Фон-Визин, в выше названном «Послании», спрашивал одного из своих слуг, почему им суждено прожить свой век «*в крепком сне*». Тогда его

до известной степени удивляло, — если не смущало, — то обстоятельство, что на свете существуют люди, которые всю свою жизнь проводят в неволе и, — так казалось Фон-Визину, — даже не сомневаются в том, что им «быть должно век слугами». В том факте, что это его удивляло, сказалось влияние на него «вольтерьянства». Правда, с этой стороны, как и со всех других, «вольтерьянство» повлияло на него не очень сильно. Уже в «Послании» он грубо издевался над своими крепостными слугами и, желая сказать, что один из них задумался над поставленным ему вопросом о цели мироздания, писал:

Сомнение его тревожить начало;
Наморщились его и харя и чело.

Как видим, вольнодумство не сообщило ему свойственного французским просветителям человечного отношения к слугам. Однако оно все-таки приводило его к некоторой неуверенности в преимуществах крепостного права. Покончив с религиозным вольнодумством, он как будто покончил и с этой неуверенностью. Он стал с твердым убеждением повторять ходячие рассуждения крепостников о выгодах подневольного положения русского крестьянина. В своем письме из Парижа к гр. П. И. Панину от 20/31 марта 1778 г. он говорит: «Я видел Лангедок, Прованс, Дофинэ, Лион, Бургонь, Шампань. Первые две провинции считаются во всем здешнем государстве хлебороднейшими и изобильнейшими. Сравнивая наших крестьян в лучших местах с тамошними, нахожу, беспристрастно судя, состояние наших несравненно счастливейшим». Следующие строки того же письма показывают, что при этом он имел в виду только *экономическое* положение крестьян, забывая об *юридическом*.

Экономическое положение французских крестьян было тогда очень плохо. Фон-Визин, может быть, не сильно преувеличивал, говоря: «В сем плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто, вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба». У толковых русских помещиков, понимавших свою собственную выгоду, крестьяне жили тогда лучше *в материальном смысле* этого слова. Но много ли было толковых помещиков? Статьи, печатавшиеся в сатирических журналах и, позволительно думать, не оставшиеся неизвестными самому Фон-Визину, дают основание утверждать, что — немного. Они доказывают, что даже экономическое положение крепостного крестьянства представлялось передовым русским людям в самом мрачном свете. Но это не все. Как

ни бедствовало тогда крестьянское население Франции, оно, в огромнейшем большинстве своем, давно уже вышло из *личной зависимости* по отношению к помещикам, и в этом заключалось огромнейшее преимущество его положения сравнительно с положением русской «крещеной собственности». Но в глазах Фон-Визина это преимущество не имело ровно никакой цены.

Впрочем, это можно утверждать только на основании его переписки. Другие данные позволяют усомниться в этом.

В. И. Семевский приписывает Фон-Визину упомянутое мною выше «Краткое из'яснение о вольности французского дворянства и о пользе третьего чина». Хотя автор этого рассуждения в сущности тоже целиком стоит на дворянской точке зрения, но он принадлежит к числу тех европеизованных россиян XVIII века, которые хлопотали о создании у нас «честного и просвещенного мещанства». В его изображении мещанство это является «*душою общества*». И он (хоть отчасти) понимает, что трудно развиваться третьему чину в государстве, основанном на закрепощении производителей. Вывод его исследования сводится к тому, что «в России надлежит быть 1) дворянству совсем вольному, 2) третьему чину совершенно освобожденному, и 3) народу, упражняющемуся в земледельстве, хотя не совсем свободному, но по крайней мере имеющему надежду быть вольным, когда будут они (крестьяне. — *Г. П.*) такими земледельцами или такими художниками, чтоб со временем могли привести в совершенство деревни или мануфактуры господ своих» [1]).

В пользу гипотезы В. И. Семевского о принадлежности Фон-Визину этого рассуждения говорит то обстоятельство, что он, по крайней мере по временам, интересовался затронутыми в нем общественными вопросами.

В числе его переводов есть один, озаглавленный: «Торгующее дворянство противу положенное дворянству военному или два рассуждения о том, служит ли то к благополучию государства, чтобы дворянство вступало в купечество?». Входящие сюда работы двух французов относятся в 1756 г., т.-е. к тому времени, когда экономические темы сильно привлекали к себе внимание французских читателей. Автор первой из этих работ настоятельно советует дворянам заниматься торговлей. Нимало не унижая высшего сословия, такое занятие улучшит его материальное положение и даст новый толчок развитию

[1]) «Архив князя Воронцова», книга XXVI, стр. 324.

производительных сил Франции. Один за другим разбирает французский автор предрассудки, мешающие дворянству заниматься торговлей, и, в своей защите этой последней, говорит иногда языком Седэна. Замечательно, что, — подобно автору русского рассуждения, приписываемого В. И. Семевским Фон-Визину, — французский защитник торговли называет купечество *душою всех сообществ*. При этом он так описывает прежние отношения французского дворянства к народу:

«Прежде сего французское дворянство не старалось о землепашестве в деревнях своих; оно имело рабов, повиновавшихся его повелению. Народ иго сие сбросил и некоторым образом стал свободен. Когда ныне дворянин хочет собрать жатву, то обязан он нанимать работников и к работе принуждать их деньгами» [1]).

Далее следуют соображения о том, что для хорошей обработки своих земель дворянство нуждается в деньгах, которые и доставит ему торговля. Словом, французский автор показывает себя писателем, проникнутым новыми стремлениями третьего сословия и хорошо понимавшим, до какой степени капиталистические производственные отношения, основанные на труде *наемных рабочих,* выше феодальных, опиравшихся на *юридическую неволю производителей*. Он даже высказывает, — хотя непрямо и робко, — сочувствие к английской революции, которая, в лице «неправедного владетеля» Кромвеля, «которого память проклинается», обратила внимание на купечество, «яко на *жизненное древо*» [2]). Все это было так ясно, что не могло не броситься в глаза читателю. И если, ознакомившись с этим рассуждением, Фон-Визин все-таки нашел нужным перевести его на русский язык, то приходится заключить, что оно не испугало его своим направлением.

Больше того. Можно думать, что французское рассуждение о больших выгодах, которые принесет стране занятие дворян торговлею, не осталось без влияния на характер Стародума, — главного резонера главной комедии Фон-Визина.

В самом деле, Стародум наживает себе состояние не службой, а посредством какого-то промышленного дела (может быть, золотого промысла) в Сибири, «где достают деньги, не променивая их на совесть, без подлой выслуги, не грабя отечества; где требуют деньги от самой земли, которая поправосуднее людей, лицеприятия не знает, а платит одни труды верно и щедро» [3]).

---

[1]) «Сочинения Фон-Визина», стр. 600 и 579—580.

[2]) Подчеркнуто в тексте; Сочинения Фон-Визина, стр. 581

[3]) «Недоросль», действие III, явление 2-е.

Конечно, в своих взглядах на общественную жизнь Стародум имеет мало общего со взглядами передовых просветителей. Я уже указывал, какой самобытный вид приняло у него учение французских философов о влиянии общественного строя на поведение отдельных личностей. Наконец, он прямо заявляет, что боится нынешних мудрецов, которые, искореняя предрассудки, в то же время с корня воротят, по его словам, добродетель. Но если верно то, что даже консервативный Стародум одной из немаловажных черт своего характера обязан свободолюбивому автору цитированного мною сочинения о торгующем дворянстве, то ясно, что сочинение это оставило значительный след в уме нашего сатирика.

Раз это так, то совершенно непонятно, как мог Фон-Визин уверять своего сиятельного корреспондента, что русский строй лучше французского и вообще западно-европейского. А что он уверял его именно в этом, показывает хотя бы следующий отрывок из его письма к нему от 18/29 сентября 1778 года.

«Тяжебные дела во Франции так же несчастны, как и у нас, с тою только разницею, что в нашем отечестве издержки тяжущихся не столь безмерны... Во Франции, прежде нежели у правого отнять, надлежит еще много сделать церемоний... У нас же, по крайней мере, в том преимущество, что действуют гораздо проворнее, и как скоро вступился какой-нибудь полубоярин, сродни фавориту, то в самый тот час дело берет уже совсем другой оборот и приближается к концу». Сомнительное преимущество! Но, даже не подвергая его сомнению, Фон-Визину следовало бы помнить, что фаворитизм был плодом «самовластия» и что всякий фаворит всегда имел большую «власть и возможность к содеянию зла».

В другом письме к П. И. Панину Д. И. Фон-Визин «чистосердечно признавался» (его подлинное выражение): «Если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнет в сердце своем от нее отчуждаться, то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию». Ознакомившись с положением этой страны, недовольный россиянин убедится, что лгут те, которые говорят об ее «совершенстве», и что, как ни плохо живется иногда в России, там «можно, однако, быть столько же счастливу, сколько и во всякой другой земле, если совесть спокойна и разум правит воображением, а не воображение разумом» [1]). Человеку, пришедшему

---

[1]) Это—то же самое письмо, в котором Д. И. Фон-Визин утверждал, что русскому крестьянину «в лучших местах» живется легче, нежели французскому.

к такому выводу, казалось бы, *психологически невозможно* было стремиться к политическим реформам.

Еще русские служилые люди Петровской эпохи, попадая за границу, — в Венецию или в Париж, — скоро подмечали, что в западноевропейских государствах больше свободы, нежели в России. Подметил это и Д. И. Фон-Визин, который все-таки был гораздо больше подготовлен к наблюдениям над иностранной жизнью, нежели россияне конца XVII и начала XVIII столетий. Но когда он подводил итог своим наблюдениям над этой жизнью, у него являлась многозначительная консервативная оговорка.

«Рассматривая состояние французской нации, — писал он, — научился я различать вольность по праву от действительной вольности. Наш народ не имеет первой, но последнею во многом наслаждается. Напротив того, французы, имея право вольности, живут в сущем рабстве». Фактическое рабство французов обусловливается, по его справедливому замечанию, тем, что «король, будучи *ограничен законами, имеет в руках всю силу попирать законы*». Логически рассуждая, в духе вступления к конституционному проекту, следовало бы, ввиду попрания королем законов, сделать тот вывод, что необходимы «фундаментальные права», способные положить конец королевскому произволу. Но этого-то вывода и избегает Фон-Визин. Он довольствуется огульным осуждением французских порядков и той отрадной мыслью, что русский народ во многом «наслаждается» *если не вольностью по праву, то действительной вольностью.* В других своих письмах он твердит, что русские порядки совсем не так плохи, как это утверждают их несправедливые хулители, и что вообще «славны бубны за горами».

Белинский хвалил заграничные письма Фон-Визина за то, что в них были, по его словам, метко указаны недостатки старого порядка во Франции. Он ставил эти письма выше Карамзинских «Писем русского путешественника». Но если Фон-Визин лучше Карамзина подметил некоторые слабые стороны тогдашнего строя Франции, то в своих письмах он показал себя глухим и слепым по отношению ко всему тому, что так или иначе направлялось к коренной переделке этого строя. Здесь он обнаружил даже больше близорукости, нежели Карамзин. Правда, его художественное чутье временами подсказывало ему, что во Франции происходит какое-то новое движение, пока еще не существующее или слабое в других странах европейского материка. Но смутное сознание этого нового движения только усиливало его анти-

патию к французам. В своем отрицательном отношении к ним он дошел до того убеждения, что во Франции «люди не живут, не вкушают истинного счастья и не имеют о нем ниже понятия» [1]). Еще за несколько месяцев до этого он, в большом письме к родным, решительно заявил: «В России дворяне по провинциям несказанно лучше здешних, кроме того, что здешние пустомели имеют наружность лучше». С этим охотно согласились бы все наши Скотинины и Простаковы.

Судя по письмам Фон-Визина, гораздо менее затронутая освободительным движением Германия гораздо больше нравилась ему, чем Франция. «Поистине сказать, — писал он сестре, — немцы простее французов, но несравненно почтеннее, и я тысячу раз предпочел бы жить с Немцами, нежели с ними». Но на замле нет ничего безусловного. Если в Германии живется гораздо лучше, нежели во Франции, то в России жить еще гораздо приятнее, чем в Германии. «Вообще сказать могу беспристрастно, — признавался Фон-Визин своим родным, — что от Петербурга до Ниренберга баланс со стороны нашего отечества перетягивает сильно. Здесь во всем генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобилие в нужных с'естных припасах, словом: у нас все лучше и мы больше люди, нежели немцы. Это удостоверение вкоренилось в душе моей, кто б что́ ни изволил говорить» [2]).

Во всем этом нет и следа политического вольномыслия. Да и какой в нем смысл? Зачем «вольность по праву»? Зачем какие бы то ни было реформы в политической области, если «наилучшие законы не значат ничего, когда исчез в людских сердцах первый закон, первый между людьми союз — добрая вера»? [3])

Покончив с религиозным вольномыслием и вернувшись к своим детским верованиям, Фон-Визин, повидимому, сохранил способность, по крайней мере иногда, заражаться вольномыслием политическим. Но во время первого заграничного путешествия своего, когда были написаны цитированные мною письма, он отказался и от политического вольномыслия. В этом была своя неоспоримая логика. Логично было и то, что, отвергнув религиозные и политические взгляды французских просветителей, Фон-Визин отверг также исходную точку всех их планов общественно-политической реформы: прежде он, вместе с ними,

[1]) Письмо к сестре из Парижа, апрель 1778 (без числа).

[2]) Письмо от 29 авг./9 сент. 1784 г.

[3]) Письмо к П. Панину от 15/26 января 1778 г.

исходил из того взгляда, что поведение людей определяется общественными учреждениями; теперь он думает, что учреждения не важны; важна добрая вера. Последовательно развивая этот новый свой взгляд, он должен был прийти к тому положению, что *царство божие — внутри нас*. Однако последовательности у него хватило не надолго.

В 1777 г. он перевел «Похвальное слово Марку Аврелию», написанное членом французской академии Тома («Томасом») и украшенное, например, такими размышлениями:

«Вольность есть первое право человека, право повиноваться единым законам и кроме их ничего не бояться. Горе рабу, страшащемуся произносить ее имя! Горе той стране, где изречение его вменяется в преступление!»

Или: «Всегда благотворящая природа создала существа в свободе и равенстве; настало тиранство и сотворило существа слабые и несчастные. Тогда малым числом все об'ято стало» и т. п.

Если, — по мнению одного исследователя, — своими переводами Фон-Визин развивал и дополнял свои собственные мысли о лучшем политическом устройстве, то ими же он опровергал свои собственные мысли о бесполезности политических реформ.

Разумеется, в «Похвальном слове Марку Аврелию» больше приторного академического красноречия, чем мужественной любви к «вольности» и равенству. Но мысль, положенная в его основу, все-таки резко противоречит афоризмам, высказанным в заграничных письмах нашего сатирика.

Тот же исследователь полагает, что апоплексический удар, «поразивший Фон-Визина в августе 1785 г., положил конец вольнодумным поползновениям, упорно сохранявшимся в нем от юных лет». Действительно, «Рассуждение о суетной жизни человеческой», написанное Фон-Визином по случаю смерти Потемкина (т.-е. в 1791 г.), показывает, что болезнь вызвала у него совершенно подавленное настроение духа. Он решительно осуждает в нем свое прежнее «безумное на разум надеяние». Однако мы видели, что «на разум надеяние» он уже в семидесятых годах, во время первого заграничного своего путешествия, отвергал едва ли не столь же решительно, как и после удара. Кроме того, между статьями, приготовленными им для своего, — неразрешенного полицией, — журнала, «Друг честных людей, или Стародум», есть письмо из Москвы, помеченное февралем 1788 г. и показывающее, что и во время болезни у Фон-Визина возобновлялись иногда приступы политического вольномыслия.

В этом письме речь идет о причинах, препятствующих успехам красноречия в России. Фон-Визин, написавший его от имени Стародума, говорит, что у нас мало ораторов не от слабости природного дарования, а от недостатка «случаев, при коих бы дар красноречия мог показаться». При других политических условиях было бы совсем другое. «Преосвященные наши митрополиты: Гавриил, Самуил, Платон, суть наши Тиллотсоны и Бурдалу; а разные мнения и голоса Елагина, составленные по долгу звания его, довольно доказывают, какого рода и силы было бы российское витийство, если бы имели мы где рассуждать о законе и податях, и где судить поведения министров, государственным рулем управляющих» [1]).

Не поднимая здесь вопроса о том, насколько велик был в действительности ораторский талант Платона, Гавриила, Самуила и... Елагина, нельзя не заметить, что здесь больной Фон-Визин опять рассуждал совершенно в духе политического вольномыслия. А рассуждение в этом духе предполагало известное «на разум надеяние».

Но вот где самое главное. Воззрения Фон-Визина до конца остались вовсе несогласованными между собою и противоречивыми. Он способен был почти одновременно высказывать прямо противоположные суждения. Для истории общественной мысли это важно не только потому, что Фон-Визину принадлежит большое место в нашей литературе XVIII века, но еще и потому, что в этом отношении на него похожи были очень многие просвещенные россияне второй половины XVIII столетия.

Надо помнить, однако, что консерватизм почти всегда преобладал в воззрениях нашего сатирика. Екатерина была неправа, когда жаловалась: «Плохо мне приходит жить! Уже г. Фон-Визин хочет учить меня царствовать!»

Фон-Визин не мог причинить ей какие-нибудь серьезные политические неприятности. На практике он держался, в последнем счете, того высказанного Стародумом отрадного убеждения, что средство сделать людей счастливыми находится в руках государя и состоит в предоставлении выгод по службе единственно тем чиновникам, которые будут точно выполнять требования «благонравия», и в этом он тоже походил на множество своих просвещенных соотечественников.

---

[1]) Сочинения, стр. 248—249.

В марте 1784 г. умиравший гр. Н. И. Панин, под начальством которого Д. И. Фон-Визин служил начиная с 1769 г., продиктовал ему свое политическое завещание, содержащее в себе, между прочим, такие строки.

«Верховная власть вверяется Государю для единого блага его подданных... Без непременных Государственных законов не прочно ни состояние Государства, ни состояние Государя... Всякая власть, не ознаменованная божественными качествами правоты и кротости, но производящая обиды, насильства, тиранства, есть власть не от Бога, но от людей, коих нещастия времян попустили, уступая силе, унизить человеческое свое достоинство. В таком гибельном положении нация, буде находит средства разорвать свои оковы тем-же правом, каким на нее наложены, весьма умно делает, есть ли разрывает... Обязательства между Государем и подданными суть... добровольные». Короче, завещание гр. Н. И. Панина основывается как раз на той мысли о преимуществах «вольности по праву», которую отвергал Д. И. Фон-Визин в своих письмах из-за границы к брату Н. И. Панина, П. И. Панину. Надо помнить, что этот последний вполне разделял взгляды своего брата. Взгляды эти будут рассмотрены мною ниже; здесь следует только сказать, что, — как видно из письма, написанного гр. П. И. Паниным к великому князю Павлу Петровичу *на случай его восшествия на престол*, — Д. И. Фон-Визин совершенно одобрял политические стремления братьев Паниных. Как согласить это с приведенными мною выше отрывками из его заграничных писем?

Это еще не конец. В одном месте политического завещания, написанного Фон-Визином под диктовку гр. Н. И. Панина, говорится о «государстве, в котором люди составляют собственность людей», т.-е. существует крепостное право. В отзыве о таком государстве слышится почти презрительное сожаление. А в «Прибавлении» к завещанию, написанному гр. П. И. Паниным, требуется законодательное определение «должностей» крестьян по отношению к помещикам [1]). Как согласить это с мнением Д. И. Фон-Визина о завидной участи нашего *крепостного* крестьянина? Имеем ли мы право предположить, что под конец своей жизни Д. И. Фон-Визин снова заразился известным вольномыслием в политической и социальной областях? Для этого у нас нет никаких оснований.

---

[1]) См. *Е. С. Шумигорский*, Император Павел I. СПБ. 1907, стр. 53, приложение стр. 4, 7, 12 и 17.

3

Кантемир бичевал «хулящих учение». Их же бичевал, в лице Простаковых и Скотининых, и Фон-Визин. Кантемир написал сатиру «На зависть и гордость дворян злонравных»; Фон-Визин тоже не упускал случая задеть «злонравных дворян». Сумароков обличал «крапивное семя», не щадил этого семени и Фон-Визин [1]). Кантемир язвил (в первой сатире) Медора, тужившего о том, что слишком много бумаги идет на книги и потому уже нечем завивать кудри. У Кантемира же Филарет (во второй сатире) отчитывает Евгения, этого «нового Нарцисса», всецело поглощенного заботами о своей наружности и из долголетнего путешествия в чужих краях ничего не вынесшего, кроме совершенного знания моды. Сатирики Екатерининской эпохи тоже выставляли к позорному столбу разного рода «щеголей» и «щеголих» [2]). Вообще, круг тех предметов, которыми занималась сатира, остался тем же самым в течение всего XVIII века.

На это были две причины. Во-первых, непомерное тщеславие Екатерины, не допускавшей и мысли о том, чтобы в ее славное царствование могли оставаться не исцеленными сколько-нибудь глубокие общественные язвы, крайне стесняло обличительную деятельность сатириков: мы знаем, как недолговечны были тогдашние сатирические журналы. Во-вторых, сатирики Екатерининской эпохи продолжали смотреть на главнейшие устои русской общественно-политической жизни глазами сатириков первой половины столетия: осмеивая защитников старины, и те, и другие сами оставались, в своем отношении к этим устоям, приверженцами существующего, от старины же унаследованного порядка. Поле зрения их обличительной музы значительно ограничивалось их собственным консерватизмом.

При всем том жизнь не стояла на одном месте; последствия Петровской реформы давали себя чувствовать, и если не расширился

---

[1]) Ср. в материалах для журнала «Стародум» талантливое письмо надворного советника Взяткина к его превосходительству ***. Советница в «Бригадире» говорит (Действие I, явление 3-е), что ее муж пошел в отставку в том году, как вышел указ о лихоимстве, убедившись, что ему в коллегии делать стало нечего. Замечу мимоходом, что эта ссылка на указ о лихоимстве ловко прибавляла к насмешке над корыстолюбивыми чиновниками комплимент по адресу Екатерины.

[2]) Иногда кажется, что в своих насмешках над ними они сознательно подражали Кантемиру (для примера можно сослаться на 3-й и 4-й листы первой части «Живописца» за 1772 г.). Но у Кантемира не встречается таких грубых выражений (поросенок, свинья и т. п.), какие в изобилии встречаются даже у Новикова.

круг тех предметов, которых касалась сатира, то изменилось отчасти ее отношение к некоторым из них.

Медор и Евгений возмущали Кантемира тем, что были равнодушны к интересам просвещения и тратили время, — которым всегда так дорожили истинные птенцы Петровы, — на модные пустяки. Кантемиру и в голову не приходило упрекать их в пренебрежении к России и к русским обычаям. В его время было несравненно больше оснований опасаться противоположной крайности: пренебрежения к Западу и западно-европейскому образу жизни. Поэтому для него отстаивать интересы просвещения в России значило бороться с национальной исключительностью ветхозаветных русских людей. Во второй половине XVIII века было уже не так. О возврате к допетровской старине тогда уже не могло быть и речи. Господствующее в России сословие окончательно примирилось с реформой Петра. Но, как это было вполне естественно, оно примирилось с нею по-своему.

Оно воспользовалось ею для упрочения и расширения своей власти над трудящейся массой и для своего освобождения от обязательной службы. Это освобождение дало ему досуг, который оно отчасти употребило на устройство своих хозяйственных дел. Но систематический и упорный труд никогда не был в привычках этого сословия. Те его представители, которые раз'ехались по деревням, не столько занимались сельским хозяйством, сколько охотой и попойками. Те же, которые жили в столицах, продолжая служить, далеко не так ревностно занимались делом, как предавались всякого рода развлечениям. В среде столичного дворянства развелось много щеголей и щеголих, доставлявших массу «человеческих документов» для сатиры [1]). В своем увлечении иностранными модами и обычаями, эти светские элементы благородного сословия не только доходили, подобно Кантемировскому Медору, до смешных крайностей, но стали пренебрегать своей родиной. Так свидетельствуют сатирики.

Фон-Визин заставляет своего Иванушку в «Бригадире» говорить советнице, за которой он ухаживает:

«Все несчастие мое состоит в том только, что ты русская». — Она отвечает ему в том же духе: «Это, ангел мой, конечно, для меня ужасная потибель»!

---

[1]) Успех сатирических изданий Екатерининской эпохи в значительной степени обусловливался нападками их на «петиметров». В письме к издателю «Живописца» («Жи описец» 1772 г. часть II, лист 12-й) некто Хуляков сообщал, что это издание Новикова «на перерыв» и «без усталости» хвалят как женщины, так и муж-

Раз принявшись подражать иностранцам, русское «благородное сословие» скоро должно было понять, что наилучшим образцом для подражания является *французское* дворянство, которое отличалось наибольшею утонченностью («людскостью») и которому весьма усердно подражало дворянство всех цивилизованных стран европейского материка. Во второй половине XVIII столетия воспитать молодого человека на *иностранный* лад значило дать ему *французское* воспитание. И те франты, которых бичевали наши сатирики за их пренебрежение к России, старались как можно больше походить на французов.

«Mon cher père!—говорит в «Бригадире» Иванушка своему отцу,—или сносно мне слышать, что хотят женить меня на русской?» — «Да ты что за француз?» — спрашивает его отец. — «Тело мое родилось в России, это правда, — отвечает он, — однако, дух мой принадлежал короне французской».

Чтобы выяснить зрителям комедии, откуда взялось у Иванушки его смешное пристрастие к французам, Фон-Визин нашел нужным рассказать устами самого Иванушки, что этот молодой глупец, до от'езда своего в Париж, учился в пансионе у французского кучера, который и внушил ему любовь к Франции и холодность к России: «Ежели б malheureusement я попался к русскому, который бы любил свою нацию, я, может быть, и не был бы таков».

Тут полезно будет вспомнить превосходное замечание Белинского о том, что драматические произведения Фон-Визина представляют собою скорее плод усилий русской сатиры сделаться комедией, чем комедии в настоящем смысле этого слова. Рядом с *комическим* в них очень много *карикатурного*. Карикатура живет умышленным преувеличением изображаемых ею черт действительности. Поэтому надо принимать cum grano salis те картины тогдашней русской жизни, которые мы находим в комедиях Фон-Визина, равно как и в произведениях других сатириков. На самом деле наши щеголи и щеголихи, вероятно, не имели такого беспредельного пренебрежения к России, какое обнаруживают в «Бригадире» Иванушка и увлеченная им советница. Но что подобное пренебрежение все-таки было свойственно им в весьма значительной степени, это все-таки не подлежит сомнению. И вполне понятно, что,

---

чины, говоря: «То-то разумной Живописец! Он так малюет хорошо своими красками нынешние развратные светские обычаи новоманерных Петербургских щеголей и щеголих, что никто еще, кроме его, пороков их так живо не изображал. Прямо честной и разумной человек!» и проч. Тогдашняя сатира очень много занималась «петиметрами».

в своем крайнем увлечении французами, русские модники без критики относились даже к недостойным детям Франции.

Сатирики Екатерининской эпохи не переставали осмеивать доверчивость русских по отношению к французам. В своих сатирических изданиях Новиков боролся с этой доверчивостью, как с большим общественным злом. У него выходит, что из всех иностранцев одни только французы стремятся эксплоатировать доверчивое население России. В его «Кошельке» один француз, отмечая крайнее простосердие русских людей, говорит: «Они с лишком полагаются на честность и не могут истинны различить от хитрости; но при том сие весьма достойно примечания, что хотя Немец и Агличанин их не обманывают и обходятся с ними правдиво и честно, однакож они их не любят, обычаев их не перенимают, и если бы те захотели их обманывать, то никогда бы им в обман не далися: на против того, Французу открыта внутренность души и сердца Русского человека» [1]). У Крылова, поселившаяся в России француженка-модистка сообщает своему брату, бежавшему из Франции уголовному преступнику, что «американцы, в первые времена прибытия к ним европейцев, не столько их уважали, сколько здесь уважают французов: те победили американцев оружием, а мы их хитростью» [2]).

В настойчивых наступлениях нашей сатирической литературы против французского влияния на Россию очень явственно слышится голос оскорбленного национального чувства. Оскорбленное национальное чувство непременно должно было вызвать и действительно вызвало у русских писателей стремление к идеализации России и русского народного характера. Этим стремлением отчасти об'ясняется и отмеченное мною выше превознесение Фон-Визином, в его заграничных письмах, русских порядков на счет западно-европейских вообще и французских — в частности. Это же стремление привело Новикова к тому утешительному мнению, что «россияне все к добродеянию склонны» [3]). Особенно добродетельны были они в прежнее время: «Предки наши во сто раз были добродетельнее нас, и Земля наша не носила на себе исчадий, не имеющих склонности к добродеянию и не любящих своего Отечества» [4]).

---

[1]) «Кошелек» лист 3-й, продолжение «Разговора между Немцем и Французом».

[2]) «Письмо гнома Зора к волшебнику Маликульмульку» в «Почте Духов» Сочинения И. А. Крылова, т. III, стр. 139—140.

[3]) См. «Разговор между Россиянином и Французом» во II листе «Кошелька».

[4]) Там же.

Такая идеализация русского национального характера и русской старины является одним из тех элементов, которые вошли впоследствии в состав славянофильства. П. Н. Милюков утверждает, что отрицательное отношение к новым культурным заимствованиям и восхваление, в пику им, древней простоты нравов вовсе не было тогда чем-нибудь новым, так как мы встречаемся с ним еще при Петре и его преемниках. Это справедливо. Но дело в том, что при Петре противники новых культурных заимствований превозносили *допетровскую Русь* и отвергали Петровскую реформу, а во второй половине XVIII столетия они начали превозносить именно эпоху Петра.

В своем «Опыте исторического словаря о российских писателях» Новиков ставил Феофану Прокоповичу в особенную заслугу то, что он был «поборником и провозвестником славных дел Петра Великого». В сочинениях Фон-Визина идеализация Петровской эпохи еще больше бросается в глаза. Его Стародум говорит:

«Отец мой воспитал меня по тогдашнему, а я не нашел и нужды себя перевоспитывать. Служил он Петру Великому. Тогда один человек назывался ты, а не вы; тогда не знали еще заражать людей столько, чтоб всякий считал себя за многих. За то нонче многие не стоют одного»... «В тогдашнем веке придворные были воины, да воины не были придворные. Воспитание дано мне было отцом моим по тому веку наилучшее. В то время к научению мало было способов, да и не умели еще чужим умом набивать пустую голову» [1]).

Именно потому, что тогда в России «к научению мало было способов», Петр усиленно старался набивать русские головы «чужим умом» — умом Западной Европы. В этом заключался смысл его реформы. Упустив это из виду, Фон-Визин сделал большую ошибку. Правда, та разновидность «чужого ума», которой так сильно дорожил Петр, совсем не похожа была на ту его разновидность, которую выше всего ставили «пустые головы» дворянского происхождения при Екатерине II: ему решительно не было места в головах нарядных «петиметров». Но, — как уже замечено выше, — появление на Руси петиметров принадлежало к числу логических следствий Петровского преобразования. Сделанное почти исключительно силами дворянства, преобразование привело к расширению прав этого сословия и, обеспечив ему известный досуг, породило в некоторой его части крайнее увлечение светскими развлечениями и иностранными модами. Если бы, каким-нибудь чудом, Россия

---

1) «Недоросль», действие III, явление 1-е.

вернулась к эпохе Петра I, которую принялись восхвалять наши Стародумы в царствование Екатерины II, то об'ективная логика общественной жизни опять заставила бы ее снова пережить все последствия Петровской реформы, к числу которых принадлежала и дворянская французомания. Но этой логики почтенные Стародумы совсем не понимали, как не понимали они и того, что только *поступательное,* а ни в каком случае *не попятное* движение могло избавить Россию от этой французомании.

Когда переворот 1741 г. передал верховную власть Елизавете, она возвестила, что будет править в духе своего отца. Этим обещанием прикрывалось отсутствие у нее самой какой-нибудь определенной политической программы. Подобно этому, наши сатирики принялись за идеализацию Петровской старины только потому, что оставались в полной неясности насчет того, как бороться с подмеченными ими общественными недостатками и куда должна вести Россию имманентная логика Петровской реформы.

Французские образцы, которым хотели подражать русские «петиметры», принадлежали к светскому французскому обществу. В состав этого общества входили тогда, главным образом, члены привилегированных сословий (дворянства и высшего духовенства). Против дворянства и духовенства направлялось во Франции то движение третьего сословия, идеологами которого были так называемые «энциклопедисты». Энциклопедисты не только не увлекались образом жизни, вкусами и привычками аристократического французского общества, но, наоборот, резко их осуждали. Реакция против аристократических привычек, вкусов и образа жизни давала себя чувствовать во всех новых течениях французской литературы и французского искусства. Она породила живопись Грёза и сантиментальную драму Дидро. Последним словом этой реакции явилось, в конце XVIII столетия, устранение старого порядка, *уничтожение всех привилегий аристократии.* Но изо всех стран европейского материка только Франция способна была произнести это последнее слово. В Германии едва-едва начинавшееся движение третьего сословия не пошло дальше совершенной Лессингом *литературной* реформы, бывшей одновременно протестом как против свойственного тогда дворянству увлечения французскими литературными понятиями, так и против его преклонения перед французскими дворянскими нравами. Но нужно помнить, что Лессинг совершил свою литературную реформу, *следуя примеру английских и французских идеологов третьего сословия,* в особенности Дидро, которого он ставил чрезвычайно высоко. Благо-

даря этому, *его* протест против французомании не был протестом против освободительных французских идей. Лессинг не шел так далеко, как шли передовые французы XVIII столетия; но он все-таки шел по одной дороге с ними. Между тем, *наши* противники французского влияния выступили также и противниками передовой французской философии.

В своих сатирических изданиях Новиков нередко так выражался, как будто в его представлении свободные мыслители тогдашней Франции отождествлялись с профессорами «Академии Волосоподвивательной науки». Несколькими годами позже, в предисловии к изданному им «Повествователю Древностей Российских», он обрушился на людей, по его словам, зараженных «французскими натуральной системы книгами, пудрою, помадою, картами, праздностью и всякими наружными украшениями и бесполезными украшениями [1]). Под «натуральной системы книгами» надо понимать, конечно, сочинения французских материалистов. Стало быть выходило, что Гольбах и Дидро ответственны за праздность светских хлыщей, — за их пудру, помаду и карты! Дальше этого смешение понятий простираться не могло. Но что оно свойственно было не одному Новикову, это лучше всего видно на примере Фон-Визина, у которого идеализация Петровской эпохи тоже сопровождалась ожесточенными нападками на проповедников новых идей во Франции (на «ученых вралей»).

Выше я сказал, что стремление Фон-Визина превозносить *русскую* общественную жизнь на счет *французской* отчасти об'ясняется, как реакция против нашей светской французомании. Теперь я прибавлю, что взваливать на идеологов французского третьего сословия ответственность за те или другие недостатки европеизованного русского дворянства можно было только вследствие неразвитости наших общественных отношений, мешавшей русским сатирикам разбираться в явлениях общественной и умственной жизни европейского Запада.

П. Н. Милюков совершенно справедливо сказал, что так как западная культура сделалась у нас исключительным достоянием «благородного» сословия, то нападки на его внешнюю культурность сливались с нападками на привилегированное положение дворянства. Можно прибавить, что в нападках на привилегированное положение дворянства заключалась прогрессивная мысль, заимствованная у тех же безбожных писателей Запада, на которых нападали наши благочестивые идеали-

[1]) См. *Незеленов,* Николай Иванович Новиков, стр. 220—221.

заторы Петровской старины. Но именно потому, что идеализаторы старины отворачивались от тех смелых новаторов, у которых была ими заимствована их прогрессивная мысль, они плохо усваивали ее, и их нападки на привилегированное положение дворянства, сливавшиеся с нападками на его культурную внешность, оставались крайне робкими и поверхностными. К тому же, прогрессивная мысль эта иногда совсем стушевывалась, уступая место вовсе уже не прогрессивному превознесению «простых» нравов провинциального дворянства на счет развращенных нравов столиц.

Однако, хотя совсем бессодержательна была в теоретическом отношении идеализация Петровской старины и хотя очень бедны были, по своему идейному содержанию, нападки сатириков на внешнюю дворянскую культурность,—и ту, и другие следует признать интересными знамениями своего времени: они знаменовали зарождение вопроса о том, *каково должно быть отношение России к Западу на основе Петровской реформы.* В одной из следующих глав мы увидим, что уже в XVIII веке делались заслуживающие внимания попытки решить этот важный вопрос или, — если позволительно употребить здесь выражение, ставшее у нас ходячим в 70-х и 80-х годах следующего столетия, — найти нашу *формулу прогресса.* В той же главе мы увидим, что по этому вопросу Д. И. Фон-Визин высказал мысль, ставшую ходячей в XIX веке.

Глава VIII

Движение общественной мысли под влиянием взаимной борьбы различных общественных элементов

Комиссия об Уложении

I

Новые, разнородные и часто совершенно несогласимые между собою стремления, порожденные Петровской реформой, выразились, между прочим, в пресловутой екатерининской «Комиссии о сочинении нового Уложения». Но та же Комиссия показала, как мало благоприятна была наша тогдашняя об'ективная действительность проведению в жизнь тех из них, которые не соответствовали унаследованным от допетровской старины и все еще непоколебленным основам государственного строя.

Известная часть населения взглянула на посылку своих представителей в эту Комиссию, как на одну из докучных натуральных повинностей по отношению к государству. И для нее был вопрос в том, как бы поскорее разделаться с этой повинностью. В наказе, данном муромским дворянством своему депутату, говорилось: «Мы, будучи в собрании, по довольном общем нашем рассуждении всего муромского дворянства, никаких отягощений и нужд не признаваем» [1]). В тверском уезде один помещик отказался принять участие в выборе депутата, сославшись на указ Петра III, освободивший дворян от обязательной службы. Торгово-промышленное сословие от обязательной службы избавлено еще не было. Поэтому, доводя до его сведения манифест 14 декабря 1766 г., некоторые городовые магистраты сочли себя в праве принять решитель-

[1]) *П. Кудряшев,* Отношение населения к выборам в екатерининскую Комиссию. «Вестник Европы» 1909 г., декабрь, стр. 546 и 541.

ные меры против возможных попыток уклониться от выполнения «законодательной» повинности. В Путивле магистрат предписал городовому старосте Курдюмову: «Ити тебе во дворы путивльского купечества всех не обходя ни единого, а пришедь каждому об'явить, чтобы они неотменно без всяких оговорок явились в магистрат... и кому об'явлено о том будет, велеть в слышании сего под сим подписаться и чтоб неотменно имели явиться». Если кто-нибудь «паче чаяния ослушанием своим не подпишется», о тех староста должен был подать рапорт. В Каргополе старосте приказано было каждую неделю «наистрожайше» и «со всякой внятностью» читать как самый манифест, так и приложения к нему ради «оных разумения». В Кашине, Архангельске и Переяславле Рязанском магистраты предписали, чтобы после опубликования манифеста 14 декабря никто из купцов не отлучался без разрешения вплоть до выборов. В некоторых других городах с отлучавшихся брали подписки о возвращении их к надлежащему сроку. В Касимове купечество первой и средней статьи обязало старосту «безупустительно» взыскать денежную пеню с сорока купцов, не явившихся на выборы после многократного извещения их о сборе. Тех ослушников, которые оказались бы не в состоянии заплатить пеню, решено было наказать «телесно батожьем дабы и впредь так чинить не отваживались». Все это было совершенно в духе дореформенных московских порядков. В том же духе поступали избиратели, когда выбирали в депутаты лиц, почему-либо чуждых местной жизни и вовсе не желавших попадать в число «излюбленных». В Борисоглебской Слободе тогдашней Московской губ. избрали в депутаты купца С. Н. Еболдина, хотя на бумаге и принадлежавшего к тамошнему обществу, но жившего в Выборге. Получив депутатское полномочие и наказ от своих избирателей, Еболдин сообщил подлежащему начальству, что в Борисоглебской Слободе у него нет ни дома, ни торга, и что, кроме того, сам он вот уже три недели как нездоров, в удостоверение чего был им приложен медицинский «атестат». Началось целое дело, восходившее до Сената, который решил, что, так как Еболдин во время его выбора еще имел дом в названной слободе и был здоров, а приключившаяся с ним впоследствии болезнь не весьма «чрезвычайна», то он не имеет права отказаться от исполнения своей депутатской обязанности. Выборгский губернатор выслал этого *насильно излюбленного* человека в Москву для участия в работах Комиссии.

Еще более трагикомична была, — с точки зрения нынешнего европейца, — судьба *курского* депутата Ивана Скорнякова. Проживая

в *Нежине,* он отговаривался болезнью, которую даже оптимистически настроенный Сенат должен был бы, кажется, признать довольно «чрезвычайной» для депутата: «*затмением ума*». Но и этой отговорки не принял во внимание суровый магистрат города Курска. «За недельное отбывательство» Скорняков, по предписанию губернатора, выслан был в Курск под караулом Малороссийской коллегии, а с нежинским магистратом, будто бы «закрывавшим» Скорнякова, поступили, «по законам».

В Енисейске роль «излюбленного» умышленно возложена была обывателями на человека, пользовавшегося всеобщим нерасположением: некоего Н. С. Самойлова. Напрасно протестовал народный избранник, говоря, что его выбрали по злобе: пришлось ему покориться своей горькой участи. Самойлов даже принял участие в исправлении депутатского наказа. Правду говорит французская пословица: аппетит приходит во время еды. Но, когда дело дошло до подписания этого наказа, избиратели струсили, вообразив, что за это может достаться не только нелюбимому или излюбленному человеку, но и им самим. Кое-как затруднение уладилось, Самойлов уехал в Москву, и из него, говорят, вышел дельный член Комиссии [1]).

Если старо-московские предания продолжали жить в памяти по крайней мере некоторой части обывателей государства российского [2]), то еще прочнее коренились они в голове его администраторов. Екатерина II утверждала, что ей желательно сделать выборы депутатов «вольными» и предохранить их от административного давления. Но мы хорошо знаем, до какой степени практика Фелицы расходилась с ее теорией. В действительности администрация нисколько не стеснялась давить на выборы там, где находила это полезным. Она очень заботилась о том, чтобы выборы совершались «с должностным безмолвием и тишиною», всякое «шумство» рассматривалось ею, как преступление. Если в Великороссии редко случалось «шумство», имевшее политическое значение, то на западных окраинах дело обстояло иначе. Окраины

---

[1]) Об этой истории, рассказанной первоначально С. С. Шашковым, см. в исследовании г. *Флоровского*, Состав Законодательной Комиссии 1767—1774 г.г., в X выпуске «Записок Новороссийского университета», Одесса 1915, стр. 407. Там же указаны и другие приведенные мною случаи.

[2]) Впрочем, надо заметить, что даже в некоторых западно-европейских демократиях народные избранники не имели права отказываться от исполнения возложенной на них народом политической обязанности. Так было, например, во Флоренции XIV века (см. *F. T. Perrens,* La civilisation florentine, Paris 1893, p. 49).

эти имели свои, приобретенные в совершенно другой исторической обстановке, права и вовсе не были расположены отказываться от них. Тамошнее население опасалось, как бы Комиссия не уничтожила этих прав, и потому предпочитала совсем не посылать в Москву своих депутатов. Так было в некоторых остзейских городах и в некоторых местностях Малороссии. А когда население окраин убеждалось, что посылки депутатов избежать невозможно, оно, составляя свои наказы, прежде всего ходатайствовало о сохранении тех своих привилегий, которые еще продолжали существовать, и о восстановлении тех, которые уже были отменены центральным правительством [1]). Само собою понятно, что администрация видела в таких уклонениях и пожеланиях лишь «своевольство» и «неблагодарность» по отношению к государыне, вознамерившейся осчастливить своих подданных. Малороссийский генерал-губернатор Румянцев писал Екатерине из Малороссии:

«Новый проект Уложения не производит здесь... признания вашего императорского в-ства благоволения, не переменяет наклонности их, ни рассуждение. Многие истинно вошли во вкус своевольства дотого, что им всякий закон и указ государский кажется быть нарушением их прав и вольностей; отзывы же у всех одни: «Зачем бы нам там (в Комиссии.—*Г. П.*) и быть; наши законы весьма хороши, а буде депутатом быть, конечно, уже надобно, только разве б искать прав и привилегий подтверждения». Термины обыкновенного их совета, которые они простому народу (который подлинно добр))... внушают и всегда в голову кладут, что о вольности и о правах, как о первоначальном, всем искать надлежит» [2]).

Подобно Румянцеву, Екатерина решила, что этому «своевольству» должен быть положен конец. «Я надеюсь, — отвечала она Румянцеву, — что вы употребите такие меры, которые непознавающих собственной своей и общественной пользы степенями приведут, наконец, к познанию оной».

Так как она много раньше Талейрана держалась правила: мы должны пользоваться языком для того, чтобы скрывать свои мысли, то немедленно и тут посоветовала избегать «принуждения или усильных увещаний». Румянцева эта оговорка не обманула. В одном из следую-

[1]) Лифляндские дворяне хлопотали о подтверждении их привилегий; выборгское дворянство ходатайствовало о сохранении тех привилегий, «коими шведское дворянство в сих завоеванных провинциях... пользовались» (sic!). См. «Сборник Имп. Русского Историч. Общества», т. 67, стр. 66—67 и 91.

[2]) *Соловьев*, История России, кн. 6, стр. 315.

щих своих донесений он сообщал своей вольнолюбивой повелительнице, что недостало его «терпения сим вралям далее попущать», и что он «взял тон прямо начальничества». На это она, как и следовало ожидать, отвечала ему, что употребленный им тон начальничества «весьма приличен был» [1]). Дело «тоном» не ограничилось. В Нежинском полку избиратели, недовольные своим депутатом Селецким, который отказался принять наказ, требовавший восстановления шляхетских вольностей и даже гетманства [2]), выбрали на его место нового представителя. Тогда администрация предала «зачинщиков... непорядка» суду, военных — военному, а гражданских — гражданскому.

Их обвинили в том, что они «отважились» нарушить доверенность депутату Селецкому, «со дня его выбора единственно уже под ее имп. в-ства протекциею состоящему». Гражданский суд приговорил подсудимых к вечной ссылке, а военный пошел еще дальше: из 36 человек 33 приговорены были им к смерти, остальные 3—к ссылке! Сенат заменил ссылку шестинедельным тюремным заключением с отнятием всех чинов. Осужденные на смерть казнены не были. Неизвестно, чем именно заменили им «лишение живота», но когда в 1770 г. милостивая Екатерина нашла возможным простить их («бог простит»), то весть о помиловании застала их в тюрьме [3]).

Шляхетство обнаружило более оппозиционное настроение по отношению к центральному правительству, нежели другие слои малорусского населения. Как мы видели, Румянцев находил даже, что «простой народ» в Малой России «подлинно добр» [4]). Однако у доброго мало-

---

[1]) *Соловьев,* там же, стр. 317 и след.

[2]) «С вашими наказами в Москву не еду, потому что мне стыдно будет их показать», — заявил он избирателям, хотя прежде сам одобрял содержание их наказа.

[3]) Подробнее об этом см. в цитированной мною выше статье *П. Кудряшева,* Отношение населения к выборам в «екатерининскую Комиссию, стр. 532, 633 и след.

[4]) Г. Кудряшев говорит, что в Малороссии, в эпоху созыва Комиссии, «зрело недовольство и происходило глухое брожение сепаратистического характера» («Вестник Европы», 1909, кн. II, стр. 106). Что недовольства было много, это неоспоримо, но чтобы оно имело «сепаратистический характер», это очень сомнительно. В частности малорусское шляхетство недовольно было тем, что правительство отказывалось сравнить его в правах с великорусским дворянством. Эта причина его недовольства устранена была Екатериной II в 80-х годах. И тогда, по выражению А. Ефименко, «прекратилось многолетнее томление малорусского панства: врата в недоступное до тех пор святилище были ему открыты» («Малорусское дворянство и его судьба», в I т. сборника *А. Ефименко,* Южная Русь, стр. 191). Как мало политического смысла обнаруживало в своем недовольстве малорусское шляхетство,

российского простонародья тоже было немало поводов к недовольству. В Харьковской провинции [1]) жители слободы Межиричь, прежде бывшие слободскими казаками, а потом обращенные в податных поселян, естественно, желали возвращения старых порядков. На одном избирательном собрании некто Гринченко воскликнул: «Кто сей новый оклад положил, тот чтобы пропал на веки». Его арестовали и отдали под суд. Некоторые избиратели пытались освободить его; их также арестовали и судили по 1 и 18 статьям Уложения, каравшим умысел на государево здоровье, скоп и заговор на государя. Сумская провинциальная канцелярия постановила публично наказать всех подсудимых (их было 23) плетьми. На самом деле наказанию плетьми подвергнут был, повидимому, только Гринченко, да еще высечен был батогами избиратель Ветерок. Однако и это являлось весьма «усильным увещанием». Положим, что Ветерок отведал батогов за попытку насильственно освободить Гринченко. Но этот последний пострадал единственно за слишком резкое выражение своего взгляда на новый порядок вещей. А это значит, что, давая свои наказы лицам, долженствовавшим устроить «блаженство каждого и всех» [2]), «вольные» избиратели отнюдь не были вольны без обиняков высказывать все, чего им хотелось и что наболело у них на душе.

Согласно положению, присоединенному к манифесту о выборах, депутаты навсегда освобождались от смертной казни, пыток, телесного наказания и конфискации имения; обидевший депутата платил двойное «бесчестие». Но практика и тут расходилась с теорией. В Харьковской провинции депутат Прокоп Гук делал денежные сборы с населения, обещая за это им свою помощь по части земельного межевания, совпавшего там с выборами. Обвиненный в вымогательстве, он был лишен звания депутата и... наказан плетьми. Таким образом, привилегия, пожалованная депутатам матушкой государыней, сводилась, собственно, к тому, что их нельзя было наказать «на теле», не отняв у них предварительно высокого депутатского звания [3]).

видно, например, из следующего, далеко не единичного факта: в Полтаве руководящий выборами в Комиссию об Уложении генеральный обозный Кочубей «с великим трудом едва мог склонить чиновничество к заседанию с градскими жителями» (*Кудряшев*, назв. статья, «Вестн. Европы», кн. 11, стр. 113).

[1]) Она принадлежала собственно не к Малороссии, а к Новой Слободской губ., но населена была тогда, как и теперь, малороссами.

[2]) Надпись на депутатской медали.

[3]) Гук оправдывался тем, что принимал только добровольные, законом разрешенные, приношения. Во всяком случае, есть основание думать, что местные

Администрация весьма недолюбливала письменных сношений депутатов со своими избирателями. Нескольких депутатов, посылавших в провинцию письма, от которых, по мнению администрации, могло проявиться непослушание, сама Екатерина признала достойными строгого выговора, «дабы впред осторожнее были в употреблении пера». За будто бы возмутительную переписку со своими избирателями исключены были депутаты П. Денисов, М. Моренец и С. Мороз [1]). Впрочем, подробностями такого рода трудно удивить даже и нынешнего русского читателя...

II

«К выборам в общем население отнеслось серьезно, благожелательно и довольно сознательно», — говорит г. П. Кудряшев. Он указывает на то, что местами избиратели умели крепко постоять за своих избранников, а иногда подвергали их своему постоянному контролю.

И в самом деле, хотя и очень много допетровской старины было как в отношении администрации к избирателям и их избранникам, так и во взгляде избирателей и избранников на свою обязанность, но все-таки мы видим больше сознательности и серьезности при выборах в екатерининскую Комиссию, нежели при выборах в подобные же комиссии, созывавшиеся прежними государями [2]).

Этого нельзя отрицать. Но не следует также впадать в преувеличение. Факт тот, что лишь очень небольшая доля общего числа избирателей приняла деятельное участие в выборах. На это указывает сам г. П. Кудряшев. Правда, это в известной мере об'ясняется тем, что

землевладельцы преувеличили его грех, так как он, по их убеждению, препятствовал полюбовному размежеванию с ними «казенных обывателей», т.-е. местных крестьян. Один из таких землевладельцев, — сотник Ковалевский, — советовал отстранить Гука от его депутатской должности, потому что он, «как мужик угрюмый и продерзкий может и в комиссии изблевать какого-либо мужицкого яду». (*П. Кудряшев*, назв. ст., «Вестник Европы» кн. 11, стр. 120.)

[1]) *А. В. Флоровский*, назв соч., стр. 573.

[2]) Манифест 14 декабря 1766 г. о созыве в Комиссию для выработки нового Уложения был по счету *пятым*. Учреждение законодательных комиссий началось уже при Петре I. Первоначально правительство считало возможным обойтись силами своих чиновников. Очень скоро увидя тщету этой надежды, оно стало призывать «добрых и знающих людей» от шляхетства, а после (при Петре II) от купечества и (при Анне и Елизавете) от духовенства. Насколько мне известно, Екатерина II, так охотно беседовавшая со своими заграничными корреспондентами о созванной ею Комиссии, никому из них не сообщила, что идея, которую она осуществляла в данном случае, совсем не была новой.

весьма многие дворянские избиратели, состоя на службе, не жили в своих имениях. Г. П. Кудряшев приводит интересные статистические данные по некоторым уездам тогдашней Московской губернии.

	Владельцы.			
	Общее число.	Жило в уезде.	Явилось на выборы.	Отзыв прислали.
Гороховецкий уезд .	63	7	6	4
Волоколамский » .	60	15	6	10
Звенигородский » .	80	2	—	51 [1].

Вероятно и то, что среди лиц торгово-промышленного сословия некоторые, — может быть, даже довольно многие, — не участвовали в выборах только вследствие отлучки, по собственным торговым делам, или же по делам обязательной для них службы государству.

Г. П. Кудряшев отмечает еще то, конечно, крайне неудобное обстоятельство, что выборы в Комиссию назначены были на время весенней распутицы. Но, во-первых, нам известны случаи, когда городовые магистраты «с учтивостью», — и с успехом, — просили воевод изменить неудобные для обывателей сроки выборов [2]). Этим путем можно было, по крайней мере местами и отчасти, обойти неоспоримые затруднения, причинявшиеся распутицей. Во-вторых, едва ли добровольные (по собственным делам) или обязательные (по делам службы) отлучки избирателей способны целиком об'яснить то, что, например, в Петербурге все число избирателей, лично участвовавших в выборах, дошло только до 15 процентов числа жителей, обладавших избирательным правом, а в Москве было и того меньше, составив лишь одну десятую часть избирателей [3]).

Во избежание недоразумений напомню, что нежелание принимать личное участие в выборах еще не означало полного равнодушия изби-

[1]) Назв. статья, «Вестник Европы», кн. 12, стр. 541.—Дворянские избиратели имели право, не участвуя лично в выборах, подавать свой голос письменно.

[2]) См. у *А. В. Флоровского,* назв. соч. стр., 379 и 380.

[3]) *Флоровский,* назв. соч., стр. 386; ср. также *Кудряшев,* назв. статья, «Вестник Европы» кн. 12, стр. 543. Конечно, отлучки избирателей с места их постоянного жительства не об'ясняют также ни приведенного мною выше заявления муромских дворян о том, что никаких отягощений и нужд они не имеют, ни заявления жителей г. Дмитровска о том, что «никаких к сочинению прошений о желаемом поправлении» они не приносят и, по обстоятельствам их города, «никаких общих нужд не имеют представить». *(П. Кудряшев,* назв. статья, «Вестник Европы», кн. 12, стр. 541.)

рателей к их исходу. Избирательный закон позволял, как мы знаем, дворянам письменно посылать свой голос или «отзыв». И мы видели, что в тогдашней Московской губ. этим правом воспользовались довольно многие дворянские избиратели. Подобное же право было, — на этот раз в отступление от законного «обряда» выборов, — предоставлено избирателям обеих столиц. Возможно, что им воспользовались довольно многие из тех столичных домовладельцев, которые не захотели или почему-нибудь не могли пойти на избирательные собрания. Но если дворянин, скажем, Звенигородского уезда, неся службу в более или менее отдаленной местности, находил нужным послать на родину свой избирательный «отзыв», то это свидетельствовало о немалом интересе его к судьбам Законодательной Комиссии. А если петербургский или московский домовладелец, вместо того, чтобы лично пойти на избирательное собрание, ограничился посылкой «доверенного письма», то это говорит скорее о том, что ему свойственно было лишь весьма умеренное избирательное рвение.

В таком же смысле приходится понимать и то интересное явление, что как в Петербурге, так и в Москве при выборе поверенных, т.-е. выборщиков, прошло много аристократов и высших чиновников. Это обстоятельство несколько смутило даже генерал-полицеймейстера Чичерина, руководившего выборами в обеих столицах, и он дал избирателям «совет не в указ» выбирать выборщиков «из всякого звания жителей, способных и знающих городские нужды» [1]).

Ввиду всего этого, мы окажемся ближе к истине, сказав, что более серьезное и сознательное, чем прежде, отношение к выборам проявлено было, при Екатерине II, не всем населением «в общем», а только известной, и притом сравнительно небольшой, его частью.

Эта часть населения была наиболее энергичной и деятельной. Ее избранников надо рассматривать как выразителей нужд и носителей стремлений всех тех элементов населения, которые получили право представительства в Комиссии.

Известно, что население деревень было представлено в ней очень слабо. В «Положении» о выборах упомянуты были только однодворцы, пахотные солдаты, старых служб служилые люди, черносошные и ясашные крестьяне. После издания манифеста 14 декабря к этим элементам прибавлены были некоторые другие. 19 декабря того же года Сенат принял постановление, давшее право представительства *экономическим*

---

1) *П. Кудряшев,* там же, стр. 543.

крестьянам. Вскоре после этого Екатерина предписала привлечь к выборам также крестьян, приписанных к заводам [1]). Возникал вопрос о предоставлении избирательного права также дворцовым крестьянам; однако его решили отрицательно, как решили, с самого начала, вопрос о представительстве крестьян помещичьих [2]).

Наиболее деятельная часть всякого данного общественного класса, сословия или слоя бывает обыкновенно и наиболее культурной его частью. Так было и в данном случае. Но, к сожалению, мало культурной была и наиболее культурная часть тогдашнего населения России. Г. В. Бочкарев составил таблицу, показывающую размеры безграмотности в среде избирателей [3]).

Губернии.	Дворяне.			Горожане.		
	Всего избирателей.	Неграмотных.	% отношение неграмот. к общему числу избирателей.	Всего.	Неграмотных.	Процентное отношен. к общему числу.
Оренбургская	185	111	60	—	—	—
Архангелогородская	331	93	28,09	—	—	—
Московская	1756	314	17,88	4646	1543	33,17
Новгородская	977	141	14,33	69	3	4,35
Нижегородская	130	15	11,54	680	331	48,97
Новороссийская	309	33	10,68	—	—	—
Смоленская	206	19	9,22	30	—	0
Белгородская	510	43	8,44	1404	441	31,41
Воронежская	553	45	8,14	1471	813	55,27
Малороссийская	884	53	5,99	521	383	73,51
Петербургская	41	2	4,88	100	—	0
Слоб.-Украинская	254	11	4,33	—	—	—
Казанская	205	2	0,97	82	13	15,85
Киевская	111	—	0	183	93	50,82

[1]) А. В. Флоровский («Состав Зак. Комиссии», стр. 423) приводит текст этого постановления. Таким образом, г. П. Кудряшев ошибочно отнес заводских крестьян к числу лишенных представительства. Ниже мы познакомимся с некоторыми наказами заводских крестьян.

[2]) Интересно, что находившиеся в помещичьем владении финляндские крестьяне, не в пример русским, имели своих представителей в Комиссии. (*Флоровский*, там же, стр. 425 и 426)

[3]) См. исследование г. *Бочкарева*, Культурные запросы русского общества начала царствования Екатерины II по материалам Законодательной Комиссии 1767 года, напечатанное в январской, февральской, мартовской, апрельской и майской книгах «Русской Старины» 1915 г. Приведенная здесь таблица находится в февральской книге.

Губернии.	Дворяне. Всего избирателей.	Дворяне. Неграмотных.	Дворяне. % отношение неграмот. к общему числу избирателей.	Горожане. Всего.	Горожане. Неграмотных	Горожане. Процентное отношен. к общему числу.
Астраханская	—	—	—	682	372	54,54
Эстляндская	165	—	0	—	—	—
Лифляндская	171	—	0	—	—	—
Сибирская	65	—	0	67	—	0
Иркутская	39	—	0	63	—	0
Выборгская	3	—	0	—	—	—

В то время, когда русские сатирики принялись осмеивать нашу крайнюю французоманию, в Московской губернии, этом центре Великороссии, оказалось около 18% безграмотных между избирателями, принадлежавшими к «благородному сословию»! Я уже не говорю об Оренбургской губ., где таких избирателей насчиталось больше половины. Неграмотные дворяне, наверно, были не более доступны для западных влияний вообще и особенно для влияния освободительной западной философии, чем Тарас Скотинин или Митрофан Простаков. А так как они гнездились преимущественно в провинции, то это дает нам полную возможность по достоинству оценить то противопоставление нашего городского быта сельскому, которое, с нескрываемой симпатией к последнему, делалось по временам русской сатирой [1]).

В торгово-промышленном сословии безграмотность была еще больше распространена как в Великой, так и в Малой России. Если в Малороссийской губ. между шляхетскими избирателями было только 6% безграмотных, то между городскими их было 73,51. В Киевской губ. безграмотные избиратели составляли 50,83% общего числа, в Воронежской — 55,27%, в Московской — 33,17% и т. д. Петербургская губ. как будто составила блестящее и даже несколько странное исключение: процент безграмотных в среде дворянских избирателей равнялся там 4,88, а в среде городских избирателей он опустился до нуля. Однако число занесенных там в счет городских избирателей сравнительно так невелико, что осторожнее будет воздержаться от каких-нибудь заключений по поводу отсутствия в нем безграмотных.

Как бы то ни было в частных случаях, не подлежит сомнению, что в своей массе русское торгово-промышленное сословие оставалось

1) Надо помнить, что речь идет здесь отнюдь не о противопоставлении крестьян другим сословиям.

тогда еще менее культурным, чем дворянское, и когда представителям этой, весьма мало культурной, среды пришлось разбираться в противоречиях, вызванных Петровской реформой, они оказались неспособными широко взглянуть на нужды своего сословия и выставить стройный, чуждый внутренних противоречий, ряд требований.

III

Слово: «требования» здесь, пожалуй, неуместно. «Несмотря на полную законность заявлений городских жителей, — говорит В. Сергеевич, — их не оставляет мысль, что заявления эти могут не понравиться императрице, поэтому в заключение наказа они нередко просят о всемилостивейшем прощении, если что-либо в содержании наказа будет за излишнее». Для примера он выписывает отрывок из наказа от граждан Переяславля Рязанского. «А если из сих наших прошениев что будет неугодно, — читаем мы там, — то всеподданнейше просим высочайшим монаршим матерним милосердием, снисходя к нам всеподданнейшим рабам, милостиво простить и не поставить того в преступление» [1]). Это язык челобитных Московской Руси. Челобитчики не требовали, а именно только выступали с прошениями. Русские горожане XVIII в. продолжали относиться к центральной власти так же, как горожане допетровского времени. И, однако, в речах депутатов, посланных ими в екатерининскую Комиссию, звучали иногда неслыханные прежде ноты. Петровская реформа все-таки давала себя чувствовать!

Следует заметить, что городские депутаты относятся к ней с полным сочувствием. Наказ от г. Суздаля заключает в себе целый панегирик деятельности Петра I. Составители наказа превозносят память преобразователя за его «отеческое попечение» о торговле. Они говорят, что Петр I, «будучи в европейских государствах своею высокою особою, у искусных комерции народов полезные порядки, художества и работы проницательным своим оком рассматривать изволил, дабы всему тому подданных своих обучить», и т. д. Не менее достойно внимания и представление их о той цели, которую преследовал Петр I, совершая благотворные для торговли реформы. По их словам, он с таким намерением это «делать изволил, дабы российское свое купечество, собрав яко рассыпанную храмину, не толко (sic!) сравнить, но и превысить

1) Сборник Имп. Русского Исторического Общества, т. 93, предисловие, стр. IX.

европейских купцов, зная достоверно, сколко коммерция нужна государству, как то в самой вещи видимо в европейских государствах» [1]).

Тут нет и следа той тупой ненависти ревнителей древлего благочестия к Западу, которой не чужд был еще Посошков. Несколькими строками ниже в Суздальском наказе говорится о «счастливых европейских купцах», перед которыми испытывает стыд прозябающее в бедности русское купечество.

В 62-м заседании Комиссии депутат от г. Барнаула Карышев выступил с еще более восторженным похвальным словом Петру I. Он указывал на то, что допетровская Русь «была в неизвестности у всего света» и, вследствие бедности, которая мешала ей содержать армию, не могла защищаться от своих неприятелей. Теперь же, благодаря Петровской реформе, русское государство имеет такое войско, которое «одним своим видом может поколебать и привести в трепет стремящихся на нее неприятелей».

Коренное значение Петровской реформы заключалось, по мнению Карышева, в том, что он «отворил порты и умножил торговлю с разными и неслыханными до того народами». Как видите, преобразовательная деятельность Петра оценивается, главным образом, с точки зрения торговли. Военный аргумент лишь подкрепляет эту точку зрения. И следует заметить, что депутат Карышев вообще приписывал торговле чрезвычайно важную роль в истории человечества. Он утверждал, что Финикия и Тир, Карфаген и Рим, Англия и Голландия «своею славою одолжены коммерции» [2]).

Это не все. Отводя торговле такую важную роль в ходе развития культуры, Карышев ссылается на слова Екатерининского «Наказа»: «Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется тамо, где ее спокойствия не нарушают» [3]). Это дает повод думать, что его убеждение в великой пользе Петровского преобразования и в огромной важности торговли связывалось с сознанием необходимости *свободы*. И, — что всего интереснее, — это сознание выражалось не им одним. Кронштадтский депутат Рыбников, оспаривая кн. М. Щербатова (мы увидим ниже, о чем шел спор) и сравнивая положение русского купечества с положением западного, заметил, что русское торговое сословие «не имеет надлежащей свободы» [4]).

---

[1]) Там же, т. 107, стр. 18.

[2]) Там же, т. 8, стр. 275—276.

[3]) Там же, стр. 275.

[4]) Там же, т. 8, стр. 176.

Судя по всему, понимать значение свободы научил городских депутатов не тот или другой идеолог и не влияние того Запада, на который они ссылались, а горький опыт русской общественной жизни. Нижегородские граждане жаловались, что полиция чинит «коммерции великое препятствие». И вот почему они, — *в первой же статье своего наказа,* — просили, «чтоб состоящей ныне в Нижнем-Новгороде Полицеймейстерской конторе не быть, а... полицейскую должность определить в ведомство нижегородского губернского магистрата» [1]). Граждане северной столицы выступили с ходатайством о том, «чтобы никто в своем доме никакого насилия не претерпевал; и ежели кого к суду или в какое место взять будет потребно, такому прежде повещать, а хотяб по повестке в то место не явился, однакож не брать такого из дому или квартиры насилно (sic!), а брать вне дома и квартиры, кроме преступников по делам криминалным» [2]).

Московские граждане внесли подобное же ходатайство в наказ своему депутату кн. А. М. Голицыну: они хотели, чтобы полиция охраняла граждан от разного рода насильственных действий, не внося, с своей стороны, насилия в отправление правосудия: «а ежели кто потребен будет в суд, оного ни в какое время силою из его собственного, буде имеет, или наемного дома не брать, кроме преступников в криминальных (sic!) делах» [3]). Епифанские избиратели просили: «градских жителей разночинцов в магистраты и ратуши, как самих, так и их людей, ни по каким делам не забирать и в тех местах под караулом не держать».

Исключение допускалось ими не по «криминальным» делам, как в других наказах, а только по делам вексельным. Но «должно дать знать тогож времени о задержанном в подлежащем судебном месте» [4]).

Но всех энергичнее выражались суздальцы: «Нет никакой ползы (sic!) и благополучия купцам, что он именуется купцом, когда у него все достояние из рук от'емлют... Достохвалное комерции обращение процветает не от иного чего, как от свободной воли и беспрепятственного промыслу» [5]).

Эти petitions of rights дополнялись просьбами об усовершенствовании судебного процесса. Жители Петербурга желали, «чтобы пове-

---

[1]) Там же, т. 134, стр. 3 и 4.
[2]) Там же, т. 107, стр. 218.
[3]) Там же, т. 93, стр. 128.
[4]) Там же, т. 107, стр. 12.
[5]) Там же, т. 107, стр. 15.

лено было учредить ратушу или суд городской, на основании таком, как оный есть в протчих городах европейских (заметьте это, читатель. — *Г. П.*), и для скорейшей управы и искоренения ябед, волокит, тяжеб и протчих хлопот определить при оном и суд словесный, где-бы все граждане и жители без различия, яко в первом нижнем месте, судимы были во всяких междоусобных ссорах и обидах» [1]). Москвичи просят о том же и, — это опять следует запомнить, — также ссылаются на Западную Европу: «Для наблюдения лучшего между гражданами порядка и расправы в случающихся между мещанством делах всеподданнейше просим о учреждении здесь суда городскова (sic!), на основании европейских городов. А чтоб всем и каждому доставить скорую управу и удоволствие со искоренением ябид и волокит, за нужно признаваем учреждение при оном словесного суда, где бы жители без отмены все, какова б звания и чина ни были, во всяких обидах и ссорах беспристрастным судом ползоваться могли» [2]).

В заседаниях Комиссии городские депутаты тоже ходатайствовали об учреждении словесного суда [3]).

Повторяю, Петровская реформа не прошла бесследно для торгово-промышленного сословия. Его безграмотная или малограмотная масса начала сознавать необходимость *учения*. Московское купечество всеподданнейше просит в своем наказе учредить училища, «где не токмо достаточных купцов дети на иждивении отцов своих и матерей, но и малолетние сироты на содержании всего здешнего купечества разным языкам, бухгалтерству и прочим купечеству необходимым наукам и званиям обучаемы были» [4]). Интересно, что наши горожане и тут ссылаются на Западную Европу. Жители Архангельска говорят в своем наказе, что вследствие невежества «коммерция лишается искусных негоциантов, каковыми просвещенная Европа, наполнена будучи, всегда умеет верх одерживать в своих прибытках. И ради того может (наша коммерция. — *Г. П.*) уподоблена быть такой мануфактуре, которая, имея хорошие материалы, а неисправные инструменты, не может достигнуть совершенства» [5]).

---

[1]) Там же, т. 107, стр. 217.

[2]) Там же, т 93, стр. 126.

[3]) См., например, Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 8, стр. 140.

[4]) Сборник Имп. Русск. Историческ. Общества, т 93, стр. 134. Ср. названную выше статью г. *В. Бочкарева* в мартовской кн. «Русской Старины», 1895 г., стр 574.

[5]) *В. Бочкарев*, назв. статья, февраль, стр. 336.

Дворянские депутаты тоже указывали в Комиссии на пользу образования. Но они смотрели на него с точки зрения нужд государственной службы. Так, калужские дворяне хотели, чтобы их дети, благодаря образованию, «ко отправлению наложенной впредь на них должности достойными себя учинили». По мнению белевцев, школа нужна была для того, «что б дворянство к достижению своей славы, к воинской службе Ее Императорского Величества наиспособнейшим себя пред протчими отличали» [1]). Представители же купечества напирали почти исключительно на потребности торговли и промышленности. Жители города Ряжска добивались, чтобы магистратам предписано было «о воспитании детей прилагать всевозможное старание, дабы они обучены были сверх искусного понятия закона и письма, арифметике, бухгалтерии, навигации и геометрии, а сверх того и о прочих принадлежащих до коммерции науках стараться; если ж кто из сих детей высоким наукам непонятен окажется, таковых обучать рукомеслам и художествам, кто к чему склонен и охотен окажется, дабы никто без науки в праздности не закоснел» [2]).

Составители некоторых городских наказов приходили к мысли о необходимости *обязательного* обучения. Жители г. Вязьмы мечтали о том, «чтоб ни один купеческой и цеховой сын, неумеющий грамоте, не был и по миру не ходил». Избиратели г. Вологды желали, чтобы «бедных купецких малолетних сирот... по благопристойности, кто к чему будет и способен, обучать, хоша и не по их желанию, но по истинному об их испопечению». Составители Архангелогородского наказа просили предписать, чтобы все граждане «детей своих обоего пола без всякого из'ятия под чувствительными штрафами российской грамоте и катехизма учили бы». Ряжское купечество предлагало тех родителей, которые не будут отдавать своих детей в школу, «штрафовать на содержание сих школ, да сверх того, который из сих детей, согласясь потачке отца своего и матери, с школы сойдет без воли и отпуску главного учителя, тому, в силу 1714 г. именного указа, запретить жениться»!

Впрочем, сознание пользы учения выражено было далеко не всеми городскими избирателями. Вот цифровые данные, показывающие, в каких губерниях обнаружено было ими это сознание на выборах 1767 г. и в каком процентном отношении ко всей массе городских наказов стоят те, в которых говорится о школьном деле [3]).

---

[1]) Та же статья, март, стр. 565.

[2]) Там же, стр. 574.

[3]) Там же, январь, стр. 70, примеч. 2-е.

Губернии.	Число наказов.	% отнош. ко всем наказам.
Смоленская	1	20
Архангельская.	3	15
Воронежская	2	12,5
Новгородская	2	10
Казанская	1	6,06
Московская	2	3.43

Кроме того, просветительные стремления городских избирателей ограничивались сословными пределами.

В заседании 2 мая 1768 г. депутат от пахотных солдат Иван Жеребцов подал «мнение» о том, что надо учредить в селах школы, в которых детей учили бы «грамоте, попеременно из церковных и из тех книг, кои законодательство содержат». Против этого «мнения» в заседании 5 мая того же года возражал *депутат от г. Пензы,* Степан Любавцев. Он находил, что земледельцам, по их состоянию, не требуется других наук, «кроме российской грамоты», которой можно научить и без училищ. Училища будут отвлекать молодежь от земледелия [1]).

В России, где сильное развитие кустарной промышленности фактически присоединяло к торгово-промышленному сословию значительную часть крестьянства, еще менее, чем где-либо, можно было просветить купечество, оставляя во тьме народную массу. Повидимому, на это и хотел обратить внимание Любавцева выступивший против него депутат от той же провинции, — но только не от горожан, а опять от пахотных солдат, — Ег. Селиванов. Он сослался на «Наказ» Екатерины, провозгласивший важность просвещения, и отметил, что в купеческой среде есть два слоя: один, просветившийся благодаря учению, а другой — вышедший из хлебопашцев и не имевший возможности учиться. Как нельзя более справедливый вывод ясен: если хотите просветить купеческое сословие в его целом, то просветите также и хлебопашцев. Неопровержима была также та мысль солдатского депутата, что просвещение не повредит земледелию, а, напротив, принесет ему пользу.

Взгляд Любавцева оспаривал, кроме депутата от г. Пензы, Ег. Селиванова, еще депутат от серпейского *дворянства* гр. Ал. Строганов, признавший, что просвещение полезно и для земледельцев, так как только оно различает человека от скота и притом выясняет нам наши обязанности «к Богу, к Государю и к обществу». Граф выразил надежду, что когда крестьяне просветятся, то уже не будут проявлять зверства по от-

---

[1]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 32, стр. 398, 412.

ношению к своим помещикам [1]). Беспристрастный читатель согласится, что депутаты от пахотных солдат, — т.-е. *от тех же земледельцев,*— высказали несравненно более широкий и свободный от примесей сословного эгоизма взгляд на просвещение, нежели депутаты от купечества и от дворянства.

IV

Мы знаем, как настойчиво указывали городские депутаты на важное значение свободы для развития «коммерции». Тот, кому известны были бы только эти купеческие панегирики свободе, обвинил бы в несправедливости покойного С. М. Соловьева, сказавшего, что в Комиссии об Уложении раздался от дворянства, купечества и духовенства дружный и страшно печальный крик: «*рабов!*». На основании купеческих панегириков свободе можно было бы предположить, что купеческие депутаты, наоборот, дружно кричали: «Да здравствует вольность!». Однако покойный историк был прав.

Возьмем хоть известное нам замечание кронштадтского депутата Рыбникова о том, что русское купечество не имеет надлежащей свободы. Оно сделано было в виде возражения кн. М. М. Щербатову, энергично восставшему именно против *ходатайства городских депутатов о дозволении купцам покупать* «рабов». — «Как можно сказать, — воскликнул Щербатов, — чтобы без таковых невольных людей купцам невозможно обойтись, когда видим целую Европу, где никто невольных людей не имеет; однако ни на невозможность обойтиться, ни на недостаток усердия никто не жалуется» [2]). Рыбников справедливо подумал, что этот довод был бы неопровержим, если бы положение русского торгово-промышленного сословия признано было одинаковым с положением западного. Вот почему он и поспешил заметить, что это совсем не так: в отличие от западного русское купечество лишено свободы. К этому он прибавил, что, не имея надлежащей свободы, оно не имеет также «достаточных привилегий и несет службу при казенных сборах, простирающихся на многие тысячи». И этим своим ответом кн. Щербатову он так угодил другим городским депутатам, что многие из них «присоединились к его мнению» [3]).

Точно так же и цитированный мною выше Суздальский наказ превозносил деятельность Петра, между прочим, за то, что Петр позволил

[1]) Там же, стр. 457.

[2]) Там же, т. 8, стр. 108—109.

[3]) Там же, стр. 176—177.

купцам к фабрикам и заводам «крестьян покупать без излишества, по препорции печей и станов» [1]).

О том же праве покупки купцами «рабов» ходатайствовали многие другие города: Мосальск, Арзамас, Томск, Нижний, Серпейск и проч., и проч., и проч. [2]).

Короче, западные порядки очень хороши и свобода — превосходная вещь, но Россия — не запад. Само не имея свободы, русское купечество не может обходиться без крепостного труда. И если оно всеподданнейше просит освободить его от обязательной службы государству, а также от полицейских пут, связывающих торгово-промышленную деятельность, то оно сопровождает это свое ходатайство просьбой о разрешении приобретать «рабов». Нужды промышленности и торговли лучше всех других государей понимал Петр I. Он совершил великое преобразование. Но его преобразование не устранило крепостного труда фабрично-заводских рабочих, а, напротив, впервые дало ему широкое применение.

Так рассуждали городские избиратели и их избранники. Соловьев прав! И это дает нам ясное понятие о пределах нашего тогдашнего купеческого *западничества*. Из западных порядков надо заимствовать те, которые увеличивают значение и свободу купечества, и оставить без внимания те, которые так или иначе, с той или с другой стороны, обеспечивают личную свободу рабочих [3]).

Это *купеческое* западничество сильно смахивает на *дворянское*. Наше благородное сословие тоже не прочь было хвалить Запад, поскольку западное дворянство обладало привилегиями, не существовавшими в России. И оно также готово было чураться Запада, поскольку трудящееся население западных стран пользовалось личной свободой. Однако тут были и немаловажные различия.

Если городские наказы *осыпали похвалами Петра I*, то последовательные дворянские идеологи половины XVIII в. *стали относиться к нему довольно сдержанно* ввиду того, что он своей табелью о рангах

---

1) Там же, т. 107, стр 17.

2) «Почти все депутаты из купцов, подававшие голоса, представляли о необходимости дозволить им иметь у себя крепостных людей, как крестьян, так и дворовых» (*Д. Поленов* в предисловии к 8 т. Сборника Имп. Русск. Ист. Общества, стр. XXIV),

3) Не нужно забывать, что и о значении свободы для торговли городские депутаты распространялись, некоторым образом, с разрешения начальства: об этом значении говорилось в «Наказе» Екатерины.

заставил *породу* посторониться перед *чином* и вовсе не склонен был освободить дворян от обязательной службы. В эпоху созвания Законодательной Комиссии российское шляхетство, уже получившее от преемников Петра I целый ряд привилегий, весьма усердно льстило Екатерине II, рассчитывая, что она не откажется выполнить те его пожелания, которые не угрожают ее собственной власти. Ученица Вольтера весьма охотно шла навстречу таким его пожеланиям. Но чем более росли притязания дворянства, тем более приходили они в противоречие с интересами и правами других сословий. Другие сословия не могли не быть против них. Но, робко и совсем несистематично высказываясь против дворянских притязаний, представители промышленного сословия выступали, *в самом главном,* не новаторами, а охранителями, точнее — реакционерами, стремившимися к восстановлению старины.

В. Сергеевич вполне справедливо указал на то, что с глубокой древности вплоть до XVIII столетия все свободные люди могли иметь *холопов*. Уложение запретило монастырям и боярским людям покупать *вотчины,* но никому не запрещало покупать *людей*. При производстве первой ревизии позволено было писать дворовых людей за посадскими и купцами. Только в половине XVIII столетия замечается перемена в отношении правительства к этому предмету. При производстве *второй* ревизии Сенат, указом 1746 года, позволил писать дворовых людей *только* за теми посадскими, за которыми они были записаны *при первой* ревизии.

Дворовые, приобретенные посадскими после первой ревизии, отбирались у них и, смотря по своему собственному желанию, писались в посады и цехи или же за помещиками. Только с помощью таких, *по существу своему незаконных,* распоряжений и установилась практика, лишавшая купцов права приобретать крепостных людей [1]).

С своей стороны купцы старались вернуть себе это право. В начале шестидесятых годов XVIII века, — т.-е., можно сказать, накануне созвания Комиссии об Уложении, — купечество Костромы, Коломны, Переяславля Рязанского, Тулы, Твери, Новгорода, Нового Торжка, Торопца, Каргополя, Вологды, Симбирска, Царевококшайска и Вязьмы подавало в *комиссию о коммерции* прошения о том, чтобы ему позволено было владеть крепостными [2]). Присоединяясь к общему крику: «рабов!»,

[1]) Смотри предисловие *В. Сергеевича* к 93 тому Сборника Имп. Русск. Ист. Общ., стр. VIII.

[2]) См. поучительное исследование *А. Лаппо-Данилевского,* Русские торговые и промышленные компании, СПБ. 1889, стр. 64.

городские депутаты, заседавшие в Комиссии об Уложении, только повторяли прежние купеческие домогательства *о восстановлении того, что было раньше.*

Но право иметь *холопов* еще не равносильно праву владеть *населенными имениями.* В Московской Руси это последнее имели только служилые люди. Из лиц, принадлежавших к сословию торгово-промышленному, его имели только лица, входившие в состав столичного купечества, да еще те посадские люди, которые выбирались в земские старосты [1]). Петр I придал совсем другой вид этому праву «купецких людей». Указ 18 января 1721 г. позволил всем им покупать к заводам и фабрикам населенные деревни «под такою кондицией, дабы те деревни всегда были уже при тех заводах неотлучны». Не довольствуясь этим, правительство Петра, по старой московской привычке смотревшее на все русское и на всех русских, как на царскую собственность, нередко передавало в частное содержание казенные фабрики *вместе с работавшими на них мастеровыми.* Так же поступали иногда и преемники преобразователя. В царствование Анны, вследствие домогательств со стороны крупнейших фабрикантов того времени, вышел указ, согласно которому все мастеровые со своими семьями, находившиеся тогда на фабриках, должны были вечно оставаться у своих владельцев [2]). Но если этот указ был совершенно согласен с характером экономической политики Петра I, то другие указы его преемников преследовали уже прямо противоположную цель. Так, в «Генеральном указе о всех фабриках», правительство той же Анны требовало, чтобы предприниматели пользовались *трудом наемных рабочих.* На том же настаивало правительство преемников Петра I при выдаче грамот на заведение новых фабрик. Наконец, 29 марта 1762 г. вышел указ, предписывавший фабрикам довольствоваться одними «вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми» [3]). Г. А. Лаппо-Данилевский говорит, что результаты этого указа обозначились, повидимому, уже в 1763 — 1765 г.г., когда составлена была роспись, доказывавшая существование у нас некоторых фабрик, пользовавшихся исключительно наемным трудом. Этот исследователь вообще отвергает то мнение г. М. Туган-Барановского, что наше крупное производство XVIII столетия было крепостным, а не капиталистическим. На основании анализа данных, относящихся к началу 1760 годов, он утверждает, что в то время наемные рабочие

[1]) См. *Ключевский,* История сословий в России, Москва 1913, стр. 198.

[2]) *А. Лаппо-Данилевский,* назв. соч., стр. 63.

[3]) Там же, стр. 67.

составляли до 33% всего числа рабочих, занятых на большинстве частных фабрик [1]). И, конечно, это обстоятельство должно быть принимаемо во внимание.

Но, во-первых, между теми «*вольнонаемными*» фабрично-заводскими рабочими, число которых доходило до 33%, без всякого сомнения, находилось много *владельческих и дворцовых,* т.-е. опять же *крепостных* [2]).

Во-вторых, если мы, — *предположив невозможное,* — допустим, что процент занятых в фабрично-заводском производстве помещичьих и дворцовых крепостных людей равнялся *нулю,* то все-таки не минуем вопроса: как же называть то производство, в котором занято было 67% «невольников» (чтобы употребить одно из выражений Петровской эпохи)? Не очевидно ли, что название *крепостнического* подходит к нему гораздо больше, нежели *капиталистического?* [3]).

В-третьих, когда говорят, что наше крупное производство XVIII века было крепостническим, этим вовсе не хотят сказать, будто оно *совсем* не употребляло наемных рабочих.

Наемный труд не был тогда явлением, неизвестным в России. Это очевидно. Но что основа нашей крупной промышленности продолжала оставаться *крепостнической,* это, помимо статистических данных, подтверждается еще и тем, что наемный труд считался менее выгодным для предпринимателей, нежели крепостной, как это явствует из заявлений городских депутатов в Комиссии Уложения. При капиталистическом производстве это совсем не так, что хорошо знают и «работающие» при условиях такого производства предприниматели.

V

Стремясь восстановить свое право покупки крепостных, наше тогдашнее купечество смотрело не вперед, а назад. Любопытно, что в своей идеализации Петровской эпохи оно сошлось с нашими сатириками, — Фон-Визином и другими,—хотя и пришло к ней совсем другим путем. Его депутаты превозносили Петровскую эпоху не только потому, что Петр I

[1]) Там же, стр. 67—68

[2]) В таблице, приводимой г. А. Лаппо-Данилевским, рубрика «*вольнонаемных*» рабочих обозначена двумя отдельными словами: «вольных и наемных»,—не потому ли, что далеко не все *наемные* рабочие были также и *вольными?*

[3]) Сам г. Лаппо-Данилевский сообщает, что исключительно наемным трудом пользовалось лишь небольшое число бедных и незначительных по размерам фабрик. (Там же, стр. 67.)

позволил купцам покупать крепостных людей «по препорции печей и станов», между тем как его преемники постепенно отнимали у них это право. Петром была сделана попытка переделать наше городское управление на западно-европейский лад. В июне 1718 г. он решил «магистратов градских установить и добрыми регулы снабдить, учинив сие на основании рижского и ревельского регламентов, по всем городам». Правда, суровый реформатор, неуклонно и беспощадно подчинявший интересы отдельных сословий интересу государства, не преминул наполнить *западную форму* своим, *домашним, содержанием*. По его мысли, новые городские учреждения должны были «споспешествовать пользе и благополучию Великого государя», т.-е. *обслуживать государственные нужды*. О самоуправлении городов он заботился крайне мало: он вообще не понимал самоуправления. Но в последующие царствования было частью совсем устранено, частью испорчено даже то весьма немногое, что сделал для городского самоуправления Петр I. Неудивительно, что в наказах депутатам, посланным от городов в Комиссию об Уложении, мы, рядом с идеализацией этого государя, встречаем почти ироническое отношение к его преемникам. «Но к крайнему и неоплаканному (sic!) нашему несчастию не могло оно (купечество. — *Г. П.*) по намерению премудрого Монарха достигнуть в желаемое им состояние»,—жалуется Суздальский наказ. Иногда составители городских наказов прямо говорят языком Петра, т.-е., точнее, языком *Регламента Главного Магистрата*. Их западничество коренится в экономической политике преобразователя и очень редко выходит за те пределы, которые поставил он своему собственному западничеству.

Временами пределы эти оказывались даже слишком широкими для купеческого западничества Екатерининской эпохи.

Существовала, однако, область, в которой тогдашнее наше купечество не удовлетворялось реформой Петра I: это именно область отношения полиции к городу. В том же самом Регламенте Главного Магистрата, языком которого говорили нередко составители городских наказов и городские депутаты, полиция провозглашается «душою гражданства и всех добрых порядков и фундаментальным подпором человеческой удобности и безопасности». Российские обыватели имели основание относиться к такому лестному взгляду на полицию с некоторым скептицизмом. Они по собственному опыту знали, что «фундаментальный подпор человеческой удобности и безопасности» причиняет порой большие неудобства и особенно угрожает безопасности граждан. Поэтому, в лице наиболее сознательных представителей своих, купечество,

«на основании европейских городов», просило в Комиссии о полном подчинении полиции органам городского самоуправления. Чтобы захотеть этого, надо было хоть на короткое время *перестать смотреть назад и устремить свой взор вперед.* Но так как, выступая с таким ходатайством, купечество совсем не отказывалось от стремления восстановить свое былое право приобретать крепостных людей, то, украдкой бросив беглый взгляд вперед, оно опять начинало пристально смотреть назад, и его прогрессивные пожелания немедленно парализовались его же реакционными вожделениями. По этой причине оно, можно сказать, не умело подвести итог своим собственным жалобам и делало крайне узкие выводы из очень широких посылок. Так, прочитавши, в шестьдесят втором заседании Комиссии, целую лекцию о великом значении «коммерции» в истории развития человечества, барнаульский депутат Карышев пред'явил ходатайство: 1) о кое-каких переменах в пошлинах, взимавшихся кяхтинской таможней; 2) об облегчении сибирского купечества в «наложенных на него должностях»; 3) о наикрепчайшем подтверждении и наблюдении того, чтобы купечество других городов своею перекупкою и продажею в розницу товаров не приводило в разорение сибирских купцов; 4) о подтверждении запрещения брать и давать взятки [1]). Вот и все. Поистине, для этого не было надобности вспоминать о Финикии, Тире, Карфагене и Риме и не стоило распространяться о причиненной коммерцией славе Англии и Голландии!

Мосальский наказ, поставив на вид, что «российское купечество пред протчими европейских городов мещанством в великом презрении находится», об'ясняет это тем, что оно «положено в *подушной оклад*» [2]). Об'яснение было, пожалуй, не далеко от истины. Подушный оклад являлся одним из многих следствий, а потому и признаков, закрепощения непривилегированных сословий государству. Но именно *только одним* из многих его следствий и признаков.Чтобы поднять российское купечество на юридический уровень западного «мещанства», недостаточно было бы избавить его от обязанности платить подушную подать: для этого потребовалось бы его полное раскрепощение и приобретение им тех прав, которыми обладало третье сословие «протчих европейских городов».

Но мосальцы, повидимому, не додумались до этой мысли и готовы были удовольствоваться избавлением купцов от подушного оклада.

---

[1]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 8, стр. 280–282.

[2]) Там же, т. 107, стр. 33–34.

И не одни мосальцы. Граждане г. Ржева жаловались, что «по состоянию купечества в подушном окладе и по положению весма малого бесчестья (оно. — *Г. П.)* в великом состоит презрении не токмо от благородного дворянства, но и от самых последних служителей» [1]).

Понятие «бесчестье» заимствовано было Петербургской Россией от Московской Руси. «Первоначально под этим термином разумелось,— говорит Ключевский, — значение, какое придавал закон известному чину и в котором выражалась государственная оценка сравнительной пользы, приносимой государству разными общественными чинами. Наиболее осязательной формой, в которой выражалась эта оценка чиновной чести, служило наказание за *бесчестье,* т.-е. за оскорбление лица действием и преимущественно «непригожим словом». Наказания за бесчестье различались по чинам как оскорбленной, так и оскорбившей стороны, и были очень разнообразны» [2]). Огорчаясь тем, что за оскорбление купечества полагается «весьма малое бесчестье», ржевские граждане обеими ногами стояли на почве старо-московских понятий. Держась этих понятий, невозможно было пред'являть сколько-нибудь радикальные требования. И вот ржевцы намекали, что надо усилить наказание за оскорбление купеческой чести.

Но, разумеется, одного перехода на почву понятий, возникших в петербургском периоде, еще недостаточно было, при тогдашних русских условиях, для возникновения сколько-нибудь радикальных требований. Так, депутат Серпейска просил, чтоб фабрикантам и купцам первой гильдии были пожалованы шпаги, долженствовавшие поднять их честь даже «против прочих купцов» [3]). Трудно было превзойти в скромности пожеланий этого серпейского европейца!

В свое оправдание тогдашнее купечество могло бы сказать, что если оно выступало с пожеланиями, вполне достойными Московской Руси, то на это была совершенно достаточная причина: старая московская действительность оставалась во многих отношениях непоколебимой, *несмотря на Петровскую реформу*. Граждане Петербурга, — этого *«Петра творенья»,* — жаловались: «Купечество здешнего города от ежегоднего во всякие казенные службы выбора приходит в изнеможение, отлучаясь чрез то от торгов своих, а найпаче по производимым чрез многие годы счетам». Совершенно основательная жалоба эта неизменно повторяется в наказах других городов и во «мнениях» городских депу-

[1]) Там же, т. 107, стр. 413.

[2]) «История сословий в России», стр. 196.

[3]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ, т. 8, стр. 95.

татов. Далее. Даже и после Петровской реформы закрепощенное государству купечество было жестоко притесняемо и унижаемо администрацией и дворянством. На это жаловался еще Посошков, и на это не переставали жаловаться «купецкие люди» в продолжение всего XVIII столетия [1]). В 1745 г. в Московскую сенатскую контору была подана жалоба на то, что полицеймейстер Москвы, Нащокин, устроил целое нападение на мелких торговцев, при чем разрушил, с помощью полицейской команды, целые ряды шалашей и лавок [2]). Составители Саратовского наказа сообщали, что их полицеймейстер по произволу распоряжается трудом и временем граждан. Не стеснялись в обращении с горожанами даже городовые магистраты. Московский генерал-губернатор, граф Салтыков, уже в царствование Екатерины II доносил, что президент орловского магистрата делал купечеству «великие притеснения, грабежи и смертоубийства». Он разграбил фабрики некоего Кузнецова, при чем жестоко избил рабочих. Для его усмирения военная власть нашла нужным расставить в городе частые пикеты; но как только пикеты были сняты, «мятежники (т.-е. сторонники президента. — *Г. П.*) стали ходить в городе, как и прежде, в великом множестве с заряженными ружьями и дубьем, бьют смертно и увечат тех, которые с ними несогласны». Когда людям приходится жить в таких условиях, они хватаются, как утопающий за соломинку, за все, что попадется: и за «бесчестье», и за право ношение шпаги и т. п., и т. п.

VI

Для беспристрастной оценки пожеланий, выраженных городскими депутатами в Комиссии об Уложении, необходимо в точности представлять себе ту историческую обстановку, в которой они возникали. Странно, что это не всегда делали даже те наши исследователи, которым прекрасно известны были очень малые права и очень тяжелые обязанности тогдашнего нашего торгово-промышленного сословия [3]). Так, покойный Дитятин упрекнул городских депутатов в желании «обеспечить купцам исключительное сословное право на занятия торговлей и ремеслами» [4]).

---

[1]) В наказе мосальцев говорится, что так как купцы положены в подушный оклад, то все, «а особливо дворянство», называют их *мужиками*: «У нас де и свои таковыеж мужики в подушном окладе есть. Естли де и прибить, то и не велико бесчестье заплатить».

[2]) *Дитятин*, Устройство и управление городов России, стр. 354.

[3]) Там же, стр. 371—372.

[4]) Там же, стр. 408.

Можно подумать, что купечество стремилось к монополии. Но этого не было. Монополисты стремятся сделать свою среду недоступной для новых лиц. В противность этому, русское купечество XVIII века хлопотало о том, чтобы *к его сословию причислены были все те, которые занимались на Руси торговлей и промыслами.* Суздальский наказ с одобрением напоминает, что Петр I «торгующее крестьянство вечно в купечество записывать повелел». Нижегородцы в своем наказе просили, чтобы все крестьяне, которые занимаются торговлей в прилегающих к Нижнему слободах, записаны были в нижегородское купечество [1]). Купечество г. Томска даже ходатайствовало, *чтобы крестьянам облегчено было вступление в торогово-промышленное сословие.* Оно хотело, чтобы крестьяне могли записываться в купцы, «не представляя и не сообщая о увольнении их к тому написания (sic!), где они ведомы, но токмо где они ведомы в те места, уже по записке, давать знать» [2]). Это неграмотно, однако понятно.

Вышеприведенную свою просьбу о «написании» в купцы крестьян, торговавших в слободах, нижегородцы подкрепляли тем доводом, что некоторые из этих крестьян, имея капитал до десяти, двадцати и более тысяч рублей, жили в великой льготе, так как «они, кроме настоящих государственных податей и платежа помещику своему оброку, никаких отягощений, недостатков, ни постоев, ни полицейского исправления поныне не знали». И так рассуждало все тогдашнее купечество. Для него дело заключалось собственно не *в праве торговли, а в исполнении лежавших на купечестве обязанностей по отношению к государству.* Всем тем, которые готовы были разделить с ним исполнение этих обязанностей, *оно,* с своей стороны, готово было предоставить решительно все права, принадлежавшие ему, как сословию.

В эпоху Комиссии об Уложении посад продолжал быть, — как был он в XVII в., — *тяглой общиной.* Подобно всякой тяглой общине, обязан-

---

[1]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 134, стр. 5.—Купеческая торговля была тесно связана с крестьянской. За несколько лет до созыва Комиссии об Уложении, один из членов комиссии о коммерции говорил: «Сами купцы, будучи недостаточны капиталами, не могли никогда пробыть без помощи крестьянского торгу и всегда в торговом соединении во внутренних городах с богатыми крестьянами сообщалися так, как то и ныне явным образом в Нижнем городе магистрат не только не препятствует крестьянскому торгу, но, будучи составлен из бедных купцов, сам ищет и приглашает крестьян, чтобы торговали, получая от каждого по состоянию торгу его довольную плату и тою одною себя содержит и платит подати» (*А. Лаппо-Данилевский,* назв. выше сочинение, стр. 103).

[2]) Там же, стр. 320.

ной уплачивать определенные денежные подати и исполнять известные натуральные повинности, он заинтересован был не в том, чтобы уменьшать число членов, а в том, чтобы *увеличивать его, как можно больше.* Этого увеличения и хотели добиться составители городских наказов и городские депутаты своими ходатайствами о запрещении вести торговлю лицам, не принадлежавшим к торгово-промышленному сословию и потому избавленным от несения посадского тягла [1]).

Еще В. Сергеевич, говоря о сословных стремлениях купечества, отметил, что, например, Любимский наказ, восставая против ведения торговли крестьянами, ничего не имел против записки их в купцы, и в этом случае предоставлял им равные права со старым купечеством. Тот же исследователь указывал на граждан г. Ростова, распространявшихся о большой пользе, которую принесет записка крестьян в купечество, «так как торги купеческие распространятся и казна получит приращение» [2]).

Настойчиво выдвигая свое пожелание о переводе в торгово-промышленное сословие крестьян, занимавшихся торговлей и промыслами, наше купечество держалось, как и почти во всем, старой московской традиции. Уложение 1649 г. запрещало заниматься торговлей и промыслами всяких чинов людям, не платившим государевых податей и не служившим в государевых службах [3]).

Петербургское правительство XVIII века совсем не торопилось отменять это запрещение. По торговому уставу 1755 г., записка в посад-

---

[1]) Подобно этому, в Флоренции XV в. мелкая буржуазия добивалась, чтобы иностранцы, жившие в городе и занимавшиеся ремеслами, обложены были налогом наравне с гражданами, так как в противном случае этим последним невозможно было бы выдержать их конкуренцию. (*Perrens,* La civilisation florentine, p. 88).

[2]) Предисловие к 93-му тому Сборника Имп. Русск. Ист. Общ., стр. III—IV.

[3]) «Которые слободы на Москве патриарши, и митрополичи, и владычни, и монастырские, и бояр и окольничих и думных и ближних, и всяких чинов людей, а в тех слободах живут торговые и ремесленные люди, и всякими торговыми промыслы промышляют и лавками владеют, а государевых податей не платят, и служб не служат: и те все слободы, со всеми людми, которые в тех слободах живут, всех взяти за государя в тягло и в службы безлетно и бесповоротно, опричь кабалных людей; а кабалных людей по роспросу будет скажется, что они их вечные, отдавати тем людем, чьи они, и велеть их свесть на свои дворы. А которые и кабалные люди, а отцы их и родители их были посадские люди, или из государевых волостей: и тех имать в посады жить. А впредь опричь государевых слобод, ни чьим слободам на Москве и в городех не быть». («Соборное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г.». Издание Московского Университета, Москва 1907 г., стр. 134; ср. также стр. 136, 137, 138.)

ское тягло была обязательной для всех тех лиц, которые вели торговлю хотя бы и вне посадской оседлости [1]). Чтобы побудить население городов и посадов к отказу от этой старой традиции, надо было предварительно снять с его шеи тяжелую цепь государственного тягла. Оно усердно ходатайствовало в екатерининской Комиссии о снятии с него этой тяжелой цепи. Но пока цепь висела на его шее, волей-неволей приходилось ему добиваться того, чтобы от ее ношения не уклонялся никто из торговцев.

VII

Уже в первом томе этого сочинения я указывал на то, что прикрепление крестьянина к земле, препятствовавшее переходу его в город, задерживало у нас процесс экономического разделения труда между городом и деревней и вело к широкому распространению кустарной промышленности в селах. В ходе развития этой промышленности была своя логика, не совпадавшая с логикой промышленного развития посадской общины. Тут нередко возникали противоречия, давшие себя почувствовать, между прочим, и в Комиссии об Уложении. Депутаты от сельских общин доказывали, что, запретив крестьянам заниматься торговлей и промыслами, государство причинило бы большой ущерб не только населению, но также и самому себе. Черносошные крестьяне Хлыновского уезда жаловались, что купцы препятствуют им продавать свои изделия и заниматься своими промыслами. Однодворцы тоже оспаривали купеческие домогательства о предоставлении права торговли исключительно тем лицам, которые несут тягости, лежащие на торговом сословии. Депутат от однодворцев Елецкой провинции говорил: «Мы должны принять во внимание, что лиц купеческого сословия по обширности Российского государства и сравнительно с другими сословиями находится весьма мало, и что сверх того русское купечество, приобретя свойства людей образованных (этот однодворец сумел позолотить пилюлю.—*Г. П.)*, ведет торговлю с чужестранными государствами, и для того употребляет в большом числе прикащиков из своей же братьи. Имея все это в виду, мы усмотрим, что русскому купечеству даже невозможно вступать во всякий мелочной торг, хотя оно и делало неоднократные тому опыты» [2]).

---

[1]) Ср. *Кизеветтер,* Посадская община в России XVIII столетия. Москва 1903, стр. 17.

[2]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 8, стр. 86.

Наконец, крестьян решительно и охотно поддерживало в данном случае дворянство.

Солидарность между крестьянами и дворянами была крайне редким явлением. Из того, что мы усматриваем ее в спорах, вызванных вопросом о праве торговли, видно, как сложен был вопрос об этом праве и как разнообразны были интересы, им затронутые.

Предоставление торгово-промышленному сословию исключительного права заниматься торговлей и промыслами грозило нанести очень большой удар деревенским кустарям. Больше того, оно могло поставить в крайне затруднительное положение всех крестьян, привозивших на рынок земледельческие произведения. Это понятно. Однако кустарь кустарю — рознь. Крестьяне Хлыновского уезда, жаловавшиеся на то, что купцы мешали им продавать свои изделия и заниматься своими промыслами, признавали в своем наказе, что некоторые из них, оставив земледелие, занимались только «кожевенными ремеслами» [1]). Согласитесь, что деревенский житель, занимающийся исключительно промыслом и покинувший *земледелие,* в своей *экономической* деятельности выступает как *горожанин.* И если наш *горожанин de facto* служит государству более легкую службу, чем *горожанин de jure* («посадский человек»), то этому последнему естественно призвать его к порядку и потребовать «равнения». Чаще всего именно только желание такого «равнения» и заключалось в интересующих нас домогательствах торгово-промышленного сословия.

Депутат от города Астрахани, П. Самарский, категорически утверждал, что если бы «торгующее крестьянство» (sic!) обращено было в купечество, то это последнее не почувствовало бы обиды, а, напротив, получило бы пользу. Он же просил, подобно томскому депутату: «Не повелено ли будет всем тем, как дворцовым и экономическим, так и помещичьим людям, и крестьянам, которые имеют у себя довольно капитала и находятся в торговле, а к земледелию не прилежат, позволить законом, без увольнений и без отпусков записываться в купечество» [2]). Во время споров, вызванных этим его предложением, он весьма обстоятельно пояснил, что речь шла у него как раз об этих крестьянах, уже оторвавшихся от *земледелия* и живших *торговлей.* Возражая тем,—заметьте: *не-купеческим* депутатам,—которые, вряд ли искренно, говорили, что «новопришедшие» купцы причинят утеснение ста-

[1]) Там же, т. 115, стр. 229—230.

[2]) Там же, т. 32, стр. 446.

рым, он указал на обширность России, в которой должно было найтись достаточно простора для всех купцов, — и старых, и новых, — «лишь бы были деньги» и торговля велась согласно законному установлению. Любопытно, что этот человек, опиравшийся на «законные установления», унаследованные от Московской Руси, счел возможным и полезным дважды сослаться на «Наказ» Екатерины [1]): там было сказано, что к среднему роду людей принадлежали все те, «кои, не быв дворянином, ни хлебопашцем, упражняются в художествах, науках, мореплавании, в торге и ремеслах». Торговавшее крестьянство, очевидно, принадлежало именно к этому роду.

Депутат от архангелогородских черносошных крестьян И. Чупров, находивший, что никак нельзя запретить крестьянам «вступать в купеческие торги», привел довод, проливающий довольно яркий свет еще на одну сторону вопроса. «Если крестьянам запретить торговлю мелочным шелковым или каким либо другим товаром, необходимым для крестьянских надобностей, — сказал он, — то сие не только крестьянам, но и купцам может принести вред» [2]).

Тут была значительная доля истины. Уже в 1764 г. купечество одного города жаловалось в комиссию о коммерции на указ, запрещавший крестьянам входить в долговые обязательства с крестьянами. Оно прямо говорило, что купцы вели свои торговые дела, между прочим, при посредстве крестьян [3]). Вероятно, такое же явление имел в виду и депутат Чупров, распространяясь о торговле шелковым товаром. Но поскольку крестьяне принимали участие в торговле шелковым товаром, — сырой материал которого, кстати сказать, вовсе не был произведением русского крестьянского хозяйства, — постольку они становились купцами и, конечно, должны были нести все тяжести, лежавшие на купечестве.

Г. А. Лаппо-Данилевский держится того мнения, что крестьяне предпочитали фактически войти в состав купеческого класса, не принимая на себя отправления обременявших его обязанностей [4]). Так оно, по всей вероятности, и было. И если торгово-промышленное сословие восставало против подобной уклончивости, то невозможно ставить ему это в вину.

---

[1]) Там же, т. 32, стр. 458—459.

[2]) Там же, т. 8. стр. 97.

[3]) *А. Лаппо-Данилевский*, назв. соч., стр. 103.

[4]) Там же, стр. 104.—Выше указано на тесную деловую связь нижегородских купцов с подгородными крестьянами.

Что дворяне, с своей стороны, совсем не осуждали корыстной уклончивости торговавших крестьян, этому никак нельзя удивляться. Чем успешнее уклонялся занимавшийся торгово-промышленным делом помещичий крестьянин от несения тягостей, лежавших на торгово-промышленном сословии, тем более высокий оброк способен был он заплатить своему владельцу. Кроме того, свободный и даже обязательный переход всех, — т.-е., значит, и помещичьих — крестьян, занимавшихся торговлей и промыслами, в торгово-промышленное сословие явился бы нарушением священного крепостного права.

Наконец, купечество вело войну не с одной лишь *крестьянской* уклончивостью. Оно хотело, чтобы *решительно* все лица, бравшиеся за торгово-промышленную деятельность, — к какому бы сословию ни принадлежали они, — поставлены были в необходимость: *или* отказаться от этой деятельности, *или* же принять участие в несении купеческого тягла [1]). Такая альтернатива никак не могла нравиться дворянству, которому тогда принадлежало уже немалое число фабрик и заводов.

Г.г. помещики не только вооружались против купеческих попыток превратить торгово-промышленную деятельность в исключительное право своего сословия (в не раз указанном мною широком смысле). Они сами стремились отнять у купцов право заниматься некоторыми отраслями фабрично-заводской промышленности. Составителям наказа от ярославского дворянства «мнилось», что фабрики, «сочиняющиеся (sic!) изо льна и из пеньки и из прочих земляных экономических произращений... дворянам должны принадлежать». Но ввиду того, что в предприятия этого рода вложены были купечеством великие капиталы (это—подлинное выражение дворянского Ярославского наказа.—*Г. П.)*, то предлагалось уже существовавшие купеческие фабрики оставить за их владельцами «с некоторым небольшим и им нечувствительным платежем корпусу дворянства», право же заведения новых фабрик предоставить исключительно дворянству [2]).

Как мало общего с бескорыстием имела дворянская защита крестьянского права заниматься торгово-промышленной деятельностью, видно из следующего.

В том же Ярославском наказе заключается просьба о запрещении купцам покупать у крестьян хлеб на местах («по дворам»). По словам

[1]) Так, Петербургский наказ жаловался, что от исполнения обязанностей русского торгового сословия избавлены были проживавшие в столице иностранные купцы.

[2]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 4, стр. 301.

наказа, «таковая закупка ими хлеба действительно к разорению крестьян клонится, понеже часто купцы, задавая деньги вперед крестьянам, наконец принуждают их за половинную цену хлеб им отдавать». Всякий признает возможность и даже вероятность подобных явлений.

Однако, если бы крестьянин перестал продавать купцу хлеб у себя на дворе, то где же продавал бы он его? В городе? Но там подстерегали его еще более вопиющие и еще более вероятные злоупотребления. Или, может быть, ему следовало искать у себя в деревне другого покупщика, не принадлежавшего к купеческому сословию? Составители наказа думали, что — да и что таким покупщиком должен был явиться дворянин. И они вовсе не скрывали цели, с которой выдвинуто было ими ходатайство о запрещении купечеству покупать хлеб по дворам: «чтобы дворянство, — писали они, — могло пользоваться торгом хлебным» [1]). Это было весьма простодушно и столь же знаменательно. Впрочем, это простодушное признание осталось неполным. Для полноты надо было написать: чтобы *одно только* дворянство могло извлекать выгоду из покупки у крестьян хлеба.

VIII

Между тем как городские депутаты восхваляли «вечной славы достойной памяти» государя Петра I за данное им купечеству позволение приобретать крестьян «по препорции печей и станов», приписанные к заводам крестьяне изображали свое положение самыми мрачными красками.

Деревни, обязанные работать на заводы, находились от них иногда на расстоянии 500 *верст!* Для крестьян это составляло такое большое неудобство, что они предпочитали посылать за себя *наемных рабочих,* которым платили значительно больше, чем сами получали от заводчиков. «Нам, крестьянам, за заводские работы плата дается плакатная, за поденную в летнее время по пяти, а в зимнее по четыре копейки на день; а от нас, к тому в прибавок, другим, за одиночеством и за далним заводу от наших жителств расстоянием, в наем отдаем волным наемщикам по шести и по семи копеек на день». За рубку дров крестьяне получали «по плакату» 25 копеек от сажени, а сами платили наемным рабочим «в прибавок», более тридцати копеек. За обработку угля им полагалось 3 рубля 40 копеек с кучи в 20 сажен; между тем, сами они, нанимая рабочих для той же операции, платили им «в при-

[1]) Там же, стр. 301—302.

бавок» по 12 и по 13 рублей [1]). Таким образом, приписанные к заводам, т.-е. *несвободные,* крестьяне уплачивали вольным рабочим бо́льшую часть той платы, которую эти последние получали за свой труд на заводах. Г. А. Лаппо-Данилевский согласится, что такое парадоксальное явление возможно было только благодаря господству *крепостничества* в наших народно-хозяйственных отношениях.

Само собою разумеется, что заводские крестьяне не видели ничего привлекательного в этом экономическом парадоксе. Они мечтали о возвращении в прежнее свое состояние черносошных земледельцев или, как они выражались, об *отписке* от заводов.

Если одна часть черносошных крестьян плакалась на то, что, приписав ее к заводам, правительство поставило ее в необходимость собственными средствами содействовать развитию *наемного труда* в России, то другая часть их чувствовала себя обиженной правительственными распоряжениями по *аграрной* части.

Межевая инструкция 1754 г. отняла у («свободных») крестьян право свободного распоряжения своими землями. Этих земель нельзя было впредь ни продавать, ни закладывать. Отменено было даже право наследования. По смерти крестьянина земля его должна была, не делясь между его сыновьями, записываться за его селом в качестве государственной. В. Сергеевич назвал эти распоряжения правительства древнейшим опытом законодательства в чисто социалистическом направлении [2]). В историческом введении [3]) я уже показал, что, как нельзя более далекие от социализма, распоряжения эти представляли собой лишь последовательное проведение в жизнь того принципа, которого держалось еще московское правительство в своем отношении к трудящейся массе. Согласно этому принципу, как сами производители, так и все находившиеся в их владении средства производства, — земля в том числе, — рассматривались как собственность государя. Я привел примеры, показывавшие, что русское крестьянство не всегда покорно встречало мероприятия, осуществлявшие этот рабовладельческий принцип. Теперь я отмечу, как аргументировали в своих наказах некоторые общества черносошных крестьян нашего севера против распоряжений, вошедших в межевую инструкцию 1754 г.

---

[1]) См. «Наказ Соликамского уезда разных станов от приписных к партикулярным заводам государственных черносошных крестьян». (Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 115.)

[2]) Там же, т. 123, стр. XIV.

[3]) См. первую книгу этой моей работы.

Крестьяне Ягрыжской волости, Устюжского уезда так описывали неудобства, которые испытывались ими вследствие отнятия у них права продажи своих земель.

По их словам, многие приходили от этих неудобств «в несостояние». Важнее всего было то, что, «не имеювые детей, а сами, за слабым здоровьем или за старостию, домашнею экономиею управлять и состоящую за ними пашенную землю работой снабдевать в несостоянии, а продавать не дозволено, отчего те за ними состоявые деревни приходят в крайнее несостояние и запустение и написанные на тех деревнях души располагаются на протчих той волости крестьян, отчего и происходит общественная нужда и отягощения» [1]).

По опыту зная, что наибольшую цену в глазах правительства имеет довод от государственной пользы, т.-е., собственно, от казенного интереса, авторы наказа сочли нужным обратить внимание также и на эту сторону дела.

«Напротиву того, — говорили они, — от перекупки между государственными черносошными крестьянами недвижимых имений, ежели дозволено будет, состовляется общественная полза (sic!), ибо один от другого получа, как на пред сего и действително оказывалось, что яко в род доставшееся ему по крепостям недвижимое имение, то для потомков своих с надеждою прикладывали усердное старание во ползу государственную, как пашенную землю, так и сенные покосы расчищали и в лучший приводили порядок, отчего немалая и составилась общественная полза» [2]).

В. Сергеевич полагал, что в эпоху созвания Комиссии об Уложении еще не существовало земельных переделов. Они возникли, — говорил он, — только впоследствии и не сами собой, а в силу правительственного указа 1781 г., предписавшего «между крестьянами земли и угодья смешав, разделить на тяглы по душам, а с того уже быть, как раскладкам подушного платежа, так всем службам и работам» [3]).

Но дело в том, что этот указ был лишь последним шагом в направлении аграрной политики, практиковавшейся правительством в продолжение очень долгого времени. Такая политика не оставалась без влияния на умы крестьян. Если крестьяне, имевшие такие земли, которых они в данное время почему-либо не могли обработать и потому желали продать, недовольны были запрещением свободного оборота

[1]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 123, стр. 129.

[2]) Там же, та же страница.

[3]) Там же, т. 123, предисловие, стр. XV.

крестьянского недвижимого имущества, то в другой части крестьянского населения, почему-либо не имевшей достаточного земельного надела, уже в эпоху созвания Комиссии об Уложении начинал складываться тот взгляд, что правительство должно было безвозмездно отобрать продажные крестьянские земли в казну и разделить их между неимущими. Эта часть земледельческого населения, прекрасно усвоившая себе смысл правительственной аграрной политики, рассуждала, что если все крестьянские *«души» обязаны платить государству подать, то все они имеют право на получение от него достаточного земельного обеспечения.* На этой почве в среде черносошных и дворцовых крестьян возникали большие трения, ярко отразившиеся в крестьянском наказе Рождественского погоста, дворцовой Химаневской волости.

Там говорится, что недостаток в этой волости «распашистых» земель и рост, по «благости Божеской», волостного населения побудили рачительных хозяев разработать из-под леса новые участки и унаваживать свои старые пашни. Между тем, «другие протчие тунеядцы» мало заботились о своем хозяйстве и оттого «пришли в скудость и к платежу податей в несостояние».

Вот эти-то пришедшие в скудость крестьяне и просили, по словам Рождественского наказа, чтобы земли, распаханные и унавоженные заботливыми хозяевами, разделены были по душам. Наказ как нельзя более решительно осуждал эту их просьбу:

«И если таким мотам и ленивцам повелено будет из тех распашных с великим трудом и убытком и унавоженных участков разделить по душам, то оной обойдется на каждую мужеского пола душу по одной десятине не с болшим прибавком, на чем о содержаться не можно и впредь к умножению хлебопашества и к распространению земли такого старания и рачения прилагать будет никому неохотно и убытков иметь не для чего, потому что, как рачителные распахивать, а ленивые в готовое входить и также опять проматывать и запустошать будут» [1]).

В том же смысле высказались каргопольские крестьяне.

В своем наказе они доводили до сведения Комиссии, что «между крестьянами есть много таких, которые несостоятельны ко владению земельными своими участками, а следовательно и к платежу подушных денег». Несостоятельность их может повести за собой остановку в сборе податей, а также «отягощение» состоятельных хозяев. Поэтому каргопольские крестьяне «из'явили крайнее желание, чтобы продажа и мена

[1]) Там же, т. 123, стр. 123—124.

между ними деревенских земельных участков дозволена была по прежнему» [1]).

«*По прежнему*»! Вот к чему стремилась та часть крестьянского населения, пользовавшегося правом представительства в Комиссии, которую не соблазняла перспектива очутиться в положении рабочего скота, получающего более или менее сытный корм в своем стойле и составляющего государственное имущество, государственный instrumentum vocale.

Купцы, добивавшиеся права покупать крепостных людей к своим заводам и фабрикам и вообще недовольные политикой правительства, дававшего дворянам одну сословную привилегию за другою, тоже хотели, как мы знаем, чтобы восстановлена была старина и дела пошли «*по прежнему*».

Даже сатирики склонялись к идеализации «*прежнего*» — эпохи Петра I.

Так было в XVIII веке. И то же наблюдали мы в XVII и XVI столетиях: вспомним Курбского и вообще боярскую оппозицию; вспомним раскол.

Когда недовольные элементы населения данной страны устремляют свой взор не в *будущее, а в прошлое,* не вперед, а назад, это значит, что в *настоящем* еще не создалась та об'ективная действительность, которая могла бы послужить основой для *поступательного* оппозиционного движения.

И в самом деле, экономическая отсталость России XVIII века громко вопиет о себе и во всех наказах, посланных в екатерининскую Комиссию. Она становится особенно поразительной при сравнении этих наказов с «cahiers» французских избирателей 1789 г.

IX

Единственным русским сословием, смотревшим *не назад, а вперед,* было тогда у нас дворянство. Но дворянство не видело впереди ничего, кроме привилегий *для себя,* некоторых стеснений *для купечества* и дальнейшего усиления крепостной зависимости *крестьянства.*

Характеризуя выступления кн. М. М. Щербатова, как члена Комиссии об Уложении, А. Брикнер писал когда-то, что хотя этот блестящий

---

[1]) Цитирую по дневной записке о заседании 20-го августа; Сборн. Имп. Русск. Истор. Общ., т. 4, стр. 72.

депутат от ярославского дворянства и не играл там той роли, какая выпала на долю Мирабо во французском Национальном Собрании 1789 г., «однако он показал себя там сторонником либеральных начал, защитником гуманности, благородно мыслящим человеком, филантропом» [1]).

Филантропическая деятельность Щербатова нам совсем не известна. И мы не имеем права сомневаться в его благородстве и гуманности.

Скажу больше. У нас есть основание считать его человеком, благородно понимавшим свою обязанность перед родиной [2]). Но то сравнение его с Мирабо, которое сделал А. Брикнер, до крайности наивно. Знаменитый французский оратор выражал стремление третьего сословия *покончить с дворянскими привилегиями во Франции;* Щербатов был самым сильным сторонником стремления *упрочить и расширить дворянские привилегии в России.*

Говоря в пользу этих привилегий, он, в самом деле, высказывал порой гуманные взгляды. Так, например, даже нынешний читатель не без сочувственного волнения прочтет его речь о положении рабочих на купеческих фабриках. Оно представлялось ему «весьма худым, как относительно их содержания, так и нравственности». Но, во-первых, немного странно, что суровый обличитель бессердечия предпринимателей из купеческого сословия, лишь мимоходом упомянув о весьма худом «содержании» купеческих рабочих, распространился исключительно об их пьянстве и нравственной распущенности, вредивших, как он выразился, многонародию и вызывавших беспорядки в деревнях. И уже совсем странно, что, когда он начал рисовать положение крепостных рабочих на дворянских фабриках, с его палитры тотчас же бесследно исчезли все темные краски и остались на ней одни светлые.

«Заведенные дворянами фабрики, — говорил он, — держат крестьян в беспрестанном трудолюбии. Сии же последние получают от господ своих достаточную плату и свое собственное благосостояние находят в прибыли своих господ. Мне могут возразить, что многие

---

[1]) См. его статью «Князь М. М. Щербатов, как член большой Комиссии 1767 г.», «Исторический Вестник», октябрь 1881 г., стр. 245.

[2]) «Для чего же я с изнурением себя пишу,—спрашивал он в своей полемике с Болтиным...—от юности моей считая, что каждый гражданин, поелику сила его достигать может, должен быть полезен отечеству» («Письмо князя Щербатова, сочинителя Российской Истории, к одному его приятелю и проч.» Москва 1789 г., стр. 140).

господа таковой платы крестьянам своим не дают. Но я не думаю, чтобы были такие жестокосердые, которые захотели бы этих подвластных им людей лишить достойной мзды за то, что они им самим делают прибыль» [1]).

Когда сочувствие эксплоатируемым приобретает такой односторонний характер, оно делается сомнительным, совершенно независимо от вопроса о личной искренности человека, выражающего сочувствие. Сословные предрассудки и пристрастия способны исказить самые благородные чувства. И если кн. Щербатов доказывал, что следует всех находящихся уже на фабриках приписных людей переписать и более покупать их фабрикантам запретить, предоставив им довольствоваться теми, которые у них уже есть, и их потомством; если, по его мнению, надлежало внушить фабрикантам, чтобы они принадлежавших к фабрикам рабочих «старались мало по малу делать вольными», то ведь он первый самым резким образом осудил бы эти меры, если бы кто-нибудь вздумал распространить их на *дворянские* фабрики. Его борьба против права купцов покупать крепостных людей вызвана была только желанием сделать это право исключительной привилегией благородного сословия.

Горячо отстаивая эту привилегию, он выдвинул щекотливый вопрос: «прилично ли, чтобы равный равного мог иметь у себя в неволе?». И у него вышло, что — неприлично. Он сделал даже исполненную негодования экскурсию в древность, когда людей «как скотину по торгам продавали». Но при этом у него молчаливо подразумевалось, что *равен крестьянину* «по природе» только *купец*, а отнюдь *не барин*, и что поэтому только купцу и неприлично иметь крестьянина у себя в неволе. Излишне прибавлять, что Мирабо вряд ли признал бы убедительной аргументацию, целиком основанную на смешном барском предрассудке и всуе взывавшую к «человечеству».

Выше я сказал, что купцы превозносили деятельность Петра I, между тем как дворяне относились к ней довольно сдержанно. Это было до такой степени так, что Щербатов нашел нужным оговориться.

В заседании 12 сентября он заявил, что хотя ему и желательна отмена некоторых Петровских законов, однако вовсе не потому, чтобы он недостаточно уважал «благодеяния» великого преобразователя. «Обстоятельства времени и разные случаи принудили его сделать для нашего же благополучия такие положения, которые ныне, при

[1]) Сборник Имп. Русск. Ист. Общ., т. 8, стр, 58.

благополучной державе нашей Всемилостивейшей Государыни, от изменения нравов, не только не полезны, но скорее могут быть вредны» [1]).

К числу законов, изданных Петром, применительно к изменчивым обстоятельствам времени, принадлежал закон, разрешавший купцам приобретать крепостных людей к фабрикам и заводам. Нам уже известно, что Щербатов был против него. Но главное место между этими законами занимал во мнении красноречивого князя и его единомышленников тот, согласно которому каждый, дослужившийся до офицерского чина, становился дворянином. «Такое преимущество дослужившимся до офицерского чина, по тогдашним обстоятельствам, было необходимо для понуждения дворян вступать в службу, — рассуждал Щербатов, — но ныне, когда уже видим, что Российское дворянство, по единой любви к отечеству и славе, и по усердию к своим монархам, достаточно наклонно и к службе и к наукам, то кажется, что право, сравнивающее это сословие со всяким, кто бы, каким то ни было образом, ни достиг до офицерского чина, должно отменить» [2]).

Добиваясь отмены этого закона, Щербатов, как всегда, не упустил обосновать свою мысль нравственными соображениями. Здесь точкой исхода послужила для него заимствованная у Монтескье теория дворянской чести. «Самый естественный рассудок, — говорил он, — убеждает нас... что честь и слава наиболее действуют в дворянском сословии». Поэтому, чем старше дворянский род, тем продолжительнее, а следовательно, тем сильнее действие на его членов чести и славы... Каждый из них с самого появления своего на свет слышит о знатных делах своих предков, видит их изображения, вспоминает подвиги, их прославившие. Это предрасполагает его самого к славным подвигам. Наоборот, дети лиц, поднявшихся до офицерских чинов по старшинству службы, не видят вокруг себя ничего, способного развивать их славолюбие, «а имена предков их уже скрываются во тьме».

Значит, старые дворянские роды по своим нравственным качествам выше новых? Да! И Щербатов счел нужным обратить внимание Комиссии на те неблагоприятные для нравственного развития условия, при которых совершается погоня за чинами. Люди низкого происхождения, стремясь пробиться к чину и зная, что «это зависит от власти каждого командира, не откажутся льстить его страстям и употреблять

---

[1]) Там же, т. 4, стр. 149—150.

[2]) Там же, стр. 150.

другие низкие способы для снискания его благоволения, что конечно послужит ко вреду нравов их самих и их начальников». По получении офицерского чина, а вместе с ним и дворянского звания, они уже не имеют высоких побуждений и думают только о наживе. К этой цели новый дворянин тоже идет всеми возможными путями, не отвергая «ни единого, который мог бы скорее довести его до желаемого конца; от того порождается мздоимство, похищения и всякое подобное сему зло».

Барнаульский городской депутат Карышев сказал, что Англия и Голландия обязаны своей славой торговле. У Щербатова была своя, *дворянская,* философия истории культуры. «Где есть дворяне, — уверял он Комиссию, — там есть и их подданные; где есть дворянские подданные, там заводятся земледелие, мануфактуры и следовательно богатство; а где есть богатство, там раждаются и науки и художества».

Допустим, что это так. Но ведь когда Адам пахал землю, а Ева сидела за прялкой, тогда ничего не слышно было о дворянах. Откуда же они взялись?

По теории Щербатова, дворянство возникло вследствие «отличной доблести некоторых лиц из народа». Так как потомки этих доблестных лиц тоже отличались доблестью, то народы и государи решили почтить их наследственным дворянским званием.

Эта теория, несомненно приятная для самолюбия *старых* дворянских родов, имела ту слабую сторону, что на нее могли опереться также и *новые*. Что такое доблесть? Заслуга перед государством. Но разве теперь никто, кроме дворянина, не может иметь таких заслуг? Сибирские служилые люди, ходатайствуя,—устами енисейского депутата Самойлова, — об уравнении своих прав с правами российских дворян, указывали именно на свои заслуги. Правда, Щербатов их не признал. Сбор ясака и другие, подобные этой, службы не «довольно важны». Что касается великих дел предков, т.-е. завоевания Сибири, то и в нем князь не видел какой-нибудь исключительной доблести. Всем известно, что российские войска непобедимы. Храбрым обязан быть всякий солдат. А победы достигаются мудростью военачальников. Отсюда у Щербатова следовало, что «храбрые воины, покорившие Сибирь, сделали это не сами собою, а под предводительством воевод, которые тогда же и награждены были милостию монархов; да и те, которые сопутствовали воеводам, имели воздаяние в получении земель, спокойных жилищ и, наконец, жалованья» [1]).

---

[1]) Там же, т. 4, стр. 160.

Доводы ярославского депутата и здесь были не безукоризненны. Лица, положившие основание старым дворянским родам, тоже имели за свою доблесть воздаяние в получении жалованья, спокойных жилищ, земель и проч. За что же давать какие бы то ни было преимущества их потомкам? Если бы депутаты от городов смотрели не назад, а вперед; если бы они были не реакционерами, а новаторами, то не замедлили бы поймать Щербатова на слове. Но они готовы были удовольствоваться восстановлением выгодной для их сословия более или менее глубокой *старины* [1]). Депутаты же, избиратели которых принадлежали к новому дворянству или хотя бы только хлопотали о получении дворянского звания, по самому характеру своих домогательств не могли быть в принципе против наследственных дворянских привилегий. Поэтому им оставалось лишь выставлять на вид то, признанное самим Щербатовым, обстоятельство, что даже самые знатные роды были когда-то совсем незнатными. На это и налег, в числе некоторых других, уже знакомый нам депутат Днепровского пикинерного полка Я. Козельский. «Ежели предки Российских дворян, — сказал он, — начало своего достоинства получили чрез награждение по своим заслугам за верность и добродетель, а не чрез знатность рода, то потомки их не должны бы умалять и презирать офицерские чины» [2]). Несмотря на скромную свою форму, возражение это задело за живое кн. Щербатова, и он дал Козельскому страстную отповедь.

«Депутат Днепровского пикинерного полка, — воскликнул он, — в мнении своем говорит, что все древние Российские дворянские фамилии произошли от низких родов, и что теперь эти древние дворяне, по надменности своей, не желают допустить в сие звание людей, того достойных. Весьма удивляюсь, что этот г. депутат укоряет подлым началом древние Российские фамилии, тогда как не только одна Россия, но и вся вселенная может быть свидетелем противного. К опровержению его слов мне довольно указать на исторические события. Одни Российские дворяне имеют свое начало от великого князя Рюрика и потом, по нисходящей линии, от великого князя Владимира; другие выехавшие знатные люди берут начало свое от коронованных глав; многие фамилии, хотя и не ведут рода своего от владетельных особ, но произошли от весьма

[1]) Правда, в заседании 2 октября депутат от города Рузы, И. Смирнов, предложил совсем отменить наследственное дворянство, оставив только личное. Но к его мнению присоединился один только путивльский депутат Рожнов.

[2]) Там же, т. 4, стр. 187.

знатных людей, которые, выехавши в службу к великим князьям Российским, считают несколько столетий своей древности и у нас украсили себя знаменитыми заслугами отечеству. Как может собранная ныне в лице своих депутатов Россия слышать нарекание подлости на такие роды, которые в непрерывное течение многих веков оказали ей свои услуги!» [1]).

Россия, собранная в лице своих депутатов, имела право заметить сочинителю Российской истории, что его ссылка на историю русского благородного сословия основательна в применении разве только к старым *боярским* родам, а вовсе не к *дворянству*, о котором, однако, и шла речь в Комиссии.

Кроме того, в ответ на неудовольствие, выраженное благородным князем по поводу мысли о «подлом» происхождении старых дворянских родов, Россия, собранная в лице своих депутатов, могла бы напомнить ему слова одного из них, депутата Гадяцкого, Миргородского и Полтавского полков, Н. Мотониса: «Подлого у меня нет никого! Земледелец, мещанин, дворянин, всякий из них честен и знатен трудами своими, добрым воспитанием и благонравием. Подлы те только, которые имеют дурные свойства, производят дела, противные законам...».

Слово: *подлый* уже переставало быть тогда синонимом слова: *низший* и приобретало обидный смысл. Оно, как видим, коробило, по крайней мере, некоторых депутатов Комиссии. И если Щербатов не чуждался его употребления там, где нужно было особенно старательно избегать его, то это свидетельствует лишь об его боярской надменности.

Он выставил такую программу:

«1) Дабы никто из разночинцев в чин и в право дворянское иначе не мог вступать, как по единой монаршей власти.

«2) Что дворяне, по одному имени своему, имеют преимущественное пред другими званиями право служить отечеству с тем, чтоб им, по их службе и по преимуществам в оной, определена была особая милость, соответственная достоинству сего сословия, столько раз показавшему свое усердие к отечеству.

«3) Дабы дворянин, без лишения его дворянского звания, не мог быть подвергнут чрез катские руки (через палача. — *Г. П.*) наказанию...

---

[1]) Там же, стр. 192—193.

«4) Поелику же дворянство, как выше неоднократно я имел случай упомянуть, от чести происходит и честью держится, то и непристойная брань и ругание дворянина должны быть запрещены законом.

«5) Право владения деревнями, обязывая дворянина собственною его пользою к службе отечеству, есть первый способ содержать себя во всех местах, куда отечество заблагорассудит его употребить. Вместе с тем нахожу полезным предоставить одному этому сословию право употреблять и продавать, как свои домашние произведения, так и другие, о которых считаю излишним здесь упоминать...» [1]).

Первым параграфом этой программы *порода* хотела оттородиться от *чина*. И, разумеется, чин не мог одобрить этот параграф. Но остальные четыре параграфа были вполне согласны с его интересами: раз обеспечив себе доступ к дворянским привилегиям, чин сам становился заинтересованным в их сохранении и расширении. Стало быть, только вокруг первого параграфа и должна была вестись в Комиссии об Уложении борьба между породой и чином.

Аристократические стремления Щербатова сочувственно встречены были довольно значительным числом дворянских депутатов. Его образование и темперамент увеличивали размеры его личного влияния. Особенно сильное впечатление произвела речь, произнесенная Щербатовым в ответ Козельскому. Он говорил и окончил ее, — по выражению дневной записки, — «с крайним движением духа, что по произношению его голоса приметить было можно» [2]).

Но красноречивый оратор не мог «движением духа» изменить соотношение сил, издавна сложившееся *не в пользу породы*.

В Комиссии большинство оказалось на стороне *чина*. И сама Екатерина, впоследствии удовлетворившая своей жалованной грамотой многие пожелания дворянства, не захотела унизить чин перед породой. Таким образом, выступления Щербатова и его сторонников не увенчались практическим успехом [3]).

---

[1]) Там же, стр. 152—153.

[2]) Там же, стр. 193.

[3]) Купечество домогалось, чтобы всякий, кто берется за торгово-промышленную деятельность, *обязан* был записаться в купеческое сословие. Старое дворянство хотело, чтобы дверь «благородного» сословия отворялась для служилых людей только в самых исключительных случаях. Отсюда видно, что хотя стремления купечества были, как отмечают исследователи, проникнуты *сословным духом*, однако в них не было исключительности, которой отличались дворянские стремления.

X

Наши историки нередко ставили вопрос о причинах неудачи екатерининской Комиссии. Нельзя не признать, что в известном смысле ее созыв не привел ни к чему осязательному. По замечанию профессора С. Ф. Платонова, «Комиссия не только не совершила всего своего дела, не только не обработала какой-нибудь части кодекса, но даже в полтора года, в двухстах своих заседаниях, не прочла всех депутатских наказов». Названный историк об'ясняет ее неудачу отсутствием подготовительных работ, непрактичностью и неопределенностью внешней организации дела и неумелостью ее руководителей. Однако и он признает, что, если Комиссия не привела к общей реформе законодательства, то все-таки оказала важное влияние на последующую законодательную деятельность Екатерины II [1]). Екатерина говорила, что Комиссия дала ей свет и сведения о всей империи. Это правда. Изучая мнения депутатов, Екатерина увидела, какие требования она может оставить неудовлетворенными и какие она должна удовлетворить в своем собственном интересе. Она совершенно пренебрегла тем, что хотели немногочисленные в Комиссии *крестьянские* депутаты; но ее жалованные грамоты *дворянству и городам* явились, в 1785 году, прямым и положительным ответом на просьбы *дворянских и городских* депутатов. И в этом смысле необходимо признать, что созыв Комиссии привел, хотя и не так скоро, к немаловажным практическим результатам.

По своему неудержимому и беспредельному тщеславию, Екатерина II очень громко кричала, urbi et orbi, о своей Комиссии. Под влиянием ее громких криков некоторые вообразили, будто Комиссия об Уложении должна была сыграть никогда и нигде небывалую роль чего-то вроде учредительного собрания, которому предстояло, с разрешения и благословения просвещенной государыни, воплотить в русскую жизнь принципы освободительной французской философии. Учредительное собрание, действующее с благосклонного разрешения самодержавной власти, уже само по себе есть просто-напросто смешная утопия. Еще более смешной становится утопия эта при воспоминании о тогдашних общественных отношениях России. Положим, наши городские депутаты горько жаловались в Комиссии на полицию; но уже на земских соборах Московского государства «излюбленные» русские люди столь же горько жаловались на нестерпимую московскую волокиту. От этих жалоб, как

[1]) «Лекции по русской истории», издание 6-е, стр. 596—597.

от земли до неба, далеко было до коренного общественного переустройства. Положим также, что наш «средний род людей» ссылался на Петровскую реформу, завидовал «счастливому» купечеству Запада и напоминал правительству, до какой степени *коммерция* нуждается в *свободе*. Однако он не только не стремился к устранению крепостнической основы нашего народного хозяйства, но прилагал все усилия к тому, чтобы упрочить эту основу, восстановив ее во всей ее старинной широте. Его еще не коснулось могучее движение революционной французской мысли. Его депутаты в Комиссии лишь с трудом вникали в рассуждения, опиравшиеся на общие принципы. У них не было ни привычки, ни охоты подниматься в область теории. Их мысль всегда оставалась узко практичной. Отвечая на одно из выступлений кн. Щербатова, депутат от г. Тихвина С. Солодовников заметил, что князь «очень редко основывается на прежних узаконениях и эти (т.-е. свои. — *Г. П.)* мнения он подкрепляет весьма разумными рассуждениями, которыми он отменно одарен от Бога». В устах тихвинского депутата это был упрек! И в этом упреке ярко выражается консервативный характер купеческого мышления. Но еще более характерно, что ко мнению Солодовникова «присоединилось» много депутатов от городов [1]).

Дворянские депутаты обнаружили в Комиссии несколько бóльшую привычку к теоретическому мышлению. Но мы видели, что практические стремления дворянства были прямо противоположны практическим выводам передовой французской философии. На тогдашней стадии нашего общественно-экономического развития названные выводы могли быть усвоены только небольшой горстью отдельных лиц. Разумеется, тем хуже было для этой горсти...

---

[1]) Сборник Имп. Русск. Истор. Общ., т. 8, стр. 152—155.

Глава IX

Вопрос об отношении России к Западу во второй половине XVIII века

I

Если бы какой-нибудь древний писатель, — скажем, Цицерон, — воскрес в эпоху Возрождения, то в его уме естественно возник бы вопрос: к чему приведет стремление новых народов Европы усвоить себе античную культуру? Подобный этому вопрос возникал у мыслящих людей Франции и других передовых стран при виде начавшихся со времени Петра I попыток перенести в Россию плоды западно-европейского просвещения. И само собою понятно, что мыслящие люди Запада решали его сообразно с общим характером своего взгляда на движущие силы культурного развития.

Просветители XVIII столетия полагали, что свойственный данному народу образ мыслей, — «opinion», мнение, как выражались они, — служит самой главной, глубже всех других лежащей, причиной его исторического движения. Этот *идеалистический* взгляд на историю нашел себе наиболее полное и яркое выражение в знаменитом «Essai sur les moeurs et l'esprit des nations» Вольтера [1]).

Считая «мнение» главным двигателем прогресса, Вольтер признавал великих людей, — особенно тех из них, которые обладали политической властью, — самыми влиятельными его представителями. Можно даже сказать, что эти люди, к числу которых отнесены в «Essai sur les moeurs» Минос, Залевк, Моисей, Магомет и проч., и проч., были в глазах Вольтера не только наиболее влиятельными представителями «мнения», но и его *создателями*. Действуя на исторической сцене в роли основателей религиозных учений, учителей нравственности, законодате-

---

1) В окончательном своем виде этот «Опыт» появился 1769 г.

лей и вообще руководителей народной массы, великие люди направляли ход истории в ту или в другую сторону.

Вольтер не был бы просветителем, если бы не держался того убеждения, что историческая работа великих людей становится особенно плодотворной в тех случаях, когда они пользуются своими талантами и своей властью для распространения просвещения [1]). Он осыпал похвалами Петра I за совершенную им реформу. И, конечно, далеко не все в этих похвалах может быть отнесено на счет желания сказать приятное тогдашним носителям верховной власти в России.

Вопрос об отношении России к Западу заключал в себе собственно два вопроса: 1) Способна ли, и если — да, то в какой мере способна, Россия усвоить себе западно-европейскую цивилизацию? 2) Желательно ли такое усвоение? И оба эти вопроса, так сильно привлекавшие к себе внимание нашей интеллигенции XIX столетия, были поставлены уже в XVIII веке.

Ж.-Ж. Руссо, как известно, состоявший при особом мнении насчет той пользы, которую принесла людям цивилизация, высказал в своем «Contrat Social» [2]) ту странную мысль, что ко времени Петра I русский народ еще не созрел для усвоения себе плодов цивилизации, и потому его следовало не цивилизовать, а лишь приучать к военным действиям. Но так как Петр поступил наоборот, то, — заключал Руссо, — русские никогда не сделаются действительно цивилизованными (les Russes ne seront jamais vraiment policés).

Фернейский патриарх решительно и резко отверг эту мысль Руссо. По его словам, удивительные успехи, достигнутые Екатериной II и русским народом, «служат достаточным доказательством того, что Петр Великий строил на твердой и прочной основе». Больше того. После Магомета Петр был тем законодателем, преобразовательная деятельность которого ознаменовалась, — думал Вольтер, — наибольшим успехом [3]).

Но если автор «Essai sur les moeurs» считал деятельность Петра весьма плодотворной, то это не мешало ему смотреть на нее как на редкую историческую случайность. Вероятность появления в Москве

---

1) «J'appelle grands hommes tous ceux qui ont excellé dans l'utile ou l'agréable,—говорил Вольтер.—Les saccageurs de provinces ne sont que héros».

2) Livre II, chapitre VIII.

3) «Histoire de Russie» в Oeuvres complètes de Voltaire, édit. du journal «Le Siècle», t. V, p. 67; ср. письма Вольтера к Шувалову от 1757 и 1758 г.г.

такого царя, как Петр I, была совсем ничтожна. Между тем он все-таки явился. Вообще великие успехи в истории человечества представляют собою, по мнению Вольтера, не более как случайный подарок судьбы. Нужно было поразительное число различных комбинаций и веков, прежде чем природа породила того человека, который изобрел соху, и того, который придумал ткацкое искусство. Точно так же теперь есть в Африке обширные страны, имеющие нужду в царе Петре. Может быть, он явится там через миллион лет, так как, — прибавляет Вольтер, — все является слишком поздно [1]).

Вдумаемся в эти его соображения.

Если, как сказал он, возражая Руссо, Петр I строил на основе, отличавшейся исключительной твердостью и прочностью, то ясно, что преобразование, им совершенное, вполне подготовлено было предыдущим ходом развития Московского государства. А если это так, то не менее очевидно, что вероятность появления в Москве царя-преобразователя совсем не была ничтожной, как это утверждал Вольтер. И наоборот. Если в самом деле ничтожна была эта вероятность, то неоткуда было взяться и той, исключительной по своей твердости и прочности, основе, на которую оперлась, по словам того же Вольтера, совершенная Петром реформа. Автор «Истории Петра Великого» не заметил этого своего противоречия.

Утверждение, относящееся у Вольтера к исключительной прочности той основы, на которой возводил Петр I здание своей реформы, очевидно, подсказано было ему сочувствием к этой реформе, совершенно понятным в просветителе, к тому же взявшем на себя роль ее историка. С другой стороны, не подлежит сомнению, что просветители XVIII века очень мало склонны были подвергать анализу исторические условия, подготовлявшие появление великих людей и определявшие собою успешность их начинаний.

С точки зрения исторического идеализма, поступательное движение общества представлялось результатом *сознательной* человеческой деятельности. А сознательная человеческая деятельность людей в свою очередь, представляется, как это правильно заметил Шеллинг, *свободной* и потому не подлежащей научному анализу. Этому анализу подлежат только *необходимые* процессы. Но там, где отсутствует *необходимость*, нет *закономерности*, вследствие чего там остается апеллировать лишь к *случайности*. Мы видели, что именно так и поступал Вольтер, об'я-

---

1) «Anecdotes sur Pierre le Grand», Oeuvres, тот же том, стр. 139.

вивший появление царя-преобразователя делом крайне редкого случая [1]). Противоречие, в которое попал он, говоря о Петре, хотя, конечно, вовсе *не разрешается*, но зато вполне *об'ясняется* идеалистическим взглядом его на историю.

В этом взгляде на историю было много пессимизма. Если упования прогрессистов могут приурочиваться лишь к исторической случайности и если счастливая историческая случайность представляет собою нечто весьма редкое, — вспомним те «миллионы лет», о которых говорил Вольтер,—то дело прогресса есть очень мало надежное дело. И кто знаком с просветительной литературой XVIII века, тот знает, как часто слышались пессимистические ноты в рассуждениях даже наиболее оптимистически настроенных просветителей. Может, пожалуй, показаться непонятным, откуда вообще бралось оптимистическое настроение у прогрессистов, которые могли рассчитывать только на крайне редкую в истории счастливую случайность. Но это настроение об'ясняется прежде всего свойственной просветителям XVIII века отвлеченной верой в непреодолимую силу разума. Тот же Вольтер, который ворчал, что в истории все является слишком поздно, успокоительно говаривал: «La raison finit toujours par avoir raison» [2]). Кроме того, если просветители думали, что великие люди являются в истории, к сожалению, слишком редко, то, с другой стороны, они приписывали им почти беспредельную способность совершать благодетельные общественные преобразования. Они часто говорили, что законодатель *все может*. А если законодатель все может, то хотя и редко появляются в истории великие законодатели-прогрессисты, но все-таки можно *надеяться* на воплощение в жизнь разумных идей. Еще позволительнее было ожидать торжества этих идей в такую эпоху, когда просветительная литература имела огромный успех во всей Европе и когда просветителям казалось, что, действительно, la raison commençait à avoir raison.

Прогрессист, имеющий законодательную власть, может сделать на пользу прогресса все, что захочет: это только частный случай того общего теоретического положения, что законодатель все может. Но как ни твердо убеждены были просветители в правильности этого общего теоретического положения, они понимали, однако, что, если бы на западе Европы, например во Франции, появился король, который захо-

[1]) Из главы CXC его «Essai sur les moeurs» ясно видно, что в жизни Московского государства совершенно отсутствовали, по мнению Вольтера, условия, которые об'ясняли бы появление Петра.

[2]) В конце концов разум всегда оказывается правым.

тел бы осуществить требование освободительной философии, он натолкнулся бы на сильное сопротивление со стороны привилегированных сословий. Это было для них очевидно. Выходило, стало быть, что там, где речь идет о *передовых* странах, необходимо внести весьма важную поправку в общее теоретическое положение, гласившее: законодатель все может. Но когда поднимался вопрос об *отсталых* странах, тогда просветителям казалось, что в этой поправке нет никакой надобности. И они были очень довольны этим.

Вот пример. В записке, поданной им Екатерине II и озаглавленной: «Essai historique sur la Police», Дидро говорил, что во Франции никогда не будет нового уложения, так как существующее в ней законодательство тесно связано с интересами частных лиц. «Кто вознамерился бы низвергнуть это колоссальное чудовище, тот поколебал бы все имущественные отношения (toutes les propriétés)... Дурные, а в особенности старые учреждения представляют собою почти непреодолимое препятствие для хороших» [1]). Совсем иное в России. В ней, «к счастью, Ваше Императорское Величество все может и, к еще большему счастью, оно ничего не хочет, кроме хорошего» [2]). Дидро думал, что в России не было старых и в особенности дурных учреждений, которые могли бы помешать Екатерине осуществить истины, изложенные ею в своем «Наказе» и, по ее собственному выражению, «награбленные» ею у французских просветителей, точнее — у наиболее умеренных из них. Крайне обрадованный отсутствием в России непреодолимых препятствий для осуществления самых лучших законодательных намерений, Дидро восклицал: «Как счастлив народ, у которого ничего не сделано» (Qu'un peuple est heureux lorsqu'il n'y a rien de fait chez lui!) [3]).

Мы знаем, что на самом деле очень много было у нас таких учреждений, которые помешали бы Екатерине II воплотить в жизнь требования французских просветителей... даже, если бы она *серьезно* собиралась воплощать их. Но убеждение Дидро и многих других современных ему иностранных прогрессистов в том, что *отсталость* нашей страны дает ей счастливую возможность с гораздо большею легкостью осуществлять практические требования разума, часто разделялось и такими лицами, которые, живя и действуя в России, казалось бы, должны были видеть, что предшествовавший ход развития «*сделал*» у нас очень много, хотя, конечно, вовсе не в желательном для прогрессистов смысле.

---

1) *M. Tourneux,* Diderot et Catherine II, p. 95, 96.

2) Там же, стр. 106.

3) Там же, стр. 95.

Екатерина писала Вольтеру: «Я должна отдать справедливость своему народу: это превосходная почва, на которой хорошее семя быстро возрастает; но нам также нужны аксиомы, неоспоримо признанные за истинные». Тут перед нами лишь вариация на приятную для западных просветителей тему о том, как легко разуму одерживать великие практические победы в отсталых странах. Конечно, говоря об Екатерине, мы имеем полное право не доверять ее искренности. Кроме того, она сама была иностранкой в России. Но в данном вопросе с нею, т.-е., вернее, с западными просветителями, ею «опрабленными», сходились многие и многие представители тогдашней русской интеллигенции.

В письме к Я. И. Булгакову из Монпелье от 25 янв./5 февр. 1778 г. Фон-Визин писал: «Если здесь прежде нас жить начали, то по крайней мере мы, начиная жить, можем дать себе такую форму, какую хотим, и избегнуть тех неудобств и зол, которые здесь вкоренились. Nous commençons et ils finissent. Я думаю, что тот, кто родится, посчастливее того, кто умирает» [1]).

Фон-Визин рассуждал здесь как идеалист, убежденный в том, что, по крайней мере, отсталые народы руководствуются в выборе «форм» своего последующего развития преимущественно, если не исключительно, своим «*мнением*». И в этом его рассуждении заключались зародыши двух, прямо противоположных один другому, взглядов, так часто и так глубоко сталкивавшихся у нас между собою в XIX столетии. Та мысль, что мы *родимся* в то время, когда Запад *умирает,* получила роскошное развитие в разглагольствованиях С. Шевырева о том, что, поддерживая сношения с Западной Европой, Россия имеет дело с гниющим трупом. Что же касается будто бы находящейся в распоряжении русского народа счастливой возможности дать себе любую «форму», то наши западники указывали на нее по меньшей мере так же часто, как и славянофилы. Если И. С. Аксаков благословлял счастливую отсталость России, то наши «суб'ективисты» (Н. К. Михайловский) и народники (А. И. Герцен, землевольцы 70-х годов, Юзов, В. В. и другие) настойчиво доказывали, что Россия *может,* — и, ввиду печального опыта Западной Европы, *должна,* — миновать *капиталистическую* форму развития и сразу перескочить в *социалистическую*. Таким образом, автор «Бригадира» и «Недоросля» замечателен в истории нашего умственного развития, между прочим, тем, что первый из наших писателей дал вид

[1]) Сочинения, письма и т. д. Фон-Визина, СПБ. 1866 г., стр. 272—273.

общей «формулы прогресса» одной из теоретических ошибок, усвоенных русской интеллигенцией XVIII столетия от современных ей великих французских просветителей.

II

Ошибка эта коренилась в идеалистическом взгляде на историю. Но хотя французские просветители являлись идеалистами в своем об'яснении *исторического процесса*, они, в *теоретической основе* своего миросозерцания, были гораздо ближе к *материалистам*. Некоторые из них не без успеха потрудились над разработкой и распространением материалистического учения. Французская материалистическая литература XVIII века по всей справедливости считается классической в своем роде. И вполне понятно, что близкое родство просветительных взглядов XVIII века с материализмом должно было оказывать известное влияние даже на их *исторические* рассуждения, в общем пропитанные *идеалистическим* духом.

Тогдашние французские материалисты утверждали, что вся психическая деятельность человека есть не более как видоизменение *ощущений* (sensations transformées). А так как они, — именно потому что были материалистами, — нимало не сомневались в том, что ощущение есть результат воздействия на живой организм окружающей его материальной среды, то им естественно было смотреть как на результат такого воздействия, также и на нравственные чувства, эстетические вкусы, научные понятия, короче, и на «*мнение*» людей. Они так и смотрели на него. В своих сочинениях они без устали повторяли, что взгляды и чувства человека определяются, во-первых, *географической* средой, а во-вторых,—средой *общественной*. Но утверждать это значит в корне отрицать ту основную теорему исторического идеализма, по смыслу которой «миром правит мнение». Общее миросозерцание просветителей, более или менее ярко окрашенное в цвет *материализма*, расходилось с их *идеалистическим* взглядом на историю.

Не будучи в состоянии устранить это коренное противоречие и даже редко его замечая, они неизбежно попадали во многие второстепенные противоречия. Рассматривать здесь эти последние было бы, разумеется, неуместно [1]). Однако нам нельзя оставить здесь без внимания некоторые

[1]) Они указаны мною в первой главе моей книги «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» («Французский материализм XVIII века»). [Сочинения, т. VII.]

элементы материализма, проникшие в исторические взгляды французских просветителей и оказавшие известное влияние на развитие русской общественной мысли.

Прежде всего я отмечу взгляд, заимствованный французскими теоретиками, — например, Бодэном, а после него Монтескье, — у некоторых писателей классической древности и об'яснявший действием *климата* все главнейшие особенности характера данного народа и свойственного ему общественного строя: при одном климате возможны только большие деспотические государства, при другом — только республики вроде древних греческих, и так далее.

Этот взгляд, несомненно, имеет *материалистический* характер. Он диаметрально противоположен основному положению исторического *идеализма:* если, под влиянием климата, афиняне дорожили политической свободой, а восточные народы предпочитали деспотизм, то совершенно очевидно, что «мнение» не только не правит миром, но само определяется чисто физической причиной [1]). Но это материалистическое положение есть не более, как первая и совсем неудачная попытка внести понятие необходимости, а, следовательно, и закономерности в об'яснение исторического процесса.

Как уже говорено было во введении, географическая среда оказывает огромное влияние на развитие человеческих обществ. Но она влияет на него не тем, что так или иначе определяет собою физиологические процессы, от которых будто бы зависят общественные и политические взгляды людей, а тем, что дает больший или меньший простор развитию производительных сил, находящихся в распоряжении данного человеческого общества. Состоянием этих сил определяется характер общественных отношений. Раз возникнув, данные общественные отношения развиваются уже по своим собственным законам. Таким образом, общественный человек зависит от «климата» *не непосредственно,* — как думали сторонники разбираемого мною положения, — а только *посредственно:* «климат» влияет на него *через посредство* общественных отношений, возникающих на основе производительных сил, развитие которых замедляется или ускоряется свойствами данной географической среды.

Совершенно упуская это из виду, защитники теории «климата» немедленно возвращались к тому историческому идеализму, на смену которого они выдвигали эту теорию.

---

[1]) Определяется через посредство некоторых физиологических процессов, понимавшихся тогда крайне наивно.

Допустим, что политическое свободолюбие древних греков действительно явилось следствием влияния климата на физиологические процессы, происходившие в их организмах. Раз это признано, политический строй древних греческих республик представляется непосредственным результатом «мнения», т.-е. политических идей и стремлений, порожденных влиянием «климата». Таким образом, на место материализма опять является уже знакомый нам исторический идеализм. В глазах просветителей, очень сильно расположенных к этому последнему, его возвращение, конечно, не могло компрометировать теорию исторического действия «климата». Но в этой теории был недостаток, заметный и для просветителей: она оставляла необ'ясненным как раз то, что требовалось об'яснить: *процесс исторического движения*.

Уже Вольтер, возражая Монтескье, говорил, что в данной географической среде, не подвергающейся никаким существенным изменениям, могут произойти с течением времени существенные изменения общественного и политического строя. Он был совершенно прав, когда выводил отсюда, что изменения эти не могут быть об'яснены действием «климата». Сделав такой вывод и отклонив учение о «климате», он выдвигал все ту же, так хорошо знакомую нам, идеалистическую теорию «мнения» как глубочайшей причины исторического процесса. Однако уже в его «Essai sur les moeurs», мы находим интересное указание на огромное историческое значение некоторых *технических* открытий. Так, по его словам, *порох все изменил в мире* (a tout changé dans le monde). Но действие пороха не есть действие «мнения». Это — действие причины, принадлежащей к той категории явлений, которую мы называем ростом общественных производительных сил. У других французских просветителей подобные указания встречаются еще чаще. Гельвеций сделал в высшей степени интересную попытку об'яснить ход развития общественной психологии тем ходом развития общественных отношений, который, в свою очередь, об'яснялся бы изменением приемов, употребляемых общественным человеком в борьбе за свое существование. Эта замечательная попытка оказалась, говоря вообще, неудачной, да по обстоятельствам того времени и не могла быть иною. Но в ней, во всяком случае, имелось несравненно больше научного содержания, нежели в об'яснении исторических судеб народов действием «климата». Она представляет собою весьма достойный внимания зачаток того материалистического об'яснения истории, к которому в половине XIX века пришли Маркс и Энгельс. Она замечательна также правильным пониманием роли третьего сословия в ходе

развития западно-европейского общества. Само по себе, понимание это не представляет собою ничего удивительного ввиду того, что просветители были идеологами именно этого сословия: мы знаем, в каких, прежде неслыханных, выражениях говорилось о трудящейся массе в об'явлении об издании «Энциклопедии». Но здесь для нас важно то, что наличность указанного понимания помогала французским просветителям разбираться в вопросе об отношении начавшей европеизоваться России к передовым странам Запада. Для примера укажу на Г. Т. Рэйналя, знаменитое некогда сочинение которого «Histoire philosophique et politique des Etablissements et du Commerce des Européens dans les deux Indes» жадно читалось передовой русской интеллигенцией.

По Рэйналю, ход развития культуры обусловливается ходом развития торговли. «Народы, цивилизовавшие все другие, — утверждал он, — были торговыми народами». Но торговлей занимается именно третье сословие. В тех странах, где оно не развито, нет ни технических искусств, ни нравственности, ни просвещения. В России оно отсутствует. В этом состоит ее самое главное отличие от передовых стран Западной Европы. И пока третье сословие не появится в этой стране, Петровская реформа останется лишь очень мало плодотворной. «Русский двор будет делать бесполезные усилия просветить свой народ, отовсюду призывая знаменитых людей, — говорит Рэйналь. — Эти экзотические растения будут чахнуть, как чахнут иноземные цветы в наших теплицах. Без пользы станут заводить в Петербурге академии и школы; без пользы будут посылать русских молодых людей учиться у лучших мастеров Рима и Парижа. Возвратившись из своего путешествия и приспособляясь к тем неблагоприятным условиям, в которых им придется искать себе средств к жизни, эти молодые люди вынуждены будут оставить без употребления (abandonner) свои таланты» [1]).

Всегда и везде следует начинать с начала, а началом может в данном случае послужить только развитие в России производительных сил, для которого необходимо постепенное уничтожение крепостного права. «Научитесь возделывать землю, — продолжает Рэйналь, — обрабатывать кожи, фабриковать шерстяные изделия, и у вас быстро выдвинутся богатые семьи. В этих семьях народятся дети, которые, наскучив тяжелым занятием своих отцов, примутся размышлять, спорить, сочинять стихи (Рэйналь говорит: «сочетать слоги», arranger des syllabes), подражать природе; и тогда вы будете иметь поэтов, фило-

[1]) Назв. соч., женевское изд. 1780 г., т. III, стр. 176.

софов, ораторов, ваятелей и живописцев. Их произведения сделаются необходимыми для людей, обладающих избытком, и те станут покупать их» [1]). Таким образом, возникновение в России третьего сословия естественно поведет за собою развитие в ней искусств, наук и вообще просвещения.

Как уже сказано, Рэйналь считал необходимым условием развития у нас производительных сил постепенное уничтожение крепостного права. Скажу больше. У него речь идет вообще об устранении того гнета, который давил, по его словам, всех жителей нашей страны. Рэйналь нарисовал мрачную картину всеобщего порабощения в России и провозгласил, что невозможно осчастливить русский народ, не изменив предварительно форму нашего правительства (la forme du gouvernement) [2]).

При таком ходе его рассуждений оставалось неясным только одно: кто же может изменить существующий политический порядок в такой стране, где все порабощены и где отсутствует третье сословие, без которого немыслимо просвещение, а, стало быть, и появление людей, стремящихся к политической свободе? На этот вопрос невозможно было найти серьезный ответ в тогдашних условиях русской общественной жизни. И не только в тогдашних. В следующих томах мы увидим, как долго и мучительно бились над ним свободомыслящие русские люди XIX столетия. Но просветители без большого труда решали его путем апелляции к «просвещенным государям» (princes éclairés). В России, как и во всякой другой деспотической стране, может, думали они, явиться государь, до такой степени просвещенный, что ему захочется употребить свою деспотическую власть для уничтожения... деспотизма. Им казалось порою, что Екатерина II хочет взять на себя роль подобного государя. Известно, как усиленно склонял ее к этому благородный Дидро. Рэйналь, повидимому, тоже возлагал на нее большие упования [3]). Кроме того, когда он говорил, что нельзя осчастливить русский народ, не изменив предварительно формы нашего правительства, он имел в виду не столько наш *политический строй,* сколько наш *способ управления.* Он настоятельно советовал *смягчить* этот способ, но вообще был доволен просвещенным деспотизмом Екатерины II. И эта его апелляция от деспотизма к обладательнице деспотической власти

---

[1]) Там же, стр. 177.

[2]) Там же, стр. 168.

[3]) Существует известие, что в 3-м издании сочинения Рэйналя многие страницы принадлежали Дидро.

переносила его с той материалистической позиции, которую занял он, распространяясь о роли третьего сословия в деле развития просвещения, на привычную для писателей XVIII века почву чисто идеалистической философии истории.

III

В критических замечаниях Маркса о философии Фейербаха, набросанных весною 1845 г., есть место, которое небесполезно будет припомнить по поводу только что изложенных мною рассуждений Рэйналя.

Маркс писал: «Материалистическое учение о том, что люди представляют собою продукт обстоятельств и воспитания, и что, следовательно, изменившиеся люди являются продуктом изменившихся обстоятельств и другого воспитания, — забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми, и что воспитатель сам должен быть воспитан. Оно необходимо приводит поэтому к разделению общества на две части, из которых одна стоит *над* обществом» [1]). Для примера Маркс указывал на учение Роберта Оуэна, которое в своей теоретической *основе* действительно было вполне материалистическим. Но материализм знаменитого английского социалиста-утописта был именно материализмом XVIII века, мирно уживавшимся с идеалистическим взглядом *на историю*. Р. Оуэн, подобно огромному большинству социалистов-утопистов, надеялся, что правительства современных ему цивилизованных стран, поняв свою истинную выгоду, пожелают заняться организацией коммунистического общества и воспитанием своих подданных для жизни и деятельности в нем. Он упускал из виду, что «воспитатель сам должен быть воспитан» и что правители, к которым он обращался, сами воспитывались при таких общественных условиях, какие решительно не могли сделать из них друзей коммунизма.

Эту ошибку гораздо раньше делали его учителя: французские материалисты и вообще просветители. Мы сейчас видели, что она была сделана Рэйналем в его интересных соображениях о возможной судьбе западно-европейского просвещения в преобразованной Петром России. От французских просветителей она прямым путем перешла к передовой русской интеллигенции. Фон-Визин повторил ее, сказав, что Россия может выбрать для себя любую «форму». Ее избежали у нас только те материалисты, которым, в их рассуждениях о будущем нашей страны,

[1]) См. мой перевод известной брошюры *Энгельса*, Людвиг Фейербах. [Сочинения, т. VIII.]

удалось избежать всякого влияния исторического идеализма. Такими были некоторые (*не все*) «русские ученики» Маркса. Но еще значительно раньше их таким выступил В. Г. Белинский в известном письме своем, где он утверждал, что Россия будет в состоянии сделать серьезный шаг на пути прогресса только тогда, когда в ней разовьется буржуазия. Белинскому не приходило в голову требовать, чтобы правительство Николая I сознательно принялось служить такой экономической политике, которая, содействуя развитию русского капитализма, вывела бы, наконец, Россию из мертвой точки политического застоя. А Рэйналь требовал этого от правительства Екатерины II. Тут между ними большая разница. Но если отвлечься от этой разницы, то придется признать, что как во взгляде Рэйналя, так и во взгляде Белинского и в соответствующем взгляде «русских учеников» Маркса было много общего. И у Рэйналя, и у Белинского, и у «русских учеников» Маркса будущая судьба нашего *прогресса* ставилась в самую тесную причинную связь с будущим ходом русского *экономического развития*. А это значит вот что.

Фон-Визин, суб'ективисты и легальные народники, полагавшие, что Россия может, не в пример Западу, выбрать для себя «любую форму» дальнейшего развития, рассуждали в духе того, в большой степени свойственного миросозерцанию просветителей, *идеалистического элемента,* под влиянием которого Дидро мог, — в цитированной выше записке,—радоваться отсталости России, а Рэйналь мог приурочивать всю будущность русского прогресса к просвещенному деспотизму северной Семирамиды. И наоборот. Белинский и «русские ученики» Маркса, утверждавшие, что дело русского прогресса будет иметь под собою твердую почву только тогда, когда в России разовьется капитализм, рассуждали в духе того, тоже свойственного миросозерцанию просветителей, *материалистического* элемента, под влиянием которого энциклопедисты говорили, что чувства и взгляды человека определяются окружающей его средой, а тот же Рэйналь писал, что ничего не выйдет из попыток насадить западно-европейское просвещение в такой стране, где отсутствует третье сословие, составляющее главную отличительную особенность новейшего западно-европейского общества.

Многотомный труд Рэйналя произвел большое впечатление на передовых русских людей последней четверти XVIII века. Его внимательно читал автор «Путешествия из Петербурга в Москву». И, конечно, Рэйналю в немалой мере обязан был Радищев тем своим настроением, которое он веражал словами: «Я взглянул окрест меня — душа моя

страданиями человечества уязвленна стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствии человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы». Но уже из этих слов видно, что наиболее сильное впечатление Рэйналь произвел на Радищева не материалистическими замечаниями своими о возможной судьбе русского просвещения, а общими, по правде сказать, не всегда свободными от риторики, соображениями о бедствиях угнетенного человечества [1]). Вообще, материалистическая мысль о развитии третьего сословия, как о необходимом предварительном условии прогрессивного движения в области идей и знаний, не привилась в передовой русской литературе XVIII столетия.

Разумеется, мысль эта не осталась неизвестной русским читателям. Сама Екатерина обещала, как мы знаем, г-же Жоффрэн завести в России третье сословие. В своем «Наказе» (§ 317), она, «грабя» французских просветителей, провозгласила: «Торговля оттуда удаляется, где ей делают притеснение, и водворяется тамо, где ее спокойствия не нарушают» [2]). Но законодательная деятельность нашей Семирамиды направлялась главным образом на защиту интересов дворянства и уж ни в каком случае не была руководима заботой о том, чтобы обеспечить будущее торжество свободы в России.

Люди, мечтавшие у нас о свободе, были тогда, в области общественно-исторических идей, *идеалистами,* между тем как на правой стороне, — точнее *в центре,* — нашей тогдашней интеллигенции мы встречаем писателя, имевшего известную склонность к историческому *материализму*. Это был Иван Никитич Болтин (1735 — 1792). Он заимствовал у французских писателей материалистическое учение о решающем влиянии «климата» на общественно-политические отношения.

IV

М. О. Коялович сказал, что И. Н. Болтина можно, не без некоторого основания, назвать предтечею славянофилов [3]). Для этого, действительно, есть некоторое основание. В сочинениях автора «Примечаний на Леклерка» встречаются мысли, занявшие почетное место в славянофильской теории. Я теперь же отмечу их.

---

1) Эти замечания сам Рэйналь называл hors-d'oeuvre'ом.

2) Предыдущая глава показывает, что эту последнюю мысль непрочь были иногда повторить за нею депутаты от купечества в Законодательной Комиссии.

3) «История русского самосознания», 3-е издание, стр. 129.

«О России судить применяяся к другим государствам Европейским, есть тож, что сшить на рослого человека платье, по мерке снятой с карлы, — писал Болтин. — Государства Европейские, во многих чертах, довольно сходны между собою; знавши о половине Европы, можно судить о другой применяяся к первой, и ошибки во всеобщих чертах будет не много; но о России судить таким образом неможно, понеже она ни в чем на них не похожа, а особливо в рассуждении физических местоположений ее пределов» [1]).

Читатель сам видит, что здесь перед нами одно из главных положений славянофильства. В XIX веке оно так часто повторялось у нас, что его усвоили даже западники, — например, Белинский. И любопытно, что из этого общего теоретического положения Болтин делал известные практические выводы, тоже нередко выдвигавшиеся славянофилами.

Признавая, что Россия ни в чем не похожа на западные страны, Болтин не должен был сочувственно смотреть на Петровскую реформу. Правда, он не осуждал ее: он был слишком осторожен и, к тому же, слишком усердно читал «Словарь Бэйля», чтобы решиться на это. Но в его суждениях о ней слышится неодобрительная нота. Вот пример.

Леклерк сказал в своей истории, что московское правительство запрещало ученым других стран приезжать в Россию, а русским ездить за границу для своего просвещения. На это Болтин возражал, что ученым других стран никогда не был запрещен приезд в нашу страну, а что касается от'езда русских за границу, то для его запрещения было вполне достаточное основание: чтобы извлечь пользу из заграничных поездок, требовался «зрелой разум и утверждение в отеческом законе и нравах. Людям молодым, ненадежного ума и поведения, недозволяем был выезд, из мудрыя предосторожности, чтоб не заразить их вредными новостями».

Болтин утверждает, что последующий опыт вполне подтвердил правильность опасений старого московского правительства.

«С тех пор, как юношество свое стали мы посылать в чужие краи и воспитание их вверять чужестранцам, нравы наши со всем переменилися; с мнимым просвещением насадилися в сердцах наших новые предубеждения, новые страсти, слабости, прихоти, кои предкам нашим были неизвестны: погасла в нас любовь к отечеству, истребилася при-

---

1) «Примечания на Историю древния и нынешния России г. Леклерка, сочиненные генерал майором Иваном Болтиным», СПБ. 1788, т. II, стр. 152—153.

вязанность к отеческой вере, обычаям и проч.; и так мы старое позабыли, а нового не переняли, и став непохожими на себя, не сделались тем, чем быть желали» [1]).

Порчу русских нравов под влиянием западного просвещения Болтин об'яснил тою торопливостью, с которой велось дело преобразования: «Захотели зделать то в несколько лет, на что потребны веки; начали строить здание нашего просвещения на песке, не зделав прежде надежного ему основания» [2]).

Болтин оставил нераз'ясненным, в чем должно было состоять надежное основание нашего просвещения. Он ограничился тем замечанием, что «надобно начать хорошим воспитанием, а кончить путешествием», и что Екатерина II принимает «ко исправлению поврежденного благонадежнейшие средства» [3]). Эта одобрительная ссылка на просветительные меры Екатерины II, которая покровительствовала Болтину и которую он не переставал осыпать похвалами, показывает, как мало настоящего славянофильства было во взглядах этого своеобразного Стародума, воспитавшегося на энциклопедистах [4]).

Замечание о том, что реформы, подобные Петровской, могут быть совершены лишь в течение «веков», дает нам ясное понятие об его консервативном темпераменте, роднящем его с нашими славянофилами XIX столетия. Роднило его с ними и то, что он не одобрял перенесения Петром столицы из Москвы в Петербург. Болтин писал, что назначение Петербурга столицей русского государства неприятно было дворянству, равно как и всему русскому народу. И, по его мнению, к этому имелась основательная причина: «отдаление от средоточия Государства, пошва неплодная, климат суровой, местоположение низкое и болотное, дороговизна хлеба и с'естных припасов, кои должно привозить за несколько тысяч верст, отдаление превеликое от домов всех служащих вообще и проч.» [5]).

Всякий согласится, что в этих соображениях очень много справедливого. Неудобства перенесения столицы в Петербург хорошо знали и наши западники XIX века, часто писавшие на тему: «*Петербург и Москва*». Но в глазах западников неудобства эти с избытком искупались тем, что духовная атмосфера новой столицы, — этого «окна

---

[1]) Там же, т. II, стр. 252—253.
[2]) Там же.
[3]) Там же.
[4]) Там же.
[5]) Там же, т. I, стр. 549.

в Европу», — была более благоприятна для дальнейшей европеизации России, нежели атмосфера консервативной Москвы. В их головах не возникал вопрос о возвращении правительства в столицу Великороссии. Напротив, славянофилы кричали: пора домой! (вспомним И. С. Аксакова) И в этом отношении И. Н. Болтин тоже был их предтечею.

Он признается, что при соображении всех перечисленных им обстоятельств «прийдет мысль в голову, без намерения прорицать будущее, что поздно или рано должно будет Петербург оставить и перенести Столицу на прежнее место, или на другое обоих выгоднейшее. Пропасть сия, все сокровища государственные пожирающая и никогда наполниться не могущая, заставит когда-нибудь помыслить о прекращении сих иждивений и трудов от напрасной гибели. Чтоб была Москва еслиб все оные употреблены были на нее!» [1])

Мысль о перенесении столицы из Петербурга в Москву приурочивалась славянофилами к настоящему времени. Болтин приурочивал ее к более или менее отдаленному будущему. Но главное различие не в этом. Оно в том, что он охотно мирился с перспективой перенесения столицы из Петербурга не в Москву, а в другое место, «обоих выгоднейшее». Хотя он и защищал временами наш старый московский быт, однако у Болтина не было того исключительного, принципиального пристрастия к нему, которым так отличались в XIX веке последовательные славянофилы и в силу которого Москва служила для них как бы символом русских «начал», противоположных западно-европейским. Вот это-то отсутствие у Болтина принципиального пристрастия к этим «началам» и не позволяет называть его, без очень больших оговорок, предтечею нашего славянофильства.

В. О. Ключевский чувствовал необходимость таких оговорок, называя Болтина «своего рода *боковым* предком славянофильства». И он же мимоходом указал, почему родство Болтина со славянофилами может считаться *только боковым;* по его чрезвычайно удачному замечанию, автор «Примечаний на Леклерка» выступал, в размышлениях об исторических судьбах России, *со своим любимым словарем Бэйля в руках* [2]). К этому надо прибавить одно: Болтин выступал также с «Essai sur les moeurs» Вольтера. Понятно, что славянофилы этой его склонности к Бэйлю, Вольтеру и всей вообще французской просветительной литературе ни за что не одобрили бы [3]). Привычки их мысли были со-

[1]) Там же.

[2]) «Очерки и речи», Москва 1913, стр. 175.—Курсив мой.

[3]) Он усердно читал и даже переводил «Энциклопедию».

всем другие. Им неприятна была та рассудочность, которая свойственна была всем образованным людям XVIII века и в частности Болтину. Вдобавок он все-таки хотел поставить свое об'яснение исторического процесса на материалистическую основу, между тем как славянофилы были идеалистами до конца ногтей. Наконец, — last not least, — у него нет и следа того противопоставления славян другим народам Европы, которым так дорожили славянофилы. Он даже говорил, что, хотя, конечно, славяне были в числе наших предков, но они совершенно слились с русскими, — так называл он соплеменников Рюрика, — и потому в наших жилах едва ли осталась хоть капля чисто славянской крови. Таким образом, если Россия ни в чем не походила, по его мнению, на Запад, то он об'яснял это вовсе не племенными нашими особенностями. Да оно и понятно: для него главное дело было *в климате, а не в расе*.

В своих «Примечаниях на Леклерка» Болтин говорит, что «некоторые, любящие попускаться в крайности, климату более надлежащего могущества присвояли, и все перемены в людях и государствах из него выводили; другие, напротив, все от него отняли и оставили его без силы и действия» [1]). К числу первых он относил Монтескье («Монтескю»), к числу вторых, не совсем основательно, «Гелвеция». Самого себя он причислял к тем, которые держатся средней дороги, т.-е. «хотя и полагают климат первенственною причиною в устроении и образовании человеков, однакож и других содействующих ему причин не отрицают». Однако из дальнейших его об'яснений выходит, что он был как будто ближе к крайним сторонникам теории климата, нежели к «Гелвецию». Он утверждал, что климат имеет *главное* влияние на «наши тела и нравы; прочиеж причины, яко воспитание, форма правления, примеры и проч., суть второстепенные или побочные: они токмо содействуют или, приличнее, препятствуют действиям оного» [2]).

Чтобы убедить своих читателей в важном значении климата, наш автор приводит примеры, иногда очень мало достоверные. Растения, перенесенные из одного климата в другой, видоизменяются. Овцы с курдюками, попадающие из киргизских степей в Россию, тоже приобретают другую «природу». Арапы (т.-е., должно быть, негры. — *Г. П.*), переселившись в Европу, становятся белыми, а европейцы, переселившиеся в Африку, «перерождаются, по нескольких коленах, в черных (!), и весь оклад лица получают такой же каков у тамошних жите-

---

[1]) «Примечания на Леклерка», том I, стр. 5.

[2]) Там же, стр. 6; ср. стр. 11.

лей». Из всего этого делается вывод, что перемена климата вызывает в растительных и животных организмах очень важные перемены. А так как тело и душа «очень тесно сопряжены, то все, что устрояет, образует и изменяет тело, теж действия производит и над душею» [1]).

Слова: «теж действия», очевидно, имеют здесь не тот смысл, что если у европейца, переселившегося в Африку, чернеет кожа, то и душа из белой превращается в черную. Но как же следует понимать их? Болтин, повидимому, сам чувствует, что сказанное им до крайности неясно. Он старается пояснить и подкрепить свою мысль новыми примерами, заимствуя их на этот раз отчасти у древних писателей. Вслед за Витрувием, он повторяет, что в южных странах «люди боязливы, ради малого количества крови, но по причине чистого воздуха, мыслят живее и поспешнее; в северных же странах жители суть медлительного рассуждения; но к войне способны, крепки, храбры и бесстрашны» [2]). Допустим, что это так, хотя и легко было бы обнаружить слабые стороны подобных выводов и соображений. Главная задача теории заключается здесь в том, чтобы выяснить, каким же образом обусловленное «чистым воздухом» более живое и поспешное мышление южных народов отражается на ходе их *общественного* развития и в чем обнаруживается причинная связь «медлительного рассуждения» и храбрости северных народов с общественным строем и историей северных государств. Но этой задачи сторонники учения о преобладающем значении климата никогда не могли решить. Очень понятно — почему: невозможно дать научное об'яснение такой связи явлений, которая не существует в действительности. Вероятно Болтин потому и высказался в пользу средней дороги, что убедился в неразрешимости указанной задачи. Но его «средняя дорога» не вела никуда.

Во-первых, сам «Монтескю» никогда не пытался об'яснить действием климата *все* перемены в людях и государствах. Он вовсе не был таким крайним, каким его считал Болтин; на самом деле он апеллировал к «второстепенным или побочным» причинам гораздо чаще, нежели к климату.

Во-вторых, Болтин все-таки признал, что климат имеет *главное влияние на наши тела и нравы*. Поэтому в своих рассуждениях об исторических судьбах народов он обязан был прежде всего считаться с кли-

---

[1]) Там же, стр. 6 и 7.
[2]) Там же, стр. 7 и 8.

матом. Так, если Россия ни в чем не похожа была, по его мнению, на западные страны, то следовало об'яснить эту ее самобытность своеобразным изменением русских тел и нравов под влиянием нашего климата. Но, повторяю, это невозможно было сделать. Да Болтин даже и не попытался направить в эту сторону работу своей теоретической мысли. Он удовольствовался «второстепенными или побочными причинами», при чем и тут обнаружил большой эклектизм и значительную неясность мысли.

Если климат имеет главное влияние на наши тела и нравы, то очевидно, что такие важные стороны народной жизни, как «*воспитание*» и «*форма правления*», определяются его действием: тела и нравы, видоизмененные этим действием *в известном направлении*, должны обусловливать своими свойствами одну форму правления и одни приемы воспитания, а те тела и нравы, которые климат изменил *в ином направлении*, непременно вызовут к жизни *иную* форму государственного устройства и *иное* воспитание. Кто не признает причинной связи правления и воспитания с климатом, тот не должен признавать влияние климата *главным, т.-е. преобладающим*. А если он все-таки считает его таковым, то попадает в противоречие с самим собою. Болтин и попал в такое противоречие. И, как всегда бывает в подобных случаях, это его коренное противоречие выразилось в множестве «второстепенных или побочных».

Всего лучше видно это из рассуждений нашего автора о «вольности» в ее отношении к России.

V

Как ни велико было легкомыслие Леклерка, он правильно отметил некоторые, наиболее печальные, явления тогдашней русской жизни. Порабощение трудящейся массы и деспотизм правительства подверглись решительному его осуждению, выраженному, правда, не всегда умно и всегда очень крикливо. В одном месте своей истории он высказал ту, несомненную тогда для передовых французских деистов, мысль, что свобода есть самый драгоценный изо всех даров, полученных людьми от бога. Болтин не решился оспаривать эту мысль, хотя он и мог бы, по его словам, сделать тут кое-какие ограничительные замечания. Но он нашел нужным поставить вопрос:

«Во всяком ли состоянии, во всякое ли время и всякому ли народу одинакая приличествует свобода или, по различению оных, с некото-

рым исключением, из'ятием, с некоторыми условиями, предписаниями, правилами?».

На этот вопрос он ответил, что нам не «приличествует» та свобода, какую без вреда для себя могут вынести народы Запада: «Земледельцы наши Пруской вольности не снесут, Германская не зделает состояния их лучшим, с Францусскою помрут они с голода, а Английская низвергнет их в бездну погибели» [1]).

У нас вместо вольности существовало тогда крепостное право. Не желая, чтобы его сочли «апологистом» рабства, Болтин признавал, что следует ограничить власть помещика над крестьянином, но сейчас же оговаривался, что это может быть лишь в более или менее отдаленном будущем и во всяком случае лишь после того, как наши крепостные «созреют» для свободы [2]). Таким образом выходило, что впредь до лучших времен именно *крепостное право* и являлось тем видом «*вольности*», который наиболее «приличествовал» русскому земледельцу. Отчего же это было так?

Не ясно ли, что и это парадоксальное явление должно было об'ясняться действием климата? Однако мы тщетно стали бы искать подобного об'яснения его у нашего автора. Напротив, мы находим у него такие теоремы, из которых следует, что русскому народу приличествует не рабское состояние, а как раз вольность. Он сам говорил, — и это действительно было согласно с его теорией климата, — что «все вообще древние Северные Народы вольность за первейшее благо, а рабство за гнуснейшее и посрамительнейшее для человечества состояние признавали» [3]). Наш народ он относил к числу *северных*. *Стало быть,* население древней Руси тоже должно было испытать на себе облагораживающее влияние климата. И сам Болтин отмечает, что во времена первых князей у нас рабами «не иные были, как токмо пленные; прочиих чиностояния государственные были вольные» [4]). Чем же вызван был наш переход от вольности к неволе? По теории Болтина, действие климата иногда «учиняется бессильным», вследствие влияния причин побочных. Именно этим влиянием об'яснял он то, что «нынешние наши нравы со нравами наших праотцов никакова сходства не имеют» [5]). К побочным причинам и следовало, значит,

---

1) Там же, том II, стр. 234—236.
2) Там же, стр. 236.
3) Там же, т. I., стр. 242.
4) Там же, стр. 241—242.
5) Там же, стр. 9.

обратиться для об'яснения того исторического парадокса, что русские земледельцы, так сильно дорожившие вольностью во времена Рюрика, Олега и Игоря, в XVIII века оказались неспособными «сносить» ее блага.

Побочные причины, парализующие действие климата, «суть многие и различные, — говорит Болтин, — яко, обхождение с чужими народами кои прежде были незнакомы, чужестранные ества и пряные коренья имеющие влияние в кровь, образ жизни, обычаи, переменная (т.-е., повидимому, измененная. — *Г. П.*) одежда, воспитание, промыслы и проч.» [1]).

Какие же промыслы, какие сношения с другими народами, какие перемены в воспитании и одежде, какие «пряные коренья» отняли у русского земледельца его любовь к вольности и предрасположили его к рабскому состоянию? На эти неизбежные вопросы Болтин не отвечает. Он ограничивается простым констатированием фактов: тогда-то наши крестьяне были свободны; тогда-то их свобода была ограничена, и, наконец, тогда-то они были совершенно сравнены с рабами (холопами). Факты указываются им правильно: он был в свое время едва ли не самым лучшим знатоком истории русского крепостного права [2]). Но *причинная связь* исторических явлений остается у него здесь совершенно не рассмотренной. Это отчасти об'ясняется тем, что он, вопреки своей собственной оговорке, был несомненным «апологистом» крепостного права и опасался, что рассмотрение причин, его породивших, может навести на размышления, не совсем приятные дворянству. Но в гораздо большей степени сказывается здесь бессилие теории: *Болтин не в состоянии был бы найти согласное с его теорией климата об'яснение процесса возникновения на Руси крестьянской неволи.*

На основе народного закрепощения вырос в России тот государственный строй, который иностранцы почти единогласно называли деспотическим. Болтину не нравилось это название. Он старался доказать, что оно неприменимо к нашему политическому порядку. Мы скоро увидим, насколько удалось ему это. А пока заметим, что, не будучи в состоянии уяснить себе *причины, уничтожившие* у нас «воль-

[1]) Там же, та же страница.—Замечу, что, comme de raison, я оставляю неизмененным правописание Болтина.

[2]) Во втором томе «Примечаний на Леклерка» (стр. 211) у него встречаются некоторые указания, которые, может быть, навели Ключевского на его теорию развития крепостной зависимости крестьян. Болтин был также хорошим знатоком экономического быта России.

ность» крестьянской массы, Болтин не мог понять и тех исторических причин, *которые вызвали появление у нас неограниченной монархии.*

Как мы уже знаем, он признавал, что на Руси, по крайней мере при первых варяжских князьях, все «чиностояния государственные были вольные». Это он высказывал не один раз. Так, споря с Леклерком об известном замысле верховников, он говорит: «Прежде Рурика, при Рурике и после Рурика, до нашествия Татарского народ Руской был вольной. Власть великих и удельных Князей была умерена или сраствореna властию Вельмож и Народа» [1]). Правда, он и тут не избежал противоречия с самим собою. В другом месте мы узнаем от него, что «все государства начались правлением монархическим или самодержавным, которое есть естественнейшее и удобнейшее из всех других правлений». Вполне согласно с этим вторым своим взглядом изображал он там и русскую историю. «Многие веки, — писал он, — потребны были для того, чтобы достигнуть Новгородцам до правления народного, и не иначе как по сильных и жестоких области их потрясениях» [2]). И странно, что он не только не заметил этого противоречия, но воображал, будто мысль о самодержавной монархии, как о самой естественной исходной точке государственного развития, была высказана и доказана им еще в «Примечаниях на Леклерка» [3]). Как бы там, однако, ни было, ясно, что мысль о первоначальной вольности русского народа более соответствует как исторической истине, так и учению Болтина о климате: ведь согласно этому учению все северные народы любили вольность. И вот спрашивается: почему русский народ отказался от вольности и установил у себя неограниченную монархию?

Так как он оставался, по словам Болтина, вольным вплоть до нашествия татарского, то надо предполагать, что это нашествие и послужило тою побочною причиною, которая превозмогла естественное влияние на русский народ северного климата. Но что же изменилось у нас при татарах?

---

[1]) Там же, т. II, стр. 472; ср. стр. 422.

[2]) «Критические примечания генерал майора Болтина на первый том Истории князя Щербатова». СПБ. 1793, т. I, стр. 3.

[3]) Он ссылался на стр. 477 второго тома этих примечаний, но там речь идет вовсе не об отправной точке политического развития: там рассматриваются, *с совершенно отвлеченной точки зрения,* преимущества монархического правления. А немного выш (на стр. 472) находится приведенное мною место о вольности русского народа при первых князьях. Ср. «Примечания на Леклерка», т.

Как говорит Болтин, «все летописи являют и многие грамоты Татарские свидетельствуют», что монгольские завоеватели Руси ограничивались сбором дани через своих баскаков, предоставив ее населению управляться по своим собственным законам и обычаям. Если это было так, то *непосредственным* влиянием татарского ига никак нельзя об'яснить возникновение у нас неограниченной монархии. Остается апеллировать к *посредственному* влиянию татар, т.-е. обратить внимание на те новые на Руси общественно-политические нужды и на те, новые там, сочетания общественно-политических сил, которые, возникнув под влиянием татарского ига, должны были вызвать постепенное усиление власти русских князей. Но по этой части мы вовсе не находим у Болтина сколько-нибудь плодотворных указаний. У него выходит, что татарское иго, наоборот, причинило ослабление у нас «власти начальства» [1]).

Невозможно представить себе, каким образом историческое явление, *ослабившее власть* начальства в среде *вольного* русского народа, могло привести к возникновению и упрочению *неограниченной власти государей*. В своей философии истории русского государства Болтин в сущности не пошел дальше Татищева, исторические исследования которого имели на него сильное влияние [2]). Ему так плохо удалось поставить наш политический порядок в связь с нашим *климатом* или хотя бы только с наиболее значительными из «побочных» общественных причин, что, когда ему пришлось защищать этот порядок от нападений на него Леклерка, он покинул точку зрения закономерности исторических явлений и отступил в область отвлеченных рассуждений о том, какое именно политическое устройство должно быть предпочтено всем остальным. Основываясь на том, что «ум единого удобнее может придпринимать и совершать важное и великое, нежели умы многих»; что «без единоначальства всякое политическое тело не имеет надлежащия сразмерности», что «болезни Монархические суть мимоходящие, легкие; а болезни Республики тяжкие и неисцельные», он умозаключил, что «монархическое правление, содержа средину между Деспотичества и Республики, есть надежнейшее убежище свободе» [3]).

---

[1]) «Примечания на Леклерка», том I, стр. 316.

[2]) Впрочем, и это несправедливо: *рассуждения Татищева о преимуществах «самовластия» никогда не были так отвлеченны, как соответствующие доводы Болтина.*

[3]) «Примечания на Леклерка», т. II, стр. 477 и 478.

VI

Как бы мы не относились к этому выводу, совершенно очевидно, что Болтин получил его, держась чисто *рационалистического метода*. Вот почему я не могу согласиться с П. Н. Милюковым, который отвержение этого метода считает главной заслугой Болтина в области философии русской истории.

П. Н. Милюков назвал Болтина представителем первого цельного органического взгляда на русскую историю [1]). Но автор «Примечаний на Леклерка» не заслужил такого лестного отзыва. У него не было и не могло быть такого взгляда ни на историю вообще, ни на русскую историю в частности. Его заслуга ограничивается тем, что, неудовлетворенный историческим *идеализмом*, он попытался, — *только попытался*, — выработать себе «органический взгляд» на историю, для чего и обратился к одной из тогдашних разновидностей (зачаточного) исторического материализма. К сожалению, выбор его пал на ту из них, которая была бесплодна уже по самой своей природе. Именно по причине этого неудачного выбора исторический взгляд Болтина оказался чуждым даже той относительной — в сущности, далеко и далеко еще не полной — стройности, которая достижима была, пожалуй, уже в XVIII столетии при вдумчивом отношении к существовавшим тогда зачаткам правильного об'яснения истории с точки зрения материализма. Как сильно отличается в этом отношении неуклюжая, беспомощная попытка Болтина от замечательной попытки Гельвеция! [2]).

Другой, не менее почтенный, русский исследователь сделал следующее неожиданное замечание: «Боимся взвести напраслину на современных Болтину русских мыслителей, утверждая, что они предвосхитили гегельянское понимание разумности существующего; но что живущие люди своим неразумением могут испортить существование себе и своим ближайшим потомкам — это, по крайней мере у Болтина, высказывается не раз явственно и даже настойчиво» [3]).

Что живущие люди могут своими неразумными действиями испортить жизнь как самим себе, так и своим потомкам, это такая истина, в какой никто, никогда и нигде не сомневался. Поэтому ее признание отнюдь не составляет ни научной, ни публицистической заслуги.

---

[1]) «Главныя течения русской исторической мысли», т. I, стр. 36.

[2]) Об этой попытке см. в моем сочинении: «Beiträge zur Geschichte des Materialismus.—Holbach, Helvetius, Marx». [Сочинения, т. VIII.]

[3]) «И. Н. Болтин».—«Сборник очерков и речей В. О. Ключевского». М. 1913, стр. 184.

Далее. Покойный профессор был прав, опасаясь утверждать, что современные Болтину русские мыслители предвосхитили гегельянское понимание разумности существующего или, точнее, — *действительного*. Учение о разумности действительного предполагает *монистический* взгляд на историю, совершенно отсутствовавший у русских людей XVIII века. Мы только что видели это как раз на примере Болтина.

Но если монизм Гегеля как нельзя более далек от исторического воззрения Болтина, то он все-таки облегчит нам понимание некоторых особенностей этого воззрения.

Сисмонди, в своей «Истории итальянских республик», писал, что правительство есть самая действительная причина характера данного народа. По его мнению, это теоретическое положение составляет один из важнейших выводов, к которым приводит изучение истории. И это положение было почти общепризнано в исторической и публицистической литературе XVIII века.

С другой стороны, писатели этого века редко сомневались в том, что государственное устройство всякой данной страны, — а, следовательно, и свойства ее правительства, — обусловливаются нравами, т.-е. характером ее населения. Таким образом, полагалось, что народный характер определяется правительством, а правительство — народным характером. Этот противоречивый вывод сначала представляется безусловно нелепым; но при ближайшем рассмотрении он оказывается правильным, хотя лишь *в известном, очень ограниченном смысле*. Совершенно неоспоримо, что между характером всякого данного народа и его правительством существует взаимодействие. И так как оно существует в *действительности*, то оно имеет полное право на признание со стороны *науки*. Это превосходно выяснено было именно Гегелем. Однако монист Гегель прибавлял к этому, что наука не может довольствоваться *понятием взаимодействия*. Чтобы оно не заводило нас в безвыходные противоречия, научный анализ должен проникнуть глубже: он должен выяснить происхождение тех сторон общественной жизни, *взаимодействие* которых признается им за неоспоримую истину. Такое выяснение более или менее удается только при *монистическом* взгляде на историю. Эклектики принуждены довольствоваться понятием взаимодействия, что не мешает им, конечно, приписывать большее или меньшее значение той или другой стороне общественной жизни [1]).

---

[1]) Более подробно это рассмотрено в моей книге об историческом монизме. [Сочинения, т. VII.]

Болтину не удалась его попытка выработать себе монистический *(материалистический)* взгляд на историю. Нам уже известно, что он сам об'явил себя сторонником «*средния дороги*». Но в своем эклектизме он шел значительно дальше, нежели хотел и сознавал. Усвоенная им,— хотя бы и с эклектическими оговорками, — теория климата не дала ему теоретической возможности разрешить антиномию: формы правительства (и «законы») определяются нравами, нравы — законами (формой правительства). Поэтому он вообразил, что следует превратить эту антиномию в орудие научного анализа.

Довольствуясь эклектическим *понятием взаимодействия,* он, в противность многим другим писателям XVIII века, приписывал *нравам* большее значение, нежели *законам*. «Удобнее законы сообразить нравам нежели нравы законам, — писал он, — последнего без насилия зделать не можно. Солон давши Афинянам Законы сказал: я издал законы не лучшие из возможных, но лучшие из приличествующих Афинянам; разумея что мог бы он и лучшие зделать, но они были бы не сообразны нравам Афинян и следовательно были бы для них неудобны, не приличны» [1]). К этому сводится та идея, с помощью которой Болтин, по мнению П. Н. Милюкова, соединил в одно целое все подготовленные Татищевым данные для истории русского законодательства. Можно сказать больше: к этому сводится весь «органический» взгляд Болтина на русскую историю. И легко убедиться, что этот взгляд «органически» таил в себе все противоречия, неизбежные там, где исследователь довольствуется точкой зрения взаимодействия.

В одном из своих возражений Леклерку Болтин писал, что «характиры племен зависят от состояния общества, под коим они живут, и постановлений политических учрежденных между ними» [2]). Если мы поставим это положение рядом с тем, что говорил наш автор выше о зависимости законов (т.-е. постановлений) от нравов (т.-е. от характеров племен), то и у него выйдет, — как выходило у большинства просветителей XVIII века, — что нравы определяются законами, а законы — нравами. Тут так много эклектизма, что совсем не остается места для «органического» взгляда на исторический процесс.

---

[1]) «Примечания на г. Леклерка», т. I, стр. 316; ср. с стр. 317.

[2]) «Примечания на г. Леклерка», т. II, стр. 423; ср. стр. 158—159.—В первом томе (стр. 430—431). Болтин с полным одобрением приводит слова Рэйналя, что народ, лишенный свободного самоопределения, становится таким, каким бывает его государь. И он признает, что «Руские являлися различных харзктиров при разных царствованиях Государей своих».

Отзыв Болтина о труде Леклерка очень суров: «Все что вы ни написали остается праздным и бесполезным, понеже из него никакова упражнения уму зделать не можно» [1]). Суровый отзыв этот недалек от истины. Русская история Леклерка была, в общем, весьма неудачна. Болтин бесконечно превосходил этого французского писателя знанием русской истории и русской жизни. В его примечаниях есть много весьма ценных частностей. Но его философские соображения о ходе русского исторического процесса совсем неудачны. Из них тоже «никакова упражнения уму зделать не можно». Я уже сказал, что главная причина неудачи, постигшей Болтина, в этом случае состояла в полной ошибочности его точки исхода.

Если Болтин настаивал на том, что «легче законы сообразить с нравами, нежели нравы с законами», то это об'ясняется *консервативным характером его образа мыслей*. Петровская реформа не нравилась ему своей крайней стремительностью. Осуждая эту стремительность, он тем самым напоминал Екатерине II, что и ей не следует торопиться с серьезными реформами, особенно с изменением быта крестьян. Исходя из того теоретического положения, что законы должны соображаться с нравами, а не наоборот, легко было до бесконечности отговариваться от освобождения крестьян указанием на их умственную отсталость, т.-е. на те самые «нравы», которые порождались крепостным правом. «Апологисты» крепостничества никогда и нигде не хотели понять, что, ссылаясь на эти нравы, как на главный довод против освобождения, они вращаются в безвыходном логическом кругу.

VII

Что Болтин был «апологистом» рабства, это не может подлежать никакому сомнению. Подобно Фон-Визину, он уверял, что, несмотря на крепостное право, положение «земледельца» в России менее тягостно, нежели на Западе. Русский земледелец не имеет понятия о тех налогах и податях, какие платятся тамошними земледельцами, и в «полной безопасности» пользуется плодами своих трудов. «Правда что состояние крестьян помещичьих не всех есть равное, — соглашается он,—некоторые из них, по жестокосердию и нечувствительности господ их, обременены оброками и работами тяжкими и едва сносными; но большая часть и из сих живут в довольстве и покое, следовательно

[1]) Там же, т. I, стр. 432.

и не признают состояния своего несносным» [1]). Немного ниже он говорит, что «большая часть наших крестьян больше имеют прихотей нежели должно, и по мере способностей ко удовлетворению сих кичатся нарядами выше состояния своего» [2]).

Приемы, которые употребляет Болтин, сравнивая положение русского народа с положением народной массы в западно-европейских государствах, заслуживают внимания ввиду того, что В. О. Ключевский видел в исследованиях нашего автора зародыш сравнительного исторического метода [3]).

Вот хороший пример. Болтин хочет доказать, что наши «работные люди» лучше удовлетворяют свои материальные потребности, нежели французские. Для этого он ссылается на Мерсье, в своем известном сочинении «Tableau de Paris» описавшего бедность трудящегося населения Парижа и, между прочим, и те жалкие харчевни, в которых столовались парижские каменщики. Весьма оппозиционно настроенный Мерсье, конечно, не пощадил при этом красок. У него получилось до последней степени печальная картина. И вот рядом с этой печальной картиной Болтин ставит очерк жизни русских рабочих, написанный им самим в совершенно других тонах.

«Похожа ли пища наших работных людей на сию? — спрашивает он. — Самый беднейший человек, которой роет землю, рубит дрова и тому подобные черные работы исправляет, получая в день от 35 до 40 копеек, ест два раза в день добрые щи с мясом и кашу с маслом; а в воскресные дни пироги с начинкою, блины и тому подобные кушанья, не меньше сытные, сколь и вкусные; не говоря о плотниках, каменьщиках и тому подобных ремесленых людях, кои гораздо лучшее сказанного дают себе содержание. И среднего состояния люди в Париже хуже едят, нежели наши все вообще ремесленники и крестьяня в привольных местах живущие» [4]).

В результате такого сравнения получается отрадный вывод: «у нас все напротив» [5]). Действительно, напротив [6]).

---

1) Там же, т. II, стр. 174.

2) Там же, стр. 223—224.

3) «Очерки и речи», стр. 186.

4) «Примечания на Леклерка», т. I, стр. 234—235.

5) Там же, стр. 235.

6) Те русские люди, которые хоть немного склонны были у нас тогда смотреть на крепостное право непредубежденными глазами, отзывались совсем иначе о положении нашего крестьянина. «Я не нахожу беднейших людей, как наших крестьян, — писал А. Я. Поленов, — которые, не имея ни малой от законов

Следующие строки всего лучше характеризуют отношение Болтина к крепостному праву в современной ему России.

«Нельзя чтоб некоторые не жаловалися на состояние рабства своего, быв, по несчастью, подвержены господам жестоким; но говоря вообще, а особливо относительно к крестьянам государственным, не есть сие софизма, самолюбие и жестокости Вельмож, но самая истинна, опытами доказанная, что крестьяне Руские не почитают состояния своего несчастным, в рассуждении рабства; а особливо те из них, которые живут во изобилии, в довольстве и покое. Они о лучшем состоянии и воображения себе зделать не могут; а чего не понимают, того и желати не могут: щастие человеческое зависит от воображения» [1]).

Русский народ даже и «воображения себе зделать не может» той самой вольности, которой он должен был бы дорожить под влиянием северного климата. Так велико было действие «побочных причин» в нашем историческом процессе! Ну, а если у русского крестьянина все-таки возникнет некоторое представление о вольности? Это будет совсем нехорошо. Болтин с огорчением говорит:

«С тех пор, как слабые лучи мнимого просвещения, по отражению от господ худо воспитанных, коснулися слегка и до служащих им... примечено уменьшение в рабах преданности и усердия к господам своим». Однако его сильно утешает то обстоятельство, что «сие просвещение не достигло еще до живущих по деревням, и не распростерло вредных своих содеятельностей на всех их» [2]). Хорошее воспитание состояло, как видно, в том, чтобы мириться с неволей.

В одной из предыдущих глав я уже обращал внимание читателя на то, что в нападках наших сатириков на тогдашнюю русскую французоманию слышалась подчас консервативная нота. У Болтина, очень резко осуждающего наше увлечение иностранными нравами, такая нота слышится еще более явственно. Следует помнить, что Леклерк раздражал его не только легкомысленными суждениями своими о России. Ему не нравилось в Леклерке также его пристрастие к законодательным новшествам. В своих возражениях ему он говорил:

защиты, подвержены всевозможным не только в рассуждении имения, но и самой жизни, обидам, и претерпевают беспрестанные наглости, истязания и насильства; от чего неотменно должны они опуститься и придти в сие преисполненное бедствий... состояние, в котором мы их теперь действительно видим». («Записка о крепостном состоянии крестьян в России», см. «Русский Архив», 1865 г., стр. 298.)

[1]) «Примечания на Леклерка», т. II, стр. 383; ср. стр. 451.

[2]) Там же, т. II, стр. 244.

«Поражая злоупотребления и от'емля слабости пороков, беречься надобно чтоб не уменьшить силу добродетелей: неумеренное исправление причиною было разрушения многих царств. Исправляя обычаи и нравы, должно быть весьма осторожно» [1]).

Тут он выражается даже гораздо решительнее, чем Стародум в известном разговоре своем с Софьей [2]). Но тут он рассуждает все-таки в том же духе. А вот мнение, которого мы не слыхали даже от Стародума:

«Примечено многими, что с тех пор как стали мы устранятися обычаев наших предков и начали жить, сообразуяся иностранным, зделалися мы слабее, чаще подвержены стали быть болезненным припадкам, и меньшее число из таковых до глубокой старости доживают. Главными тому причинами, по моему скудоумию, полагаю уничтожение обычая ходить в бани и введение французской поварни» [3]).

К этой воркотне усердного читателя Бэйля и Вольтера с самым живым сочувствием отнеслись бы Стародумы времен Кантемира. Вероятно, одобрили бы эти Стародумы и экономические взгляды ученого генерал-майора.

Болтин был против заведения у нас торгового флота. Он желал, чтобы Россия навсегда лишилась «прибытков», связанных с корабельным делом, «обратив тех людей, кои должна бы была она употребить на кораблях, в другие промыслы и упражнения собразнейшие нашему состоянию, климату и местоположению» [4]). Какие же именно? «Все, что служит к роскоши, да будет заимствовано от услуг иностранных, — отвечает Болтин, — а своих оставим упражняться в существенных потребностях для жизни: земледелец и воин да будут свои». И как будто желая сделать привлекательной экономическую политику этого рода, он указывает на Спарту, где «Лакедемонцы все были воины, а Илоты все земледельцы» [5]).

Столь сочувственное воспоминание о социальном строе, целиком опиравшемся на порабощение илотов, может удивить нынешнего читателя. Но надо иметь в виду, что ведь и в написанной гр. Л. Н. Толстым гениальной эпопее наших войн с Наполеоном фигурируют преимущественно наши «Лакедемонцы» вроде кн. А. Болконского или гр. Н. Ростова да «Илоты» вроде невозмутимого Платона Каратаева.

---

[1]) Там же, т. II, стр. 355.

[2]) «Недоросль», действие IV, явление 2-е.

[3]) «Примечания на Леклерка», т. II, стр. 369—370.

[4]) Там же, т. II, стр. 27.

[5]) Там же, т. II, стр. 336 и 337.

Чрезвычайно любопытно, что в своем крайнем консерватизме Болтин весьма недолюбливал споров. «Спор не служит ко исправлению порока, не исцеляет от заблуждения, не подает ни малого успеха в познании правды, но паче ее затмевает, — писал он. — Дух пререкания перераждается удобно в ложную тонкость, и пристрастившиеся к нему попадают в собственные сети... Что произвели споры? Умножили разнствие во мнениях, и искусство защищать ложь с такоюж удобностию как и правду» [1]).

Так как в более или менее образованном русском обществе Екатерининской эпохи немало было Стародумов à la Болтин, то становится вполне понятным, что еще во «Всякой Всячине» (1769 г.) подобный ему противник споров, — под псевдонимом Аристарха Аристарховича Примирителева, — советовал писателям «хранить между собою ненарушимую дружбу и вечное согласие». Понятно и то, что немного было в этом обществе людей, способных осудить просвещенную матушку-государыню, когда она, запрещая журналы и книги, «примиряла» с русской действительностью слишком рьяных ее порицателей.

VIII

«Апологист» по отношению к *крепостному праву,* Болтин выступал «апологистом» и в вопросе о *государственном устройстве России.* И здесь его апологетические усилия увенчались таким же малым успехом, как и там.

Совершенно отвлеченные рассуждения его на тему о преимуществах *неограниченной монархии* не могли быть убедительны для западных писателей, так как те почти всегда говорили, что Россия своим государственным устройством напоминает не *монархию западно-европейских стран, а великие деспотии Востока.*

Болтин очень хорошо сознавал это. И ему очень по душе пришлись те страницы в четвертом томе «Essai sur les moeurs», где Вольтер старался доказать, что турецкое правительство далеко не так деспотично, как это воображают европейцы. «Итак, — победоносно умозаключил Болтин, приведя относящиеся сюда доводы Вольтера, — если правление Турецкое, и тех государств, коих Волтер не именуя ясно разуметь заставляет (намек на Францию. — *Г. П.)* не суть деспотические, то как можно правление Российское назвать деспотиче-

[1]) Там же, т. II, стр. 364—365.

ским» [1]). В самом деле, если все виды государственного устройства похожи один на другой, то совершенно ясно, что русский государственный строй не отличается от строя западно-европейских государств. Весь вопрос в том, насколько допустим в науке тот прием анализа, который состоит в отвлечении от всех отличительных признаков анализуемых явлений. У Вольтера глава, посвященная характеристике турецкого правительства (по общему счету глав — XCIII), должна быть признана одной из самых неудачных. Остроумный и просвещенный автор «Essai sur les moeurs» рассуждал в ней крайне поверхностно, и его выводы, по своей научной ценности, далеко уступают соответствующим выводам Бодэна [2]). При других условиях Болтин, вероятно, и сам заметил бы неудовлетворительность Вольтеровской аргументации. Но здесь он преследовал не научную, а чисто апологетическую цель, и потому не только не поправил Вольтера, но еще более упростил его мысль, — и так уже слишком упрощенную.

Опираясь на Вольтера, Болтин в то же время не преминул привести довод и от русской действительности. «Как можно, — писал он, — правление Российское назвать деспотическим, где дворянство не меньшею вольностию, выгодами и преимуществами пользуется, а купечество и земледельцы несравненно меньше несут тягости, нежели в котором нибудь из государств Европейских» [3]).

Наш историк принадлежал к числу тех идеологов русского дворянства, которые были вполне удовлетворены «вольностями», дарованными их сословию Екатериной II, а также, — нельзя этот грех утаить, — и крепостнической политикой этой государыни по отношению к «земледельцам». Вот почему, когда этот, во всяком случае умный и весьма сведущий, человек принимался думать об отношении России к Западу, он додумывался лишь до того, уже знакомого нам по письмам Фон-Визина, консервативного афоризма, что на Западе люди жили и живут ничем не лучше, нежели в России, или что «славны бубны за горами». Очень мало утешительный *в практическом смысле* вывод этот был, к тому же, совершенно бессодержателен в *смысле теории*.

Леклерк писал, что наше Уложение давало мужу тираническую власть над женою. Болтин назвал это замечание бесстыдным и наглым,

---

1) Там же, т. II., стр. 466.

2) Притом же доводы, приводимые Вольтером в пользу турецких порядков, скрывали под собою горькие намеки на французскую действительность, что не ускользнуло от внимания Болтина.

3) Там же та же страница.

так как отношения мужа к жене определялись у нас не Уложением, а церковными законами. Но ошибка французского писателя не уменьшала подчинения русских женщин их мужьям. Что же слышим мы от Болтина, собственно, об этом подчинении? Мы слышим, что «в старину во Франции мужья не меньшую власть над женами имели: *обычай давал им,* по свидетельству Боманоарову, *полную волю бить жен своих* надосуге [1]); только того остерегаться были должны, чтоб не убить до смерти и не окаличить» [2]).

Коснувшись Боярской Думы как верховной судебной инстанции, Леклерк привел тот отзыв Вольтера, что не знание, а чин и рождение делали русских людей членами этого судилища. У Болтина и на это нашлось возражение. Он спрашивает, где же есть «такое Судилище, в котором заседание иметь приобретается одним токмо знанием?». И он утверждает, что всегда и везде «степени, рождение, богатство и случай предпочитаются знанию, талантам и способностям». Это сообщение, — сводящееся к формуле: «так везде было, так везде будет», — дополняется у него той, не менее успокоительной, догадкой, что, «может быть и в Судилище Бояр бывали изредка такие коих все достоинство состояло в одном только знании, но, без сумнения, больше было таких коих богатство и порода помещали на седалищах, принадлежащих первым». А чтобы русский читатель не подумал, что у нас дело обстояло на этот счет хуже, нежели в Западной Европе, Болтин поспешил прибавить: «Сказывают что и в Англии подобное случается, что при избрании в члены Парламента, более иногда уважается богатство, нежели знание и способность» [3]).

А вот еще один замечательный пример: сопоставляя Францию с Россией, Болтин пишет:

«Лудовик XIV не всегда того только хотел чего право имел требовать, а чаще и хотел и требовал гораздо того больше... Не всегда желания его были основаны на пользе государственной и благосостоянии народном, но более на собственном славолюбии и своенравии; со всем тем Французы не называют его деспотом. Колико крат права мечтательныя вольности их были нарушаемы и уничтожаемы; коренные законы унижаемы и попираемы; все члены Парламента лишаемы своих мест и во изгнание посылаемы; однакож не называют Французы правления своего деспотическим».

---

[1]) Подчеркнуто у Болтина.

[2]) Там же, т. I, стр. 469—470.

[3]) Там же, т. I, стр. 607.

Уже знакомый нам апологетический вывод опять ясен; хотя, может быть, и есть недостатки в русском правлении, однако, деспотическим его назвать невозможно. Болтин советует Леклерку и его «нотатчикам» ознакомиться с нашими законами, уставами, правами и преимуществами разных государственных сословий. Тогда, — уверяет он, — сами они «удостоверятся, что Правление Российское весьма есть инаково нежели каким они его, частию по пристрастию, а частию по неведению, представляют» [1]). Но для большей убедительности Болтин опять ссылается на весьма оппозиционно настроенного Мерсье, разумеется, очень резко отзывающегося о французском государственном управлении (произвольные аресты и т. п.). С чувством, в искренность которого не легко поверить, он восклицает: «Вот изображение верное и беспристрастное нынешнего состояния Франции и тамошнего правления. Боже сохрани нас от подобного!» [2])

Если, как утверждал покойный В. О. Ключевский, такого рода сопоставления России с Западом являлись зародышем *сравнительно-исторического* метода, то необходимо признать зачатком сравнительно-психологического метода тот полемический прием, к которому часто прибегают в своих ссорах люди, лишенные умственной культуры, и который состоит в том, что один из противников, будучи обозван дураком или вором, бойко отвечает: «от дурака» или «от вора слышу». Человек, обладавший образованием Болтина, мог бы сказать что-нибудь более серьезное.

Вопрос об отношении России к Западу уже в то время становился у нас вопросом о вероятном направлении и о возможных шансах прогрессивного развития нашей страны. Это был самый важный, самый мучительный из всех вопросов, когда-либо возникавших перед русской интеллигенцией. Но под пером Болтина он превращается в вопрос нашего национального самолюбия, обижаемого тем видом превосходства, с которым иностранцы, обогнавшие нас на пути цивилизации, отзывались, — *как и доныне продолжают отзываться,* — о России. Национальное самолюбие, конечно, не лишено правомерности. Невозможно и совсем нежелательно существование народов, способных мириться с пренебрежительным отношением к ним со стороны иностранцев. Выступления Новикова и других сатириков против нашей французомании были *отчасти* подсказаны вполне законным чувством обижен-

---

[1]) Там же, т. II, стр. 523.

[2]) Там же, т. II, стр. 525.

ного иностранцами русского национального достоинства. Плох был бы народ, лишенный этого достоинства! Но, ища выхода, чувство это почти всегда вступает в сочетание с *другими чувствами* и, в зависимости от их характера, само приобретает тот или иной оттенок, то или другое общественно-психологическое значение. Если уже в сатирической нашей литературе нападки на подражание иностранцам получали иногда *консервативный*, — чтобы не сказать: *реакционный*, —*привкус*, то у Болтина они сделались сознательно и откровенно консервативными.

Слишком пристрастный к Болтину В. О. Ключевский [1]) нашел у него, кроме зародыша сравнительно-исторического метода, еще некоторое своеобразное развитие космополитической идеи, будто бы являющейся «довольно неожиданным и гибким оборотом русской патриотической диалектики прошлого века» [2]). Оборот состоял в том, что «темные пятна, выступающие в жизни отдельных народов, русского, как и других», относились на счет общего несовершенства человеческой природы, между тем как подвиги и доблести причислялись к качествам русского национального характера [3]). Но не трудно заметить, что этот «диалектический» оборот прежде всего плохо вязался с общим историческим взглядом Болтина.

Возражая Леклерку, утверждавшему, что все отрасли нашего управления свидетельствуют о нашем зверстве, невежестве и т. д., Болтин писал:

«Не должно приписывать единому народу пороков и страстей общих человечества (человечеству? — *Г. П.*). Прочтите первобытные веки всех Царств, всех Республик, найдете во всех нравы, поведения и деяния их сходными. Можно привести тысячу примеров, что повсюду человеки были и ныне суть во всем один другому подобны, кроме некоторых легких черт, составляющих особенность образования в их характере» [4]).

Далее у него следуют исторические примеры, долженствующие подтвердить это общее положение; а потом является замечание о том, что деяния древних руссов совсем не отличались таким зверством и

---

[1]) Едва ли можно сомневаться в том, что В. О. Ключевский заимствовал у Болтина некоторые частные исторические мысли,—например, ту, что русская история отличается от западной меньшим драматизмом. Но здесь не место распространяться об этом.

[2]) «Очерки и речи», стр. 186—187.

[3]) Там же, стр. 187.

[4]) «Примечания на Леклерка», т. II, стр. 1.

бесчеловечием, какие свойственны деяниям древних французов [1]). Надобно думать, что эта сравнительная мягкость русских деяний и представляет собою «легкую черту» особенности нашего национального характера. Но под каким же влиянием создалась эта черта? Под влиянием климата или под влиянием какой-нибудь «побочной причины»? Болтин как будто даже и не подозревает научной правомерности подобных вопросов.

Это не все. По его учению, характер всякого данного народа определяется преимущественно действием климата. Но климаты различны. Стало быть, и характеры народные никак не могут быть одинаковы. Это хорошо знали еще древние писатели, у которых некоторые мыслители новой Европы заимствовали учение о решающем действии климата.Они заботливо отмечали, что греки, под влиянием своего климата, очень любили свободу, тогда как народы Востока были равнодушны к ней. Да и сам Болтин, цитируя Витрувия, пытался об'яснить нам, каким образом различные климатические влияния создают у различных народов самые существенные различия в «силах душевных». Как же могут быть «человеки во всем один другому подобны»? Тут противоречие, которое, оставаясь неразрешенным, об'ясняется только тем, что, преследуя свои апологетические цели, наш автор позабыл коренное положение свое о решающем действии климатических особенностей на характеры и исторические судьбы народов.

IX

Впрочем, надо и то сказать: апологетические цели можно было преследовать, не придерживаясь определенного исторического воззрения. Даже удобнее было выступать в литературный поход, не обременяя себе тяжелым теоретическим багажом. Екатерина II как нельзя более убедительно доказала это своей полемикой с аббатом Шаппом [2]).

В. О. Ключевский заметил, что, хотя в уме ей никто не отказывал, кроме ее мужа, который был очень плохим судьей в этой области,

---

[1]) Там же, стр. 6.

[2]) «Антидот или разбор дурной, великолепно напечатанной книги под заглавием: «Путешествие в Сибирь по приказанию Короля в 1761 г.», содержащея в себе нравы, обычаи Русских и теперешнее состояние этой Державы... Господина аббата Шаппа д'Отероша, из Королевской Академии наук. В Париже. 1768 г.». Первые две части этого сочинения Екатерины изданы были в 1770 г. Покойный П. Бартенев перепечатал его в «Осмнадцатом веке», кн. IV, Москва 1869 г.

однако, она не поражала ни глубиной, ни блеском своего ума [1]). Высокоталантливый историк имел полное право выразиться более резко: Екатерина II отличалась умом очень деятельным, но при этом крайне поверхностным. Всякий раз, когда она имела неосторожность пускаться в теорию, она беспомощно запутывалась в понятиях, оперировать с которыми было, кажется, не так уже трудно. Вспомним шестую главу ее пресловутого «Наказа» («О законах вообще»).

Мы узнаем от нее там, что над человеком господствуют многие «вещи»: вера, климат, законы, правила, принятые в основание от правительства, примеры дел прешедших, нравы, обычаи. Но если мы захотим выяснить себе, не существует ли между этими «вещами» причинной связи, и не оказывает ли, например, климат решающего влияния на нравы и обычаи (в чем убежден был Болтин), то услышим нечто поистине странное.

Екатерина сообщала, что «природа и климат царствуют почти одни во всех диких народах. — Обычаи управляют китайцами. — Законы владычествуют мучительно над Японией. — Нравы некогда устраивали жизнь Лакедемонян. — Правила, принятые в основание от властей, и древние нравы обладали Римом». В этой густой каше нет даже намека на попытку составить себе сколько-нибудь стройный взгляд на ход исторического процесса. Да Екатерина и не чувствовала нужды в таком взгляде. Она до последней степени развязно обращалась со всеми этими «вещами», сваленными ею в одну беспорядочную кучу. Иногда она как будто подсмеивалась над учением о решающем действии климата. Так, из неуклюжих рассуждений аббата Шаппа о грубости нервного сока у русских людей и о вероятных социологических последствиях этого физиологического явления она, с совершенно уместной здесь иронией, сделала тот вывод, что «недостаток гениальности у Русских, повидимому, есть следствие почвы и климата» [2]). Но в первой же главе своего «Наказа» она сочла нужным обратиться к учению о климате в важном вопросе о том, есть ли Россия «европейская держава». Екатерина утверждала, что — да, и следующим образом доказывала это мнение: «Перемены, которые в России предпринял Петр Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, бывшие в то время, совсем не сходствовали с климатом и принесены были к нам смешением разных народов и завоеваниями чуждых областей. Петр Великий, вводя нравы

---

1) «Очерки и речи», стр. 324.

2) «Осмнадцатый век», книга IV, стр. 445.

и обычаи Европейские в Европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожидал».

Здесь выходит, что успех Петровской реформы обеспечен был действием климата. Но не думайте, что Екатерина расположена была серьезно размышлять о влиянии географической среды на историческое развитие народов. Она довольствовалась тем, ходячим тогда, представлением, что развитие это определяется преимущественно, чтобы не сказать исключительно, *деятельностью государей*. В ее «Записках касательно российской истории» есть чрезвычайно характерные в этом смысле строки. «Известно, — говорит она там, — что народы и языки народов мудростью и тщанием высших правителей умножаются и распространяются. Каков государь благоразумен, о чести своего народа и языка прилежен, потому и язык того народа процветет. Многие народные языки исчезли от противного сему». Значит, даже история языка об'ясняется деятельностью государей. Трудно сказать, в самом ли деле верила Екатерина в такое всемогущество законодательной власти. Ее крайне осторожное отношение к крепостному праву и вообще ее решительное нежелание «писать» на щекотливой коже дворянства законы, невыгодные для этого сословия, показывают, что *на практике* она никогда не забывала о фактических пределах своей власти. Но *в теории* она легко могла забыть о них именно вследствие весьма ограниченной своей способности и очень малой склонности к теоретическому мышлению. И уж конечно она всеми силами старалась убедить россиян, что их «блаженство» всецело находится в руках Семирамиды Севера. Чтобы достичь этой цели, она готова была всячески насиловать всякую теорию.

«История, или Записки Российской истории, препринимаемые по моему согласию и утверждению, — говорит она в одном письме к А. С. Мордвинову, — не могут иметь другого вида и цели, кроме прославления Государства и дабы служить потомству предметом соревнования и зерцалом. Всякое другое, менее блистательное направление, было бы вредно» [1]).

Это письмо написано через 20 лет по выходе «Антидота». Но сильнейшая склонность к «блистательному направлению» как в истории, так и в публицистике вполне свойственна была Екатерине уже и в то время, когда она выступала в литературный поход против аббата Шаппа. И как тогда, так и потом «*прославление Государства*» совпа-

[1]) Письмо от 4 октября 1790 г.

дало, в ее глазах, *с прославлением государыни*. Главная ошибка аббата состояла в том, что он неодобрительно отзывался о стране, в которой царствовала Фелица. Эту его ошибку и должен был поправить «Антидот».

Екатерина принялась за дело даже чересчур усердно.

Описывая Нижний-Новгород, аббат Шапп сказал, что он построен из дерева, подобно почти всем городам России. Екатерина сочла нужным отозваться на его описание таким сообщением:

«Этот город сгорел в 1767 году, и его перестроили из кирпича и камня, по правильному плану, как и все города, с которыми случилось это несчастие в царствование Императрицы Екатерины II, например, Тверь, которая уже отстроена, благодаря трем стам тысячам рублей» [1]).

Неправда этого сообщения вряд ли могла ускользнуть от внимания русских читателей. Но раздраженная «ученица Вольтера» позабыла всякую осторожность. Она сочла нужным и возможным удивиться тому, что «некоторые льстецы посоветовали Петру III об'явить свободным дворянство, как будто бы оно не было всегда свободным». Если верить блистательной представительнице блистательного направления в истории, то наши дворяне прежде могли оставлять службу по своему собственному усмотрению, и только Петр I, после битвы при Нарве, увидел себя вынужденным ограничить, — очевидно, только на время, — эту вольность его [2]). Екатерина, по всей вероятности, и тогда уже достаточно хорошо знала историю внутреннего быта Московского государства, чтобы знать, как мало соответствовало действительности ее смелое утверждение. Но... «всякое другое, менее блистательное направление, было бы вредно».

Екатерина весьма недурно осведомлена была о крайне тяжелом положении русского крестьянства. Она не однажды сама давала это понять своим приближенным. Но если, будучи недурно осведомлена об этом положении, она способна была издавать указы, еще больше его отягчавшие, то, разумеется, она не могла уважать требования истины там, где нужно было опровергнуть нескромного и непочтительного иностранца. «Положение простонародья в России, — писала она, — не только не хуже, чем во многих иных странах, но... в большинстве случаев оно даже лучше. Народ менее подвергается мелким поборам и знает наверное, что должен платить: в повинностях нет ничего произ-

---

1) «Осмнадцатый век», кн. IV, стр. 241.

2) Там же, стр. 315.

вольного; раз уплативши их, он почти совершенно волен в своих действиях» [1]).

Так как «Антидот», наверно, был знаком Болтину, то ясно, откуда заимствовал ученый генерал-майор свое радужное представление о быте русского «земледельца». Вполне возможно, что и Фон-Визину случалось заглядывать в полемическое произведение Екатерины. Если это в самом деле было так, то и он обязан ей отрадной уверенностью в том, что трудящемуся населению России живется лучше, нежели рабочему народу западных стран. Во всяком случае нельзя не признать, что «блистательное направление» литературной деятельности Екатерины имело значительное влияние на ход развития нашей общественной мысли. Оно понравилось многим идеологам дворянства.

Екатерина недоумевала, почему, когда Шапп говорил о России, у него было «постоянно на устах слово раб». Единственное об'яснение этой странности видела она в его злобе, «которая предпочитает слова и выражения наиболее годные для того, чтобы представлять вещи в низком виде» [2]). Если бы злоба не вводила французского аббата в заблуждение, то он понял бы, что не только русский крестьянин, но и всякий вообще русский обыватель пользуется на деле большей свободой, чем жители западно-европейских государств. С своей стороны, автор «Антидота» был непоколебимо убежден в этом.

«Если, — уверял он, — мы сравним состояние каждого с тем же состоянием во многих других странах Европы, то мы легко докажем, что в России граждане (sic!) наименее стеснены, наименее подвержены мелочным придиркам; что все повинности известны и что, впрочем, они делают приблизительно, что́ хотят (!); что правительством наказывается лишь нарушение законов; что эти законы, хотя и многочисленны и в некоторых случаях даже противоречат друг другу, но далеко не в той степени, как ворохи законов в других странах... Легко было бы доказать, что наши законы, каковы бы они ни были, еще самые простые в Европе и во многом самые ясные и разумные» [3]).

Депутаты, заседавшие в Комиссии об Уложении, далеко не так уверены были в благополучии своих избирателей. Они с завистью указывали на права и преимущества «*счастливых*» жителей Западной Европы. Но ведь их жалобы не могли дойти до аббата Шаппа и не могли послужить ему оружием против автора «Антидота»! Этому последнему

[1]) Там же, стр. 328.
[2]) Там же, стр. 427.
[3]) Там же, стр. 328—329.

известно было, как плохо знакомы иностранцам частности русской общественно-политической жизни, и потому он не стеснялся в своих утверждениях.

Бойкая и бесцеремонная Екатерина не упускала случая перейти в наступление. Довольно хорошо знавшая слабые стороны тогдашнего государственного управления в западных странах, она упорно твердила, что на Западе живется хуже, чем в России. И едва ли не раньше всех наших Стародумов она стала употреблять тот полемический прием, в котором В. О. Ключевский нашел зачаток сравнительного исторического метода.

«Вам нечем попрекать нас, — отвечала она французу Шаппу: — правда, у вас не ссылают в Сибирь, потому что у вас ее нет; Канада у вас отнята Англичанами и во времена кардинала Ришелье ее у вас не было; но Бордосские ланды, Олонские пески разве не служат местами изгнания? А чрезвычайные комиссии, а Бастилия, а Шато-тромпет и прочие подобные места, охотник вы до них, г. аббат? Говорят, они не пустеют, благодаря удобному изобретению: lettres de cachet, подписанных в виде бланков, что́ конечно, вполне обеспечивает граждан; малейшая интрига, если имеешь врага, может разрушить счастие целого семейства» [1]). Подобные строки должны были производить на рассудительного и беспристрастного русского читателя такое впечатление, какого едва ли ожидал и желал их автор. Если он даже и убеждался в том, что французам, действительно, нечем попрекать нас, то он все-таки мог спросить себя: что же в этом утешительного? Разве русским «гражданам», по произволу администрации ссылаемым в Сибирь, легче от того, что в бордосских ландах тоже бедствуют жертвы самовластья? И легче ли тем, которые попадают в казематы русских крепостей, от того, что Бастилия тоже имеет своих узников? Но для того, чтобы возникали такие вопросы в голове русского читателя «Антидота», ему нужно было обладать именно беспристрастием, которое не всегда имелось у представителей тогдашней русской интеллигенции. Общественная жизнь налагала свою печать на общественную мысль. Господство крепостничества во внутренних отношениях России заставляло людей, заинтересованных в его поддержании, утешаться даже такими соображениями, в которых на самом деле не было ровно ничего утешительного. Хорошо знавшая человеческие слабости, Екатерина, должно быть, сознательно рассчитывала на это обстоятельство, когда

---

[1]) Там же, стр. 297.

прибегала к своему, несколько рискованному, сравнительно-историческому приему.

Но что больше всего поражает в «Антидоте», так это наивное и вместе беспредельное самохвальство его автора. Опровергая то замечание Шаппа, что никто в России не смеет мыслить и что деспотизм заглушает там ум, талант и всякого рода чувства, Екатерина пишет:

«Наше правительство, далекое от того, чтобы подавлять ум, таланты и чувства всякого рода, занято лишь тем, что поощряет и награждает ум, таланты и все чувства честные и полезные обществу. Могут ли русские не мыслить, как скоро у них перед глазами книга, продиктованная всеми чувствами, делающими честь человечеству и подписанная собственной рукой их Императрицы — хочу сказать Наказ для составления нового уложения?» [1])

В другом месте, говоря о началах, положенных в основу «Наказа», Екатерина, с увлечением превозносящая Екатерину, говорит: «Эти начала возбуждают удивление Европы и в особенности людей разумных, число которых, правда, на свете не велико» [2]).

Она могла бы прибавить, что эти, возбуждающие удивление Европы, начала, по ее же собственному выражению, «награблены» были у французских просветителей, и что она никогда не имела намерения воплотить их в русскую жизнь. Но этого она, разумеется, не прибавила...

При своей беззаботности насчет теории и свободе от определенного исторического взгляда, Екатерина могла с большим удобством повторять: люди — везде люди. И она охотно повторяла это общее место. Но, охотно его повторяя, она сочла полезным воспеть хвалу русскому национальному характеру.

«Ученой Дружине» старая, — *допетровская,* — Русь представлялась темным царством суеверия, грубости, невежества и застоя. При Екатерине II, рядом с сильнейшей идеализацией Петровской эпохи, в нашей литературе возникает стремление пересмотреть суровый приговор, вынесенный московской старине птенцами гнезда Петрова. Мы еще встретимся с этим стремлением у Новикова. Пока же заметим, что сильнее всего выразилось оно именно в «Антидоте», автор которого так охотно повторял: люди — везде люди.

Сильно разойдясь тут со своим «учителем» Вольтером, она решительно отвергла то утверждение Шаппа, что, вплоть до воцарения

---

[1]) Там же, стр. 449.

[2]) Там же, стр. 259.

Петра I, Россия погружена была во мрак невежества. «Мы сказали и повторяем, — писала она: — до царствования царя Федора Ивановича мы шли ровным шагом со всеми прочими нациями Европы, за исключением, быть может, Италии, и лишь смуты, последовавшие за смертию этого государя, замедлили наше развитие» [1]).

Не уступая западным странам в образовании, старая Русь, — *Русь до Смуты,* — далеко оставляла их за собою в области нравственности. Тут у автора «Антидота» получается настоящая идиллия.

«Разводы были почти неизвестны. Дети имели большое уважение к своим отцам и матерям». Но больше всего умиляла Екатерину приписка, будто бы включавшаяся у нас во все договоры и сводившаяся к тому, что стороне, нарушившей свое слово, будет стыдно.

«Итак, — с торжеством восклицает она — стыд был тогда наисильнейшей сдержкою, которую налагали на себя, как *non plus ultra.* Полагаю, что нет страны, которая могла бы представить в пользу своих нравов свидетельство столь же красноречивое, как эту формулу. Ее стали опускать лишь когда перестали жить, как жили прежде, когда нравы стали менее простыми. Эту перемену, повидимому, можно отнести ко времени смут, волновавших государство и семью после царя Ивана Васильевича; до тех пор нравы были очень просты».

Может показаться непонятным существование жестоких уголовных наказаний в стране, отличавшейся такой исключительно хорошей нравственностью. Но Екатерина за словом в карман не лезла. Она уверяет, что розги и кнут перешли к нам от... римлян! И вообще, оказывается, что «все подобные ужасы, к несчастью, заимствованы нами у других народов». Отсюда, вполне естественно, вытекал тот, приятный для нашего национального самолюбия, вывод, что не Россия должна подражать западным народам, а западные народы — России. «Пусть же эти последние, — советует Екатерина, — в свою очередь последуют нашему примеру, если они разумны, и преобразуют свой уголовный суд на основании главы X *Наказа* Императрицы Екатерины для составления уложения, который был запрещен в Париже и в Константинополе» [2]).

---

[1]) Там же, стр. 424—425. Ср. стр. 289.—Это не мешает ей, впрочем, признавать, что «Петр открыл свое государство для иностранцев... Захотел, чтобы его подданные путешествовали... Заставлял их учиться на свой счет во всех странах Европы»,—короче, именно просветил Россию.

[2]) Там же, стр. 294.—Выше я сказал, каким образом «Наказ» был запрещен также и в России, конечно, не без ведома Екатерины, а, может быть, и по ее же почину.

Итак, Петр I учился у Запада, а Екатерина II сама учит Запад...

В нашей литературе XIX столетия идеализация старого русского быта вызывалась иногда желанием передовых писателей дать историческое обоснование своей демократической программе. Поэтому, — замечу мимоходом, — идеализации подвергалась тогда больше Русь удельно-вечевой эпохи, нежели Русь времен московских великих князей и царей. Само собою разумеется, что Екатерина II никак не могла увлекаться «вольностью» доброго старого времени, да и не имела о ней ни хорошего, ни дурного представления. Она самого Рюрика считала самодержавным государем... не лишенным даже некоторой склонности к «просвещению». Отнюдь не демократические порывы побудили ее к идеализации старых русских нравов. Идеализация эта у нее имела смысл превознесения тех сторон русской жизни, благодаря которым сложилась и окрепла беспредельно власть русских монархов. «Нет в Европе народа, который бы более любил своего Государя, был бы искреннее к нему привязан, чем русский», — писала Екатерина [1]). Правда, всему цивилизованному миру известно было, как много дворцовых переворотов пережила Россия в течение XVIII столетия. Эти перевороты могли возбудить у иностранцев сомнение относительно привязанности русского народа к своим государям. Однако Екатерина не смущалась и этим. Она писала:

«Я на это скажу вещь, которая удивит многих, а именно, что в России никогда не происходило революции, разве когда нация чувствовала, что впадает в ослабление. У нас были царствования жестокие, но мы всегда с трудом переносили лишь царствования слабые. Наш образ правления, по своему складу, требует энергии; если ее нет, то недовольство делается всеобщим, и вследствие его, если дела не идут лучше, происходят революции» [2]).

Значит, при беспримерной в Европе любви русского народа к своим государям, нужно было только придать «нашему образу правления» побольше энергии, чтоб обезопасить себя от революционных попыток. В энергии у Екатерины II недостатка не было. И она умела находить себе энергичных помощников. Поэтому ей оставалось только осыпать похвалами характер русского народа и считать его идеализацию делом глубокой государственной мудрости. Во всяком случае, наша «государыня-публицист» превзошла всех современных ей русских писателей

---

1) Там же, стр. 301.

2) Там же, стр. 299.

своим усердием по части такой *идеализации в охранительном направлении.*

Излишне говорить, что идеализация эта, равно как и все полемические выступления Екатерины против иностранных хулителей русских порядков, ничего не дала для сколько-нибудь серьезного и плодотворного решения вопроса о том, как может и как должна Россия относиться к Западу.

X

Екатерина II рассматривала вопрос об отношении России к Западу, — а стало быть, и о Петровской реформе, — с точки зрения своего *личного* интереса. Это значит, что, высказываясь об этом вопросе, она руководствовалась не указаниями теории, а соображениями практического расчета. Она писала то, что, по ее мнению, могло быть в данное время полезно для упрочения ее власти или для распространения ее славы. Точка зрения Болтина была не личной, а *сословной*. Поэтому его кругозор был значительно шире. В пределах этого кругозора отчасти находилось место и для внимательного отношения к требованиям теории. Мы видели, однако, что Болтин переставал считаться с ними там, где им противоречил сословный дворянский эгоизм. Когда внушения сословного эгоизма сталкивались с требованиями теории, Болтин из ученого исследователя превращался в «апологиста».

Это было неизбежно. Это повторялось и повторяется со всеми исследователями и публицистами, подчиняющимися влиянию сословного (или классового) эгоизма. Идеологи русского дворянства не составляли исключения из общего правила. Мы уже знаем, как сильно подчинялся внушениям сословного дворянского эгоизма кн. М. М. Щербатов при своих выступлениях в Комиссии об Уложении.

Кн. М. М. Щербатов (1733 — 1790 г.г.) был во второй половине XVIII века едва ли не самым замечательным идеологом русского дворянства. Но дворянская идеология имела у него свой особый оттенок. Между тем как Болтин, в борьбе *между породой и чином,* стоял на стороне этого последнего, Щербатов уже в Комиссии горячо защищал *породу*.

Позицией, занятой им в этой борьбе, определилось и его отношение к Петровской реформе.

Как идеолог дворянства, он вообще не мог одобрить те ее стороны и те ее последствия, которые невыгодно отразились на интересах служилого сословия. И тут он временами очень близко подходил к Бол-

тину. Так, в своем политическом романе «Путешествие в землю Офирскую г-на С..., шведского дворянина», он дает понять, что Петр сделал ошибку, перенеся столицу из Москвы в Петербург. Это свое мнение он поддерживает почти теми же самыми доводами, с какими мы уже встретились у Болтина. И, подобно Болтину, он выражает надежду, что ошибка Петра будет со временем поправлена. Но это — второстепенная подробность. А вот черта первостепенной важности.

Признавая историческую необходимость реформы и одобряя Петра за то, что он учредил «порядочное правление, познание наук и военного искусства», Щербатов не менее Болтина смущался ее стремительным характером. Это видно, между прочим, из его замечательного отзыва о борьбе Петра с уродливыми выражениями набожности.

Заметьте, что, по своим религиозных взглядам, Щербатов, отлично знакомый с передовой западной литературой своего времени, был деистом, а вовсе не христианином православного вероисповедания. Излишняя набожность представлялась ему явлением, могущим повести за собою до последней степени вредные последствия. Так, к числу условий, вызвавших покорение Руси татарами, он относил «дух неумеренной набожности», проникший в сердца русских князей. Подчинившись этому духу, князья, — писал он, — «в суеверии (sic!) и в бесновериe впали, преставая иметь попечение о всем том, что мирским и тленным называли; но единствено стремились к вечной жизни». Монахи и вообще духовные лица всеми силами поддерживали такое настроение светской власти и «вкрадшись в мирское правление... твердость и великодушие отвсюду прогнали, а на место того дух монашеской вселился» [1]).

Если «бесновериe» могло принести такой страшный вред России еще в XIII столетии, то позволительно предположить, что наш просвещенный князь считал борьбу с ним одной из важнейших обязанностей русского правительства. Однако Щербатов не решился одобрить направленные в эту сторону мероприятия Петра I. Ему нравилось, правда, что Петр не жаловал «чудес, без нужды учиненных», суеверной боязни оскоромиться, «явленных образов, редко доказанных» и т. п. Однако он находил, что царь-преобразователь *слишком рано* ополчился на борьбу с суеверием.

«Когда он сие учинил? — спрашивал Щербатов в своем известном трактате «О повреждении нравов в России». — Тогда, когда народ еще

---

1) «История Российская от древнейших времян — сочинена князь Михайлом Щербатовым», т. 2, стр. 574—575.

был непросвещен; и тако, отнимая суеверие у непросвещенного народа, он самую веру к Божественному закону отнимал» [1]). Это действие Петра Щербатов сравнивает с действием садовника, несвоевременно срезывающего древесные ветви. Несвоевременное срезывание ветвей ослабляет дерево. «Так, — продолжает Щербатов, — урезание суеверий и самые основательные части веры вред произвело;... исчезла рабская боязнь ада, но исчезла и любовь к Богу и к святому Его закону; а нравы, за недостатком другого просвещения, исправляемые верою, потеряв сию подпору, в разврат стали приходить».

Перед нами — вариация той мысли Стародума, что нынешние мудрецы, искореняя предрассудки, с корня воротят добродетель. Нам уже известно, что мысль эта разделялась и Болтиным. Да по всему видно, что она была значительно распространена между тогдашними идеологами дворянства. Они не могли не понимать, что все более утверждавшиеся и расширявшиеся привилегии их сословия были совершенно несогласимы с тем, к чему стремились «нынешние мудрецы» передовых стран. Поэтому, знакомясь с сочинениями «нынешних мудрецов» и даже отчасти увлекаясь ими, они отвергали выраженные в них практические требования и об'являли эти требования опасными для добродетели. А при таком настроении идеологов русского дворянства их не могла не пугать стремительность, свойственная некоторым, — далеко не всем, — реформаторским приемам Петра. И они с одобрением вспоминали пословицу: *тише едешь, дальше будешь* [2]).

Но если Щербатов не менее Болтина одобрял эту пословицу, если вообще его суждения о задачах и ходе Петровской реформы определялись интересами современного ему дворянства, то, в своем качестве идеолога *родовитой* части этого сословия, он порицал такие стороны ее, которые ускользали от внимания дворянских противников *породы* или даже одобрялись ими.

Уже в Комиссии об Уложении он доказывал, что родовитые дворяне воспитываются в такой нравственной атмосфере, которая одна только и способна предрасполагать молодых людей к благородной гор-

---

1) «Русская Старина» 1870, г., т. II, изд. 3-е, стр. 25.

2) Держась точки зрения взаимодействия между нравами и законами, они расположены были придавать больше значения нравам, нежели законам. Но и это их расположение об'ясняется не столько теоретическими их соображениями, сколько практическими опасениями. Они повторяли: plus boni mores valent quam bonae leges, опасаясь излишнего усердия правительства по части улучшения быта крестьян.

дости и бескорыстному служению родине. Невозможно было держаться такого мнения, не представляя себе в очень привлекательном свете нравов старинного дворянства. Этого мало. Русский исторический процесс все более и более вынуждал *породу* давать дорогу *чину*. Ввиду этого, у идеологов породы естественно возникала склонность к идеализации прошлого. Но Петровская реформа не щадила прошлого. Поэтому, даже признавая историческую необходимость реформы, *идеологи породы* должны были делать по ее поводу более значительные оговорки, нежели идеологи *чина*.

Любопытно, что Щербатов даже в своей идеализации старины выступает перед нами писателем, испытавшим на себе влияние просветительной французской литературы. В этой литературе жизнь первобытных народов довольно часто изображалась в самом привлекательном виде. В таком же виде представлялась она и Щербатову. «Худы ли или хороши их законы, — говорил он об этих народах, — они им строго последуют; обязательства их суть священны и почти не слышно, чтоб когда кто супруге или ближнему изменил; твердость их есть невероятна; они за честь себе считают не токмо без страху, но и с презрением мученей умереть». Но всего любопытнее, что к числу хороших сторон первобытного общества наш родовитый защитник крепостного права относит его коммунистический строй и обусловленное этим строем отсутствие эксплоатации одной части его членов другою. «Щедрость их (первобытных народов.—*Г. П.)* похвальна, — продолжает он, — ибо все, что общество трудами своими приобретает, то все равно в обществе делится, и нигде я не нашел, чтобы дикие странствующие и непросвещенные народы похитили у собратий своих плоды собственных своих (их? — *Г. П.*) трудов, дабы свое состояние лучше других сделать».

При таком взгляде Щербатова на первобытное коммунистическое общество несколько странное впечатление производит переход его к «состоянию нравов россиян до царствования Петра Великого». Как бы кто ни думал об этих нравах, очевидно, что они могли иметь лишь крайне мало общего с нравами первобытных народов. Но Щербатов думал, что старый московский быт похож был на счастливый быт первобытных народов отсутствием в нем «*сластолюбия*», которое казалось ему главной причиной повреждения русских нравов.

Отсутствие сластолюбия в старой Москве вело за собою то, что «почти всякой по состоянию своему без нужды мог своими доходами проживать и иметь все нужное, не простирая к лучшему своего желания, ибо лучше никто и не знал». Молодежь воспитывалась в страхе

божием, в повиновении родителям и в почтении к старшим своего рода. Щербатов с удовольствием описывает, как молодые люди каждый праздник приезжали по утрам к их старшим родственникам для из'явления им почтения, и как «ближние родственники и свойственники с'езжались загавливаться и разгавливаться к старшему». С еще бо́льшим удовольствием перечисляет он «знаки благородной гордости», которая свойственна была русским боярам допетровской эпохи. Даже наиболее самовластные государи вынуждены бывали, по его словам, считаться с нею и уважать старые обычаи, «не токмо снисходя на просьбы благородных, но также производя, предпочтительно пред другими, из знатнейших родов».

XI

Петровская реформа, которую Щербатов называет нужной, но, может быть, излишней переменой, нарушила старые русские обычаи, открыла сластолюбию доступ в русские сердца, привела к упадку старинных родов и породила всеобщую погоню за наживой. Чтобы приобрести возможность покрыть свои непомерные расходы, дворяне стали подделываться к государю и вельможам. «Грубость нравов уменшилась, но оставленное ею место лестию и самством наполнилось; оттуда произошло раболепство, презрение истины, оболщение Государя и прочие зла, которые днес (1788 г. — *Г. П.)* при дворе царствуют и которые в домах велможей возгнездились» [1]).

Таковы были, по Щербатову, следствия совершенной Петром I «нужной, но, может быть, излишней перемены». Они оказались у него совсем непривлекательными. Поэтому его тоже называли иногда предшественником славянофилов. Но его взгляды не больше походят на славянофильские, чем взгляды Болтина. Со славянофилами его, как и автора «Примечаний на Леклерка», роднит лишь консервативное настроение, да еще, пожалуй, то или другое, приуроченное к будущему времени, ожидание, вроде перенесения столицы,—славянофилы говорили: *резиденции,* — из Петербурга в Москву.

По приемам своей мысли, — хотя, разумеется, не по практическим стремлениям, — Щербатов опять же, как и Болтин, был учеником французских просветителей. Но между тем как Болтин, пытаясь додуматься до научного взгляда на ход истории, усвоил себе один из *материалистических элементов,* входивших в миросозерцание некоторых французских просветителей, Щербатов держался *исторического идеализма.*

[1]) «Русская Старина», т. II, стр. 20.

Глубочайшие причины исторического движения сводились для него к переменам во взглядах людей и в их нравах. Этой точки зрения держался он, рассуждая о первобытном коммунистическом обществе, — когда оно привлекало к себе его внимание, — и на нее же становился при своей оценке Петровской реформы.

В этом отношении он снова сближался с Болтиным, не сумевшим выработать себе материалистический взгляд на историю и в конце-концов остановившимся на понятии о таком взаимодействии между законами и нравами, при котором нравы имеют более важное значение, нежели законы.

Наконец, Щербатов напоминает Болтина также и склонностью своею к идеализации старых русских нравов. Но, не говоря уже о *степени* идеализации, психологические *мотивы* ее у Щербатова не те, что у Болтина.

Описывая повреждение нравов в России, Щербатов выражал горячее сожаление о том, что родовитое дворянство утрачивало свою старую благородную гордость. Болтин не жаловался на это, хотя он так же крепко дорожил дворянским званием. Сторонник *чина* и противник *породы,* он имел иное представление о дворянском достоинстве. В его представлении об этом достоинстве отсутствовал тот элемент независимости по отношению к власти, который явственно слышался в рассуждениях Щербатова. Конечно, свойственное этому последнему чувство независимости далеко не было беспредельным [1]). Но все относительно, и наш идеолог *породы* все-таки очень выгодно отличался в этом отношении от идеолога *чина.*

Сказать, что русские нравы повредились под влиянием сластолюбия, это значит сказать: они повредились оттого, что изменились к худшему. Ведь «*сластолюбие*» данного общества является составною частью его «*нравов*». Щербатов, утверждавший, что «наука причин есть приключающая наиболее удовольствия разуму», повидимому, сам чувство-

1) Оно не помешало князю почтительнейше ходатайствовать перед Екатериной об уплате казною его долгов. В письме, в котором он обратился к ней с этой просьбой, она именовалась «монархиней, соединяющей качества великого государя с качеством великого философа» (см. статью *В. А. Мякотина* «Дворянский публицист Екатерининской» эпохи в сборнике его статей: «Из истории русского общества», изд. 2-е, стр. 110 . Между тем, трактат «О повреждении нравов» изображает ту же монархиню в самом непривлекательном свете. Правда, трактат написан в 1788—1789 г.г., а письмо—в 1773. Но свои, во всяком случае не лишенные благородства, сожаления об упадке благородной гордости в дворянском сословии Щербатов высказывал еще в Законодательной Комиссии.

вал, что, изображая процесс повреждения русских нравов, он слишком неясно определил причины этого процесса. И, подобно всем тем из своих современников, которые не шли дальше понятия о взаимодействии между нравами и законами, он, не справившись с вопросом посредством апелляции к *«нравам»*, тотчас же апеллировал к *законодательной деятельности правительства*. В ней он нашел две причины порчи дворянских нравов. Но первая из них начала действовать еще в эпоху, предшествовавшую Петровской реформе.

«Разрушенное местничество (вредное, впрочем, службе и государству) и незамененное никаким правом знатным родам, истребило мысли благородной гордости во дворянех, — говорит Щербатов, — ибо стали не роды почтенны, а чины и заслуги и выслуги; и тако каждый стал добиваться чинов, а не всякому удается прямые заслуги учинить, то, за недостатком заслуг, стали стараться выслуживаться, всякими образами льстя и угождая Государю и вельможам» [1]).

Другая причина исчезновения благородной гордости непосредственно связана была с преобразовательной деятельностью Петра. Она заключалась в том, что он заставил дворян нести солдатскую службу нередко вместе со своими холопами. Когда бывшие холопы дослуживались до офицерских чинов, они становились подчас начальниками своих господ и бивали их палками. Кроме того, поступая в солдаты, знатные молодые люди надолго отрывались от своих родственников. «Роды дворянские стали разделены по службе так, что иной однородцев своих и век не увидит», — жалуется Щербатов [2]).

Это нанесло окончательный удар благородной дворянской гордости: «Могла ли, — спрашивает наш автор, — остаться добродетель и твердость в тех, которые с юности своей от палки своих начальников дрожали? которые инако как подслугами почтения не могли приобрести, и быв каждый без всякой опоры от своих однородцев, без соединения и защиты, оставался един, могущий предан быть в руки сильного?».

Нельзя не признать, что указание Щербатова на эти две причины делает более понятным описанный им процесс повреждения нравов. Повреждение это оказывается следствием *бесправия* знатных родов. Остается неясным одно, — правда, самое главное, — как же сложилось в России то соотношение общественных сил, благодаря которому знатные

---

[1]) Там же, стр. 24.—На эту тему Щербатов говорил еще в Комиссии.

[2]) Там же, та же страница

роды утратили все свое значение? Чтобы решить этот вопрос, Щербатову следовало бы, не ограничиваясь понятием взаимодействия, обнаружить ту более глубокую причину, которая определяет собою и *нравы*, действующие на законы, и *законы*, влияющие на нравы. А это было недоступно не только для него, но и для гораздо более глубокомысленных писателей того времени. Он ограничился сопоставлением нравов с законами, как двух параллельных причин, у которых нет общего корня. «Сказал я, — читаем мы у него, — что сластолюбие и роскошь могли такое действие в сердцах произвести; но были еще и другие причины, происходящие от самых учреждений, которые твердость и добронравие искоренили».

Не требуя от Щербатова больше того, что он мог дать, заметим, однако, что понятно, почему ретроспективный обзор учреждений, искоренивших твердость и добронравие, не простирается здесь у него дальше времени царя Федора Алексеевича. В другом месте порча дворянских нравов приурочивается у него к эпохе значительно более отдаленной, именно — к эпохе Грозного.

Недоверчивое отношение этого царя к знатнейшим боярам отнимало у них возможность служить отечеству, «ибо, — говорит Щербатов, — не токмо он повсюду Татарских Царевичей предпочитал единородцам своим князьям Российским и боярам, которые многие столетия служб своих предков считали, но даже и Сибирских князьцов, едва достойных имен человеческих, им предпочтил. Упало сердце благородных, начала истребляться приличная знатнорожденным гордость, любовь к отечеству затухла; а место их заступили низость, раболепство, старания о своей токмо собственности» [1]).

Если это так, то выходит, что повреждение нравов совершилось у нас *гораздо раньше Петровского преобразования*. Оказывается также, что в своем отношении к знатным родам Петр остался верным исторической традиции Московского государства, и что его преобразовательная деятельность не удовлетворяла Щербатова, главным образом, по этой причине. Идеолог *породы* не мог рассуждать иначе. Но если он был предтечей славянофилов, то во всяком случае не наших московских славянофилов XIX века [2]).

Подводя итог всему, до сих пор сказанному в этой главе, надо будет признать, что на вопрос о том, желательна ли европеизация России,

1) «История Российская», т. V, часть 3-я, стр. 223.

2) Ср. статью *Ешевского*, «О повреждении нравов в России (изданное сочинение кн. М. М. Щербатова)», в № 3 «Атенея» за 1858 г.

французские просветители единогласно отвечали в утвердительном смысле; Руссо в счет не идет, так как он не был настоящим просветителем.

Что же касается вопроса о способности России к полному усвоению западно-европейской цивилизации, то на него получался от них ответ не вполне определенный. Некоторым из них бросалась в глаза огромная разница между общественно-политическим строем России, с одной стороны, и тем же строем передовых западных стран — с другой. Весьма основательно считая третье сословие главным носителем новейшей цивилизации, они сомневались в будущности русского просвещения, так как в России сословие это было развито очень слабо или, как им казалось, совершенно отсутствовало.

Иначе отвечали на эти два вопроса тогдашние русские писатели. Некоторые из них были убеждены, что Россия, в качестве очень молодой страны, может выбрать себе *любую «форму»*. Другие сомневались в этом, принимая в соображение известные особенности русских «нравов» и считая нравы наиболее устойчивым фактором общественного развития. А на вопрос о *желательности* усвоения Россией западно-европейской цивилизации они отвечали, хотя и утвердительно, однако с большими оговорками. И совершенно ясно, что, делая такие оговорки, они повиновались внушениям сословного эгоизма: полное усвоение Россией западно-европейской цивилизации справедливо представлялось им опасным для привилегий того сословия, идеологами которого они выступали.

XII

В образе мыслей всякого данного сословия (или класса) всегда есть более или менее значительные оттенки. Они вызываются тем, что внутри этого сословия никогда нет полного тождества *интересов*. Мы видели, что у нас идеологи *породы* расходились с идеологами *чина*. Но в рамках сословного образа мыслей могут возникнуть довольно значительные оттенки также в связи с *возрастом:* разногласия между «отцами и детьми» — весьма нередкое историческое явление.

Молодые, неопытные люди *почти* всегда обнаруживают бо́льшую склонность к увлечению отвлеченными идеями, нежели пожилые, умудренные житейским опытом. Это вовсе еще не значит, что молодежь, принадлежащая к высшим сословиям, не дорожит сословными привилегиями. Весьма нередко молодые члены данного сословия дорожат его привилегиями не меньше старых. Они просто реже задумываются о них,

так как вообще мыслят более отвлеченно. Это как нельзя лучше видно на примере Н. М. Карамзина (1766 — 1826).

В своих «Письмах русского путешественника» он говорит: «Все жалкие *Иеремиады* об изменении Русского характера, о потере Русской нравственной физиогномии, или не что иное как шутка, или происходят от недостатка в основательном размышлении. Мы не таковы, как брадатые предки наши: тем лучше! Грубость наружная и внутренняя, невежество, праздность, скука были их долею в самом вышшем состоянии: для нас открыты все пути к утончению разума и к благородным душевным удовольствиям. *Все народное* ничто перед *человеческим*. Главное дело быть *людьми*, а не Славянами. Что хорошо для людей, то не может быть дурно для Русских; и что Англичане и Немцы изобрели для пользы, выгоды человека, то *мое*, ибо я человек!»

Можно подумать, что эти строки написаны в ответ на «иеримиады» Щербатова о повреждении нравов в России под влиянием «нужной, но, может быть, излишней» реформы Петра. Называя иеремиады этого рода «жалкими», двадцатитрехлетний Карамзин резко высказывался против националистического элемента, начинавшего проникать в суждения тогдашних русских людей о Петровском преобразовании. Наши западники сороковых годов XIX века очень одобрили бы это резкое выступление. И они, конечно, охотно подписались бы под словами: «что Англичане или Немцы изобрели для пользы человека, то мое, ибо я человек».

Только Белинский, как наилучший между ними знаток истории нашей литературы, может быть, отнесся бы к понятию о «*человеческом*» с некоторым скептицизмом. Он был бы прав.

Приведенный мною отрывок написан Карамзиным (в Париже, в мае 1790 г.) в ответ на то замечание французского историка России Левека, что Петра нельзя назвать гениальным, так как, желая дать русским образование, он умел только подражать другим народам. Взятое само по себе, замечание это не представляется удачным. Но достаточно вдуматься в него, чтобы увидеть, до какой степени французский историк превосходил русского путешественника глубиною взгляда на Петровскую реформу и, — что еще важнее, — *человечностью* своего отношения к русскому народу.

Начать с того, что упрек Петру в подражательности дополняется и поясняется у Левека упреком в том, что Петр *недостаточно* подражал другим народам. «Чтобы заставить русских походить на другие народы, надо было, — говорит Левек, — поставить их в одинаковые с ними условия. А для этого следовало дать им *свободу*. Когда русские станут сво-

бодными, они сравняются с другими народами в области промышленности или даже превзойдут их. Именно Петр, так крепко державший власть в своих руках, мог заставить дворянство освободить крестьян». Он этого не сделал. Петр еще более увеличил рабство русских. Требуя, «чтобы они стали похожими на свободных людей, он налагал на них цепи и в то же время хотел, чтоб они быстро подвигались по пути развития наук и искусств» [1]). Вот почему успехи. которых он хотел для России, остались недостигнутыми. «Слишком широкие пределы его власти помешали исполнению его желаний, — превосходно говорит Левек. — ...Руками рабов он мог построить корабли, но не мог добиться того, чтобы рабы пользовались доверием иностранных капиталистов». В доказательство этого Левек приводит пример русского торгового человека Соловьева, который, — быв послан Петром по торговым делам в Голландию — сумел приобрести там и богатство и доверие со стороны голландских купцов. Но впоследствии, отказавшись дать взятку некоторым придворным Петра, он был очернен ими перед государем и получил приказ немедленно вернуться в Россию. От этого сильно пострадали интересы его голландских кредиторов и упали только что начавшиеся торговые сношения русских с Голландией [2]).

Мысль Левека о том, что Петр, желая просветить русских, сам отчасти умножил препятствия, мешавшие развитию их естественных способностей, осталась совершенно недоступной Карамзину. Утверждая, что «путь образования или просвещения *один* для народов» и что «все они идут им в след друг за другом», он совершенно упускал из виду, что не всегда одинаковы те условия, при которых народы выступают на этот путь. У него оказывается, что весь вопрос сводился к вопросу о платье и бороде. «Петр Великий одел нас по-Немецки, — говорит он, — для того, что так удобнее; обрил нам бороды для того, что так и покойнее и приятнее. Длинное платье не ловко, мешает ходить...» и т. д. Он как будто не прочитал слов Левека о том, что Петр, сняв с русских длинное платье, наложил на них новые цепи.

Другое мнение Левека, сильно удивившее нашего путешественника, состояло в том, что и без Петра русские сделали бы те же самые шаги по пути просвещения, какие сделаны были ими по его указанию. «То есть, — иронически истолковывает это мнение Карамзин, — хотя бы Петр Великий и не учил нас, мы бы выучились! Каким же образом? сами

[1]) «Histoire de Russie, tirée des chroniques originales, des pièces authentiques et des meilleurs historiens de la nature», par *M-r Levesque*, t. IV, à Paris, p. 531 et 542.

[2]) Там же, стр. 543.

собою? но сколько трудов стоило монарху победить наше упорство в невежестве. Следственно Русские не расположены, не готовы были просвещаться».

Если бы Левек признавал, что русские не готовы и не расположены были просвещаться, то он, конечно, попал бы в смешное противоречие с самим собою, утверждая, что русские могли обойтись без Петра. Но в том-то и дело, что он думал совсем иначе. Он высказался против Руссо, утверждавшего, что Россия не готова была для усвоения себе цивилизации. Указывая на то, что преобразовательные начинания Петра немедленно поддержаны были деятельностью талантливых русских людей, он замечал, что историки и публицисты, охотно восхваляющие государей, как будто испытывали удовольствие, клевеща на русский народ. Предположение о том, что и без Петра русские достигли бы таких же успехов по части просвещения, основывалось у Левека на той уверенности, что еще до начала Петровской реформы в России обнаружилось сильное желание просветиться. Конечно, Карамзин мог найти эту уверенность неосновательной. Но ему во всяком случае следовало считаться с нею и, оспаривая Левека, внимательнее рассмотреть внутреннее состояние и общественные нужды России в эпоху, предшествовавшую началу реформы. Он и этого не сделал, ограничившись тем голословным утверждением, что «и в два века по естественному, непринужденному ходу вещей едва ли сделалось бы то, что Государь наш сделал в 20 лет».

Противопоставление деятельности *личностей* естественному *ходу вещей* еще не раз встретится нам в следующих томах. Теоретически оно совершенно несостоятельно. Естественный ход вещей совсем не исключает деятельности отдельных лиц, а, напротив, предполагает ее, совершаясь *через ее посредство*. Для историка и для социолога весь вопрос заключается в том, какие именно общественные условия *вызывают* деятельность данных личностей и какие *содействуют и мешают ей*. Однако указанное противопоставление очень долго считалось не только допустимым в теории, но и весьма глубокомысленным. И там, где мы видим, что спорящие между собою стороны признают его правомерность, нам позволительно спросить себя: какая же из них ближе к пониманию закономерности общественного развития?

Так как сознательная деятельность людей считается их *свободной*, т.-е. *незакономерной*, деятельностью, то ясно, что к пониманию *закономерности* общественного процесса гораздо ближе те, которые апеллируют к естественному ходу вещей. Сама эта апелляция есть не что иное,

как выражение смутного сознания закономерности. Вот почему приходится признать, что, делая свои возражения Левеку, Карамзин высказался как мыслитель гораздо более поверхностный, нежели этот французский историк.

В отличие от фон-Визина, Болтина и Щербатова, молодой Карамзин безусловно стоял за просвещение. Но он до последней степени отвлеченно представлял себе исторический процесс развития просвещения. «Из темной сени невежества, — напыщенно восклицал он, спустя несколько лет после возвращения из своего заграничного путешествия,— должно итти к светозарной истине сумрачным путем сомнения, чаяния и заблуждения; но мы придем к прелестной богине, придем, несмотря на все препоны, и в ее эфирных об'ятиях вкусим небесное блаженство». Как же именно придем? Карамзин этого не об'яснил. Не подлежит сомнению одно: он думал, что в эфирные об'ятия богини истины мы никак не можем попасть путем практической борьбы с ее врагами. Общественная борьба оставалась явлением, совершенно недоступным его пониманию Поселившись в Женеве, он говорил в одном из своих писем (от 23 января 1790 г.):

«В здешней маленькой Республике начинаются несогласия. Странные люди! живут в спокойствии, в довольстве, и все еще хотят чего-то». А переехав в Париж, он, ввиду тамошней, несравненно более острой, политической борьбы, говорил в одном из апрельских писем того же года: «Когда люди уверятся, что для собственного их щастия добродетель необходима, тогда настанет век златой, и во всяком правлении человек насладится мирным благополучием жизни». При таком, крайне поверхностном, понимании хода общественного развития, Карамзин мог совершенно упускать из виду те конкретные условия, в которых жили его русские современники. Но далеко не все то, что в данное время уходит из нашего поля зрения, безразлично для нас. Карамзин сильно, хотя и бессознательно, дорожил тем общественным порядком, для анализа которого не нашлось места при его крайне поверхностном взгляде на историческое движение. И когда французская революция показала ему, что политические бури могут иногда сверху донизу переворачивать данный общественный строй, он стал высказываться, как *совершенно сознательный* консерватор. Он писал тогда: «Революция об'яснила идеи: мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих... Теперь все лучшие умы стоят под знаменами властителей и готовы только способствовать успехам настоящего порядка вещей, не думая о новостях».

Эпоха, в которую были написаны эти строки (1802 г.), выходит из рамок настоящей статьи: нас интересует пока лишь Карамзин Екатерининского времени. Здесь нужно только отметить, что, умудренный опытом, Карамзин, который в своих возражениях Левеку безусловно одобрял Петровскую реформу, подверг ее желчной критике в «Записке о древней и новой России». Таким образом, из поклонника прелестной богини истины и западного просвещения он превратился в Стародума и сердито отверг свое собственное старое правило: *что хорошо для людей, не может быть худо для русских.*

Глава X

Вопрос о самодержавии.—Братья Панины, Щербатов, Княжнин, Кречетов

I

Ссылаясь на передовых французских писателей, Болтин старался доказать, что нет никакой разницы между французской абсолютной монархией и русским царизмом. Что касается деспотической монархии, то она, по словам Болтина, не существует даже в Турции. В доказательство этого он цитировал весьма неудачно выраженное мнение самого знаменитого из писателей тогдашней Франции — Вольтера. Трудно сказать теперь с точностью, какое впечатление производили эти доводы Болтина на большинство русских читателей XVIII века. Но передовые французские писатели, хотя и делали комплименты Семирамиде Севера, однако при случае совсем прозрачно высказывались в том смысле, что при всех своих недостатках общественно-политический строй Франции все-таки гораздо лучше порядка, существующего в деспотической России. Мы уже знаем, как резко осуждал этот порядок Рэйналь. Дидро, наивно восторгавшийся счастьем тех стран, в которых «ничего не сделано», признавал за аксиому, что «русская императрица — государыня деспотическая», и спрашивал Екатерину II, намерена ли она сохранить деспотизм и передать его своим наследникам или же хочет от него отречься. В той же записке, в которой был поставлен им Семирамиде этот щекотливый вопрос, он высказывал твердое свое убеждение в том, что Россия управляется хуже, нежели Франция, и об'яснял это различие тем, что личная свобода сведена у нас на-нет (est réduite à rien), между тем как власть государя слишком велика [1]). Семирамида нашла, что все

---

[1]) *M. Tourneux,* Diderot et Catherine II, p. 564 et 573. Ср. также статью *В. И. Семевского,* Вопрос о преобразовании государственного строя в России.

это не более, как болтовня, в которой не видно ни знаний, ни благоразумия, ни предусмотрительности. Возможно, что так же неблагосклонно отозвался бы о записке Дидро и Болтин, если бы ему случилось прочесть ее. Однако резкие отзывы сами по себе неубедительны. В действительности, даже служилые люди эпохи Петра I, попадая в западные страны, чувствовали, что там живется много свободнее, нежели в России. И неоспоримо, что впечатления, выносимые русскими людьми из наблюдений над общественной жизнью Запада или из знакомства с западно-европейской политической литературой, способствовали пробуждению политической мысли в России. Это убедительно подтверждается событиями, сопровождавшими воцарение Анны Ивановны. Но те же события показывают, что общественные отношения, сложившиеся в нашей стране, были мало благоприятны для развития у нас политического вольномыслия. Во-первых, западное влияние могло простираться только на более или менее просвещенную часть русского населения, а в главе о Законодательной Комиссии мы видели, что в сословии, неоспоримо наиболее просвещенном изо всех русских сословий XVIII века, — дворянском, — было еще много людей просто-напросто безграмотных. Во-вторых, успехи политической мысли в России чрезвычайно сильно задерживались антагонизмом между крестьянством и служилым сословием. Стремясь к упрочению и расширению власти над крестьянами, служилое сословие не могло обойтись без поддержки со стороны власти центральной. Поэтому оно не расположено было вести борьбу с этой последней в целях ее ограничения. Впоследствии, в царствование Александра I, В. Н. Каразин говорил в обширном письме к И. И. Бахтину об устройстве быта «поселян».

«В государстве монархическом, все подразделения должны быть монархические; одни начала должны быть разлиты во всех ветвях сего великого тела, дабы они имели между собою прочную связь; и — следовательно: помещики для благосостояния селений земледельческих столько же нужны, сколько *монархи для подданных вообще*» [1]).

Если одни и те же начала должны быть разлиты во всех частях государственного тела, и если помещики должны быть монархами в своих деревнях, то Россия в самом деле должна быть монархической страною. Каразин был твердо убежден в этом. Не менее твердо убеждено было

в XVIII и первой четверти XIX века, в 1-ой кн. «Былого» за 1906 г., стр. 9.—Статья эта составила первую главу книги того же автора «Политические и общественные идеи декабристов». СПБ. 1909.

[1]) «Русская Старина» 1871 г., том. 3, стр. 338. Подчеркнуто в подлиннике.

в этом все русское дворянство XVIII века. Но власть монарха может оставаться неограниченной и может быть поставлена в известные пределы. Каразин, в юности своей увлекавшийся передовыми идеями Запада, даже и в зрелые свои годы непрочь был «ограничить законом повинности крепостных крестьян и поставить политическое единоначалие под сень ненарушимого завета, продиктованного разумом и совестью» [1]). Но огромнейшее большинство наших дворян Екатерининской эпохи совсем иначе думало об этом. Твердо держась того убеждения, что помещичья власть должна оставаться неограниченной в крепостной деревне, оно охотно мирилось с неограниченным «единоначалием» в империи. Об'ективная логика русских общественных отношений так сильно влияла на суб'ективную логику русских людей, что в политическом отношении дворянство, во второй половине XVIII века, сделалось более консервативным, нежели было оно во время вступления на престол Анны Ивановны. Властолюбивая Екатерина II прекрасно поняла настроение дворянства и, головой выдавая ему крестьян, она бесповоротно решила не делать ни малейших уступок в собственно политической области.

Вопрос о таких уступках ей приходилось обдумывать уже в то время, когда она еще только стремилась захватить власть в свои руки Когда в близких ко двору кругах и в гвардии Петр III вызвал глухое неудовольствие дикими странностями своего поведения, граф Н. И. Панин говорил с нею о возможности низложения слабоумного императора. Он предполагал сделать ее регентшей на время малолетства ее сына Павла. При этом он надеялся ограничить власть молодого государя. Повидимому, к тому же стремилась и кн. Е. Р. Дашкова. В. А. Бильбасов говорит, что Екатерина со вниманием выслушивала доводы Панина в пользу Павла Петровича, но не давала ему обещания удовольствоваться ролью регентши. Это его утверждение основывается на словах самой Екатерины [2]). Но ее показание в данном случае никак не может быть признано заслуживающим полного доверия Следует полагать, что она охотно обещала Панину все, чего он хотел, заранее намереваясь нарушить свое обещание, если только представится к этому какая-нибудь возможность. Когда эта возможность в самом деле представилась, т.-е. когда возмутившаяся против Петра III гвардия провозгласила Екатерину самодержавной государыней, она в своем «обстоятельном» манифесте от 7 июля все-таки «наиторжественнейше» обещала «узаконить такие государственные уста-

[1]) Все это его собственные выражения.

[2]) «История Екатерины II», т. II, стр. 3, а также 5-е примечание к ней.

новления, по которым бы правительство Нашего любезного отечества в своей силе и принадлежащих границах течение свое имело так, чтоб и в потомки каждое государственное место имело свои пределы и законы». Она еще не знала тогда, в какой степени распространены были политические взгляды Паниных в среде участников переворота 28 июня. Поэтому, даже захватив власть в свои руки, она сочла нужным из'явить свое согласие на то, чтобы власть эта не переступала «принадлежащих границ». *Поставить* власть в «принадлежащие *границы*» значит *ограничить* ее. Но Екатерина стремилась быть *неограниченной* государыней. Чтобы устранить это противоречие, в манифесте, мимоходом, устанавливалось различие между *самовластием*, которым погрешил Петр III, и *самодержавием*, в духе которого обещалась править Екатерина. Так как неограниченная власть уже была в руках Екатерины, то братьям Паниным с их единомышленниками волей-неволей пришлось удовольствоваться этим distinguo. Но зато они тем настойчивее добивались обещанного в манифесте узаконения таких государственных учреждений, которые, оставляя Россию самодержавною страною, избавят ее от *самовластия*. Екатерина делала вид, что не забывает своего обещания. В августе того же (1762) года, в манифесте о возвращении прежних достоинств пострадавшему за нее гр. А. Бестужеву-Рюмину, она писала: «жалуем его первым императорским советником и первым членом нового, учреждаемого при дворе нашем, императорского совета».

Н. И. Панин, которому поручено было составить проект нового императорского совета, не терял времени даром. Уже в июле его проект был окончен и представлен Екатерине. В основу его Н. И. Панин положил, как видно, упомянутое выше различие между самовластием и самодержавием.

«Все дела, принадлежащие по уставам государственным и по существу монаршей самодоржавной власти нашему собственному попечению и решению, словом, все то, что служить может к собственному самодержавного государя попечению о приращении и исправлении государственном, — говорилось в 4-м параграфе его проекта, — имеет быть в нашем императорском совете, яко у нас собственно». Но для того, чтобы «добрый государь», в своих великих и непрерывных трудах, «ограничивал себя в ошибках, свойственных человечеству», дела, указанные в 4-м параграфе, разделялись на четыре департамента, которые подлежали ведению особых «статских секретарей». Предполагалось, что секретари эти будут, по выражению проекта, «нашею живой запискою»,

доставляющею рачительному государю точные сведения о течении дел в государстве, и что каждый из них, в своем департаменте, «заимствует часть нашего собственного попечения». Совет должен был собираться каждый день, кроме субботы, а также, конечно, воскресенья и других праздников, чтоб обсуждать дела в присутствии государыни. Кроме четырех статских секретарей, которые ведали бы иностранный, внутренний, военный и морской департаменты, проект назначал еще нескольких членов совета. В общем, число всех советников не должно было быть менее шести и больше восьми. Самым важным правом совета об'являлось право «иметь свободность нам представлять и на наши собственные повеления, ежели они в исполнении своем могут касаться или утеснить наши государственные законы или народа нашего благосостояние». Это, разумеется, еще не означало ограничения прав государя; к тому же 8-й параграф проекта категорически говорил, что в заседаниях совета, после обмена мнений между его членами, «мы нашим самодержавным повелением определяем нашу последнюю резолюцию». Тем не менее, Екатерине были весьма не по душе и эти, в сущности крайне скромные, пожелания бр. Паниных и их единомышленников. Она подозревала, что, по мысли составителя проекта, ограничение *самовластия* должно было на деле привести к ограничению *самодержавия*. Это ее подозрение как будто подкреплялось некоторыми выражениями доклада, сопровождавшего проект.

Там сказано было, правда, что главное и истинное и общее о всем государстве попечение замыкается в персоне государевой. Однако Н. И. Панин тут же прибавлял, что «государь никак инако власть в полезное действие произвести не может, как разумным ее разделением между некоторым малым числом избранных к тому единственно персон». Екатерина совсем не расположена была «разделять» только что приобретенную ею неограниченную власть с кем бы то ни было, — даже со своим сыном. Поэтому она хотя в общем одобрила проект Панина и даже составила список восьми членов императорского совета, но стала усердно затягивать неприятное ей дело многочисленными поправками к тексту проекта, — начала императорскую волокиту, как выражается В. А. Бильбасов. Однако волоките, как и всему на свете, наступает конец. В декабре 1762 г. все поправки, какие могла придумать Екатерина, были сделаны, и оставалось только подписать манифест об учреждении совета. Екатерина действительно подписала его 28 декабря, но вместо того, чтобы опубликовать подписанный ею документ, она надорвала его и тем свела на-нет все усилия Н. И. Панина.

II

Таким образом, в лице Екатерины II русская монархическая власть во второй раз в течение XVIII века отразила попытку части европеизованного служилого сословия ввести ее в известные границы. С. Г. Сватиков заметил, что желания Паниных шли не так далеко, как требования верховников и шляхетства в 1730 году [1]). Слово: «далеко» тут едва ли уместно. Проект Паниных был как нельзя более скромен. Но достойно замечания, что если «затейка» верховников вызвала некоторое конституционное брожение в среде находившихся в Москве представителей дворянского сословия, то замысел Паниных, повидимому, вовсе не нашел поддержки во влиятельных дворянских слоях. Лица, близкие к императрице, приняли меры к тому, чтобы отговорить ее от уступок. Фельдцейхмейстер Вильбоа писал, разбирая составленный Н. И. Паниным проект:

«Не знаю, кто составитель этого обширного проекта, но мне кажется, как будто он, под видом защиты монархии, тонким образом склоняется более к аристократическому правлению. Влиятельные члены обязательного и государственным законом установленного императорского совета (особенно, если они обладают достаточным к тому своеволием, честолюбием и смышленностью) весьма удобно могут вырости в соправителей» [2]). Екатерина была как раз того же мнения и, убедившись, что партия Паниных очень слаба, решила не уступать. Этим и об'ясняется, что намерение добиться учреждения императорского совета потерпело крушение в то самое время, когда было, казалось, совсем близким к своему осуществлению.

После этой неудачи Паниным и их весьма немногочисленным единомышленникам пришлось подчиниться не только *самодержавию,* но также и *самовластию* как самой Екатерины, так и ее бесчисленных любимцев. Известие о том, что ко времени совершеннолетия Павла кружок Паниных составил заговор с целью свергнуть с престола Екатерину и возвести на него ее сына, будто бы обязавшегося дать конституцию, приходится признать недостоверным. Документы, открытые Е. С. Шумигорским, показывают, что «конституция», которую имело в виду это известие, представляла собою не более как политическое завещание

---

[1]) «Общественное движение в России (1700—1895)», Ростов-на-Дону 1905, стр. 23.

[2]) *В. А. Бильбасов*, назв. соч., т. II, стр. 136—137.

Н. И. Панина своему воспитаннику Павлу. Завещание это было написано частью под диктовку, частью по указаниям («по знаменованиям») Н. И. Панина, Д. И. Фон-Визином, который по смерти Н. И. Панина передал его П. И. Панину. Но П. И. Панин не решился доставить наследнику престола завещание своего брата, так как, — говорил он в письме к Павлу, — «известны по несчастию ужасные примеры в Отечестве нашем над целыми родами сынов его, за одни только и рассуждения противу деспотизма, распространяющегося из всех уже Божеских и естественных законов». Он нашел, что осторожнее будет сохранить у себя опасный документ вплоть до того времени, когда наследник сделается государем. А так как он не надеялся пережить Екатерину, то принял надлежащие меры к тому, чтобы, после его смерти, завещание Н. И. Панина было передано по назначению вместе с цитированным выше письмом, в котором П. И. Панин называет Павла уже *самодержцем всероссийским* [1]).

Все это дает основание думать, что после неудачи, испытанной ими в декабре 1762 г., братья Панины уже не надеялись осуществить свои планы в царствование Екатерины II. Завещание Н. И. Панина начинается изложением той, уже отмеченной мною в главе о Фон-Визине, мысли, что «верховная власть вверяется *Государю* для единого блага *Его* подданных» и что просвещенный сознанием этой истины монарх сам понимает, как далека от совершенства «власть делать зло». «Прямое самовластие, — продолжает автор завещания, — тогда только вступает в истинное свое величество, когда само у себя от'емлет возможность к соделанию какого-либо зла». Далее Н. И. Панин утверждает, что состояние государя и государства остается непрочным, пока нет в стране фундаментальных государственных законов.

«Не будет той подпоры, на которой бы Их (т.-е. государя и государства — *Г. П.)* общая сила утвердилась, — говорит он. — Все в намерениях полезнейшие установления ни какого основания иметь не буду г. Кто оградит их прочность? Кто поручится, чтоб Преемнику не угодно было в один час уничтожить все то, что во все прежние царствования установляемо было? Кто поручится, чтоб Сам Законодатель, окруженный неотступно людьми, затмевающими пред ним истинну, не раззорил того сего дня, что созидал вчера?»

Сочувственного внимания заслуживает то мнение Н. Панина, что там, где царствует произвол, не существует прочной общественной («общей») связи, и «тамо» есть «Государство, но нет Отечества; есть

---

[1]) Письмо написано было в селе Дугине и помечено 1 октября 1784 г.

подданные но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей» (т.-е. обязанностей. — *Г. П.)*. Весьма также недурно изображен упадок общественной нравственности, причиняемый господством «любимцев». По словам Н. Панина, «злоупотребление самовластия восходит» при этом «до невероятности, и уже престает всякое различие между Государственным и *Государевым,* между *Государевым* и любимцовым. От произвола сего последнего все зависит. Собственность и безопасность каждого колеблется. Души унывают, сердца развращаются, образ мыслей становится низок и презрителен». Видно, что здесь Н. Панин рисовал с натуры [1]).

Во избежание всего указанного и нужны фундаментальные законы. Но вместо того, чтобы тотчас же сказать, каковы именно должны они быть, Панин пускается в длинное рассуждение о том, насколько необходимо государю держаться правоты и кротости. «Правота, — наставлял он своего бывшего воспитанника, — делает *Государя* почтенным; но кротость... делает Его любимым». В политическом смысле это наставление надо признать совершенно бессодержательным. Но тон завещания опять становится политически серьезным, когда Н. Панин переходит к определению свободного человека: «Свободной человек есть тот, которой не зависит ни от чьей прихоти; на против же того раб деспота тот, которой ни собою, ни своим имением располагать не может, и которой на все то, чем владеет, не имеет другого права, кроме *Высочайшей* милости и благоволения». Отсюда делается тот вывод, что политическая *вольность* неразрывно связана с правом *собственности*. Автор утверждает, что невозможно нарушить вольность, не нарушая права собственности, и, наоборот, нельзя нарушить право собственности, не нарушая вольности.

Под фундаментальными законами он понимал прежде всего те, посредством которых бывают «устроены» собственность и вольность. К ним он присоединил еще законы, определяющие «форму, каковою публичной власти действовать».

---

1) Озлобление против любимцев было тогда очень сильно, по крайней мере в столичном обществе. В марте 1774 г. гр. П. И. Панин писал кн. А. Б. Куракину по поводу возвышения Потемкина: ...«Нынешний век таков, в котором, ежели не вся публика, то большая часть ее столько озлоблена и огорчена фаворитами, что всем тем, которые на себя сие название приемлят, или только, обманывая оными себя, представляют, ничего другого не желают (не желает,—*Г. П.*) и ничему другому радоваться не могут (не может.—*Г. П.*), как единственно тому, чтобы дожить всякому россиянину, дабы сподобиться увидеть из них, кого только справедливость доведет, под жребий бывших стрельцов». («Русская Старина» 1873, сентябрь, стр. 342.)

Высказав эти общие взгляды, Н. И. Панин приглашает Павла представить себе самое обширное и, по отношению к своему пространству, самое малолюдное в свете государство. В государстве этом есть только два города, «из коих в одном живут люди большою частию по нужде, в другом большою частию по прихоти». Сила и слава этого государства обращают на себя внимание целого мира; но то же государство может в несколько часов привести на край гибели «мужик, одним человеческим видом от скота отличающийся и ни кем не предводимый». Оно дает царей чужим землям; но его «собственный Престол зависит от отворения кабаков для зверской толпы буян (sic!), охраняющих безопасность Царския Особы». В этом государстве существуют «все политические людей состояния» (т.-е. сословия), но ни одно из них не имеет, по мнению Н. Панина, никаких преимуществ, и каждое отличается от другого только пустым именем. Знатность, которая должна награждаться только заслугами перед государством и которая должна быть, поэтому, единственной целью благородных душ, затмевается там «фавером, поглотившим всю пищу истинного любочестия»; дворянство существует только по имени и продается всякому подлецу, ограбившему отечество. Наконец, к числу слабых сторон этого обширнейшего и, относительно, малолюднейшего в свете государства относится Н. Паниным то обстоятельство, что в нем люди составляют собственность людей, и человек одного состояния имеет право быть вместе истцом и судьею по отношению к человеку другого состояния. «Следственно» — вполне правильно выводит из этого Н. Панин, — в этом государстве «каждый может быть за всегда или тиран, или жертва».

Эта замечательная характеристика взаимного отношения двух сословий противоречит тому мнению Н. Панина, что в государстве, о котором идет у него речь, все «состояния» отличаются одно от другого пустым только именем. И вместе с тем та же характеристика позволяет утверждать, что он был противником, по крайней мере, того вида крепостной зависимости крестьян от помещиков, который господствовал тогда в России.

Государство, изображенное Н. Паниным, очень похоже на сеньериальную монархию, как ее изобразил Бодэн. Но сам Н. Панин затрудняется дать этому государству определенное название. По его словам, оно не монархия, потому что не имеет фундаментальных законов, однако оно и не деспотия, «ибо нация ни когда не отдавала себя *Государю* в самовольное *Его* управление»; аристократическим его нельзя назвать по той причине, что «верховное в нем правление есть бездушная машина,

движимая произволом *Государя*»: наконец, на демократию «и походить не может земля, где народ, пресмыкаясь во мраке глубочайшего невежества, носит безгласно бремя жестокого рабства».

Ввиду полного политического неустройства нашей земли всякий просвещенный и добродетельный монарх начнет, по словам Н. Панина, «служение ей немедленным ограждением общия безопасности посредством законов непреложных».

Так рассуждал Н. И. Панин. К сожалению, смерть помешала ему составить проект желательной для него русской конституции [1]). Недоконченное им взялся докончить П. И. Панин, повидимому, совершенно сочувствовавший планам своего брата. Но знаменитый «усмиритель Пугачевщины» написал нечто мало вразумительное.

III

Им составлено было три документа: 1) «Прибавление к рассуждению, оставшемуся после смерти Министра Графа Панина»; 2) проекты двух манифестов, подлежавших опубликованию при законном восшествии Павла на престол.

Первый из этих документов с ясностью показывает только одно: что «Генерал Граф Панин» совсем не отличался религиозною терпимостью. Не говоря уже о том, что православная церковь провозглашается в его проекте господствующей в России, он хотел, чтобы привлечение кого-либо из членов этой церкви в другое вероисповедание наказывалось смертной казнью. Что касается прав различных сословий русского государства, то параграфы, им посвященные, страдают досадной краткостью. Так, в параграфе 15-м написано: «о праве Дворянству»; в параграфе 16-м — «о праве Духовенству» и т. д. вплоть до 19-го параграфа, в котором речь должна была итти «о праве Крестьянству». Но каких именно прав требовал П. И. Панин — это осталось тайной.

Проект первого манифеста подробнее занимается, по крайней мере, высшим сословием. В его седьмом «пункте» благородное дворянство провозглашается первым членом государства, подпорою и обороною государя и отечества от неприятелей внешних и внутренних. Однако преимущества его сводятся к одному праву «приобретения себе наследства землями и подданными». О каких-нибудь *политических* правах дворянства нет и помину; напротив, то обстоятельство, что дворянство служит обороною государя и отечества, как будто располагает автора к неко-

[1]) Он родился в 1718 г., умер 31 марта 1783 г.

торому ограничению уже приобретенной дворянством «вольности», той свободы от обязательной службы, которую дал ему Петр III и которую собиралась подтвердить Екатерина II [1]).

Сначала П. И. Панин распространяется о том, что военная служба нравственно обязательна для благородного сословия. Затем, подготовив почву, он в «пункте» одиннадцатом об'являет, что дворяне, получающие «пропитание свое из единого жалованья», не имеют права выходить в отставку без благословения родителей.

Очень много говоря о повреждении нравов в нашем отечестве, проект первого манифеста вовсе не касается *фундаментальных законов.* О них П. И. Панин собирался поговорить в проекте второго манифеста, который предлагался им государю тоном самой большой неуверенности [2]).

Но и во втором манифесте вопрос о фундаментальных законах остается весьма плохо раз'ясненным. Прочитав его, можно подумать, что самый фундаментальный изо всех фундаментальных законов есть тот, который ограждает права самодержца.

В самом деле, первая статья манифеста гласит:

«Все, чего не будет точно предписано ни в сих статьях, ни впредь в даваемых от *Нас Нашему* Отечеству статьях же фундаментальному праву и в форме государственного правления, то все без из'ятия да остается и утверждается к непременному и неприкосновенному на все времена пребыванию единственно в самодержавной собственной власти Владеющего законно *Монарха,* а по Нем у Наследника престолу Всероссийскому».

Из остальных шести статей три посвящены вопросу о престолонаследии, а в трех остальных повторяются уже хорошо знакомые нам соображения о необходимости фундаментальных законов, но формулировка этих законов и здесь оказывается тем заколдованным местом, до которого никак не удается дойти автору, задавшемуся целью пополнить пробел в работе своего покойного брата.

Сам Н. И. Панин, искренно ненавидевший самовластие и решительно осуждавший его, не имел вполне определенного политического образа мыслей. Ему вряд ли ясно было, что же собственно нужно для того, чтобы положить предел самовластию и учредить у нас строй *монархический в западно-европейском смысле этого слова.* А П. И. Панин, хотя и он со-

---

[1]) Проект манифеста составлен П. Паниным в 1784 г., между тем как грамота, жалованная дворянству Екатериной, относится к 1785 г.

[2]) «Естьлиб возможно было при вступлении... испросить о пожаловании Свое Отечество (sic!) на первый случай хотя только семью написанными здесь статьями, то об оных сим представляется форма Манифесту».

чувствовал политической мечте своего брата, отличался еще меньшею ясностью политической мысли. Возможно, что он был к тому же более робок. Но как бы там ни было, во всяком случае собственное политическое творчество «усмирителя Пугачевщины» вышло совсем неудачным [1]).

Неудача, постигшая П. И. Панина, заставляет вспомнить о тех многочисленных противоречиях во взглядах Д. И. Фон-Визина, которые отмечены мною в главе, ему посвященной. Д. И. Фон-Визину случилось выступить в роли секретаря Н. И. Панина. Но то, что, по указаниям этого последнего, написал он о вреде самовластия, было плохо обдумано им как потому, что не вполне ясные политические мысли Н. И. Панина плохо поддавались логическому анализу, так и потому, что автор «Недоросля» был совсем не подготовлен к рассуждениям о политике. В этом и состоит разгадка того, что он мог в письме к одному Панину ставить русские порядки выше западно-европейских, а по указаниям другого Панина составлять документ, об'являвший Россию страной, лишенной всякой формы правления [2]).

С неудачным творчеством П. И. Панина Павел должен был ознакомиться, лишь сделавшись государем. Однако, еще оставаясь наследником, он часто слышал рассуждения Паниных о фундаментальных законах. Это видно из того, что он и сам любил высказывать сожаление об отсутствии у нас таких законов. Случалось, что слышанное от Паниных он преподносил... тем же Паниным. Так, осенью 1778 года он сообщил П. И. Панину записку, в которой говорилось:

«Спокойствие внутреннее зависит от спокойствия каждого человека, составляющего общество; чтоб каждый был спокоен, то должно, чтоб его собственные, так и других, подобных ему, страсти были обузданы; чем их обуздать иным, как не законами? Они общая узда и так должно о сем фундаменте спокойствия общего подумать» [3]).

---

[1]) Обо всем, относящемся к политическому завещанию Н. И. Панина, см. у *Е. С. Шумигорского*, Император Павел I, стр. 53 и приложение.

[2]) Что сам Н. И. Панин не страдал квасным патриотизмом и не склонен был превозносить наши порядки на счет западных, доказывается, между прочим, вот чем. Однажды, обедая со своим воспитанником, Павлом Петровичем, он упомянул о Торнео и дурно отозвался об этом городе. Великий князь спросил: «Хуже нашего Клину или лутче?» — На это Н. И. Панин отвечал: «Уж Клину-та нашева конечно лутче. Нам, батюшка, нельзя еще, о чем бы то ни было, рассуждать в сравнении с собою. Можно рассуждать так, что это там дурно, это хорошо, отнюдь к тому не применяя, что у нас есть. В таком сравнении мы верно всегда потеряем». («Записки С. А. Порошина». Издание 2-е, СПБ. 1881, стр. 457.)

[3]) *Д. Кобеко*, Цесаревич Павел Петрович, СПБ. 1887, стр. 175.

Очень легко узнать здесь любимые мысли Н. И. Панина. Любопытно, что и Павел не говорит, каковы именно должны быть фундаментальные законы. У него как будто выходит, что он поступает так по соображениям осторожности: он воспрещает себе «более о сем говорить, ибо нечувствительно сие рассуждение довело бы меня и до того пункта, от которого твердость и непоколебимость законов зависит, утверждая навсегда бытие и состояние на вечность каждого и рода его» [1]). Однако можно думать, что если бы дело дошло до этого существенного «пункта», то цесаревич оказался бы еще и гораздо более беспомощным, чем генерал гр. П. И. Панин. Впоследствии сын Екатерины II как нельзя более убедительно показал, что ему дороги были только два фундаментальных закона: 1) закон о престолонаследии по прямой линии, к пониманию которого он пришел благодаря своему собственному печальному опыту; 2) тот закон, согласно которому решительно все должно безропотно склоняться перед его самодержавной волей. Этим последним законом он неизменно руководился во все продолжение своего кратковременного царствования. Но именно этот закон совсем не давал на практике места тому различию между самодержавием и самовластием, которое, — впрочем без достаточного основания, — установлено было в теории воспитателем Павла Н. И. Паниным и во имя которого собственно и пред'являлось требование фундаментальных законов.

Осенью того же 1778 г. Павел сообщил П. И. Панину следующее свое соображение об избавлении дворянства от обязательной службы.

«Свобода, конечно, первое сокровище всякого человека, но должна быть управляема прямым понятием оной, которое не иным приобретается, как воспитанием, но оное не может быть иным управляемо (чтоб служило к добру) как фундаментальными законами; но как сего последнего нет, следовательно, и воспитания порядочного быть не может, а от того рождаются всякие неправые понятия вещей, следовательно и злоупотребления, какового рода и в сем казусе народятся» [1]).

Соображение это интересно, во-первых, тем, что представляет собою как бы повторение довольно распространенной тогда в среде европеизованных русских дворян мысли о просвещении крестьян, как о необходимом предварительном условии его освобождения. Совершенно ясно, что дворяне держались этой мысли потому, что вовсе не располо-

---

[1]) Там же, стр. 175—176.

[2]) Там же, стр. 179.

жены были к изданию каких-либо «фундаментальных законов» в своих крепостных деревнях.

Кроме того, соображение Павла характерно для него тем, что показывает, до какой степени сводились в его голове все вопросы к важнейшему для него вопросу о военной службе.

Убеждая наследника престола в необходимости издания фундаментальных законов, братья Панины, может быть, слишком старательно приспособлялись к только что отмеченной мною особенности его психологии. По крайней мере, насчет П. И. Панина это предположение представляется вполне допустимым.

Осенью 1778 года Павел, не совсем кстати ссылаясь на пользу, могущую произойти от фундаментальных законов, высказывает в письме к П. И. Панину свое неудовольствие на то, что русское дворянство злоупотребляет своим освобождением от обязательной службы. А осенью 1784 г. П. И. Панин, дополняя политическое завещание своего брата, пишет, на случай вступления Павла на престол, проект манифеста, в котором, на-ряду с довольно туманными рассуждениями о пользе фундаментальных законов, высказывается вполне определенная мысль о том, что следует подвергнуть дворянскую свободу служить или не служить некоторому ограничению. Ввиду этого невольно спрашиваешь себя: кто же на кого больше влиял: П. И. Панин на Павла или Павел на П. И. Панина?

Итак, политическая оппозиция братьев Паниных была крайне слаба в практическом смысле и мало удовлетворительна в теоретическом. Это очевидно. И все-таки она не осталась без положительного влияния на развитие освободительных идей в России. Мы не должны забывать, что некоторые современники, а в особенности потомки, представляли ее себе гораздо более сильной и деятельной, нежели она была в действительности.

Отец декабриста М. А. Фон-Визина рассказывал ему об упомянутом мною выше заговоре, который будто бы имел целью свержение Екатерины и возведение на престол Павла, поклявшегося дать конституцию. Известие о заговоре недостоверно. Однако рассказы о нем давали декабристам один из — довольно, впрочем, многих — примеров для подражания. Мы знаем, что декабристы читали написанное Д. И. Фон-Визином политическое завещание Н. И. Панина [1]). В связи с рассказом о заговоре,

---

[1]) См. у *В. И. Семевского,* Политические и общественные идеи декабристов, стр. 231.

слышанном М. А. Фон-Визином от своего отца, скромное завещание это представлялось им введением к оформленному конституционному акту, будто бы составленному заговорщиками и подписанному Павлом [1]). И это, конечно, должно было подкреплять их собственные коституционные стремления. Еще заметнее станет преемственность политической мысли, когда мы со стремлениями бр. Паниных сопоставим воззрения таких деятелей Александровской эпохи, как Сперанский или Каразин.

IV

Братья Панины со своим взглядом на великое значение «фундаментальных» законов были редким, но все же не единичным явлением в русской дворянской среде Екатерининской эпохи. О таких законах мечтал и знакомый нам кн. М. М. Щербатов, называвший их *основательными* законами. Он считал «основательные» законы необходимым признаком монархии [2]) в ее противоположности с *самовластием,* или «деспотичеством», которое, «последуя единому своему хотению, ...все законы разрушает». М. М. Щербатов, из которого вообще мог бы выработаться весьма талантливый публицист, посвятил самовластию или деспотичеству поистине прекрасные страницы.

По его словам, оно, «ни на что не взирая, ...возмущает во всех частях жизнь и спокойство каждого гражданина». Все, что ни прикоснется к этому нечистому сосуду, «все ядом сим заражается, и все обращается в общественный вред». Деспотизма нельзя даже назвать правлением, «понеже сие есть мучительство, в котором нет иных законов и иных правил, окромя безумных своенравий деспота... В самовластном правлении народ является быть зделан для государя». Чтобы принести пользу своему народу, деспот должен прежде всего уничтожить «самовластие». «И действительно, — спрашивает Щербатов, — какие законы могут быть полезны для такого народа, который... самую жизнь имеет токмо тогда, пока угодно деспоту дозволить ему оной пользоваться?».

Щербатов сравнивает людей, живущих под гнетом самовластья, с путешественниками, плывущими во время бури на корабле, который

---

[1]) См. статью *М. А. Фон-Визина,* Обозрение проявлений политической жизни в России, перепечатанную в IV выпуске «Библиотеки декабристов», Москва 1907, стр. 30 и следующие.

[2]) «Монархия,—писал он,—должна иметь свои основательные законы и сохранять все установленные».

лишился мачты, парусов и даже компаса: «плывет еще корабль, но при дыхании бурных ветров ни управляться не может, ни знать мелей и камней, ни места своего течения». Если он и доходит порой до пристани, то это лишь счастливая случайность, а не правило. Самовластитель не награждает заслуг, а, напротив, завидует своим заслуженным подданным. Раздавая чины, он руководствуется лишь произвольными соображениями. Калигула сделал свою лошадь консулом. «А может быть, — ехидно замечает Щербатов, — и много людей, не лучше лошади стоящих, самовластители в вышние чины произвели». В деспотическом государстве добродетель не уважается, потому что добродетельные люди представляют собою живую укоризну деспоту («самовластителю»). Там преследуется разум, «ибо вредно самовластию, чтоб кто вникал во взаимственные правы, сочиняющие основания обществ, и умными-бы очами воззрил на состояние свое». Вредные последствия «деспотичества» до такой степени очевидны, по мнению Щербатова, что оно не может существовать в просвещенных странах, или, по крайней мере, его существование в таких странах не может быть продолжительным: «ибо в самом деле, если всякий рассмотрит обязательствы свои к Божиему закону, к отечеству, к самому себе, к семье и ближним своим, то узрит, что долг и благосостояние его влечет его низвергнуть сего кумира, никогда твердых ног не имеющего».

Итак, жители страны, в которой утвердилось самовластие, не только имеют право, но обязаны низвергнуть его как можно скорее. Для людей сколько-нибудь просвещенных немыслимо никакое примирение с ним. Но, спрашивается, какой политический строй следует учредить им, низвергнув деспота?

Идеолог *родовитого дворянства* не мог быть сторонником *демократии*. Это само собою понятно. Правда, он признавал, что на первый взгляд демократия представляется правлением, наиболее соответствующим естественному закону, «понеже быв все рождены от единого отца, не все ли имеют справедливость требовать сию равность состояний, которая (ныне) является изгнанною из сообществ?». Однако, при ближайшем рассмотрении, демократия оказывается, по уверению Щербатова, наименее удовлетворительным образом правления. Она отворяет дверь для беспрерывной борьбы партий; сохранение государственных тайн становится при ней невозможным; наконец, пользуясь своими политическими правами, народ уклоняется от обложения себя необходимыми для государства налогами и, будучи неспособен оценить истинные заслуги, возвышает людей недостойных, но пронырливых.

Казалось бы, при своем сочувствии к боярским родам, Щербатов должен был считать аристократический строй наилучшим. И он действительно признавал за ним много преимуществ. Так, он писал, что при аристократическом правлении государственные дела имеют свое течение не по своенравию одного (монарха), но по здравому рассуждению разумнейших людей государства; что лесть не имеет в нем власти, что войском командуют не пронырливейшие придворные, а искуснейшие и храбрейшие полководцы, и что юношество воспитывается в правилах гражданской добродетели. Эти преимущества аристократического строя очень велики. Но при всем том аристократический строй имеет и очень большие неудобства. Если дела решаются в нем по большинству голосов, то не надо забывать, что «большее число не всегда лучшее бывает». Вдобавок дела идут очень медленно, вследствие споров, неизбежных при аристократическом правлении, и это может стать опасным в военное время. Преследуя свои личные цели, отдельные вельможи стремятся «учинить вечными в их домах достоинствы и богатствы». Вообще при аристократическом строе легко развивается излишнее честолюбие, приносящее вред государству.

В вопросе о происхождении политической власти Щербатов, как и все его образованные современники, держался теории договора: люди пожертвовали известной частью своей первоначальной свободы, чтобы обеспечить себе спокойное пользование другими ее частями. Дальнейшее развитие политических учреждений определялось, по мнению Щербатова, такими силами, которые мы называем теперь силами различных общественных классов. Монархия возникла из власти отцов семейств («фамилий»). Но подобно тому, как отец в важных делах совещается со старшими или наиболее разумными детьми своими, монарх имеет около себя совет, «сочиненной из мудрейших и более знания имеющих в делах людей его народа». Совет представляет ему то, что может служить на пользу государству, и отговаривает его от мероприятий, вредных для государства или имеющих деспотический характер. Существование такого совета и наличность «основательных» законов составляют два главнейших признака, отличающих монархический образ правления от «самовластия». Когда монарх уничтожает власть совета, он становится деспотом. Наоборот, когда совет лишает власти монарха, возникает аристократическое правление. К тому, что сказано мною выше о сильных и слабых сторонах этого правления, необходимо прибавить, что, по признанию нашего идеолога родовитого дворянства, аристократия очень склонна угнетать трудящуюся массу. «Подлой народ, — гово-

рит он, — нигде столь не нещаслив, как под аристократическим правлением». Уже некоторые античные писатели, наблюдая жизнь современного им общества, приходили к тому выводу, что борьба низшего класса народа с угнетающим его высшим классом приводит к замене *аристократического* строя *демократическим*. Этот взгляд, усвоенный многими писателями XVIII века, разделял и Щербатов. Он утверждал, что демократия возникает, как следствие «мучительств», претерпеваемых народом от вельмож.

Нимало не сочувствуя демократии, Щербатов полагал, что страна больше всего выигрывает тогда, когда в ней устанавливается *монархический строй*. Но после всего, сказанного выше, понятно, что он не мог заблуждаться насчет порядка, установившегося в России. Он решительно отказывался признать его монархическим. «Я охуляю самой состав нашего правительства», — писал он в статье «Оправдание моих мыслей и часто с излишнею смелостию изглаголанных слов», — называя его «совершенно... самовластным и таким, где, хотя есть писанные законы, но они власти государевой и силе вельмож уступают». Да и писанные законы сочиняются у нас «в кабинете государевом, по большей части крепко охраняемом от проницаний истины и сведения о бедности народной» [1]). Поэтому и они подвергаются «охулению» со стороны Щербатова. «Охуляю я наши законы; — говорит он, — поелику они не токмо с согласия народного, но ниже с согласия главного правительства сочиняются; охуляю тем, что оные ясно показуют, что при составлении их ни о состоянии, ни о пользах, ни о нуждах народных ни сведения, ни попечения не прилагается».

Ответственность за такой способ составления законов возлагается Щербатовым не только на государей, но и на их ближайших советников, которые, будучи заняты придворными интригами, не хотят знать истинного положения дел в стране и нужд народа.

В своем «Письме к вельможам правителям государства» Щербатов сурово осуждает тех, которые фактически держали в своих руках судьбы России.

«Вижу ныне вами народ утесненной, законы в ничтожность приведенные; имение и жизнь гражданскую в неподлинности (sic!); гордостью и жестокостию вашею лишенные души их бодрости, и имя сво-

---

[1]) В другом месте той же статьи он говорит: «Охуляю я писание законов самою Монархинею, писанных во мраке ее кабинета, коими она хощет исполнить то, что невозможно, и уврачевать то, чего не знает».

боды гражданской тщетным учинившееся, и даже отнятия смелости страждущему жалобы приносить».

Вельможи высоко поднимаются на общественной лестнице. Но высоту общественного положения надо понимать не в механическом смысле, а, — как выражается Щербатов, — метафизическом. В механическом смысле даже и навоз можно поднять на большую высоту, — например, на верх высокой башни. Но механического возвышения недостаточно. Кто выше всех *саном,* тому надо быть выше всех также и добродетелью. А так как русские вельможи совсем не удовлетворяют этому последнему требованию, то Щербатов сравнивает их именно с навозом, поднятым на высокую башню. Не довольствуясь этим обидным сравнением, он насмешливо спрашивает правителей государства: «не чинитесь-ли вы из человек, и человек изящных, подобны жукам... любящим жить в навозе, так вы в пороках?

Наш автор напоминает вельможам об их долге перед государем и перед народом. Государю, который обогащает их «от сокровищ народных», они обязаны говорить правду, хотя бы она была и неприятна ему. Что же касается народа, сокровищами которого обогащаются вельможи, то они обязаны воздать ему «снисхождением и попечением об его блаженстве». Только при этом условии будут они достойны «благодетелями народа именоваться».

Здесь перед нами зачаток того *учения о долге образованных классов перед народом,* с которым мы встретимся в передовой русской литературе XIX века. Но само собою разумеется, что с течением времени весьма значительно изменилось содержание этого учения и что под пером П. Л. Лаврова, обращавшегося к учащейся молодежи, оно приобрело совсем не такой вид, какой имело под пером М. М. Щербатова, наставлявшего «вельмож правителей государства».

Напоминание правителям об их долге перед народом показывает, что крепостнические убеждения не мешали Щербатову, — как не мешали они и Сумарокову, — *по-своему* желать добра народу. Сторонник просвещения, Щербатов находил нужным распространить его и на народную массу. Конечно, его проекты придавали просвещению сословный характер. В Офирской земле каждое село, имевшее церковь, имело школу, в которой дети обучались чтению, письму и счету. В городских школах, — для мещанских и купеческих детей, — изучались, кроме того, ремесла. Дворянские школы учили «рисовать, арифметике, первые правила геометрии, плясать и действовать оружием». Над первоначальными школами стояли — губернские, в которых кроме геометрии пре-

подавались еще военная и гражданская архитектура, история, геометрия и «часть физики». Наконец, в академиях давалось высшее, преимущественно математическое и естественно-научное, образование.

К этому не мешает прибавить, что хорошо знакомый с нашими тогдашними судами Щербатов находил необходимым введение *гласного* судопроизводства, которое, конечно, принесло бы пользу не одному только дворянскому сословию.

V

Нападки на «вельмож правителей государства», взятые сами по себе, мало знаменательны. Против вельмож гремел иногда сам певец Фелицы. Вспомним хотя бы эти его строки:

А ты, второй Сарданапал!
К чему стремишь всех мыслей беги?
На то-ль, чтоб век твой протекал
Средь игр, средь праздности и неги?
. . . . . .
На то-ль тебе пространный свет,
Простерши раболепны длани,
На прихотливый твой обед
Вкуснейших яств приносит дани,
Токай густое льет вино,
Левант—с звездами кофе жирный,
Чтоб не хотел за труд всемирный
Мгновенье бросить ты одно? и т. д.

Но, не говоря о том, что Державин охотно воспевал тех же «Сарданапалов», которых он громил в других своих стихотворениях, самые нападки на вельмож служили ему средством польстить Фелице, мурзам своим не подражавшей, как уверял он. Щербатов несравненно серьезнее относился к вопросам внутренней жизни России. Хотя и ему случалось говорить комплименты Екатерине, однако он никогда не мог примириться с «деспотичеством». В своей «Истории» он дает понять, что самовластие установилось у нас *вопреки* воле нашего народа. «Достойно примечания, — говорит он, — что Новогородцы, избрав себе в Государи сих трех Князей (т.-е. Рюрика, Синеуса, Трувора. — *Г. П.*), не дали им неограниченной власти, а единственно токмо препоручили им, дабы они границы от вражеских нападений защищали... Но после Рюрик сию власть себе приобрел». В одном из последних томов того же

сочинения Щербатов очень хвалит царя Василия Шуйского за то, что он согласился положить известный предел своей власти. По его мнению, Шуйский «учинил имя свое славно своим человеколюбием и милостию во владыках земных, и достойнейшим себе лучшия судбины той, которую он претерпел». А в записке «О повреждении нравов в России» он, переходя к царствованию Анны, замечает, что при ее вступлении вельможи предопределили «великое намерение... учинить основательные законы Государству, и власть Государеву Сенатом или Парламентом (sic!) ограничить». Наш автор сожалеет здесь лишь о том, что самолюбие и честолюбие «помрачило» это прекрасное намерение. Отнимая у монарха некоторую долю его «излишней власти» (собственное выражение Щербатова), они предоставили ее лишь некоторым вельможам «со огорчением множества знатных родов, и вместо одного толпу Государей сочиняли». Наконец, в его политическом романе («Путешествие в землю Офирскую») император «обуздан законами», которые мешают ему употреблять во зло свою власть. Жители Офирской земли находят, что так как «цари не бывают ни ремесленниками, ни купцами, ни стряпчими» и не ощущают никаких нужд, которые их подданные чувствуют, то они «и неудобны суть сами сочинять законы». Это лишний раз указывает на то, что желательная для Щербатова конституция должна была значительно ограничить законодательную власть государя. Но как именно? На этот счет мы не находим у него определенных указаний.

Как уже отмечено выше, он находил, что около монарха должен быть совет, или сенат, и этот совет «не токмо надо снабдить... основательными государственными правами о его могуществе, но также и наполнить его такими людьми в силу же основательных прав, чтобы он порученный ему залог в силах был сохранять». Подобно Паниным (и Павлу), Щербатов отводил закону о престолонаследии первое место между основательными законами. Сходился он с Паниным и в том, что, несмотря на свой деизм, вовсе не был безусловным сторонником веротерпимости. Хотя он и говорил, что с раскольниками следует бороться не наказаниями, а наставлением, однако в числе рекомендуемых им мер борьбы с расколом мы находим у него «*убытки и стыд*». Он хотел, чтоб раскольники платили повышенные подати, в увеличенном размере отбывая постойную повинность, лишены были права вступать в подряды, являться свидетелями на суде и выступать поручителями. Наконец, он советовал восстановить для раскольников тот особый наряд, который они обязаны были носить по закону 1722 г., изданному Петром I, ка-

жется, именно для того, чтобы действовать на них посредством «стыда». Не прочь был Щербатов и от стеснения магометан» [1]).

Все это об'ясняется тем его убеждением, что «единозаконие» увеличивает силу государства. Но изо всего этого следует также, что мы очень ошиблись бы, если бы, основываясь на его, несомненно вполне искренней, ненависти к самовластию, вообразили его сколько-нибудь последовательным учеником энциклопедистов или же приписали ему тот образ мыслей, который окончательно сложился уже в XIX веке и получил название либерального. Хорошо знакомый с современной ему западно-европейской литературой, Щербатов не был, да и не мог быть, ни последовательным сторонником освободительной философии, ни либералом. Либерализм, как и освободительная философия, был идейным продуктом борьбы со «старым порядком», а Щербатов выступал убежденным сторонником крепостного права. В этом последнем отношении он, повидимому, сильно отставал от Н. И. Панина, по крайней мере на словах энергично осудившего тот социальный строй, в котором человек может составлять собственность другого человека. В Офирской земле «вышнее правительство» было *чисто дворянским* правительством. Правда, в один из его департаментов, — в департамент «домостроительства», государственных доходов и торговли, — допускались, в числе 15, также и *купеческие* депутаты. Но число дворянских депутатов, составлявших это правительство, было значительно больше (75), и, таким образом, государственная власть целиком сосредоточивалась там в руках дворянского сословия. Соответственно этому и государственная служба была там привилегией дворянства.

В высшей степени характерно для Щербатова следующее.

Грамота, жалованная Екатериной дворянству в 1785 г., совершенно не удовлетворила его потому, что права, дарованные ею дворянам, были, по его мнению, ничтожны. Он написал весьма резкий разбор ее. Так, по поводу данного дворянству права ходатайствовать перед верховной властью о своих нуждах Щербатов замечал, что этому сословию нужно иметь право «представлять» правительству, когда и где «самые узаконения какую им тягость наносят». Право же ходатайства о своих нуждах сводится к позволению дворянам «визжать, когда их бьют» [2]). Власть наместника по отношению к дворянским собраниям так велика, что,

---

[1]) Надо заметить, что Щербатов принадлежал к масонам, которым некоторые исследователи приписывают большую веротерпимость.

[2]) «Примечания верного сына отечества на дворянские права на манифест». Сочинения М. М. Щербатова, т. I, СПБ. 1896, стр. 300.

с'езжаясь на них, дворянство будет лишь свидетелем своего собственного утеснения, а дом таких собраний станет памятником утеснения дворянского сословия и темницей его свободы. В таком же духе критиковались Щербатовым и другие статьи дворянской грамоты.

С другой стороны, права, данные купечеству грамотой того же года, представлялись Щербатову в некоторых отношениях слишком широкими, по крайней мере при данных культурных условиях. Он писал, что, конечно, право судиться равными себе драгоценно, однако весьма неудобно выбирать в судьи купцов, «насилу грамоте знающих». И ему казалось, что лучше было бы наполнять *все* купеческие суды дворянами или вообще людьми, к торговле не привязанными. «Для чести купечества» довольно было бы, — думал он, — чтобы в суде находился один купеческий депутат.

Это не все. Если государственная служба составляла в Офирской земле привилегию дворянства, то до высших чинов лишь в исключительных случаях дослуживались там лица, не принадлежавшие к знатным семьям. Словом, Щербатов отвергал «химеру равенства» даже в применении к дворянскому сословию. В своих политических мечтах он не шел дальше приобретения политических прав тем родовитым дворянством, идеологом которого явился он уже в Комиссию об Уложении.

Как бы, однако, ни были далеки от либерализма аристократические стремления Щербатова, факт тот, что он не только не удовлетворялся существовавшим в России политическим порядком, но глубоко ненавидел его. Когда человек ненавидит окружающий его порядок, он думает о средствах его устранения. Самым естественным способом устранения данного порядка является выступление против него того общественного слоя, который от него страдает. Щербатов, кажется, понимал это. Он писал, что, если самовластие беспрепятственно «действует» в русской земле, то «все сие от нашего рабского и подлого терпения происходит» и что ему хотелось бы вдохнуть твердость в своих современников, «дабы, сопрягшись любовию к отечеству», они постарались протянуть ему руку помощи. Любопытно, что в Офирской земле, где верховная власть «обуздана» была основательными законами, которые сильно ограничивали для нее возможность вредить гражданам. два императора были свергнуты с престола и умерли в тюрьме. Как русскому человеку XVIII столетия, Щербатову недалеко было ходить за примерами этого рода. Но он был хорошо осведомлен насчет того, что отнюдь не силами знатных родов совершались перевороты в тогдашней России, и что *чин* отнюдь не был расположен поддерживать полити-

ческие вожделения *породы*. Мало того, Щербатов, как видно, не чужд был сознания той истины, что антагонизм между порабощенным крестьянством и рабовладельческим дворянством (без различия слоев этого последнего) служил сильнейшей поддержкой «деспотичества». Это приходится предположить ввиду того, что в Офирской земле простому народу запрещено было обращаться к государю с приветствиями. Запрещение это оправдывалось тем, что «народ общим образом нигде не может быть довольно просвещен» и что поэтому «показуемые бы знаки радости и усердия от народа в самом деле ничего не значили, а могли бы некоим Государям вложить мысли гордости и предубеждения якобы они весьма любимы народом, что может вредные следствия произвести». Но Офирская земля не Россия. Вернее, Офирская земля — это Россия, какою она сделалась бы только в том случае, если бы осуществился политический идеал Щербатова. В действительной России дворянство не могло совершенно уединить верховную власть от народа, который считал ее своей доброжелательницей. Это чрезвычайно усиливало политическую позицию центральной власти, и то, что мыслимо было в Офирской земле, оказывалось невозможным в действительной России. Щербатов сознавал это. Проклиная «наше рабское и подлое терпение», он не задавался, однако, практической целью превращения России из деспотической страны в монархическую. Его записка о повреждении нравов оканчивается выражением той надежды, что со временем явится у нас государь, который пожелает восстановить добрые нравы как собственным своим хорошим примером, так и, в особенности, дарованием основательных прав государству. Когда явится такой монарх, «тогда изгнанная добродетель, оставя пустыни, утвердит среди градов и при самом дворе престол свой; правосудие не покривит свои вески ни для мзды, ни для сильного; здоимство и робость от вельмож изгонятся; любовь отечества возгнездится в серца гражданские, и будут не пышностию житья и не богатством хвалиться, но беспристрастием, заслугами и бескорыстностию». О появлении государя, способного совершить такую благодетельную революцию, следует «просить Бога».

А что делать в ожидании его появления? Стараться послужить стране, приспособляясь к существующему порядку и порой далеко, — по крайней мере, на нашу нынешнюю мерку, — заходя в процессе приспособления: Щербатов обращался с личными просьбами к той самой государыне, которую записка его о повреждении нравов изображает как убежденную защитницу «деспотичества». А когда слишком заболит сердце при виде многочисленных бедствий родной страны, тогда

отводить душу в резких, полных негодования статьях... заранее зная, что им не суждено быть напечатанными. Публицистические статьи Щербатова пролежали под спудом до конца 50-х годов XIX столетия [1]). *Как публицист,* кн. М. Щербатов был одним из «*лишних людей*» того времени, одной из «умных ненужностей», чтобы употребить здесь остроумное выражение А. И. Герцена. Статьям независимых публицистов Фелица предпочитала оды во вкусе Державинских.

VI

Врагом самовластия довольно долго считался у нас Я. Б. Княжнин за его трагедию «Вадим Новгородский», когда-то наделавшую суматоху «в сферах». Рассказывали, что за напечатание «Вадима» кн. Е. Р. Дашкова лишилась места президента Российской Академии, а сам Княжнин попал к знаменитому Шешковскому на допрос, после которого заболел и умер [2]). Это неверно. Я. Б. Княжнин скончался в январе 1791 г. [3]), и появление «Вадима» в печати, относящееся к 1793 г., не могло причинить своему автору какие бы то ни было неприятности. Полицейскую волокиту пришлось испытать за эту трагедию сыновьям Я. Б. Княжнина и некоторым другим лицам, имевшим то или другое касательство к ней. Сама пьеса была из'ята из обращения.

Еще О. Н. Козодавлев, служивший тогда одним из советников академической канцелярии, в своем докладе кн. Дашковой о «Вадиме» отозвался о нем, как о произведении, не содержащем в себе ровно ничего опасного. Он отметил также, что развязкой «Вадима» является торжество монарха над бунтом, и это правильно. Весьма ошибочно было бы считать злополучную трагедию Я. Б. Княжнина выражением республиканского взгляда. Да Княжнин никогда и не был республи-

---

[1]) В 50-х годах этого столетия они стали появляться в разных исторических изданиях. Записка о повреждении нравов впервые напечатана была в 1858 г. в Лондоне (выше она цитирована была по более исправному изданию в «Русской Старине» 1870—1871 г.г.). «Письмо к вельможам правителям государства» появилось в «Русской Старине» 1872 г. В 90-х годах под редакцией И. П. Хрущова вышло Собрание сочинений М. М. Щербатова, т. I, СПБ. 1896; т. II, СПБ. 1898. Самое обстоятельное исследование о Щербатове («Дворянский публицист Екатерининской эпохи») принадлежит В. А. Мякотину и напечатано в сборнике его статей: «Из истории русского общества», СПБ. 1906, стр. 102—166.

[2]) В «Исторических замечаниях» А. С. Пушкина сказано даже: «Княжнин умер под розгами».

[3]) Родился он в 1742 г.

канцем. Он искренно питал к императрице чувство верного подданного. Как известно, ей посвящена его первая трагедия «Дидона». В посвящении он говорил по адресу Екатерины:

Соделав власти цепь свободну, легку, стройну,
Ты в счастьи равенство нам первая нашла,
Блаженством никого из нас не обошла!

В своем «Послании к княгине Дашковой» он называл Екатерину отрадой на престоле, матерью не только подданных своих, но, — что, конечно, гораздо более лестно, — даже и муз, и опять утверждал,

Что мы в такой блаженной доле
До Ней и не бывали в век...

Разумеется, можно предположить, что политические взгляды Княжнина коренным образом изменились к тому времени, когда он стал писать «Вадима». В пользу этого предположения можно, пожалуй, сказать, что недаром же «Вадим» написан был в 1789 г., т.-е. когда началась Великая французская революция. Однако и это предположение неосновательно.

Французская буря повлияла на Я. Б. Княжнина разве лишь в том смысле, что сделала его очень осторожным. Как узнаем мы от его сына, в 1789 г. интересующая нас здесь «трагедия была отдана для представления в театр, и уже были розданы роли... но вскоре началась революция во Франции, и Княжнин сам увидел, что пьеса его приходится не ко времени. Он взял ее назад, и она пролежала у него в кабинете, на письменном столе, до самой его смерти».

Да и содержание трагедии отнюдь не свидетельствует об анти-монархическом настроении автора. Если Щербатов утверждал в своей «Истории», что Рюрик овладел самодержавной властью вопреки воле новгородцев, то в «Вадиме» власть Рюрика, — Княжнин называет его Руриком, — имеет совсем другое происхождение. Он не узурпатор, а верный слуга и благодетель народа.

Республиканец Вигор рассказывает своему другу Вадиму, который по случаю войны провел некоторое время в отсутствии и потому не знал, что произошло в Новгороде:

Едва пред войском ты расстался с сей страной,
Вельможи многие, к злодейству видя средство
И только сильные отечества на бедство,
Гордыню, зависть, злость, мятеж ввели во град.

Жилище тишины преобратилось в ад;
Святая истина отселе удалилась;
Свобода, встрепетав, к паденью наклонилась;
Междоусобие со дерзостным челом
На трупах сограждан воздвигло смерти дом.
Стремяся весь народ быть пищей алчных вранов,
Сражался в бешенстве за выборы тиранов.
Весь Волхов кровию дымящейся кипел...

Мы видим: свобода наклонилась к паденью не вследствие каких-нибудь происков Рурика, а благодаря гордыне, зависти и злости вельмож. Приглашенный на помощь Гостомыслом, Рурик удовольствовался тем, что восстановил в Новгороде порядок или, как выражается Вигор, возвратил новгородцам блаженство [1]).

Он вовсе не стремился к сохранению за собой власти, но, умудренный опытом, Гостомысл, умирая, нашел нужным сделать Рурика князем:

Народу завещал, да сохранит он власть,
Скончавшую его стенанья и напасть.
Народ наш, тронутый заслугой толь великой,
Поставил над собой спасителя владыкой [2]).

Дочь Вадима, Рамида, разговаривая о Рурике со своей наперсницей Селеной, говорит:

Воспомни ты, как он, победоносен, славен,
Доволен только тем, что нам благотворил,
В своей душе за то награду находил
И, мужеством прервав плачевны наши стоны,
Отрекся здешния завидной всем короны.
Тогда народ, страшась своих возврата бед,
Слезами орошал сего героя след.
В какие горести весь град сей погружался;
Казалося, нам час последний приближался [3]).

Правда, Рамида влюблена в Рурика. Но показание влюбленной девушки вполне совпадает здесь с свидетельством убежденного республиканца: самодержавная власть не только не была захвачена Руриком,

---

[1]) Это заставляет вспомнить об Екатерине, которая, как мы уже знаем от Княжнина, «блаженством никого из нас не обошла».

[2]) Действие I, явление 2-е.

[3]) Действие II, явление 1-е.

она была вручена, можно сказать, *навязана,* ему народом. И он, разумеется, не забывает об этом. Он говорит Рамиде:

Вельможи и народ мне дали здесь корону,
И, сердцем моему покорствуя закону,
Превыше вольности мою считают власть [1].

Та власть, которую народ считает превыше вольности, не может не быть очень прочной. Это ясно как самому Рурику, так и новгородским республиканцам. Один из них (Пренест) так об'ясняет Вадиму, почему они до сих пор не восстали против Рурика:

Познаешь сам, Вадим, сколь трудно рушить трон,
Который Рурик здесь воздвигнул без препон,
Прошеньем призванный от целого народа;
Уведаешь, как им от'ятая свобода
Прелестной властию его заменена;
Узнаешь, как его держава почтена,
И истинных сынов отечества сколь мало,
Которы, чувствуя грызуще рабства жало,
Стыдилися-б того, что в свете смертный есть,
В руках которого их вольность, жизнь и честь [2].

Прибавьте к этому, что Рурик своею кротостью и справедливостью все более и более упрочивает привязанность к нему новгородцев. Находясь под тяжелым впечатлением восстания Вадима, дочь которого, — уже знакомую нам Рамиду, — он любит, великодушный князь решается сложить *с себя корону*. Но народ *на коленях* умоляет его не делать этого. И тогда Рурик обращается к Вадиму с горькими и в то же время гордыми словами:

Коль власть монаршу чтишь достойной наказанья,
В сердцах граждан мои увиди оправданья;
И что возможешь ты против сего сказать? [3].

Вадим «заколается». Так поступает и дочь его Рамида. Это, конечно, ответ. Но если он внушает нам уважение к римской добродетели Вадима и его дочери, то победоносным этот ответ назвать никак

---

[1]) Действие II, явление 2-е.
[2]) Действие I, явление 2-е.
[3]) Действие V, явление 3-е.

нельзя: народ, во имя которого восставали Вадим и его единомышленники, высказался против них. И, конечно, не для того, чтобы уменьшить симпатию зрителей к Рурику, Княжнин заставил его воскликнуть в конце трагедии:

О рок! о грозный рок! о праведные боги!
. . . . . .
В величии моем лишь только тягость мне!
Страдая, жертвой я быть должен сей стране
И, должности моей стонающий блюститель,
Чтоб быть невольником, быть должен я властитель!..
Я буду, и себя с пути не совращу,
Где, вам подобен став, вам, боги, отомщу!

Это целый апофеоз власти, правда не ограниченной, но зато существующей по воле народа и всецело употребляемой на его благо. Рурик — один из тех идеальных властителей, на которых так часто возлагали свои упования литературные представители освободительной французской философии XVIII столетия. За что же рассердилась Екатерина? Почему был запрещен «Вадим»? Неужели для этого не было никакого основания?

VII

Мы знаем, что еще Сумароков любил, устами трагических героев, преподносить публике свои взгляды на человеческие «должности» вообще и на должности монархов в частности. Известно также, что публика очень любила наставительные речи, раздававшиеся с театральных подмосток. Речам Стародума «Недоросль» обязан был значительной, если не наибольшей, долей своего успеха. Наставительные речи были в обычае того времени: французские просветители сделали театр средством распространения своих идей. У Я. Б. Княжнина не было ни малейшего основания к тому, чтобы отказаться следовать этому распространенному обычаю. Его герои рассуждают о «должностях» еще охотнее, нежели герои Сумарокова. Какой успех имели их рассуждения на эту тему, показывает судьба «Росслава». Неизвестный автор предисловия к вышедшему в 1817 г. изданию сочинений Княжнина пишет:

«Во время представления сей трагедии многочисленная публика с восторгом приняла несравненное произведение пера великого стихотворца, и можно сказать, что каждый стих сопровождала громкими

рукоплесканиями». «Росслав» изобилует тирадами, преисполненными благородства. Ее главный герой провозглашает:

Тиранка слабых душ, любовь, раба Героя.
Коль счастья с должностью не можно согласить,
Тогда порочен тот, кто хочет счастлив быть.

В другом месте той же трагедии Росслав говорит Христиерну:

Ты долгом чтишь меня к измене принуждать,
А я, за общество со славой умирать.

В разговоре с Любомиром Росслав, заключенный Христиерном в оковы, с гордостью говорит:

Я зрю с презрением тиранново гоненье;
За общество ношу сих уз обремененье.

Против таких тирад Екатерина ничего не имела. Но ведь в них не было ровно ничего опасного для ее власти. Вступить в борьбу с чувством любви, если оно мешает исполнению обязанностей перед «обществом», или самоотверженно умереть за свою родину может и безусловный сторонник монархической власти. Говорят, правда, что до начала французской революции Екатерина не боялась и собственно политических рассуждений на сцене. При этом указывают на случай с трагедией Н. П. Николаева «Сорена и Замир».

Московский главнокомандующий запретил (в 1786 г.) представление этой трагедии, найдя в ней некоторые резкие выходки против самовластия. Тогда императрица написала ему: «Автор восстает против самовластия тиранов, а Екатерину вы называете матерью». Эти строчки могли тронуть многих наивных россиян того времени, они были умно написаны. Однако исследователи нередко придают им преувеличенное значение. По существу, истории с «Сореной» полезно противопоставить историю с трагедией Княжнина «Владимир и Ярополк», написанной гораздо раньше.

Эта трагедия приготовлена была к постановке на придворной сцене, но потом «оставлена без внимания» за «многие театральные неисправности». Согласно предположению В. Я. Стоюнина, князь Владимир был признан Екатериной неудобным к появлению на сцене в своем качестве *язычника*. Это может удивить, так как речь идет об ученице Вольтера. Но это становится вероятным, когда примешь в соображение,

что, как напоминает тот же В. Я. Стоюнин, ученица Вольтера, вскоре после своего восшествия на престол, писала: «Я, когда сюжеты вообще суть того века, когда идолам приносили жертвы, страдаю всегда, видя то на театре»! [1]) В деле о «Владимире и Ярополке» Екатерина, кроме своего благочестия, могла уступить и другим побуждениям. В этой трагедии встречались монологи вроде следующего:

К чему, Россия, ты теперь приведена
Волнением страстей твоих Князей строптивых!
Твоя зависит часть от взоров жен кичливых,
Страна героев, днесь игралище любви...

В царствование любвеобильной Фелицы подобные речи могли наводить публику, присутствовавшую в театральном зале, на не совсем выгодные для государыни размышления. Поэтому гораздо удобнее было оставить произведение Княжнина «без внимания». Но как бы там ни было, очевидно, что уже задолго до французской революции Екатерина умела, когда находила это нужным, выступать в роли строгого цензора литературных произведений.

Следует помнить, кроме того, что республиканцы, выведенные Княжниным в «Вадиме Новгородском», восстают не против «самовластия тиранов», а против монархической власти вообще, не делая исключения ни для государя-отца, ни для государыни-«матери». Посадник Пренест признает, что Рурик великодушен, кроток и справедлив, но продолжает относиться к нему с непреодолимым недоверием. Он убежден, что Рурик изменит свое поведение, как только утвердится на престоле:

Коль чтит законы днесь, во всем равняясь с нами,
Законы после все и нас попрет ногами!

Рурик носит личину. А если бы это было и не так, если бы он действительно любил справедливость, то власть непременно испортит его со временем:

Какой герой в венце с пути не совратился?
Величья своего отравой упоен,
Кто не был из царей в порфире развращен? [2])

---

[1]) См. статью *В. Я. Стоюнина*, Княжнин-писатель, в августовской книге «Исторического Вестника» за 1881 г., стр. 443. О Княжнине см. еще интересную статью г. *Юрия Веселовского*, «Идейный драматург Екатерининской эпохи Княжнин и его трагедии» в первом томе «Литературных очерков», Москва 1900, стр. 349—379.

[2]) Действие II, явление 4-е

Такое понятие о нравственном влиянии монархической власти на монархов делает невозможным какое бы то ни было примирение с ним для людей, искренно преданных общественному благу. Оттого-то Вадим и его друзья в самом деле ни за что не хотят примириться с Руриком. В этом отношении герой Княжина представляет собою полную противоположность такому заговорщику, как Цинна у Корнеля.

Когда измена открыла Августу все нити заговора, император великодушно предлагает Цинне свою дружбу:

Soyons amis, Cinna, c'est moi qui t'en convie...

И Цинна поспешно схватывает руку, протянутую ему владыкой Рима. Проникнутый умилением, он кричит:

O vertu sans exemple! O clémence qui rend
Votre pouvoir plus juste et mon crime plus grand!

С такими заговорщиками еще можно поладить. Но нет никакого способа поладить с Вадимом, который, будучи взят с оружием в руках и находясь во власти Рурика, так отвечает ему на предложение дружбы:

Мне другом? Ты? В венце? Престани тем пленяться!
Скорее небеса со адом с'единятся!.. [1])

Когда народ опять навязывает Рурику власть, от которой он только что отказался, Вадим видит себя побежденным внешними обстоятельствами. Он говорит Рурику:

Я вижу, власть твоя угодна небесам.

Но это нисколько не колеблет его республиканских убеждений. Он клеймит своих коленопреклоненных сограждан словом беспредельного презрения:

О гнусные рабы, своих оков просящи!
О стыд! Весь дух граждан отселе истреблен!
Вадим! Се общество, которого ты член!

В трагедии Княжнина столкновение разрешается самоубийством Вадима и его дочери. А как и кем разрешилось бы в тогдашней русской действительности столкновение, *хотя бы отчасти* похожее на это? По приказанию Фелицы, его разрешил бы на свой, — тоже в некотором роде трагический, — лад «кнутобоец» Шешковский. Ни на какое другое разрешение Екатерина не могла бы согласиться. А если это так, то

[1]) Действие V, явление 3-е.

не могла она согласиться и на то, чтобы на сцене «российского феатра» выступали нераскаянные республиканцы вроде Вадима, Пренеста и Вигора. Положим, у Княжнина они разбиты на-голову и хотя косвенно, однако тем не менее весьма решительно осуждены тем самым народом, благо которого они хотели отстаивать. Но Княжнин изобразил их такими благородными, так самоотверженно преданными своей идее, что они оставались опасными, даже потерпев полное поражение. Этого Фелица не могла одобрить не только после того, как началась революция и гильотина сняла голову французскому королю, но даже и в самом начале своего царствования. Сатирические журналы конца 60-х и начала 70-х годов никогда не доходили до изображения в привлекательном виде нераскаянных противников монархической власти, а между тем Екатерина очень быстро положила конец их существованию. Чтобы заслужить ее одобрение, нужно было вывести Вадима на сцену в совершенно другом виде. Известно, какое освещение получило его легендарное восстание в ее собственной, написанной в подражание «Шекспиру», драме «Историческое представление из жизни Рюрика».

Начать с того, что попытка Вадима признается равносильной измене [1]). Кроме того, измену он «учиняет» не из любви к республиканской свободе, а потому, что завидует Рюрику и сам хочет «сесть на престол деда» своего [2]). Наконец, когда победоносный Рюрик прощает его, Вадим падает на колени и смиренно говорит:

«О Государь! ты к победам рожден, ты милосердием врагов всех победиши, ты дерзость тем же обуздаешь... Я верный твой подданный вечно» [3]).

Вот какие «исторические представления» нужны были Семирамиде Севера. В своем изображении противников существующей власти наши драматурги не должны были итти дальше образца, данного Корнелем в своем «Cinna, ou la clémence d'Auguste» [4]). А Княжнин пошел гораздо дальше, и потому «Вадим Новгородский» вызвал сильное неудовольствие Екатерины, несмотря на то, что автор хотел изобразить торжество монархической власти. В лице Вадима, Вигора и Пренеста на русскую сцену выходили действующие лица, способные оказать пагубное влияние на русского обывателя. Их пример был бы опасен всегда и, конечно, становился еще более опасным в эпоху французской

---

[1]) Слова посадника Добрынина во 2 явлении V действия.

[2]) Действие I, явл. 5-е.

[3]) Действие V, явл. 5-е.

[4]) «Цинна, или милосердие Августа».

революции. Неудивительно, что Екатерина сочла напечатание «Вадима» за личную для себя обиду. «Что я вам сделала, — спросила она княгиню Дашкову, — что вы распространяете против меня и моей власти такие опасные правила?». Дашкова принялась доказывать ей, что у Княжнина были самые хорошие намерения. Но ей удалось только смягчить, а не переубедить Екатерину. И это, как мы видим, совершенно понятно [1]).

VIII

Нельзя ставить художнику в вину те взгляды, которые высказывают его герои. Вопрос может быть тут лишь о художественной правде изображения характеров, а следовательно и взглядов. Это неоспоримо. Но ведь Екатерина подходила к этому предмету совсем с другой стороны. Она могла бы сказать: «Если бы речи, произносимые Вадимом, Витором и Пренестом, и не соответствовали их характерам, то они своим политическим содержанием могли бы повредить мне, оказав нежелательное для меня влияние на моих подданных, поэтому я предпочитаю из'ять «Вадима» из обращения». И по-своему, она была бы права.

Я уже не раз говорил, что экономический строй тогдашней России делал невозможным возникновение в ней сколько-нибудь серьезного движения в духе освободительных идей XVIII столетия. Мы знаем, что даже «вольтерьянцы» наши плохо усваивали себе эти идеи, но что передовые французские учения, попадая в Россию, все-таки шевелили русские умы, — это находится вне всякого сомнения. Кн. М. М. Щербатов был *большим* консерватором в *социальном* отношении. Но его ненависть к «*деспотичеству*» возникла, очевидно, под сильным влиянием французской литературы. Я. Б. Княжнин, вероятно, так и умер в том же убеждении, что Екатерина II принесла с собой блаженство всему населению России. Он был убежденным монархистом. Однако его неукротимые республиканцы своими речами, несомненно заимствованными у французов, могли вызвать или укрепить чувство политического протеста в сердце иного зрителя или читателя. Дело в том, что, как

---

1) «Вадим Новгородский» был напечатан кн. Дашковой отдельной брошюрой а потом вошел в XXXIX часть «Российского Феатра или полного собрания всех российских феатральных сочинений». Впоследствии перепечатан в мартовской кн. «Русской Старины» за 1871 год. Выше Вадим цитирован мною по этому изданию. В 1897 г. А. Л. Бурцев воспроизвел эту трагедию в первой части своего «Описания редких Российских книг».

сказано в одной из предшествующих глав, царствование Екатерины II было началом, правда крайне скромным, новой эпохи в истории нашей передовой интеллигенции. Эта последняя начала становиться в отрицательное отношение к той самой власти, которой она служила е только за страх, но и за совесть, пока находилась под непосредственным влиянием Петровской реформы.

«Ученая дружина» времен Кантемира смотрела на самодержавие как на «Моисеев жезл», с помощью которого только и можно одолеть старое московское варварство, далеко не сразу признавшее себя побежденным. Но во второй половине XVIII века уже нельзя было опасаться того, что Россия повернет назад к допетровской старине. Разумеется, одописцы, к числу которых принадлежал и Княжнин, вызвавший неудовольствие Екатерины своим «Вадимом», сильно грешили против истины, когда «пели», что «жало невежества теперь уж совсем бессильно» [1]). Покинув некоторые из своих старых допетровских позиций, невежество, опиравшееся на целый легион Скотининых и Простаковых, все-таки продолжало представлять собою страшную силу. Поэтому передовая русская интеллигенция с восторгом встречала все правительственные мероприятия, так или иначе направлявшиеся на борьбу с невежеством. Она готова была поддерживать их всеми силами. Но, к огорчению, она стала замечать, что невежество нередко встречает себе поддержку со стороны правительства просвещенной Фелицы. Вследствие этого в ее среду проникало недовольство, и у некоторых ее представителей шевелился вопрос: «а что если «Моисеев жезл» есть не более как орудие застоя?». И тогда они начинали говорить и писать вещи, которые приводили в величайшее негодование «матушку-государыню».

Скоро мне придется подробно говорить о двух самых крупных представителях передовой русской интеллигенции XVIII века: об А. Н. Радищеве и о Н. И. Новикове. Теперь же я хочу посвятить две-три страницы мало известному, талантливому, мало влиятельному, но искреннему, пытливому и много пострадавшему Федору Кречетову. Его пример довольно поучителен.

Дворянин по происхождению, но, кажется, плохо обеспеченный, Кречетов начал службу писцом в канцелярии Карачевского воеводы (1761 г.). Потом он служил копиистом в государственной юстиц-коллегии, писарем в штабе фельдмаршала Разумовского и т. п. В 1775 г. он, дотянув до подпоручика, вышел в отставку, а несколько лет спу-

[1]) Выражение того же Княжнина в его «Послании» к кн. Дашковой.

стя, как видно, опять поступил на службу, был произведен в поручики и причислен к герольдии Правительствующего Сената. Этим и закончилось его медленное восхождение по чиновной лестнице. В будущем его ждали только неудачи и жестокие преследования [1]).

Между своими товарищами по канцелярской службе Кречетов был чем-то вроде белого ворона, так как много читал, думал и даже сам задавался широкими литературными планами.

Впоследствии, когда он попал в Тайную Экспедицию, его допрашивали, зачем он делал выписки из сочинений, посвященных политическим вопросам. Особенно заинтересовали Тайную Экспедицию выписки из книги: «О государственном Правлении». Выписки эти заслуживают внимания не только с точки зрения Управы Благочиния.

В них говорится о том, что общество имеет право устраивать, как найдет нужным, свое правительство и вносить в него любые изменения; что главной целью всякого правительства должно быть народное благо [2]), а самое большое «благо народа — вольность, которая в обществе, составляющем Государство, есть то, что здравие в каждом человеке». Дальше идут соображения о том, что законы во всяком случае должны обуздывать гордость владычествующих и что нужна временная или постоянная власть, «устрашающая благородных».

Республиканских идей в выписках, приведенных в статье г. Королькова, не встречается. В них даже сказано, что царствование добродетельного и справедливого монарха может принести с собою золотой век. Но зато прибавлено, что «ежели монарх не таков, то начальное основание, служащее к возвышению душ его подданных... превращается в подлость и рабство». Это, конечно, не могло понравиться чиновникам Тайной Экспедиции. И было ясно, что мысль Кречетова уже перестала довольствоваться ходячими понятиями о политической власти. Однако из этого еще не следует, что Кречетов усвоил себе политические учения идеологов французской буржуазии. Надо помнить, что в данном случае семена западных учений попадали в почву, получившую своеобразную подготовку.

---

[1]) См. статью *Г. М. Королькова*: «Поручик Федор Кречетов — Шлиссельбургский узник XVIII столетия» в апрельской кн. «Былого» за 1906 г.

[2]) Это напоминает Гельвеция, доказывавшего, что народное благо есть высший закон. К сожалению, из статьи г. Королькова, имевшего возможность документально ознакомиться с делом Кречетова, не видно, кто был автором книги «О государственном Правлении». Ясно только, что в ней выражались передовые политические идеи того времени.

В своей юности Кречетов учился очень мало. Он получил «домашнее» образование, а в этом образовании в качестве учебных пособий служили тогда по старому обычаю псалтырь и другие священные книги. Любознательный юноша очень усердно читал печатные произведения этого рода. Они произвели на него значительное впечатление и не переставали привлекать его внимание даже и в зрелом возрасте. Поэтому взгляды, сложившиеся у него с течением времени, представляли собой смесь передовых идей французской философии с более или менее оригинально истолкованным христианским учением.

Но и эти смешанные, — скажу прямо, запутанные, — взгляды первоначально не заключали в себе ровно ничего оппозиционного. Кречетов долго верил, что Екатерина II принадлежит к числу именно тех монархов, которые приносят с собою золотой век, и собирался по мере своих сил способствовать осуществлению ее просветительных планов. Он вознамерился учредить «Всенародное, вольное к благодетельствованию всех общество», целью которого было заведение школ для распространения в России юридических знаний. В качестве человека, собственный опыт которого должен был хорошо ознакомить его с ужасами нашего правосудия, Кречетов считал юридическое образование населения самым необходимым условием обеспечения народного блага. Наивно думая, что правительство Екатерины может только одобрить его благое намерение, он подавал как самой государыне, так и Синоду, митрополиту и разным вельможам прошения, в которых усердно доказывалась все та же мысль о необходимости поскорее организовать проектированное им общество. В то же время в воззваниях, обращенных то к гражданам вообще, то к женщинам, то к духовенству, он распространялся о пользе просвещения и, наконец, писал стихи, в которых опять говорил о том, как важно для общества правосудие [1]).

Большое сочинение в стихах, озаглавленное: «Камилловы пять сновидений», содержит в себе целую философию истории. Кречетов там повествует о том, как возникли разного рода власти,

... Как в обществах введен закон иметь судей,
На толик всех предмет, чтобы лучших избирати
Из всех родов людей, судьями заседати,
Которые б могли судить разумно всех
По правде...

[1]) Вспомним, как жестоко воевала с «крапивным семенем» наша сатира XVII столетия.

Первоначально дела разбирал сам народ, но после, «за трудностью народ на суд сбирать», постановлено было дать разумнейшим звание сенаторов и поручить им решение «общих всяких споров». Однако сенаторы стали злоупотреблять вверенной им судебной властью. Явились неправды, раздоры, ссоры и драки. Ввиду этого граждане сказали себе:

. . . . . да изберем Монарха
И к оному еще на помощь Патриарха,
Которые б для всех имели правый суд,
И пусть они на то нам дело присягнут:
Чтоб быть Монархам—всем нам милыми отцами
А Патриархам—как добрым пастырям над (кроткими) овцами [1].

Заметьте, монархия изображается здесь средством борьбы с бедствиями, порожденными учреждением Сената, т.-е. аристократией. Кречетов вообще не сочувствовал аристократическим стремлениям родовитого дворянства. В споре между *породой* и *чином* он был на стороне чина. Он писал, что честь должна принадлежать тому, кто оказал государству услуги, а не тому, кто происходит от знатных предков:

Какую пользу в том имеет Государство,
Коль кто, за пятьсот лет считав свое дворянство,
Для пользы общия не сделав ничего,
Имеет право то ж, как дед имел его.

Скажу больше. Из его бумаг не видно, чтобы он имел какое-нибудь возражение против той мысли, выписанной им из книги «О государственном Правлении», что нужна власть, способная устрашить «благородных».

Светская власть государя дополняется у Кречетова духовной властью патриарха. О демократии нет и речи: с нею покончено весьма простым соображением о трудности «народ собрать». Политическое вольномыслие автора дает себя чувствовать разве лишь в намеке на законы, называвшиеся у Паниных *фундаментальными,* а у Щербатова — *основательными:*

А в Россах чтоб успеть уставить добры нравы,
Потребно учредить всеобщие уставы:
Чтоб добрых не казнить детей за злых отцов,
А злых не награждать за добрых их дедов,
Но всякому свое чтоб воздавати право.

[1]) Там же, стр. 45.

Намек, заключающийся в этих строках, так скромен, что решительно не может служить признаком революционного настроения их автора. Да и невозможно подозревать в таком настроении человека, написавшего, — как раз около того времени, к которому относятся «Камилловы сновидения», — «Оду в честь мудрого правления Екатерины II» [1]).

Так как до 1787 г. из его многочисленных сочинений появилась в печати только одна брошюра: «Не всио и не ничево», то в этом году он задумал напечатать их в особом периодическом издании. Об'явление об этом издании вышло в виде брошюры, озаглавленной: «Открытие нового издания; души и сердца пользующего. О всех и за вся и о всем к всем или Российский Патриот и патриотизм» [2]). Но тут ему не повезло.

Петербургский митрополит нашел заглавие новой брошюры сомнительным, так как слова: «о всех и за вся» произносятся во время литургии. Он обратил на него внимание полицеймейстера. Полицеймейстер отнесся к Управе Благочиния. Управа Благочиния, подвергнув допросу больного тогда Кречетова, нашла, что дело это ей не подсудно, и передала его в Нижний Надворный Суд. Словом, пошла писать губерния, как выражается Гоголь. Результатом волокиты, к которой приложил значительные усилия тот же петербургский митрополит, явилось запрещение Кречетову упражняться «в таких не заслуживающих одобрения сочинениях» и печатать их «самовольно».

Это значило: перестань заниматься литературой. И это было тяжелым ударом для Кречетова. Он стал озлобляться против государыни, мудрое правление которой он так недавно превозносил в своей оде. У него стали вырываться резкие отзывы о ней и вообще о наших порядках. А это повело за собою новую, на этот раз еще гораздо более неприятную, волокиту.

IX

В апреле 1793 г. некто Малевинский, домашний парикмахер гр. Г. Г. Татищева, у которого жил тогда Кречетов, подал петербургскому губернатору донос, где было, между прочим, сказано что «он (Кречетов.—*Г. П.*) , негодуя на необузданность власти, восстав на зло-

[1]) В статье Королькова напечатано, что ода написана была в 1775 г., но по ходу изложения видно, что это *опечатка* и что ода относится к 1785 г., т.-е. к году, следующему за окончанием «Камилловых сновидений».

[2]) В расстановке знаков препинания следую подлиннику.

употребления, возвращает права народу». В приложенном к доносу прошении на имя императрицы Малевинский доводит до ее сведения, что Кречетов произносил «непристойные и укорительные слова» по ее адресу, бранил «Высочайших наследников» (sic!) и государство, а «весь Сенат ругал, яко воров и разбойников». Наконец, предатель докладывал, что «Кречетов собирается просветить Россию и тем избавить народ от царского ига, в котором (sic!) он по слепоте своей пребывает, и путем общего законодательства сделать законы ненарушимыми» [1]).

Донос Малевинского подтвержден был показаниями некоего Скворцова, а особенно регистратора Окулова, бывшего приятелем Кречетова. Кроме резких отзывов о государыне, наследнике престола, митрополите, Тайная Экспедиция услыхала от Окулова, что Кречетов, рассуждая о французской революции, прибавлял, что такой же взрыв может произойти и в России. Чиновникам, производившим следствие, стало ясно, что они имеют дело с очень опасным преступником.

Как человек «злого нрава и гнусной души», как «совершенный бунтовщик» и как «изверг рода человеческого», Кречетов, собиравшийся «сделать в России правление таково, которое бы разрушило все благоустроенное в нынешнем положении Государство», приговорен был к заключению в Петропавловской крепости «до Высочайшего указа», т.-е. на неопределенное время. Но неопределенность закралась в приговор совсем не потому, чтобы судьи считали возможным со временем освободить узника. Нет! В Петропавловской крепости решено было содержать его «до указа» в силу другого соображения: «потому паче, — сознается приговор, — что иногда не откроется ль еще какого на него здесь извещения» [1]).

Это соображение очень скоро оправдалось. Через месяц после приговора Кречетова опять потянули в Тайную Экспедицию, так как в его бумагах найдены были новые доказательства его злых намерений. В одной записке у него сказано было, что следует «об'яснить великость дел Петра III». Правительство Екатерины II захотело узнать, в чем эти дела заключаются. Кречетов об'яснил, что разумел под ними два указа: «во-первых, о вольности дворянства», а во -вторых, о том, чтобы истцов не отдавать под суд тем, на которых они жалуются или доно-

---

[1]) Там же, стр. 47, 48, 49.

[2]) Там же, стр. 58.

сят. Потом ему поставлено было еще несколько вопросов в таком же роде. Так, из другой записки Кречетова видно было, что он собирался, — *только собирался*, — написать новое толкование на символ веры. Это его намерение признано было преступным, так как старый символ «кровью великого числа мучеников запечатлен». Но подобные обвинения едва ли принимались всерьез. Важнее был следующий отзыв Кречетова о государях. Его спросили, как понимать ту его, — тоже занесенную им на бумагу, — мысль, что Иисус есть монарх всего рода человеческого. «Мы и кроме Иисуса Христа имеем монархов, разумея под сим титлом самодержавных коронованных глав», обидчиво прибавляли судьи. Кречетов отвечал: «Я бы думал признать монархом одного Иисуса Христа, а коронованных глав я почитаю лишь как хранителей закона и исполнителей его».

Злая воля его подлежала теперь в глазах власти еще меньшему сомнению, чем прежде. В новом докладе об его деле генерал-прокурор писал:

«Из всех его мыслей и произносимых им слов видно, что он не хочет, чтобы были монархи, а заботится более о равенстве и вольности для всех вообще, ибо он, между прочим, сказал, что раз дворянам сделали вольность, для чего ж не распространить оную и на крестьян, ведь и они такие же человеки». Нельзя не признать, что такая мысль непременно должна была показаться крайне «гнусной» дворянскому правительству Екатерины II: после указа о вольности дворянства крестьяне принялись рассуждать совершенно так, как рассуждал в этом случае Кречетов, и местами отказались повиноваться помещикам. Надо было подальше запрятать «изверга», высказывавшего такие мысли. По повелению Екатерины, Кречетова перевезли в Шлиссельбургскую крепость [1]).

Кречетов вышел из тюремного заключения только по восшествии на престол Александра I. Павел, который освободил многих лиц, осужденных Екатериною, не захотел распространить на него свою милость: вероятно потому, что, резко отзываясь об императрице, Кречетов не щадил и наследника престола.

Подводя итог тем взглядам, к которым пришел этот многострадальный неудачник, разочаровавшись в Екатерине, следует прежде всего отметить, что они отличаются *большою умеренностью*. Не отрицая

[1] Там же, стр. 60.

своих резких отзывов о государыне и только стараясь об'яснить их раздражительностью, вызванною болезненным состоянием, Кречетов решительно отверг приписанное ему Окуловым сочувствие к тому, что происходило тогда во Франции. Из его об'яснений видно, что революция представлялась ему *«величайшим злом»*, которого Россия *может и должна избежать посредством своевременных реформ.* Возможно, что до начала во Франции террора он иначе относился к революции, но террор испугал его, как испугал он во Франции и за ее пределами всех тех, которые, осуждая старый порядок, надеялись, что свобода может быть куплена не очень дорогой ценой. Ниже мы увидим, что взгляд на революцию как на зло, появлению которого в России следует помешать своевременными реформами, разделялся у нас также многими декабристами.

Но это не все. Хотя Кречетов, мысль которого совпала тут с заветной думой народа, и находил, что дворянская вольность логически должна повести за собой освобождение крестьян от крепостной зависимости; хотя он, кажется, и соглашался с тем, что нужны законы, устрашающие благородных, но к народу он относился с презрительным недоверием. Отвергая приписываемое ему намерение освободить крестьян посредством военного бунта, он утверждал, что «и мыслей таковых иметь не мог», так как хорошо знает, какие бедствия могут произойти «в общежитии из вольности *невежд*». Он был убежден, что давать невеждам вольность «есть то же самое, что давать детям ножи вместо игрушек». Развивая эту идею, он прибавил, что «настоящую силу свободы и грамотные не все разумеют, а у нас в народе великая часть грамоте неумеющих» [1]).

Если вольность «невежд» представляет собою нечто крайне опасное для «общежития» и если, с другой стороны, лица, держащие в своих руках судьбы страны, пренебрегают ее благом, то выхода нет. спасения ждать неоткуда. Это умозаключение само собой должно было навязываться по временам Кречетову. И поскольку он останавливался на нем, постольку он должен был переживать безотрадное настроение.

Кто, желая работать на пользу народа, видит в нем лишь невежественую массу, не способную к исторической самодеятельности, тот неизбежно чувствует себя очень слабым. Передовая русская интеллигенция сознавала это и, все более и более настойчиво, порою не от-

---

[1]) Там же, стр. 57.

ступая даже перед самообманом, стремилась додуматься до такого взгляда на трудящуюся массу, который позволял бы верить, что, несмотря на свою неграмотность, масса эта способна понять и отстоять как свой собственный интерес, так и совпадающий с ним интерес всего «общежития».

Зачаток такого взгляда мы найдем уже у Радищева [1]).

[1]) Кстати. Разговаривая с Окуловым об аресте Радищева, Кречетов, хотя и порицал Екатерину за строгое к нему отношение, однако утверждал, что «Радищев своею книгою одно дурачество и глупость показал». (См. там же стр. 52). На чем основывался этот резкий отрицательный отзыв, остается совершенно неизвестным.

Глава XI

Реакция против освободительной философии XVIII века на Западе и в России

I

Передовая философия XVIII века была теоретическим выражением практических стремлений третьего сословия во Франции. Совершенно понятно, что она встречала энергичный отпор со стороны тех классов, интересам которых противоречили эти стремления. Не нужно обманываться тем, что в некоторых салонах французской аристократии охотно рассуждали о сочинениях энциклопедистов. Тут было крайне поверхностное увлечение, лишь в малой степени уменьшавшее те трудности, которые стояли на пути к распространению новых философских идей. Вспомним хотя бы судьбу «Энциклопедии». Как часто приходилось ее редакторам и издателям дрожать за ее судьбу. Главный редактор ее, благородный Дидро, собственным горьким опытом узнал, сколько препятствий лежит на пути к осуществлению освободительного идеала новой философии. Он утешал себя, как мы знаем, тою мыслью, что в отсталых странах, где еще «ничего не сделано», этот идеал может быть осуществлен с большею легкостью. Но уже одно то обстоятельство, что этот *передовой* француз мог видеть в *отсталости* залог прогресса, показывает, что он ясно сознавал, какую тяжелую борьбу придется выдержать последователям новой философии в передовых странах Европы.

С этой философией светская власть боролась так же усердно, как и духовная.

Светская власть действовала через посредство прокуроров, облекавших в юридическую форму обвинения, выдвигавшиеся против авторов «нечестивых произведений» (productions de l'impiété) [1]; через посредство

[1] Для примера укажу на обвинительную речь, с которой прокурор Сэгье выступил в 1770 г. против «Système de la Nature» и шести других «дурных» книг.

палачей, сжигавших эти произведения, когда судьи выносили против них запретительные приговоры, и, наконец, через посредство тюремщиков, под надзором которых содержались провинившиеся писатели, когда их отправляли в Бастилию, в Венсэн или в другие места заключения.

Духовная власть выступала в лице разных, более или менее высокопоставленных, сановников католической церкви, которые, обличая новых мыслителей «в превратных толкованиях», тем самым навлекали на них громы прокурорского красноречия [1]). Точка зрения церкви защищалась также целым легионом писателей, выступавших на самых различных поприщах, — вплоть до театральной сцены. Орган иезуитов, «Le Journal de Trévoux», и орган янсенистов, «Les Nouvelles ecclésiastiques», вели ожесточенную и систематическую пропаганду против освободительной философии.

Кроме этих *официальных* противников, освободительная французская философия имела еще — *неофициальных*. Эти последние относились к ней с такою же ненавистью и были для нее не менее, если даже не более, опасны. Я говорю о *мистиках*.

Что такое *мистицизм?* Еще Фейербах справедливо жаловался на слишком большую неопределенность этого выражения. Поэтому я нахожу полезным отметить здесь те стороны мистического взгляда на мир, которые наиболее важны для истории общественной мысли. Обращаюсь к помощи А. Н. Пыпина.

«Название мистицизма, — писал он, — прилагается, вообще, к тому нравственно-религиозному взгляду, который принимает, что ясное понятие о божестве, природе и человеке невозможно для обыкновенного человеческого познания, что этого понятия не дают и положительные религии, и что оно достигается непосредственным приближением к божеству, чудесным единением с высшим божественным миром, которое происходит вне всякой деятельности сухого рассудка» [2]).

---

[1]) Впрочем, католическая церковь навлекала эти громы на «вредных» писателей не только проповедями, но очень часто и прямыми доносами. Как заметил один французский писатель, начиная с половины XVIII века ни один с'езд французского духовенства не закончился без того, чтобы не обратить внимания короля и магистратуры на успехи «философизма» (progrés du philosophisme). Преследование против «Système de la Nature» начато было вследствие представления, сделанного королю духовным с'ездом 1770 года. Лицо, делавшее это представление от имени с'езда, жаловалось королю, между прочим, на то, что автор «Système de la Nature» продолжает «наслаждаться зрелищем неба, которое он оскорбляет».

[2]) «Русское масонство», Петроград 1916, стр. 204.

Это определение можно признать удовлетворительным для нашей цели, так как оно выдвигает на первый план именно те стороны мистицизма, на которые нам необходимо обратить внимание.

Когда прочен данный общественный строй, тогда непоколебима и возникшая на его основе система религиозных верований. Когда он отживает свой век, тогда разлагается и названная система. Это же видим мы и во Франции XVIII века. Упадок «старого порядка» сопровождался в ней ослаблением влияния католической церкви. Однако далеко не все французы, ушедшие из-под влияния католицизма, отказались тогда от анимистического взгляда на мир. В истории человеческой культуры убеждение в том, что мир управляется одним, несколькими или многими духами, предшествовало возникновению положительных религий. И оно пережило очень многие из них. Когда стали разлагаться религии античного мира, анимистическая точка зрения осталась крайне распространенной. И тогда начал усиливаться *мистицизм,* характеризующийся, как мы уже слышали от А. Н. Пыпина, верой в возможность непосредственного единения человека с божеством и вообще с духами.

Нечто подобное произошло и во Франции, когда в ней стал рваться по всем швам «старый порядок» (l'ancien régime). Разложение «старого порядка» повело за собою упадок влияния католицизма. Но этим самым вызвана или усилена была склонность к мистицизму во многих из тех французов, которые, хотя и перестали уже удовлетворяться католической религией, но еще не возвысились до научного взгляда на мировой процесс, как на процессе закономерный и в самом себе заключающий свою причину, а стало-быть и свое об'яснение.

Не всем мистикам в одинаковой степени свойственно равнодушие к положительным религиям. Тут, как и везде, есть оттенки. Некоторые мистики совсем порывают связь с положительными религиями; другие — стараются сохранить свою связь с тою или другою из них. Так, русские мистики XVIII столетия в огромнейшем большинстве случаев искренно считали себя верными членами православной церкви. Однако в большей или меньшей, — иногда, как только что сказано, совсем малой, — степени равнодушие к догматам и обрядам положительных религий свойственно всем вообще мистикам. Некоторые из них даже нападали на положительные религии. Но это вовсе не значит, что они были сторонниками научного мировоззрения. Нет, людям, склонным к мистицизму, это мировоззрение, пожалуй, еще более чуждо и ненавистно, нежели приверженцам положительных религий. Поэтому не-

редко бывало так, что мистики осуждали ту или другую положительную религию, главным образом потому, что она, по их мнению, служила недостаточно сильной опорой *против неверия*.

Вот, например, известный французский мистик XVIII века Сен-Мартэн (1743 — 1803), осуждая католицизм, говорил: «Ce sont les prêtres qui ont engendré les philosophes, et les philosophes qui engendrent le néant et la mort» (священники породили философов, а философы родят всеобщее уничтожение и смерть). Ясно, что главным злом своего времени он считал не католицизм, а освободительную философию. И неудивительно, что философы, которых так не любил Сен-Мартэн, платили ему тою же монетою. Вольтер отзывался о книге «неизвестного философа» [1]) «Des erreurs et de la vérité ou des hommes rappelés au principe universel de la science», вышедшей в 1775 г., как о самом нелепом произведении, какое только случалось ему читать [2]).

Говоря об этом сочинении, один из наших исследователей заметил недавно, что автор его «под маской таинственности делал нападение на религии и на самую власть» [3]). Мы уже знаем, как надо понимать нападки Сен-Мартэна на католицизм. Что касается его отношения к власти, то оно вполне соответствовало его отношению к религии. Он был недоволен современными ему французскими порядками. Но при этом он утверждал, что перемены к лучшему следует ожидать не от человеческой мудрости, а от вмешательства провидения (une intervention de la Providence) в ход исторического развития Франции. Общий характер миросозерцания Сен-Мартэна, игравшего очень большую роль в мистической литературе XVIII столетия, может быть выражен в том, что у него многое заимствовал величайший реакционер конца XVIII и начала XIX столетий, талантливый и страстный Жозеф де-Мэстр.

Вполне понятно, что философы, которых так не любили мистики, нимало не обманывались насчет истинной природы мистицизма. Автор напечатанной в «Энциклопедии» статьи «Théosophes» называет мистиков людьми, страдающими периодическим расстройством (dérangement périodique de la machine). По его словам, современные ему французские

---

1) Псевдоним Сен-Мартэна.

2) «Не думаю,—говорил он,— чтобы когда-нибудь было напечатано что-либо более абсурдное, темное, нелепое и глупое, чем эта книга».

3) Г. Васютинский в статье «Французское масонство» («Масонство в его прошлом и настоящем», под редакцией С. П. Мельгунова и Н. П. Сидорова, т. I, стр. 52).

мистики старались до последней возможности уменьшить область разума и ограничить область челевеческих знаний книгами Ветхого и Нового Завета. Мы погрузились бы в варварство, если бы правительства послушались их советов, — говорит он.

Отвергая французскую философию XVIII века, мистики больше всего нападали на материалистов, которых Сен-Мартэн называл «les philosophes de la matière». Это — логично, так как материалистическая философия, и только она одна представляет собою полную противоположность философии мистицизма. Для материалиста человек, со всеми своими свойствами, есть не более как часть природы. Для мистика сама природа есть не что иное, как откровение божества.

По учению Сен-Мартэна, физический мир есть символ мира духов, а мир духов есть символ божественного мира. Согласно материалистической теории, единственным источником познания служит опыт, истолкованный человеческим разумом. По учению мистиков, наиболее глубокие, единственные, истинные познания достигаются посредством божественного откровения. Мистическая философия природы есть не что иное, как теософия. Материалист отказывается верить в то, чего он не понимает. Мистик говорит: crede, ut intelligas! (верь, чтобы понимать). Материалист отвергает магию с тем же презрением, с каким относится он ко всякому знахарству и колдовству. В глазах мистика, магия есть нечто гораздо более почтенное и серьезное, нежели наше обыкновенное естествознание. Сен-Мартэн поставил себе задачу привести человеческий дух к «сверх'естественным вещам» (aux choses surnaturelles).

Тот же Сен-Мартэн говорит, что надо об'яснять вещи (природу)— человеком, а не человека — вещами (природой) [1]). В этих немногих словах, как нельзя ярче, обозначена прямая противоположность мистического мировоззрения материалистическому.

Исходной точкой материалистического учения о человеческом характере служила та мысль, что он складывается под влиянием окружающей обстановки. Важнейшей составной частью этой обстановки является, по мнению материалистов, общественный строй. Об'яснять человеческий характер общественным строем значило об'яснять человека, если не *вещами*, то *отношениями* (общественными). С этим, раз-

---

1) Вполне верный этому взгляду, он учил, что *нужно изучать телеологические законы природы и первопричину ее бытия, а не явления.*

умеется, не могли помириться мистики. В своем учении о человеческом характере они отправлялись от понятия о человеческой душе. В ней живет, — говорили они, — частица божественного огня, и, чтобы надлежащим образом воспитать человека, нужно только воспользоваться ею. Ввиду божественного происхождения этой частицы, совершенно ясно, что общественные отношения никак не могут иметь на нее решающего влияния. Царство божие внутри нас. И достигается оно не переустройством общества, а известными духовными «упражнениями», главным образом мистическими, т.-е. имеющими целью непосредственное единение человека с божеством.

Излагая «философию» знаменитого германского мистика Якова Бёме (1575 — 1624 г.г.), Виндельбанд заметил, что *этическим* следствием ее надо признать *бегство из мира* [1]). Это справедливо не только в применении к «философии» Бёме. *Всякая* мистическая мораль есть не что иное, как проповедь бегства из действительного земного мира в фантастический духовный мир. Мистики нападали на материалистическое учение о нравственности, наивно принимая его за проповедь эгоизма. Но на самом деле эгоистична именно мораль мистика, который, в последнем счете, заботится только о том, чтобы поставить свою собственную душу в желательное отношение к миру духов.

Материалистическое учение о человеческом характере умозаключает к общественной реформе. В глазах последовательного мистика такая реформа никакого серьезного значения не имеет.

Мистицизм XVIII века, бывший плодом разложения старого порядка, был вместе с этим реакцией против революционных стремлений того времени. Вот почему материалистическое учение о нравственности широко распространялось в период, непосредственно предшествовавший французской революции, между тем как мистическая этика, в том или другом виде, получила преобладание в ту эпоху политической и умственной реакции, которая наступила после бурь, вызванных этой революцией [2]).

---

[1]) «История новой философии», русский перевод под редакцией А. И. Введенского, второе издание, т. I, стр. 99.

[2]) О Сен-Мартэне, сочинения которого пользовались очень большим авторитетом в среде русских мистиков XVIII столетия, см. *Caro,* Essai sur la vie et la doctrine de Saint-Martin, Paris 1852; *Frank,* La philosophie mystique en France au XVIII siècle. По-русски взгляды Сен-Мартэна прекрасно изложены П. Н. Сакулиным в его сочинении: «Из истории русского идеализма.—Князь В. О. Одоевский», т. I, ч. I, стр. 395—422.

II

Мистицизм XVIII века местами глубоко проник в масонское движение. Говорю: *местами* — потому, что, например, английская «система» масонства чужда была мистического духа. Правда, английские масоны отказываются принимать в свою среду «бессмысленных атеистов». Масон непременно должен быть религиозным человеком. Но знаменитая «Новая Книга Конституций» пастора Андерсена сводит обязательную для всех масонов религию к совокупности простых нравственных требований. Английское масонство того времени выражало собою стремление к компромиссу между различными христианскими вероисповеданиями, жестоко воевавшими между собою в эпоху английской революции и реставрации. Когда удовлетворены были главнейшие из тех общественных нужд, которыми вызвана была английская революция XVII века, и когда изжита была наступившая после революции реакция, взаимная борьба религиозных вероисповеданий утратила свой общественный смысл. Как говорит И. М. Хераскоv, «после актов о веротерпимости, билля о правах (1689 г.), с Утрехтского мира (1713 г.), обеспечившего Англии блестящее экономическое будущее, для людей господствующего класса все казалось в Англии достигнутым — дальнейшие распри принимали в их глазах характер досадной, ненужной склоки; конечно, под режим свободы не подходил еще «бессмысленный атеизм», грозивший основам «цивилизованного христианского общества»; под подозрение брался и римский католицизм с его реакционно-монархическими симпатиями, но во всем остальном между «лойяльными и честными людьми» не могло уже быть больших разногласий, о мелких же не стоило спорить. К этим мелким разногласиям относились теперь и богословские споры между представителями различных сект» [1]).

Вышедшая в 1815 г. в новом издании «Книга Конституций» Андерсена, — первое издание которой появилось в 1723 г., — говорит: «Та или иная религия и способ поклонений божеству не может быть поводом к исключению кого бы то ни было из Общества франк-масонов, лишь бы он веровал в славного Архитектора неба и земли и практиковал священные обязанности морали» [2]). Тут нет мистицизма в смысле,

---

[1]) «Происхождение масонства и его развитие в Англии XVIII и XIX в.в.» — Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 20.

[2]) Цитиров. у *Хераскова*, там же, стр. 33—34.

указанном мною выше. Напротив, можно подумать, что авторы этих строк держались взглядов, близких к Вольтеровскому деизму.

Конечно, Вольтер отличался большею последовательностью. Он в самом деле довольствовался верованием в «славного Архитектора неба и земли» и исполнением требований морали, между тем как доступ даже в наиболее рационалистические масонские ложи открыт был только христианам: евреи, магометане и проч. в них не принимались. Но хотя и не очень широки были пределы масонского деизма, однако факт его существования свидетельствует о том, что масонство английской «системы» не подчинялось влиянию мистиков. Английская «система» проникла и во Францию, где существовали ложи, вероятно значительно более передовые по своим взглядам, нежели собственно английские. Такова была *Ложа Наук,* основанная знаменитым астрономом Лаландом в 1769 г. Списки ее членов украшались именами Вольтера, Франклина, Кондорсэ, Дюпати, Сиейса, Бальи, Ромма, Кабаниса, Гара, Камилла Демулэна и т. д. [1]). В таком же направлении «работала» *«Энциклопедическая»* ложа в Тулузе, основанная почти накануне революции и поспевшая купить для своей библиотеки «Энциклопедию». Через год по ее основании в ней считалось уже около 120 членов [2]), занимавшихся преимущественно вопросами общественного благоустройства и филантропией [3]). Но во Франции только еще близилась та революция третьего сословия, которая совершилась в Англии уже в XVII столетии. Как об'яснено выше, упадок старого порядка вызывал возникновение и распространение мистицизма, который проникал также и во многие масонские ложи, члены которых, под его влиянием, начинали деятельно заниматься всякого рода «тайными» науками (sciences occultes). *Эти* французские ложи имели *реакционный* характер. Кабалистика служила в них орудием борьбы с новой французской философией.

В Германии, далеко отставшей тогда от Франции на пути общественного развития, дух мистицизма встречал менее решительный отпор со стороны передовых мыслителей и потому распространялся сильнее. Как выражается В. Н. Перцев, мистицизм становился там своего рода общественной заразой, которой не всегда избегали даже люди, имевшие

---

[1]) *А. М. Васютинский,* Французское масонство в XVIII в.—«Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 55.

[2]) В среднем, французские ложи имели от 15 до 30 членов.

[3]) *А. М. Васютинский,* там же, стр. 55—56. Любопытно, что *большинство членов Энциклопедической ложи состояло из ремесленников.*

привычку к трезвому мышлению. Этот исследователь приводит интересное признание очень известного историка Иог. Мюллера (из одного письма его к брату от 1790 г.):

«Во мне, — говорит Иог. Мюллер, — есть что-то, что обыкновенно не уживается в душе одного и того же человека: в делах светского характера я — за умеренность, за порядок, за покой, за господство разума, но моя вера сама собой, без книг, без обязательств, становится все более мистической... Я считаю на деле мистицизм за истинную универсальную религию...» [1]).

Поэтому нельзя обвинить В. Н. Перцева в преувеличении, когда он говорит, что ход развития немецкого масонства дает нам самые яркие страницы из истории немецкого оккультизма, чародейства, а иногда и прямого шарлатанства. Едва ли не больше всех «поработали» в области чародейства, шарлатанства и, вдобавок, политического обскурантизма члены ордена «златорозового креста», или *розенкрейцеры*.

Происхождение розенкрейцерства до сих пор плохо выяснено. Основателем его считается И. В. Андреэ, живший в начале XVII столетия [2]). Но нельзя считать доказанным, что в этом столетии розенкрейцеры существовали как организованное целое. Зато в следующем веке орден златорозового креста сыграл очень заметную роль не только в Германии, но и в России. Тогда он очень быстро слился с масонством.

«Гнездом его, — говорит А. Н. Пыпин, — был Берлин, а отличительной чертой — необычайная смесь обскурантизма и суеверия вместе с политической реакцией. В розенкрейцерстве как будто совместилось все то предание мрачного застоя, с которым боролось «просвещение» XVIII века». Подобно другим, более поздним масонским системам розенкрейцерство совершенно отклонилось от сравнительно рационалистического предания английского масонства, с величайшим усердием занимаясь мистикой и всевозможными «тайными» науками. «В область розенкрейцерства были привлечены и творения мистической философии, во главе которой стоял Яков Бём, и самые необузданные фантазии

---

[1]) «Немецкое масонство в XVIII в.» — «Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 62.—«Немецкое масонство получило вполне определенный *аристократический отпечаток*» (*В. Н. Перцев*, там же, стр. 68.)

[2]) Г. Тукалевский полагает, что воззрения розенкрейцеров идут от гностиков II и III в.в. («Н. И. Новиков и И. Г. Шварц». — «Масонство в его прошлом и настоящем» т. I, стр. 213.)

«божественной алхимии» и «божественной магии»: отвергая с пренебрежением простую алхимию и магию, будто бы только грубо материальные, розенкрейцеры на самом деле мечтали, однако, о добывании золота, философского камня и т. д.» [1]).

Среди документов, принадлежащих Обществу любителей древней письменности, А. В. Семека нашел две очень интересных рукописи. Одна из них об'ясняет, как производится, в седьмой степени розенкрейцерства, «герметическая операция в тайне творения». Подробно изложенное А. В. Семекой содержание этой рукописи заслуживает величайшего внимания всех тех, которые хотят иметь представление о том, каким духовным оружием боролась мистическая реакция XVIII в. с передовой французской философией.

Автор рукописи советует собрать в полнолуние майской росы и смешать ее с двумя частями мужской и тремя — женской крови. Сосуд, содержащий эту смесь, должен быть поставлен в умеренно-теплое место. Скоро на дне сосуда получится красный осадок, а то, что останется сверху и что носит название «menstruum», должно быть отделено в особую стклянку и время от времени подливаемо в первый сосуд. куда надо прибавить, кроме того, «один гран тинктуры из анимального царства». Автор уверяет, что через некоторое время в сосуде окажется два живых существа: «мущинка и женщинка». Если налитая в сосуд кровь взята была от целомудренных людей, то мужчинка и женщинка будут очень красивы. В противном случае они окажутся полузверями. При соблюдении необходимых условий, эти существа проживут целый год, в течение которого от них можно узнать все, что угодно, «ибо они тебя будут бояться и почитать». Но этого мало. Посредине того же сосуда вырастет прекрасное дерево с плодами, и по прошествии года женщинка с мужчинкой вкусят от его плодов, вследствие чего и погибнут. Тогда все содержимое сосуда сольется вместе и разделится на четыре части. В верхней — предстанет «небесный Иерусалим со всеми жителями»; во второй—«стклянный мир» (sic!); в третьей — «красное великое стклянное море»; наконец, четвертая часть явится «мрачным обиталищем всех диаволов и злочестивых». В конце концов изо всего этого получится ужасный червь, который через четыре дня исчезнет, и т. д., и т. д.

Другая рукопись, найденная А. В. Семекой, учит приготовлять «урим». С помощью этого чудесного вещества можно видеть все, «как

---

[1]) *А. Н. Пыпин,* Русское масонство, стр. 488—489.

в созвездии, так под землей, так и в горах, и в долинах, и повсюду». Та же рукопись содержит в себе указания, относящиеся к белой магии, которая будто бы дает возможность входить в общение с духами и повелевать ими. «Белая магия не есть опыт праздности или химера умомечтания, — наставительно говорит автор этой рукописи,— сия наука возведет тебя в степень совершенного очищения. Душа твоя подобна будет ангельской, и воля твоя простираться станет употреблять духа *гения* всякого на одни дела, пользу приносящие» [1]).

Читатель сам видит, что принимать этот дикий бред за «науку» могли только люди, не имевшие ровно никакого понятия ни о предмете науки, ни о приемах научного исследования явлений. Распространять «сиентифические» знания, вроде только что изложенных, значило засорять головы нелепым и вредным вздором. Но решительно вся тайная премудрость розенкрейцеров стояла на том же уровне. И глубокого сожаления достойны те, которые с чистым сердцем обращались к этому мутному источнику, чтобы утолить мучившую их духовную жажду.

III

Над распространением розенкрейцерской мистики усердно потрудился у нас значительно обрусевший трансильванский немец Иоганн Георг («Иван Егорович», как звали его русские) Шварц (1751 — 1784).

В 1776 г. он был приглашен в Россию кн. И. С. Гагариным в качестве гувернера к детям А. М. Рахманова. Русскому языку он научился в Могилеве, где жили Рахмановы. Однако уже в 1779 г. он переехал в Москву, где и был назначен экстраординарным профессором по кафедре философии и «беллетров». Тогда-то этот замечательно энергичный человек и взял на себя роль проповедника мистицизма в России.

Чтобы облегчить распространение мистических идей, нужно было ослабить влияние передовой французской философии. И вот Шварц ополчился против нее в своих философских лекциях. Повидимому, лекции эти производили значительное впечатление на слушателей. Известный впоследствии издатель «Сионского Вестника» А. Ф. Лабзин так вспоминал о философских чтениях Шварца.

---

[1]) См. статью *А. В. Семеки,* Русское масонство в XVIII веке.— «Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 167 — 168. Ср. *А. Н. Пыпин,* «Русское масонство», стр. 493 — 496. Немецкий подлинник рукописей о химическом изготовлении «человечков» издан был в Германии в 1745 г. (Франкфурт и Лейпциг.)

«Шварц в самое то время, когда модные писатели поглощались с жадностью незрелыми умами, принял на себя благородный труд рассеять сии восстающие мраки, и без всякого иного призыва, по сему единственно побуждению, в партикулярном доме, открыл лекции нового рода для всех желающих. С ними разбирал он Гельвеция, Руссо, Спинозу, Ла-Меттри и пр., сличал их с противными им философами и, показывая разность между ними, учил находить и достоинство каждого. Как будто новый свет просиял тогда слушателям! Какое направление и умам и сердцам дал сей благодетельный муж!» [1])

Другой слушатель Шварца, Л. Максимович, говорит: «Он один мог совратившееся с пути истинного юношество наставить и убедить — исповесть свою слабость и признать свою зависимость от Премудрейшего Строителя Вселенной. Все же сие он учинил преподаваниями своих лекций у себя на дому, допущением к слушанию оных всякого рода и звания людей и из'яснением отборнейших мест как древних, так и новейших писателей, уразумительнейшим образом доказывающих истину Творца и слов Священного Писания, в руках его, в душе и при дверях смерти им читаемого и обожаемого».

Опровержение Спинозы, Ламеттри, Гельвеция и даже Руссо, — как известно, возмущавшегося атеизмом и материализмом, — дополнялось у Шварца открытой пропагандой мистического учения. В своем качестве профессора «беллетров», он читал в университете эстетико-критические лекции. И в них «сей возвышенный и редкий чувств и оным подлежащего испытатель», рассуждая о живописи, скульптуре и архитектуре, направлял умы своих слушателей, между прочим, «к справедливости физиогномии и хиромантии, к чудесному открытию магии и каббалы, к превращению естественного в сверх'естественное» и т. д.

Шварц был учеником знаменитого немецкого мистика Якова Бёме (1575 — 1624). Этот последний действительно отличался если не способностью к научно-философскому *мышлению,* то, по крайней мере, глубиною своих смутных теоретических *запросов.* Передовой русский писатель сороковых годов XVI века так отзывался об Якове Бёме.

«Его вдохновенное, мистическое созерцание, истекшее из святого источника, привело его к воззрению такой необ'ятной ширины, о которой наука его времени не смела мечтать, — к таким истинам, кото-

[1]) См. биографию Шварца в Сочинениях Н. С. Тихонравова, т. III, ч. I, стр. 75.

[2]) Свидетельство одного из благодарных слушателей. *(Тихонравов,* там же, стр. 75, 76, 77.)

рые человечество узнало вчера» [1]). Какие же это истины? А. И. Герцен имел в виду то убеждение Бёме, что материя и дух представляют собою не два отдельных начала, а единую субстанцию. Другими словами, Бёме держался *монистического* взгляда на мир. Но монизм Бёме очень мало похож на тот монизм, который человечество узнало, по выражению Герцена, *вчера* и который был *материалистическим монизмом Фейербаха.* Именно Фейербах вполне правильно заметил, что *идеалистический монизм* разрешает антиномию между духом и материей путем простого упразднения материи; он об'являет внешний мир выражением единой духовной субстанции. Монизм Бёме был именно *идеалистическим монизмом* и притом таким, который разработан был не *логикой,* а *мистически настроенным воображением.* Гегель говорит, что варварской глубине Бёме недоставало *понятия* (diese Tiefe, roh und barbarisch, ist ohne Begriff) [2]). К этому мнению был близок и Герцен:

«И то же высокое учение Бема, — продолжает он, — облекаясь в странные, мистические и алхимические одежды, дало основу самым эксцентрическим, самым безумным отклонениям от простосердечного принятия истины: шведенборгианцы, Экартсгаузен, Штиллинг и их последователи, Гоэнло и нынешние германские духовидцы, заклинатели, прокаженные, испорченные, все эти кликуши... большую долю своего мракобесия почерпнули из Якова Бема» [3]).

IV

Шварц принадлежал к числу тех последователей Бёме, которые, не будучи способны по достоинству оценить глубину его, — хотя и очень смутных, — теоретических запросов, увлекались эксцентрическими и безумными отклонениями от истины, частью уже содержавшимися в учении даровитого германского сапожника, а частью совершившимися впоследствии, но на основе того же учения. Каковы были философские взгляды Шварца, хорошо видно из его лекций о *трех родах познания,* читанных им у себя на дому с 3 сентября по 31 декабря 1782 г. [4]).

---

[1]) Сочинения А. И. Герцена, Женева 1876, т. II, стр. 223.

[2]) «Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte», Hegel's Werke, B. XV, p. 327.

[3]) Сочинения А. И. Герцена, Женева 1876, т. II, стр. 224.

[4]) *Тихонравов,* там же, стр. 77. Некоторые другие исследователи считают, что, начавшись в августе 1782 г., лекции эти продолжались до 5 апреля 1783 г.

Три рода познания были, по Шварцу, следующие: 1) любопытное; 2) приятное и 3) полезное. К первому относится исследование явлений природы: «Отчего гром? что такое воздух? каким образом земля производит растение? и пр. сему подобное». *Приятным* познанием называется у Шварца живопись, поэзия, музыка и прочие искусства. Это познание «удовлетворяет наш слух, наше зрение и воображением питает наш разум». Но самым важным считает наш профессор познание *полезное,* научающее нас «истинной любви, молитве и стремлению духа (sic!) к вышним понятиям». «К сим-то последним познаниям человек, — по мнению Шварца, — стремиться должен для своего блага: ибо он в сей жизни только путешественник, а в будущей гражданин». Познание первых двух родов, похвальное само по себе, становится вредным, когда отвлекает внимание людей от полезного и единственно необходимого познания, так как в этом случае любопытные и приятные науки делают человека безбожным и подвергают его проклятию. «Ибо, — пояснял Шварц, — самое падение не иначе что́ есть, как отвращение себя от содействия Бога и учинение самого себя средоточием своих действий, чрез воззрение на свои собственные силы и надежду на оные» [1]).

Философские системы противоречат одна другой. К современной (Шварцу. — *Г. П.)* философии относится и деизм Вольтера и материализм Дидро. Дидро — атеист, а Руссо говорит, что видит бога в каждом творении. Из факта существования этих философских разногласий Шварц делает тот вывод, что философы не в состоянии об'яснить вселенную, и приглашает своих слушателей вернуться к той старой системе, которая изложена в Библии. Одна Библия, — говорит Шварц в 7-й лекции, — заключает в себе истинный источник всех человеческих познаний. В ней «сокрыто... таинство творения, действия праотцев наших, падение, проклятие, искупление, спасение и будущее состояние человеческого существа» [2]).

Шварц провозглашает возможность мистического соединения человека с богом, созерцания бога и познания тайн творения. В каждом человеке есть не только *тело и душа,* но еще и *дух.* К душе относятся

---

[1]) *Тихонравов,* там же, стр. 77, 78, 79, см. также *В. Н. Тукалевский,* Н. И. Новиков и И. Г. Шварц («Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 206 и след.)

[2]) *В. Н. Тукалевский,* Из истории философских направлений в русском обществе XVIII в. («Журнал Министерства Народного Просвещения», 1911 г., май, стр. 34—35.) *Тихонравов,* там же, стр. 79.

низшие духовные силы, в ней заложены нравственные склонности. Душа только приближает человека к духу, заключающему в себе более высокие силы. Те люди, в которых развиты эти силы, носят на себе печать св. духа и составляют первое состояние мира духов. Сила человеческого духа (не *души. — Г. П.)* сверхчувственна и сверхчеловечна. С ее помощью человек и достигает царства духов. Чтобы развить ее в себе, надо с детства воспитывать людей согласно с учением Христа [1]).

Но воспитание в духе Христа не есть, по Шварцу, нравственное воспитание человека. Нравственные склонности заложены, как мы уже знаем, собственно, в душе, к которой относятся низшие духовные силы. Нравственность не цель, а средство. Цель состоит в мистическом соединении с богом.

Направление «философской» мысли молодого Шварца довольно ясно определяется этими отрывками. Для полноты можно сослаться еще на рукопись, принадлежащую Румянцовскому музею в Москве и озаглавленную: «Перевод с записок И. Е. Ш.» (И. Е. Шварца). Подробно излагающий содержание этих записок А. И. Незеленов полагает, что на самом деле это не перевод собственного сочинения Шварца, а, вероятнее всего, краткие записки какого-нибудь студента. С этим необходимо считаться. Слушатели не всегда правильно понимают преподавателей, и, разумеется, преподаватели *не ответственны за промахи чужой «незрелой мысли»*. Поэтому мы обязаны осторожно относиться к студенческим запискам. Но не следует и вовсе пренебрегать ими. В них могут встречаться весьма полезные указания на образ мыслей преподавателей.

Вот, например, в интересующей нас здесь рукописи есть место, посвященное опровержению Гельвеция. Этому французскому материалисту подсказана та мысль, что «человек есть махина, подобная часам». Мысль эта опровергается ссылкой на то обстоятельство, что человек обладает разумом и волей. Гельвеций будто бы предположил, что у человека таких сил нет совсем, а есть только силы страдательные. На этом предположении у него будто бы основывался тот вывод, что самобытная деятельность совершенно чужда человеческой природе и приходит «извне, снаружи». Все это очень наивно изложено, и весьма вероятно, что в изложение закрались собственные промахи мало подготовленного слушателя. Можно надеяться, что сам Шварц в своих возражениях французским материалистам обнаруживал больше уменья обращаться

---

[1]) *Тукалевский*, там же, стр. 35.

с философскими понятиями. Но что и он плохо понимал взгляды Гельвеция, это вероятно уже ввиду того, что названного писателя до сих пор плохо понимает и из рук вон плохо излагает огромнейшее большинство историков философии. Вот почему мы можем, не опасаясь впасть в большую ошибку, допустить, что если автор записок весьма наивно изложил философскую аргументацию Шварца, то он все-таки не очень удалился от понимания общего ее характера.

Вот пример. Автор записок передает философское доказательство бытия духовного мира. Исходной точкой служит здесь то положение, что человек есть узел, «которым звериное царство связывается с царством духов». А подтверждается это положение тем доводом, что «если мы начнем от стихий, то находим непрерывный ряд до человека; как может сей (т.-е. ряд. — *Г. П.)* престать с человеком? человеческий ли то смысл?». За этим «философским» доводом следует характеристика разных царств природы. Тут мы узнаем, что предметы, относящиеся к минеральному царству, состоят из земли и жидкости. В растительном царстве мы опять видим землю и жидкость, но уже «гораздо тончайшие». Звериное царство тоже представляет землю и жидкость, но «в наивысшей степени утонченные, даже до красного и белого цвета утонченные». Человек, — конечно, составляющий особое царство, — заключает в себе «все вышеописанное», а вдобавок еще и разум, «который может господствовать над чувствованием, так что может настоящую болезнь обезоружить, ежели то нужно к собственному совершенству» [1]).

Зная воззрения Шварца, мы имеем полное основание предполагать, что ход его мыслей искажен тут не весьма сильно. Современное состояние человека есть состояние падения. Следуя за Шварцем, автор записок утверждал, что есть три состояния падших духов: 1) диаволы; 2) души животных или зверей; 3) души человеческие. «Мы, люди, — говорится в одном месте рукописи, — гнилые, смердящие сосуды, в которых все доброе, все чистое делается кислым и смрадным». Но этот пессимистический взгляд на человека смягчается тем оптимистическим убеждением, что души человеческие «имеют уже Божественную искру света в себе, водителя, который поведет их к Богу» [2]).

Ученическая неловкость изложения и здесь не мешает нам узнать мысли, свойственные *отчасти* всякому идеализму, а *в особенности* —

---

[1]) *Незеленов,* Литературные направления в Екатерининскую эпоху, стр. 167.
[2]) Там же, стр. 167—168.

философии мистической. Поэтому мы и здесь можем предполагать, что в общем ученик довольно правильно понял мысли учителя.

Такое же предположение позволительно сделать и по поводу того места рукописи, где излагаются возражения Шварца на общественно-педагогические взгляды Гельвеция. Гельвецию правильно приписана тут та мысль, что «добродетели и благополучие народа происходят не от святости его религии, но от мудрости его законов», и что религия имеет мало влияния на добродетели и блаженство народов. Опровергается эта мысль тем соображением, что законы могут нас принудить быть граждански добрыми, но не могут сделать чистыми сердцем, ибо последнее возможно только для религии (явное petitio principii).

Шварц распределял последователей Гельвеция на три разряда: во-первых, те, «которые сами не размышляют из лености»; во-вторых — те, «которые живут в непрестанном рассеянии»; в-третьих, те, которые подчинены своим страстям, так как «в страстях человек не видит, — он пьян» [1]).

Не останавливаясь на этой педантической классификации, не имеющей даже тени серьезного основания, заметим, что «опровержение» Шварцем Гельвеция с большою ясностью обнаруживает перед нами глубокий консерватизм Шварца, равно как и всех, подобных ему, мистиков. Убеждение в том, что прогресс *общественной нравственности* предполагает усовершенствование *общественного строя*, располагает людей к *общественным реформам*. Наоборот, вера в то, что добродетель состоит в чистоте сердца и зависит от «святости религии», делает их равнодушными к подобным реформам. Консерваторы всегда упирали на «чистоту сердца». Одной из разновидностей весьма любезной им теории чистоты сердца являлась у нас в XVIII веке та мысль защитников крепостного права, что надо сначала просветить крестьян и поднять их нравственность и только потом уже позволять себе думать об их *освобождении*. В основе этой мысли тоже лежало убеждение, что ни просвещение народа, ни его «добродетель» не имеют причинной связи с «законами», выражающими и регулирующими собою общественные отношения.

Не лишены интереса рассуждения Шварца о том, что не следует опровергать «теоретических предрассудков», на которых основываются важные практические истины. Вот, например, важная практическая

---

[1]) Там же, стр. 168 – 169.

истина состоит в том, что надо быть добродетельным. Но эта важная истина недоступна неразвитому человеку. Как же помочь горю? Должно внушить ему соответствующий «теоретический предрассудок». Так, невежественному персиянину внушается, что душа порочного человека неспособна будет перейти на том свете очень узкий мост, ведущий в местопребывание праведников; непросвещенному христианину говорят о муках ада и т. д. «Кто искореняет сии предрассудки, толь мудро первыми великими учителями, яко символические представления, употребленные, тот есть злодей. Он разрушает те огненные маяки, посредством которых миллионы душ прибыли благополучно к райской пристани» [1]). Другими словами, *цель оправдывает средства;* если предрассудки способствуют достижению полезной цели, то они заслуживают всякого почтения, и кто восстает против них, заслуживает осуждения. Легко представить себе, какими зловредными людьми, какими ненавистными препятствиями на пути людей к райскому блаженству должны были представляться Шварцу французские энциклопедисты, так жестоко воевавшие с «теоретическими» и всякими другими предрассудками.

А. И. Незеленов следующим образом описывает сделанное слушателями Шварца графическое изображение человека с его тремя началами:

«Два четыреугольника, один над другим, соединяются углами; в точке их соединения проведена толстая, короткая черта; продолжающиеся стороны обоих четыреугольников образуют треугольники вверху и внизу; верхний упирается в черту, над которой написано: «Духовный мир. Небесное царство»; нижний — в черту, под которой надпись: «Вещественный мир. Телесный мир.». Оба четыреугольника разделены горизонтально, волнистыми линиями, на треугольники. Таким образом весь рисунок представляет шесть треугольников. Два средних треугольника изображают собственно человеческое начало. Сбоку у них написано: «Душа. Древо растет вверх и вниз, так и человек растет вверх (вниз? — *Г. П.*), в вещественный мир, и вниз (вверх? — *Г. П.*), в духовный мир. Чем крепче и сокообильнее корень древа, тем продолжительнее и безопаснее его пребывание». Сбоку двух верхних треугольников стоит надпись: «Дух, разумение умственное. Мы сами образуем сего духа. Он лежит при рождении *в возможности, а не в действии*». Остальные два расположенные внизу треугольника знаменуют тело. Внутри

[1]) Там же, стр. 169—170.

одного из них написано: «Организация, 3 начала ☿ ♁ ☿ (т.-е. соль, сера, меркурий), бальзам жизни, жизненные духи»; внутри другого — «Материя четырех стихий».

Это графическое изображение человеческой природы окончательно вводит нас в царство нелепейшей мистики. А. И. Незеленов, — благоволивший к Шварцу за его усердную борьбу с французскими просветителями, — отметил, в виде смягчающего обстоятельства, что этот мистик все-таки не доходил до отождествления «серы с духом», встречающегося в «Химической псалтыри Парацельса» [1]). Это возможно и, пожалуй, даже вероятно. Однако и того, до чего дошел он, было совершенно достаточно, чтобы сделать из него самого несомненного обскуранта. Защищая откровенную религию от нападок энциклопедистов, он говорил, что религия эта вполне доступна только магам и каббалистам. «Магия, — учил он, — и есть та божественная наука, с помощью которой маги познают истинный натуральный свет и натуральный дух. Маг — это тот искатель истины, с которым натура говорит во всех тварях через своего духа и показывает свою сигнатуру» [2]). Таким образом, колдовство было последним словом этого «философа» в его борьбе с французской философией разума.

Человеку такого образа мыслей орден розенкрейцеров, с его дикой фантастикой и с его глубокой ненавистью к «ложному» французскому просвещению, должен был казаться верным хранителем и распространителем истинной мудрости. Неудивительно, что Шварц весьма близко сошелся с берлинскими розенкрейцерами во время своего путешествия в Германию осенью 1781 г.

Берлинские розенкрейцеры усердно занимались магией и уверяли, что состоят в прямых сношениях с царством духов. Как раз незадолго до принятия Шварца в орден ими вызывались для прусского кронпринца тени Марка Аврелия и великого курфюрста Фридриха-Вильгельма. Благодаря действию особых, — и, разумеется, совершенно «вещественных», — приборов, духи эти появились при громе и молнии, так что несчастный наследник прусского престола оробел и не мог лично вопросить их. Но добрые духи снизошли к его человеческой слабости и по собственному почину принялись «замогильным голосом» читать ему наставления. Подобные сцены не раз повторялись и после, при чем за

---

1) Там же, стр. 163.

2) Приводится у *В. Н. Тукалевского*, назв. статья («Масонство в его прошлом настоящем» т. I, стр. 216.)

духов говорил один саксонец, «мастер в искусстве чревовещания и физиогномики» [1]).

Вызывая духов для назидания скорбного главою кронпринца, берлинские розенкрейцеры преследовали чисто земную цель подчинения его своему влиянию. Недаром во главе их стоял тогда Иог. Кристофор Велльнер, который был,—если верить Фридриху II,—«ein betriegerischer und Intriganter Pfafe». По смерти короля-«философа» этот, склонный к обманам и интригам, поп в самом деле стал играть в Пруссии очень влиятельную роль. Он сделался государственным министром и министром духовных дел. «Его историческая репутация самая незавидная, — как нельзя более справедливо замечает А. Н. Пыпин. — Его время было временем гонения против всякой живой мысли: его гонению, между прочим, подпал и Кант» [2]).

Берлинские сторонники просвещения относились к Велльнеру и прочим представителям «Соломоновых наук» с величайшим недоверием. Сотрудник Лессинга Николаи готов был видеть в них тайных иезуитов. Но Шварца не могла смутить та дурная слава, какою пользовались они в кругах немецких просветителей. Напротив, чем сильнее нападали просветители на членов ордена златорозового креста, тем больше должно было усиливаться доверие к нему Шварца. Некоторые наши исследователи спрашивали себя: почему не заметил Шварц решительной склонности берлинских розенкрейцеров к политической реакции? Они об'ясняют это аполитическим характером его собственных стремлений. Но сочувствие к политической реакции было совершенно естественным и необходимым дополнением его «философского» обскурантизма. Было бы, напротив, удивительно, если бы у Шварца явилось отвращение от политической реакции.

V

Как это хорошо известно теперь, Шварц был весьма энергичным пропагандистом и очень талантливым организатором. Он умел настойчиво и талантливо преследовать свои цели. Он учредил при университете «переводческий семинарий» «для переложения лучших авторов и нравоучительных сочинений на российский язык». Потом было органи-

---

1) См. Предисловие Я. Л. Барскова к «Переписке московских масонов XVIII века», изданной Отделением русского языка и словесности Академии Наук. Петроград 1915 г., стр. XX.

2) «Русское масонство», стр. 223.

зовано им «собрание университетских питомцев», в котором воспитанники читали и обсуждали свои собственные произведения. Нечего и говорить, что литературные опыты молодых людей были, благодаря Шварцу, насквозь пропитаны мистическим духом. Мы еще увидим, какую значительную роль сыграли у нас тогда студенты университета в деле распространения мистицизма и борьбы с передовой французской философией. Но Шварц не удовлетворился влиянием на учащуюся молодежь. Он постарался приобрести и упрочить свое влияние в тех слоях московского общества, которые, по той или по другой причине, склонялись к мистицизму. При его деятельном участии основано было осенью 1782 г «Дружеское ученое общество», занимавшееся также благотворительностью.

Влияние Шварца на учащуюся молодежь сравнивали с тем влиянием, какое приобрел в сороковых годах XIX века Грановский, а его влияние на своих друзей уподобляли влиянию Станкевича. «Столь же тонко организованная и благородная, но несомненно более пылкая натура, чем Станкевич, — говорит П. Н. Милюков, — Шварц был таким же идейным и нравственным оракулом своего кружка, среди которого гораздо резче выдавался своими знаниями и образованием. Обоих рано подкосила смерть, но оба оставили неизгладимый след в сердцах и умах своих почитателей» [1]).

Тут много справедливого. Но никак не следует забывать и вот о чем.

Грановский всегда был человеком очень умеренных взглядов. Однако его очень умеренные взгляды имели несомненно *прогрессивный* характер. Он глубоко ненавидел реакцию и если, в отличие от Герцена и Огарева, отрицательно относился к социализму, то в значительной степени потому, что тогдашний *(утопический)* социализм не сумел оценить по достоинству великое значение «буржуазной» *политической* свободы. То же и со Станкевичем. Лично он никогда не делал революционных выводов из усвоенной им философской системы и, по всей вероятности, даже не подозревал, что из нее можно делать такие выводы. Но система эта, несмотря на консервативное настроение, охватившее под старость ее основателя, заключала в себе такой элемент, благодаря которому она, по чрезвычайно удачному выражению Герцена, сделалась впоследствии настоящей алгеброй революции. Поэтому,

[1]) «Очерки по истории русской культуры». СПБ. 1904, ч. III, вып. 2-й, стр. 354—355. Сравнение Шварца с Грановским повторяет В. Е. Якушкин в статье «Николай Иванович Новиков», напечатанной в сборнике «Почин» (стр. 164).

если Грановский и Станкевич приобрели неизгладимое влияние на умы своих почитателей, то влияние это было *прогрессивным*. Наоборот, Шварц влиял на своих слушателей и друзей в духе *мистического обскурантизма,* отнимавшего у них всякую возможность усвоить себе передовые идеи своего времени. Когда Шварца называют ревнителем просвещения, то забывают, что «просвещение», к которому он стремился, на самом деле являлось *мрачной и свирепой реакцией против просвещения XVIII века*. И чем планомернее, чем настойчивее и самоотверженнее была его деятельность, тем больше вреда приносила она только что начавшемуся европеизоваться русскому обществу.

А. В. Семека, признавая, что розенкрейцерство было на Западе «явлением умственной отсталости», находит, однако, что в России оно было «совершенною *новостью*» [1]) и принесло свою долю пользы. По его мнению, важно прежде всего то обстоятельство, что русское розенкрейцерство представляет собою «первое у нас интеллигентное общественное течение, в первый раз сплотившее русских людей и направившее их в сторону служения общественным нуждам и интересам в формах широкой благотворительности и борьбы против «вольтерианства», поколебавшего правильный ход нашей культуры» [2]).

Разумеется, если считать, что проникновение в Россию освободительной французской философии нарушало правильный ход нашей культуры и что, поэтому, борьба с нею была первой задачей русской общественной мысли, то приходится «прежде всего» поблагодарить русских розенкрейцеров за огромное усердие, проявленное при решении этой задачи. Но в этом случае позволительно спросить себя: неужели же с «вольтерьянством» можно было бороться только посредством дикой фантастики розенкрейцеров? Это, по меньшей мере, не доказано, а если бы было доказано, то явилось бы очень увесистым доводом в пользу того же «вольтерьянства».

Г. Семека продолжает: «Это была первая *философская система* в России, которая, составляя определенное *идеалистическое* мировоззрение, сыграла немаловажную просветительную роль в XVIII веке: успешно борясь с влиянием чуждого русскому духу вольтерианства, розенкрейцерство, несмотря на свои дикие крайности и смешные стороны, воспитывало, дисциплинировало русские умы, давало им впервые серьезную умственную пищу, приучало, — правда, помощью мистиче-

---

[1]) Подчеркнуто г. Семекой.

[2]) Назв. статья («Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 171).

ской теософии и масонской натурфилософии, — к постоянной, напряженной и новой для них работе отвлеченной мысли» [1]).

Г. Семека убежден, что всякая идеалистическая система лучше всякой материалистической или приближающейся к материализму. А так как мистическая теософия и «масонская» натурфилософия не имели ровно ничего общего с материализмом, то он думает, что достаточно отметить (и подчеркнуть) неоспоримо-идеалистический характер учения розенкрейцеров, чтобы оправдать его в глазах читателя и даже изобразить, как «серьезную умственную пищу». Но мы уже знаем, что ни мистическая теософия, с ее совершенно произвольными теоретическими построениями, ни «масонская» натурфилософия, с ее химическими опытами вроде лабораторного приготовления «человечков», не заключала в себе решительно ничего серьезного в качестве «умственной пищи». Учение розенкрейцеров не только не могло *дисциплинировать* русские умы, но, напротив, должно было делать их, в меру своего влияния, *недоступными для логической дисциплины* [2]).

Прежде, нежели европеизованные русские люди ознакомились с розенкрейцерством, они имели возможность ознакомиться с некоторыми идеалистическими системами, в самом деле заслуживавшими название философских. Как ни слабы подчас идеалистические соображения Кантемира, однако они очень далеки от свойственной розенкрейцерству дикой фантастики. Ломоносов был в философии учеником Вольфа. И ту же философию Вольфа принес с собою в Москву (в июне 1756 г.) проф. И. М. Шаден, который, однако, по словам Н. С. Тихонравова, не остановился на ней и следил за развитием философской мысли до Канта [3]). Стало быть, розенкрейцерство, как система воззрений, отнюдь не может быть признано первой для русских людей идеалистической «новостью».

---

[1]) Там же, та же страница. Курсив и здесь принадлежит г. Семеке.

[2]) Один из выдающихся русских розенкрейцеров, И. В. Лопухин, писал: «Истинное, живое познание тайны творения и созерцание света натуры, или зрение действия духа ее в нетленной оной персти, яко в самом первом его облачении (вегикуле) открывается токмо при свете благодати, озаряющем душу в новой жизни возрождения». Тут есть, что хотите, но нет дисциплины мысли. Идеалист Гегель сказал бы, что здесь отсутствует *понятие*, уступившее свое место *фантазии*. (См. сочинение И. В. Лопухина «Некоторые черты о внутренней церкви, о едином пути истинны и о различных путях заблуждения и гибели», стр. 50—51. Цитирую по изданию *В. Ф. Саводника*, Материалы по истории русского масонства XVIII века, выпуск I.)

[3]) *Н. С. Тихонравов*, Сочинения, т. III, ч. I, стр. 47.

Выше я уже заметил, что о *просветительном* значении розенкрейцерства можно говорить, только злоупотребляя термином: *просвещение*. Это косвенно подтверждается самим г. Семекой: немаловажная роль, сыгранная у нас таким «явлением умственной отсталости», каким было, — по собственным словам этого исследователя — розенкрейцерство, кажется ему *просветительной* собственно потому, что розенкрейцеры успешно боролись с влиянием чуждого русскому духу «вольтерьянства». Иначе сказать: благодаря особенности русского духа, *борьба с просвещением XVIII века* приобрела в России *просветительное* значение. Такие доводы вряд ли могут быть признаны убедительными.

Вне всякого сомнения стоит тот факт, что московские розенкрейцеры занимались филантропической деятельностью. Это, конечно, делает им честь. Тот взгляд на «милостиню», которого держался, например, И. В. Лопухин, свидетельствует об известном сочувствии к страдающему человечеству. Лопухин говорит в своих записках:

«Кстати о милостине. Странно, как очень многие против ее умствуют. Главная тому причина, кажется, желание оправдывать свое нехотение подавать ее». Он согласен, что правительство должно принимать известные меры против нищенства; но меры эти должны, по его мнению, во-первых, по возможности, устранить его источник, а во-вторых, нужно, чтобы они не лишали бедных «единственного способа к пропитанию, и при том еще с притеснением». Кроме того, обязанность частных людей не покрывается в этом случае обязанностью правительства. Лопухин спрашивает:

«Частному человеку, имеющему в сердце хотя искру любви к ближнему, как отказать ему в помощи, какая может быть в том ошибка? Что поданных несколько копеек иной пропьет? А ежели от сделанного по сему отказа, иногда человек должен будет сутки или больше терпеть голод, или покусится на преступление, или замарает душу свою ропотом на судьбу; то каково должно это быть душе того, кто откажет, ежели в ней есть чувствительность истинного человеколюбия?» [1]).

Лопухин сознается, что ему и самому случалось иногда с досадой отказывать просящим милостыню, если он подозревал их в намерении выпить на поданные им деньги. Но «я всегда очень рад бывал, — говорит он, — когда в таком случае, воротив того, кому отказал, заслуживал

[1]) «Записки из некоторых обстоятельств жизни и службы действительного тайного советника и сенатора И. В. Лопухина, составленные им самим». С предисловием Искандера.—Лондон 1860, стр. 44.

ему (sic!), и себя как бы наказывал дачею ему в двое, говоря себе в мыслях: Что! Разве ты сам не преступал никогда пределов трезвенности и разве бедному, и подлинно крайнюю нужду имеющему, неможет случиться лишнее выпить».

Эти рассуждения не отличаются глубиною мысли, но с ясностью показывают, что Лопухин был значительно добрее тех своих современников, которые осмеивали его сочувственное отношение к нищим и совершенно спокойно отворачивались от людей, взывавших к ним о помощи. Поэтому, не соглашаясь с г. Семекой, можно, пожалуй, сказать, что наше европеизованное общество XVIII века, вследствие тогдашнего «повреждения нравов» его, нуждалось в таких гнилых костылях для своего альтруизма, какими были мистическая теософия и масонская натурфилософия. И этого, разумеется, нельзя оспаривать по отношению к известным элементам общества. Мы в самом деле видим, что в нем существовали элементы, альтруизм которых без таких костылей обойтись не мог.

Но, во-первых, этот исторический факт не превращает *гнилых костылей* в нечто «новое», а во-вторых, он не только ничего не об'ясняет в данном случае, но сам требует об'яснения. Необходимость его об'яснения представится нам еще более настоятельной, если мы примем во внимание, что элементы, о которых здесь идет речь, были, правда, вовсе не самыми лучшими элементами тогдашнего общества, но все-таки старались, как умели, быть полезными своим ближним.

Другой исследователь, — г. Кизеветтер, — подводит нас к тому же вопросу, только в другой его формулировке.

В своей прекрасной статье «Московские розенкрейцеры XVIII столетия», написанной по поводу издания Академией Наук переписки их, он говорит, что, несмотря на очевидные заблуждения этих людей, мы не можем отказать им в нашей симпатии, так как, уже не говоря о пережитых ими преследованиях, ошибки их были не ошибками старчества, а ошибками молодости нарождавшейся тогда русской интеллигенции. В основе их ошибок лежал, — по словам г. Кизеветтера,—искренний порыв к идеалу, искренняя неудовлетворенность обывательской пошлостью [1]). И это, конечно, так. Но в чем же заключается историческая, — точнее, *социологическая,* — причина того, что нарождавшаяся интеллигенция наша совершила тогда именно такие, а не какие-нибудь другие ошибки? Иначе сказать: почему ее молодые стремления вывели ее,

[1]) «Русская Мысль», октябрь 1915 г., стр. 124.

т.-е. собственно *значительную часть ее,* на путь, проложенный в передовых странах Запада *реакционным старчеством?*

Чтобы ответить на этот чрезвычайно важный вопрос, нам необходимо как можно лучше изучить общественные взгляды московских розенкрейцеров и постараться уяснить себе те *общественные отношения,* на основе которых взгляды эти возникли в данной *исторической обстановке.*

VI

Русские люди, из которых составился кружок московских розенкрейцеров, не удовлетворялись тем, что видели вокруг себя, и стремились к идеалу. В этой их неудовлетворенности сказалось влияние Петровской реформы, значительно облегчившей проникновение к нам западно-европейских понятий. Но единственным жизнеспособным и плодотворным идеалом, выработанным европейской цивилизацией того времени, был идеал французского третьего сословия, выразившийся, между прочим, в передовой французской философии. В этом идеале заключалось, между прочим, отрицание всех тех дворянских привилегий, под сенью которых выросла и воспиталась бóльшая часть нашей тогдашней интеллигенции. Чтобы серьезно увлечься им, нужно было совершенно *покинуть точку зрения дворянского сословия,* а на это способны были только единицы. Правда, представители нашей дворянской интеллигенции начинали порой тяготеть к этому идеалу. Тогда они становились «вольтерьянцами», зачитывались «энсиклопедистами», переводили сочинения французских материалистов и вообще как будто разрывали со всем своим духовным прошлым. Но скоро начинали действовать старые дрожжи, наши благородные сторонники идеала передовой французской буржуазии ужасались своей собственной дерзости и возвращались к прежним религиозным верованиям, а вместе и к убеждению в том, что без дворянских привилегий, а главное, без крепостного права обойтись невозможно. Как мы уже знаем, это случилось, например, с И. В. Лопухиным, который, переведя и заставив красиво переписать последнюю главу второго тома Гольбаховой «Système de la Nature», тотчас же почувствовал «неописанное раскаяние», сжег свой перевод и сделался убежденным русским консерватором, придававшим очень большое значение религиозной санкции дорогого ему общественного порядка. С ним, — да и не с ним одним, — случилось то же, что пережил Д. И. Фон-Визин. Но, возвращаясь к своим прежним религиозным верованиям, автор «Бригадира» опять усвоил их себе

во всей их непосредственности. Это удавалось не всем. Далеко не для всех проходило бесследно хотя бы и кратковременное увлечение «ансиклопедистами». Вкусив от древа «ансиклопедического» познания добра и зла, они уже не вполне удовлетворялись своими старыми религиозными понятиями. Это было мучительно. И тем мучительнее, чем сильнее хотелось им верить. Вот тут-то и приходила к ним на выручку мистика XVIII столетия.

Порожденная тем самым процессом общественного развития, который, с другой стороны, вызвал к жизни освободительную французскую философию, мистика эта, представлявшая собою одно из средств духовной борьбы с движением третьего сословия, гораздо больше, нежели старая христианская догматика и обрядность, годилась для внесения полного мира в души, прошедшие через «вольтерьянство». Поэтому и тяготели к ней русские люди, разрывавшие с новым французским учением. Лопухин нашел успокоение именно в мистике, а не в старозаветных религиозных понятиях тех своих соотечественников, которые в своей беспредельной простоте считали масонов слугами антихриста. И чем сильнее, чем неотступнее были духовные запросы русской дворянской интеллигенции этого оттенка, тем больше должна была она дорожить мистикой.

Некоторые исследователи видели трагедию Лопухина и его мистических единомышленников в том, что они искали самого истинного масонства, а пришли, — благодаря услужливому посредничеству Ивана Егоровича Шварца, — к такому, которое можно назвать самым худшим, т.-е. к розенкрейцерству. Но раз уже явилась у этих людей потребность утолять свою духовную жажду водой мистицизма, то чем мутнее была эта вода, тем больше должна была она приходиться им по вкусу. Это так же естественно, как и то, что люди, желающие опьянить себя, предпочитают крепкое вино слабому.

А. И. Герцен удивлялся когда-то, что при своей гуманности Лопухин обнаруживал «закоснелое упорство» в защите крепостного права. По мнению Герцена, Лопухин в этом отношении «невольно противуречит сам себе и от этого впадает в фразы». Для примера Герцен указывал на то письмо к Александру I, в котором Лопухин, заявляя, что он стыдится слова холоп и желал бы, чтобы все русские были свободны, прибавлял, однако, «что вторжение неприятеля было бы менее гибельно, чем ограничение помещичьей власти» [1]).

---

[1]) См. предисловие Искандера к лондонскому изданию «Записок Лопухина».

По этому поводу г. Пиксанов с жаром высказался против дуалистического метода мышления, который знает только две категории исторических явлений — «светлых и темных». В противоположность Герцену, г. Пиксанов утверждает, что «у Лопухина было на редкость цельное и законченное миросозерцание» [1]). В действительности, г. Пиксанов ошибается, как и Герцен, только в другом направлении.

Лопухин, со своим отношением к крепостному праву, отнюдь не был исключением среди московских розенкрейцеров. Как справедливо замечает г. Барсков, все они мирно уживались с крепостным строем и даже работали в его пользу. «Новиков, по выходе из Шлиссельбурга, хозяйничал в «крепостной» деревне и, как заурядный помещик, курил в ней водку, «изобретая разные пособия крайне тесным и трудным обстоятельствам»; Поздеев довел своих крепостных до бунта; гр. А. С. Строганов, «человек, по отзыву императрицы, самый мягкий и в сущности самый гуманный, у которого доброта сердца граничила со слабостью, горячо защищал дело рабства, которое бы должен изобличать весь склад его души» [2]). В дополнение к этому можно указать на то, с каким олимпийским спокойствием говорил о дележе крепостных людей розенкрейцер А. М. Кутузов. «Публикуя в Ведомостях (о продаже деревень. — *Г. П.*), — писал он Тургеневу, — надобно выговарить (sic!) некоторых дворовых людей; я и сам еще не знаю, которые мне достанутся; когда станут делить, то постарайтесь, чтобы и дворовые люди разделены были поровну. Тут есть два парикмахера, один Сергей Смирной, другой — Федул Григорьев; и так смотри, чтобы оба на одну сторону не достались» [3]).

Сохранилось три письма Н. И. Новикова к своему «начальнику», подписанных масонским его именем «*Коловион*» (другое масонское имя его было: eques ab ancora). В одном из этих писем, говоря о производстве дел типографических, он замечает: «В смотрении за типографическими делами главнейшее и беспокойнейшее есть то, что беспре-

---

1) «Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 228 (Статья «Иван Владимирович Лопухин».)

2) Предисловие к «Переписке московских масонов XVIII века», стр. LVII—LVIII.—Правда, дела Новикова были тогда крайне расстроены благодаря пережитому им преследованию. Временами его семье приходилось чуть не голодать. Если это ничего не *извиняет*, то кое-что *об'ясняет*.

3) Цитировано г. Е. Тарасовым в статье «К истории масонства в России. Забытый розенкрейцер А. М. Кутузов (По неизданным документам)». Статья эта напечатана в «Сборнике статей, посвященных С. Ф. Платонову его учениками-друзьями и почитателями» (СПБ 1911).

станно иметь смотрение за рабочими людьми, чтобы они приходили на работу, чтобы исправно работали и чтобы не было кражи и напрасного медления и остановки в деле, также и разбирать беспрестанные их ссоры и проч. Ибо вам... частью известно, что большая часть рабочих людей, по прежнему за ними несмотрению, избалованы и пьяницы, то и смотрение за ними должно быть строгое, и сие с покорностью моею предоставляю на благоизволение ваше» [1]). Это напоминает мнение Щербатова о крайней испорченности рабочих, и тон этого «строгого» отзыва о рабочих наводит на ту мысль, что Новиков мало интересовался их *земной* жизнью. Письмо написано было еще до смерти Шварца.

Г. Барсков говорит, что между нашими розенкрейцерами только С. Н. Гамалея своим отношением к крепостному праву составлял исключение из указанного им общего правила. Мы скоро увидим, как надо понимать отношение Гамалеи к тогдашней русской действительности. Во всяком случае, г. Барсков, подобно Герцену, видит в указанном им отношении московских розенкрейцеров к крепостному праву противоречие этих «гуманистов» с самими собою [2]). Но в том-то и дело, что никакого противоречия здесь не было.

В 1784 г. Лопухин печатал в своей типографии «Магазин свободно-каменьщический», издававшийся, — как говорили издатели в своем обращении к читателям, — для того, чтобы принятые в масонский орден, а равно и посторонние могли почерпать истинные сведения о масонстве. Из первой же статьи этого журнала мы узнаем, что опасны те люди, «которые умеют возмущать глупые и несчастливые страсти простой толпы», и что «ложи каменьщиков никому, кроме черни, не затворены» [3]). Это было весьма последовательно. Наши розенкрейцеры защищали крепостной быт не по какому-нибудь случайному недоразумению, а потому, что они являлись идеологами того сословия, все существование которого всецело основывалось в тогдашней России на эксплоатации порабощенного крестьянина [4]). Увлечение большинства их пропрессив-

---

[1]) *С. В. Ешевский,* Сочинения по русской истории, стр. 258.

[2]) См. названное выше предисловие, та же страница.

[3]) Цит. у *Незеленова*, Литературные направления в Екатерининскую эпоху, стр. 177—178.

[4]) Г. Барсков делает интересные указания на то, как учитывали московские розенкрейцеры разницу общественных «состояний» даже в своих взаимных сношениях. Он прибавляет, что эта черта «барства» бросалась в глаза масонам-иностранцам (барону Шредеру). (Назв. предисловие, стр. LI.)

ным идеалом французского *третьего сословия* потому и могло быть лишь очень кратковременным, что они не способны были надолго покинуть *дворянскую* точку зрения.

Мистика, вносившая мир в их души, привлекала их, между прочим, потому, что она сама была реакцией против революционных стремлений третьего сословия. Она отвращала внимание людей от недостатков общественного строя обещанием загробного блаженства. Сделавшись розенкрейцером, Лопухин, в своем «Нравоучительном катихизисе», говорит, что истинный франк-масон должен больше всего заботиться о будущем блаженстве своих подчиненных. Другой мистик излагает ту же мысль стихами:

Зри духом в вечность. Что твой взор встречает?
Там лучший мир, там Бог!—Страдалец, улыбнись!

Обращаясь с такими утешениями к страдальцам, мистика, в противоположность французской философии, не только не колебала существовавшего порядка, но поддерживала его. И если Лопухин и люди одинакового с ним консервативного настроения тяготели к ней, то это не значит, что они были «аполитичны» и не интересовались вопросами общественного устройства. Как сильно интересовался ими Лопухин, видно уже из того страха, который внушало ему впоследствии предполагавшееся им намерение правительства Александра I уничтожить крепостное право. Он доказывал, что «народ требует обуздания» для собственной его пользы, и что для «сохранения общего благоустройства нет надежнее полиции, как управление помещиков» [1]). Этот взгляд был очень распространен между помещиками. Как мы знаем, в этой среде он сопровождался тем убеждением, что неограниченная власть русских помещиков должна дополняться неограниченной властью русского монарха. Лопухин вполне разделял и это ходячее убеждение. Его политический консерватизм ярко выразился во многих его сочинениях. Для примера укажу на «Катихизис», где говорится, что истинный франк-масон должен чтить своего государя «и во всяком страхе повиноваться ему, не токмо доброму и кроткому, но и строптивому». Вообще масон «должен быть покорен вышним властям, не токмо из страха наказания, но и по долгу совести».

---

1) Строк, цитируемых здесь мною, нет в лондонском издании «Записок Лопухина»; они находятся в другом издании («Чтения в Обществе ист. и древн.», 1860).

VII

Не менее консервативно настроены были и другие московские розенкрейцеры. Когда А. Н. Радищев арестован был за свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву», кн. Н. Н. Трубецкой писал А. М. Кутузову: «Теперь скажу тебе, что посвятивший некогда тебе книгу и учившийся с тобою в Лейпциге, находится под судом за дерзновенное сочинение, которое, сказывают, такого рода, что стоит публичного и самого строгого наказания. Вот, мой друг, ветренная его и гордая голова куды завела, и вот следствие обыкновенное быстрого разума, не основанного на христианских правилах. Я, зная твое прекрасное сердце, знаю, что тебя тронет сие известие. Но по всему, мною слышанному, он точно достоин участи, ему угрожающей, почему и огорчаться о нем ты не должен, но воздохнуть только ко Управляющему всем, да соделает Он наказание, ему угрожающее, средством к обращению его на познание его мерзостей и на покаяние об оных» [1]).

Это письмо помечено 1 августа 1790 г. Полтора года спустя сам А. М. Кутузов, в письме к Радищеву, с которым его, несмотря на коренную разницу взглядов, связывала старая дружба, — высказывал благочестивую надежду на то, что ссылка автора «Путешествия» принесет ему нравственную пользу. «Горько мне, друг мой, сказать тебе, — писал он, — но дружба моя исторгает сию истину: твое положение имеет свои выгоды. Отделен, так сказать, от всех человеков, отчужден от всех ослепляющих нас предметов, — тем удачнее имеешь ты странствовать в собственной твоей области, в самом тебе; с хладнокровием можешь ты взирать на самого тебя и, следовательно, с меньшим пристрастием будешь судить о вещах, на которые ты прежде глядел сквозь покрывало честолюбия и мирских сует. Может быть, многое представится тебе в совершенно новом виде, и, кто знает, не переменишь-ли ты образа твоего мыслить и не откроешь-ли многих истин, о которых ты прежде сего не имел ни малейшего подозрения» [2]). Письмо это показывает, как далек был его автор хотя бы от самомалейшего политического свободомыслия. И поистине парадоксально то мнение г. Е. Тарасова, что

---

[1]) «Переписка московских масонов XVIII столетия», стр. 8.

[2]) Там же, стр. 195. Я не ставлю здесь вопроса о тактичности подобного обращения к сосланному другу. Но этот вопрос был бы тем уместнее, что письмо А. М. Кутузова было ответом на письмо к нему А. Н. Радищева, полное искреннего расположения и совершенно чуждое каких бы то ни было наставлений по адресу несогласномыслящего друга. (См. там же, стр. 168.)

Кутузов был даже поклонником свободы, «но с известными ограничениями» [1]). Ограничения были так велики, что для поклонения свободе не оставалось и места.

Наказание, постигшее Радищева, представлялось Н. Н. Трубецкому мягким до последней степени возможности. «А что он (Радищев. — *Г. П.)* преступник, — говорил сиятельный розенкрейцер, — то я сие утвердить могу по некоторым фрагментам, которые мне пересказывали из его книги; и уверяю тебя, мой друг, что везде, кроме как под правлением толико милоседой матери нашей, он бы за преступление свое потерял голову на эшафоте; даже бы и при самом владении Елисаветы он бы истязан был в Тайной; ибо он не только разрывал в книге своей все союзы общества, но и освященную особу царскую не пощадил. И за все оное чем он наказан? Отняты у него средства быть впредь вредным; да и заключен он не навсегда, а только на время, дабы мог опомниться и из преступника соделаться впредь полезным членом общества. Итак, мой друг, будь спокоен об его участи и моли Спасителя нашего, толико жаждущего покаяния и исправления грешника, чтобы Он ему дал слезы покаяния для смовения дерзновенного его поступка, и тогда он же вложит в сердце монархини и матери нашей, всегда готовое прощать, что она возвратит его в свое время, и мы его увидим из преступника полезным гражданином, который сам будет проклинать те правилы, которые истекли из его пера». [2]). Комментарии излишни.

В свою очередь, Лопухин порицал дерзость «нещастного Радищева», позволившего себе написать книгу, в которой осуждался существующий порядок. Он говорил в письме к тому же Кутузову:

«Весьма справедливо твое, мой друг, мнение, и я с ним согласен, что ежели подданный и сын отечества почитает за долг представить о чем-нибудь истину своему государю, то он должен сие сделать лицу его непосредственно и тайно, в любви и благоговении, и, как я уверен, приймет сие всегда Екатерина, а не рассеянием книги, могущей возмутить покой общественный» [3]).

Теперь хорошо известно, что переписка московских розенкрейцеров подвергалась наблюдению со стороны правительства (так называвшаяся *перлюстрация)*. Они знали об этом и потому считали нужным

---

[1]) «Сборник статей, посвященных С. Ф. Платонову его учениками, друзьями и почитателями», стр 232.

[2]) «Переписка московских масонов», стр. 92—93.

[3]) Там же, стр. 90.

оттенять в своих письмах консервативный характер своих политических воззрений. Однако розенкрейцеры выставляли здесь на вид то, что, в самом деле, принадлежало им и за что они весьма крепко держались. В начале царствования Александра I они уже не могли опасаться правительственных преследований, а между тем они и тогда продолжали высказываться в крайне консервативном духе.

Консерватизм составлял основу всех общественных и политических взглядов как самого Шварца, так и всех его русских последователей. Конечно, этот консерватизм тоже имел свою историю. Первоначально он существовал более в виде *инстинкта,* чем в виде совокупности *продуманных взглядов* на общественно-политические отношения.

Французская революция, на практике применившая теоретические воззрения передовых французских философов, послужила тем толчком, благодаря которому консерватизм московских розенкрейцеров окончательно перешел из области *инстинкта* в область *сознания.* Если прежде они с ненавистью говорили о новой французской *теории,* то теперь их ужасала новая французская *практика.* Лопухин, на счет которого обучались в чужих краях В. Я. Колокольников и М. И. Невзоров, сообщил в одном из своих писем к Кутузову, что, по получении ими докторской степени в Лейдене, он отсоветовал им ехать в Париж для дальнейшей «экзерциции», так как «в рассуждении царствующей там ныне мятежности» считал «за полезное избегать тамошнего житья» (ноябрь, 1790 г.) [1]). Верные ученики московских розенкрейцеров, Колокольников и Невзоров, и сами боялись ехать во Францию. Они писали Лопухину из Лейдена от 6 ноября 1790 г. : «Завтра отправляемся мы в путь, по совету вашему, в Швейцарию, где остановимся или в Берне, или в Лаузане, потому что в обоих сих местах имеются академии. Чтобы миновать Франции, то мы поедем чрез некоторые города немецкие, а именно Клев, Кельн и Майнц; таким образом мы не токмо минуем Франции, но и Брабанта, где больше еще мятежа, нежели во Франции» [2]).

Кн. Н. Н. Трубецкой писал А. М. Кутузову (13 марта 1791 г.), жалуясь на некоторых французских мистиков, вдруг заговоривших революционным языком: «О, друг мой, колико тонок диявол! Он приготовлял чрез так называемых философов умы французов к низвержению с себя религии и, когда ему сие удалось, то он ослепил их ум к низвержению власти царской, а теперь употребляет сущее суеверие, под крас-

---

[1]) «Переписка московских масонов», стр. 23.

[2]) Там же, стр. 22.

кою и под именем христианства, чтоб утвердить пагубное безначалие, в котором, понеже нет ничего иного, кроме беспорядка, он может утверждать престол свой и гнать истинное Христово учение, которое, ради Его царства, пагубно, ибо основано на повиновении Богу, царям, яко Его орудиям, по словам Христовым, что сердце царево в руке Божией, и правительствам, ибо Христос есть закон порядка, и на исправлении самого себя, ибо Христос духом своим хочет царствовать в приуготовленных и очищенных сердцах человеческих от всякия скверны, приверженной человеку от его падения» [1]).

В письме к Лопухину Кутузов уверял: «Смело можно сказать, что из среди нас не выдет никогда Мирабо и ему подобные чудовища. Христианин и возмутитель против власти, от Бога установленныя, есть совершенное противоречие» (ноябрь, 1790 г.) [2]). Как видно, Мирабо казался тогда этим убежденным охранителям самым страшным представителем французской мятежности. В 1791 году Кутузов в письме к князю Н. Н. Трубецкому опять высказывал «*математическую* уверенность в том, что истинный христианин не уподобится никогда Мирабо». Князю Трубецкому этого совсем не нужно было доказывать с помощью математики. Вполне соглашаясь с тем, что истинный христианин «николи не будет Мирабо», он прибавлял сюда еще то общее соображение, что последователь истинного христианства «никогда не согласится с нынешними просветителями Франции, но всегда рад пролить свою кровь за защищение государя... и что, словом, христианин, быв и под правлением Нерона, не нарушит своего обета и не дерзнет восстать против власти, коей он клялся быть верным, ибо он здесь не ожидает спокойствия, но ведает, что терпение, повиновение властям и исполнение должности своей к Богу и к государю суть тот путь, который препровождает его к ожидаемому им спокойствию не здесь, ибо здесь его быть не может (sic!), но там, где он спокойствие получает в награду за претерпенное им здесь» [3]).

В сочинении, относящемся к 1794 г. и озаглавленном: «Излияние сердца, чтущего благость единоначалия и ужасающегося, взирая на пагубные плоды мечтания равенства и буйной свободы, с присовокуплением нескольких изображений душевной слепоты тех, которые не там, где должно, ищут причин своих бедствий», Лопухин подробно доказывал, что на земле устроить благоденствие невозможно, что беспо-

[1]) Там же, стр. 104—105.

[2]) Там же, стр. 33.

[3]) Там же, стр. 112.

рядки неизбежны даже при наилучшем правлении, и что, поэтому, частным людям лучше и не задумываться об изменении существующего политического строя. Изо всех возможных форм правления ему и теперь, — лучше сказать: теперь больше, чем когда бы то ни было, — наименее несовершенной представляется неограниченная монархия, в пользу которой говорит рассудок, подкрепляемый нашим историческим опытом, и которая особенно пригодна для таких обширных стран, как Россия. По словам Лопухина, монарх изображает высшее существо и «списует его уставы» в своем законодательстве. Эта апология монархии сопровождается страстным выпадом против Франции:

«О страна несчастия! — вопиет он, — коль ужасное позорище превратов (sic!) и бедствий ты являешь! Добродетель вменяется в порок, и святые законы чистоты ее почитаются вымыслом суеверия, навыком только и условием (т.-е. условными. — *Г. П.*). Дерзость, бесстыдство, лютость паче зверской, и жало сатанинского остроумия составляют качество сонмища мучителей, весь народ мерзостью своею печатлеющего» и т. д. Само собою разумеется, что равенство, к которому стремились французские революционеры, кажется консервативному идеологу русского дворянства неосуществимой на земле утопией. Он об'являет неравенство вечным законом природы: «Все нам возвещает необходимость, пользу подчинения и власти. Вся натура живописует нам несущие (sic!) и невозможность равенства... В самых горних селениях духовных царствует божественно устроенное неравенство... И сие преизящное неравенство, из бездны красот истекающее, составляет существо и стройность творения, и в дивном многоразличии возвещает единство Всемогущего Творца» [1]).

Нельзя не подивиться строгому соответствию, установившемуся между консерватизмом Лопухина и его религиозными верованиями. О таком соответствии с большой похвалой отозвался бы сам Жозеф де-Мэстр. Но совершенно такое же соответствие замечается и в воззрениях других наших розенкрейцеров.

Единственный упрек, с которым обращались они к Екатерине II, указывая на опыт французской революции, состоял в не лишенном язвительности напоминании о том, что сама эта государыня кокетничала когда-то с энциклопедистами. Да и этот упрек выражался в форме общего рассуждения о том, какие вредные последствия вело за собою по-

---

1) См. названную выше статью г. Пиксанова, стр. 240 первого тома «Масонства в его прошлом и настоящем».

кровительство, оказанное *некоторыми* правительствами опасным французским новаторам, и потому имел скорее характер намека. Притом же, он делался в частных письмах, авторы которых знали, правда, что они доходят, благодаря «перлюстрации», до сведения ученицы Вольтера.

Французская революция с ее крайним обострением классовой борьбы составила эпоху в истории общественной мысли Европы вообще и России в частности. Практические планы французских социалистов-утопистов в значительной степени подсказывались стремлением найти средство для примирения классов. В следующем томе я покажу, что страх перед революционной борьбой классов повлиял и на образ мыслей наших декабристов. Но уже в XVIII веке французская революция вызвала целый переполох в нашем обществе. И едва ли имела она в России более сознательных и, — главное, — более *последовательных* противников, чем были московские розенкрейцеры. *Они занимали у нас тогда самое видное место между теми европеизованными русскими людьми, которые стали отрицательно относиться к Западу, опасаясь революционного воздействия его на Россию.*

Мы уже видели, что опасение подобного воздействия отчасти сказалось еще в сатирических произведениях Н. И. Новикова. Под влиянием мистики, страх перед западно-европейским свободомыслием, к сожалению, еще больше овладел этим замечательным человеком. Но об его увлечении мистикой и о влиянии, оказанном на него этим увлечением, речь пойдет у нас ниже. Теперь я укажу на других.

Лопухин писал: «Хотя я очень мало сведущь в делах иностранных и комерческих, однако, при сем, могу кажется не без основания осмелиться сказать, что главное искуство Российской политики должно состоять в том, чтоб сколько можно не только меньше зависеть от Европы; но и меньше связей с нею иметь, как политическими сношениями, так и нравственными. Под именем последних разумею я обычаи, коих заразительная гнилость снедает древнее здравие душ и тел Российских» [1]). Эта мысль, коренившаяся в глубочайшей основе миросозерцания наших мистиков, получила потом широкое развитие в статьях С. П. Шевырева.

Но прежде чем за ее развитие взялся С. П. Шевырев, она неоднократно повторялась в статьях М. И. Невзорова, — того самого, который окончив медицинский факультет в Лейдене, не решался посетить Францию и Бельгию ввиду происходивших там беспорядков. Непримиримый враг «философии мира сего», Невзоров, даже на фармакопею смотрев-

[1]) «Записки Лопухина», стр. 189—190 лондонского издания.

ший глазами мистика [1]), высказывал твердое убеждение в том, что вся история Запада была лишь подготовлением к разразившейся во Франции революции и что «от Севера (т.-е. России, — *Г. П.*) не только будет избавление многим странам от ига нового Навуходоносора (Наполеона. — *Г. П.*), но изыдет яркий луч и пролиется свет истинного просвещения на Европу и другие страны мира» [2]). Эта мысль Невзорова тоже вошла, как один из составных элементов, в учение славянофилов.

Обращаясь к молодежи, Невзоров писал: «Любезные юноши!.. Уважайте просвещенных и добродетельных иностранцев, но не перенимайте всего того, что водится, делается и славится в чужих краях, а следуйте во многом простодушным своим предкам» [3]). К чему пришел он сам, следуя простодушным предкам, хорошо видно из его отрицательного отношения к романам, трагедиям и комедиям. Его очень огорчало то обстоятельство, что грешный Гете становился «оракулом изящности» [4]).

Литературная деятельность Невзорова относится собственно к первым двум десятилетиям XIX века. Но я считал полезным теперь же указать на нее, так как воззрения, высказанные им в своих статьях, сложились у него под непосредственным влиянием московских розенкрейцеров.

Покойный Пыпин назвал наш мистицизм XIX века *язвой для общества*. Но он отказывался признать его кровное родство с мистицизмом XVIII столетия [5]). Но достаточно вспомнить о Невзорове, Лабзине и некоторых других, подобных им, мистиках Александровской эпохи, чтобы прийти к прямо противоположному взгляду: мистицизм Александровской эпохи по прямой линии происходил от мистицизма Екатерининского времени и был единосущен с ним.

---

[1]) «Когда австрийские врачи признали хинин необходимым лечебным средством, этот доктор медицины писал в своем журнале «Друг юношества» (январь 1809 г.): «Как мир стоит тому уже более семи тысячь лет, и об лихорадках пишет уже много Гиппократ..., а как сыскана Америка, из которой привозится перувианская корка или хина, тому с небольшим триста лет: Неужели до тех пор род человеческий должен был страдать лихорадками, не имея способного к тому лекарства? Нет, я не думаю. Бог есть премудр, милосерд и о тварях своих промышляет. Он дал все нужное для них в тех странах и местах, где они живут». (О Невзорове см. статью П. Бессонова в III т. «Русской Беседы» за 1856 г., стр. 85—129.)

[2]) «Русская Беседа», 1856 г., т. III, стр. 120.

[3]) Там же, стр. 121.

[4]) Там же, стр. 118—119.

[5]) «Русское масонство», стр. 203—204.

VIII

Итак, Герцен впал в большую ошибку, сказав, что в Лопухине помещик боролся с человеком и мистиком [1]). Оставляя пока в стороне вопрос о «человеке», мы можем решительно утверждать, что как в Лопухине, так и в других московских розенкрейцерах, *мистик* жил с *помещиком* в полнейшем согласии, служа ему необходимым дополнением и желанной поддержкой.

Здесь читатель напомнит мне, пожалуй, замечание г. Барскова о том, что С. И. Гамалея был в этом отношении исключением из общего правила. И в самом деле, все то, что нам известно об этом друге Новикова, заставляет нас воображать его себе настоящим бессребренником, совершенно равнодушным ко всяким сословным привилегиям и даже к простым правам своим по имуществу. Когда хотели дать ему в награду за службу в Белоруссии триста душ крестьян, он отказался на том основании, что ему, не знающему, как управиться со своей собственной душою, страшно взять на себя попечение о чужих душах. Однажды на него напали грабители. Он равнодушно отдал им свои часы и кошелек, а придя домой, стал молиться о том, чтобы отнятые у него вещи не были употреблены на что-нибудь дурное. В другой раз его собственный слуга обокрал его и бежал. Когда он был пойман, Гамалея подарил ему украденные деньги и отпустил его на волю: «Ступай с Богом!» [2]). Как видим, С. И. Гамалея поступал так, как в наши дни советовал поступать, — *но сам не поступал,* — гр. Л. Н. Толстой. Гамалея проповедывал нечто весьма похожее на учение о непротивлении злу насилием.

В одном из своих писем он так формулирует свой взгляд на взаимные обязанности людей: «Если вместо любви к ним (к людям. — *Г. П.)* делаюся судиею их и еще строгим, не подозревая себя. то я вступаю не в мое дело, иду туда, куда не послан, учу, кого не должен... А для меня гораздо бы лучше было, ежели бы я старался исполнять прежде на себе те истины, которые уже удостоился познать, а потом и другим в любви сообщать, *не негодуя* притом на них, ежели они не исполняют по моему мнению; ибо они своему Господу стоят или падают, который и силен

---

1) Предисловие к лондонскому изданию «Записок Лопухина», стр. VII, примечание.

2) *М. Н. Лонгинов*, Новиков и московские мартинисты. Москва 1867, стр. 167.

есть восставить их; *а я не буду ответствовать за них, а за себя;* потому и полезнее мне наблюдать за собою» [1]).

Учение о непротивлении злу доходит здесь до таких выводов, до которых не дошел и гр. Л. Н. Толстой. С. И. Гамалея считал непозволительным даже простое *негодование* против зла. Но совершенно ясно, что он стоял на той же крайне индивидуалистической точке зрения, на которую встал потом Л. Н. Толстой и которая одна только и делает приемлемым учение о непротивлении злу. Гамалея готов был дать своим ближним хороший совет, но не считал себя в праве негодовать на них, так как их сердце в руках господа, и каждый отвечает, в конце концов, только за свое собственное поведение.

Невозможно отрицать, что С. И. Гамалея обнаружил огромный запас незлобивости и бескорыстия. С точки зрения *формальной логики* его надо признать самым последовательным из русских розенкрейцеров: кто твердит: «зри духом в вечность», кто проповедует равнодушие к преходящим земным благам, тот поступает логично, отказываясь сопротивляться людям, отнимающим у него эти блага.

В теории, учение о непротивлении злу признавали все наши мистики. Вот, например, Лопухин в своем «Кратком изображении качеств и должностей истиного христианина, почерпнутом из слова Божия и расположенном по вопросам и ответам», так отвечал на вопрос, что должен делать истинный христианин с тем, кто хочет с ним судиться и лишить его принадлежащего ему:

«Естьли кто хочет с ним судиться и отнять у него платье, то должен он отдать ему и рубашку; и естьли кто пожелает заставить его итти с собою версту, то итти с ним и две, т.-е. он должен, с духом беспредельного смирения, собою и всякою собственностью жертвовать любви».

Совершенно в том же смысле отвечал он там и на более общий вопрос: что должен делать истинный христианин с тем, кто его обидит?

«Приняв обиду, с ненарушимым терпением, должен готов быть с любовию снести еще бо́льшую» [2]).

---

[1]) К величайшему моему сожалению, я не имел возможности достать письма С. И. Гамалеи, изданные в 30-х годах прошлого века в Москве. Поэтому они цитируются мною по Незеленову: «Литературные направления в Екатерининскую эпоху», стр. 175—176. О Гамалее см. статью М. В. Довнар-Запольского во II томе издающейся под редакцией г.г. Мельгунова и Сидорова Истории масонст а.

[2]) «Масонские труды Лопухина», вып. I, ч. II, стр. 68.

Между тем, Лопухин служил в уголовной палате и вел гражданские тяжбы даже со своими приятелями [1]). Трудно предполагать, что он простил бы слуге, который вздумал бы его обокрасть, или грабителям, которые отняли бы у него кошелек и часы. С этой стороны он совсем не отличался свойственной Гамалее последовательностью. Не отличались ею и другие московские розенкрейцеры. *И несмотря на это, они оставались более верны духу мистики, нежели сам Гамалея.* Это может показаться странным, но это так.

Мистика явилась одним из духовных выражений реакции против усилий третьего сословия покончить со старым порядком. Кто восстает против попыток устранить данный порядок, тот вовсе не пренебрегает им. Не пренебрегали старым порядком и знакомые нам московские мистики. Напротив, они дорожили его *основами,* если не всеми отдельными его частностями. Но в противоположность христианству, учившему не дорожить земными благами и заботиться преимущественно о спасении души, идеологи третьего сословия советовали сосредоточить свое внимание исключительно на земных делах, чтобы людям «уже здесь, на земле, устроить царство небесное». Реакция против новой французской философии снова и неизбежно приводила к проповеди того взгляда, что спасение души есть единственное благо, заслуживающее внимания истинного христианина. Этим взглядом и подсказано было поведение Гамалеи. Но историческое значение этого взгляда, — определившее собою его raison d'être, — сводилось к тому, что он служил доводом против революционных стремлений того времени, т.-е. духовным средством защиты старого порядка. Поскольку им обусловливалось равнодушное отношение к привилегиям высшего сословия, постольку он попадал дальше цели и становился исторически нецелесообразным. Теория, его выдвинувшая, приходила в противоречие со своей собственной природой. *Это противоречие, незаметное для Гамалеи, устранялось непоследовательностью Лопухина и ближайших единомышленников.* Непоследовательные с точки зрения формальной логики, они были последовательнее Гамалеи с точки зрения той об'ективной логики истории, которая породила мистику XVIII столетия и обеспечила ей довольно широкое распространение на материке Европы.

Если формальная логика подсказывала *мистикам* равнодушие к привилегиям высшего сословия, то никак не следует думать, что равно-

[1]) О тяжбе его с семьей своего близкого друга И. П. Тургенева, см. в цитированной выше статье г. Пиксанова («Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 234, 236, 237.)

душие этого рода имело в себе что-нибудь прогрессивное. Нисколько! Проповедывать равнодушное отношение к благам мира сего, — равнодушие, частным случаем которого явилось отсутствие заботы о сословных привилегиях, — значило проповедывать бегство из нашего грешного мира. Кто бежит из нашего грешного мира, тот показывает себя равнодушным не только к привилегиям высшего сословия, но и к земной судьбе тех, которые от них страдают. А кто проповедует бегство из нашего грешного мира в такое время, когда противники сословных привилегий стараются перестроить общество на новых началах, тот, сам того не сознавая, поддерживает эти привилегии и оказывает услугу «грешникам», т.-е. тем, которые, пользуясь своим привилегированным положением, так или иначе эксплоатируют народную массу.

Еще раз: вопреки мнению Герцена мистическое настроение Лопухина и его ближайших товарищей по масонскому ордену превосходно уживалось с их убеждениями крепостников-помещиков. Тут г. Пиксанов прав. Однако он ошибается, приписывая Лопухину вполне последовательное миросозерцание. Стройность миросозерцания Лопухина и всех вообще наших розенкрейцеров не была совершенной. В их душах заметно присутствие того элемента, который обозначен у Герцена словом: *человек*. И этот элемент, не имевший ничего общего с «помещиком», в самом деле был в разладе с этим последним. Но когда он приходил в столкновение с ним, «*мистик*» поддерживал «*помещика*», а вовсе не «*человека*». И это понятно: «*человек*» проник в души московских розенкрейцерств под влиянием тех самых «энциклопедистов», в которых «*мистик*» видел орудие сатаны.

Разумеется, ничто не мешает нам отнести исключительно на счет сердечной доброты Лопухина его благожелательное отношение к нищим. Но когда, оправдывая такое отношение к ним, он говорит, что отсутствие своевременной помощи может побудить бедняка на преступление, он рассуждает так, как будто бы он соглашался с французскими материалистами, без устали твердившими, что *поведение людей* определяется *их положением*. Точно так же, когда, принимая решение помогать даже таким нищим, которые казались ему склонными к пьянству, он говорил себе: «разве ты сам не преступал никогда пределов трезвости и разве бедному, и подлинно крайнюю нужду имеющему, не может случиться лишнее выпить?», он как будто повторял ироническое замечание Гельвеция: «on veut que les malheureux soient parfaits». Но там, где передовые идеологи французского третьего сословия требовали переустройства общественных отношений, наш мистически на-

строенный идеолог дворянства в конце концов довольствовался копеечными подачками бедным. Этим можно измерить величину расстояния, отделявшего его от передовых французских писателей.

Лопухин восставал против крайней жестокости уголовных наказаний. Этим он тоже показал, что ему не удалось окончательно уйти из-под влияния западно-европейских просветителей. Та его мысль, что «ненадежность избежать наказания гораздо больше может удерживать от преступлений, нежели ожидание жестокого» (наказания. — *Г. П.)* [1]), целиком заимствована, — все равно, *посредственно или непосредственно,* — у Беккарии. Но и здесь расстояние, отделявшее идеолога русского дворянства от последователей новой французской философии, обнаруживается в рассуждениях Лопухина о характере и размерах уголовной кары. В принципе он не *отвергает* телесных наказаний, а только находит нужным *смягчить* их. В качестве старшего члена, а потом и председателя московской уголовной палаты он, с согласия московского главнокомандующего гр. З. Г. Чернышева, стал за кражу и мошенничество наказывать не кнутом, «а телесно же; но таким образом, чтоб наказанные могли отдаваться в рекруты» [2]). Этого не одобрил бы Беккария, и это вряд ли могло понравиться С. И. Гамалее; но и это согласно было с об'ективной логикой русской общественной жизни, как она отражалась в сознании несколько смягченных западным влиянием элементов привилегированного сословия.

Известно, что, ревизуя в 1802 г. вместе с Н. А. Нелединским-Мелецким Слободско-украинскую губернию, Лопухин выказал довольно значительную терпимость по отношению к духоборам и своим заступничеством остановил, по выражению Герцена, разбойничьи набеги на них хищной полиции [3]). Этот его, без всякого сомнения, хороший поступок можно, пожалуй, приписать влиянию мистики, не придававшей, как мы знаем, большого значения догматам положительных религий и их обрядности. Но если мистика не дорожила догматами и обрядностью, то ведь это и было следствием разлагающего влияния освободительной философии на старые верования. Кроме того, русские мистики, в своем качестве последовательных консерваторов, очень далеки были от полного равнодушия к обрядности [4]). Таким образом,

[1]) Лондонское издание «Записок», стр. 5.

[2]) Там же, стр. 9.

[3]) О деле духоборов см. в «Записках», стр. 118 и след. лондонского издания.

[4]) Они утверждали, что обряды православной церкви ближе к обрядам первобытного христианства, нежели обряды других христианских исповеданий.

и в терпимости Лопухина вполне позволительно видеть результат хотя и непродолжительного воздействия на него «ансиклопедистов».

Наконец, — и это самое главное, — даже так называемая просветительная деятельность московских розенкрейцеров, равно как и широкая помощь, оказанная ими голодающему крестьянству в неурожайный 1787 год, об'ясняется только тем, что ненавистная им освободительная французская философия присоединила в их душах «*человека*» к «*помещику*» и «*мистику*».

О «*помещике*» здесь не стоит и распространяться: как это всем известно, он слишком часто утешал себя, говоря: «не беда, что потерпит мужик». «*Мистик*», стремившийся к единению с божеством и поглощенный заботами о вечной жизни, тоже мало смущался временными земными страданиями людей. Наоборот «*человек*», воспитавшийся под благодетельным воздействием той философии, которая советовала людям прежде всего заняться разумным устройством взаимных отношений своих на земле, не мог порой не откликаться на народное бедствие. И, если московские розенкрейцеры не остались глухи к стонам голодавшего крестьянства, то не ясно ли, что здесь они пошли по пути, указанному именно освободительной философией?

То же и с «просветительной» деятельностью наших розенкрейцеров. Конечно, заводить школы и издавать журналы и книги не откажется и мистик, если как в школах, так и в журналах будут проповедываться душеспасительные книги, соответствующие его взглядам и его душевному настроению. Всем известно, что издания московской «Типографической Компании», основанной в 1784 г. московскими розенкрейцерами, преследовали, главным образом, душеспасительные цели. Таких изданий было очень много [1]). Для истории нашей общественной мысли

---

[1]) Иногда говорят, что большинство изданных «Типографической Компанией» сочинений не имело собственно масонского содержания. Это верно. Однако и между книгами, *чуждыми* масонскаго содержания, было очень много душеспасительных и мистических. К этому разряду относятся: сочинения Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Назианзина, Дионисия Ареопагита, Иустина Философа, и т. д.; сюда же принадлежат и религиозно-мистические поэмы: «Избиение младенцев» Марино, «Авелева смерть» Геснера, «Иосиф» Битобэ, «Потерянный рай» Мильтона, «Даниил во рве львином» Мозера, «Плач или нощные размышления о жизни, смерти и бессмертии», «Мессиада» Клопштока, «О происхождении зла» Галлера и т. п. Кроме поэм издано было немало сочинений, частью направленных против религиозного вольномыслия, а частью прямо мистических: «Рассуждение против атеистов и неутралистов» Гуго Гроция, «Об истинном христианстве» Иоанна Арндта, «О познании самого себя» Иоанна Масона, «Естествен-

весьма характерен тот факт, что первой *«тайной» типографией*, которую завела наша интеллигенция, была типография, печатавшая сочинения, предназначенные для масонов. Подводя итог издательской деятельности московских «просветителей» масонского образа мыслей, А. Н. Пыпин, который вовсе не был расположен слишком старательно изображать ее отрицательные свойства, говорит:

«Результат, оставшийся в русской литературе от масонской деятельности Новикова и его кружка, производит сам по себе странное и тяжелое чувство. Этот результат, который должен представлять собой плод задушевных стремлений и многолетнего труда, — есть масса книг, преисполненных туманным мистицизмом, грубым незнанием, ребяческими заблуждениями, фантастическим суеверием» [1]).

Деятельность, принесшая такой горький плод, разумеется, не имела ничего общего с деятельностью истинных *просветителей* того времени, т.-е. идеологов третьего сословия. Ее прямою целью была непримиримая борьба с их влиянием. Но, даже ведя борьбу с новыми идеями посредством широкого распространения в печати противоположных им учений, наши розенкрейцеры делали уступку своему времени. Во-первых, «Типографическая Компания» издавала также учебники [2]), чем во всяком случае способствовала распространению знаний в русском народе. Во-вторых, на ее станках напечатано было несколько «гнусных и юродивых порождений Энциклопедистов» [3]). В-третьих, — и это всего важнее, — самая потребность энергичной общественной и издательской деятельности, плохо соответствовавшая замогильному идеалу мистиков, явилась на Руси отголоском того западно-европейского общественного движения, которым вызваны были «гнусные порождения Энциклопе-

---

ния богословия или доказательство бытия Божия и свойств Божиих, почерпнутое из дел творения» Дерга а, «Божественная и истинная метафизика» Пордэджа (ученика Якова Бёма) и проч., и проч. «Эти и подобные книги, — говорит А. Н. Пыпин, — были переходом к прямому посвящению и к чисто масонской литературе». («Русское масонство», стр. 235, 236 и 237.) Митрополит Платон, которому поручено было рассмотреть изд ния Новикова, одобрил их все, за немногими исключениями.

1) «Русское масонство», стр. 329.

2) Г. В. Якушкин называет изданные ею учебники *хорошими* и *дешевыми*. («Николай Иванович Новиков» — «Почин», стр. 166.)

3) Выражение митрополита Платона. Эти «порождения Энциклопедистов» и были теми книгами, которые, в противоположность другим изданиям «Типографической Компании», навлекли на себя его осуждение,—как видим, весьма решительное и строгое.

дистов» [1]). Екатерина хорошо поняла это. Она терпеть не могла мистицизма. Но в лице московских розенкрейцеров она преследовала не мистиков, а людей, обнаруживших склонность к независимой от правительства общественной деятельности.

Мне возразят, пожалуй, вопросом: *почему же такую склонность обнаружили у нас, — хотя бы и в противоречии с самими собою, — мистики, а не «вольтерьянцы», находившиеся, казалось бы, под непосредственным воздействием французских просветителей?*

На этот, — бесспорно, весьма важный, — вопрос я сам отвечу прежде всего вопросом: *Кто был самым ярким, самым типичным выразителем интересующей нас склонности?*

Всякий скажет: *Н. И. Новиков.* Проф. Незеленов справедливо заметил, что наше масонство оказалось бесплодным везде, где не выступал этот замечательный человек: оно «было исключительно и замкнуто, — у него были свои специальные интересы, его более занимало увеличение числа своих адептов, нежели истина и общественное благо, и орден уж вовсе не был способен привлекать к деятельности целое русское общество. Весьма вероятно, что заслуги нашего масонства окажутся со временем личными заслугами Новикова и его товарищей» [2]). Положим, что и Новикову не удалось привлечь к деятельности «целое русское общество». Но верно то, что во всех благотворительных и просветительных начинаниях московских мистиков видны мысль и воля Новикова [3]).

---

[1]) От прямого или косвенного влияния этих «порождений» не ушел и М. И. Невзоров, старавшийся избегнуть поездки во Францию и Бельгию ввиду происходивших там беспорядков. По возвращении своем в Россию он был, вместе с товарищем своим В. Я. Колокольниковым, арестован в Риге и допрошен страшным Шешковским. — Знаешь ли, где ты? — спросил его этот зверь. Он отвечал: «Не знаю». — Как не знаешь? Ты в Тайной (экспедиции — *Г. П.*). — «Я не знаю, что это такое Тайная, пожалуй, схватят и в лес завезут да скажут, что это Тайная, и допрашивать станут». — Государыня приказала тебя бить четверным поленом, коли не будешь отвечать. — «Не верю, чтоб это приказала государыня, которая написала Наказ Комиссии о сочинении Уложения». Говорить так мог только человек, уважавший, хотя бы и против своей собственной воли, тех авторов, из сочинений которых взяла Екатерина идеи, положенные в основу ее «Наказа». Впрочем, Невзоров принадлежал не к тому общественному слою, из которого вышли Лопухин, Кутузов и другие породистые мистики. О нем еще придется говорить ниже.

[2]) «Н. И. Новиков, издатель журналов, 1769—1785 г.г.».

[3]) Таким же, как он, энергичным и предприимчивым человеком был Шварц. он Шварц рано умер.

А если это так, то ясно, что *об'яснения указанной выше склонности московских мистиков, выгодно отличающей их от «вольтерьянцев», надо искать в тех общественных условиях, которые определили собою цель и характер просветительных и благотворительных выступлений Н. И. Новикова.*

Мы знаем его как издателя сатирических журналов. Теперь нам нужно составить себе более полное представление об его деятельности.

Глава XII

Деятельность Н. И. Новикова

I

Большинство наших мистиков принадлежало к господствующему сословию [1]).

В этом отношении они совершенно похожи были на наших «вольтерьянцев» [2]). Следствием одинакового общественного положения этих двух групп было то, что, решительно расходясь между собою в своем отношении к религии, они все-таки имели между собою очень много общего и по воспитанию, и по привычкам своих членов.

И мистики, и вольтерьянцы хорошо владели иностранными языками, особенно — французским. Хорошее знание языков служило тогда

---

[1]) Г. Пиксанов называет их людьми высокого служебного положения, принадлежавшими к титулованной знати, к старому родовитому дворянству. Их высоким общественным положением об'ясняет он, — по крайней мере отчасти, — их тяготение к масонству. По его словам, привычка властвовать в других сферах вела за собою то, что они тяготились дисциплинарной властью господствующей церкви, иерархия которой, в свою очередь, часто находилась в зависимости от них. Он остроумно замечает, что «малая церковь», масонская, при ближайшем исследовании оказывается *высокой*, т.-е. аристократической церковью (цитир. выше статья «Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 248). В другом месте той же статьи (стр. 255) он называет русскую масонскую церковь *господскою* церковью. Я считаю это последнее название более подходящим, причем под «господами» я понимаю дворян вообще, а не только представителей родовитого дворянства и титулованной знати. Антагонизм между служилым сословием и духовенством обнаружился уже при Иване III, а в XVI веке нашел свое выражение, между прочим, в весьма поучительной «Беседе валаамских чудотворцев». (См. книгу I, часть II, главу III этого сочинения.) Вполне естественно, что XVIII столетие нашло для него новую форму. Но нет основания думать, что в этом столетии только высший слой дворянства смотрел на духовенство глазами антагониста.

[2]) Это тем более понятно, что мистиками часто делались, как нам уже известно, люди, временно увлекавшиеся «вольтерьянством».

как бы отличительным признаком благовоспитанного русского дворянина. Это отражалось даже на программах тогдашних казенных школ. Вот пример. При московском университете, с самого начала его существования, учреждены были две гимназии: *дворянская* и *разночинская*. В дворянской, кроме древних языков, изучали еще немецкий, французский и итальянский; в разночинской гимназии преподавались *только* древние языки. Дворянская гимназия вообще значительно превосходила разночинскую обилием предметов преподавания. Но при первом же взгляде на программу дворянской гимназии видно, что ее составители стремились сделать из ее учеников людей, способных не уронить себя в светском обществе. Кроме новых языков, в этой гимназии обучали фехтованию, танцам, музыке и рисованию. Посвящать в эти «художества» учеников *разночинской* гимназии начальство не находило нужным [1]).

Таким образом, проходя через казенную школу, разночинцы того времени не получали возможности в подлиннике ознакомиться с важнейшими сочинениями западно-европейских писателей. Те из них, которые хотели дополнить свое образование, должны были собственными силами приобретать знание иностранных языков или же довольствоваться переводной литературой. А те, у которых являлось, кроме того, желание содействовать просвещению других разночинцев, вынуждены были сами взяться *за переводы* с иностранных языков на русский, а также, — ввиду малого развития у нас издательской деятельности, — и за *издание своих переводов*.

В течение довольно долгого времени книги, выходившие у нас на русском языке, читались только более или менее образованными разночинцами, да еще разве не получившими надлежащего воспитания «уездными дворянами» [2]).

На это часто жаловались тогдашние русские писатели. Может быть, больше всех других жаловался на это Новиков в своих сатирических изданиях. По своему происхождению он был *дворянин и помещик*, а по образованию — *настоящий разночинец*, да еще такой, которому

[1]) См. Сочинения Н. С. Тихонравова, т. III, ч. 1-ю, стр. 397 и примечания, стр. 63.

[2]) Русские аристократы, умевшие держать в руках перо, часто писали тогда по-французски. Так, в Гатчине, местопребывании великого князя Павла, нередко игрались пьесы гр. Г. И. Чернышова. Но все они были написаны на французском языке и вышли впоследствии под заглавием: «Théâtre de l'arsenal de Gatschina». (*Д. И. Кобеко*, Цесаревич Павел Петрович. СПБ. 1887, стр. 302—303.) Из записок Порошина мы знаем, что еще в отрочестве у великого князя было предубеждение против русского театра.

судьба не очень благоприятствовала в деле приобретения знаний. Правда, он попал было в московскую (дворянскую) университетскую гимназию, но в 1760 г. его исключили «за леность и нехождение в класс». Невозможно сказать теперь, в самом ли деле был он ленивым учеником. Но мы знаем, что, когда исключенный из гимназии Новиков поступил (в 1762 г.) на военную службу, у него обнаружилось сильное стремление пополнить пробелы своего собственного образования и помогать самообразованию других. Уже в 1766 г. он, — тогда «фурьер» Измайловского полка, — издал переведенную с французского М. В. Поповым книгу: «Две повести: Аристоноевы приключения, и рождение людей Промифеевых» [1]). С своей стороны, переводчик приложил к этой книге «Письмо к Николаю Ивановичу Новикову», где говорилось о «похвальной склонности этого последнего к снисканию добродетели и учения, которое приобретает наконец человеку незыблемую славу». Далее мы узнаем, что «слабые производства ума» Попова были причиною знакомства с ним Новикова, и что Попов обещал сообщить ему все свои сочинения и переводы с иностранных языков. Письмо заканчивается следующими словами: «А я впредь потщусь услужить чем-нибудь важнейшим обществу, коему мы завсегда обязаны служить посильным нашим трудом» [2]). Похоже на то, что выраженная здесь благородная мысль родилась у Попова именно под влиянием разговоров с молодым измайловским «фурьером». Если это так, то Новиков рано вошел в роль усердного пропагандиста. Впрочем, как бы там ни было с Поповым, приводимые г. Семенниковым данные не оставляют места ни для какого сомнения в том, что уже в ту пору Новиков строил планы издательской деятельности.

Но он мог приступить к их осуществлению только через несколько лет. В ожидании благоприятных для этого обстоятельств, он занимался, между прочим, — по назначению от правительства, — письмоводством в Комиссии об Уложении, где он вел «дневные записки» по отделению «о среднем роде людей» и составлял журналы «Общего Собрания Депутатов». Биографы Новикова полагают, что занятия в Комиссии об Уложении дали значительный толчок его дальнейшему развитию. Это, разумеется, вполне вероятно. Прибавлю к этому, что ведение дневной записки по отделению «о среднем роде» должно было дать ему много сведений о том общественном слое, к которому он сам принадлежал,

[1]) Напоминаю читателю, что я держусь правописания подлинников.

[2]) См. статью *П. В. Семенникова:* «Раннее издательское общество Н. И. Новикова» в «Русском библиофиле», сентябрь, 1912 г., стр. 35.

если не по происхождению своему, то по воспитанию и по симпатиям. Когда он, в 1769 г., приступил к изданию «Трутня», для него уже было ясно, куда именно следует ему направить свою просветительную деятельность. Еще Н. С. Тихонравов говорил, что он взял на себя трудную задачу распространить чтение, а следовательно, и образование *в среднем классе*. Тот же исследователь называет его создателем у нас *мещанской литературы* [1]). Действительно, Новиков много поработал для «мещан» и очень дорожил их вниманием. И при всем том литература, им созданная, может считаться *мещанской* лишь с большой оговоркой. Мы сейчас увидим, почему это так.

II

«Мещане», т.-е. разночинцы, близкие к Новикову по условиям своего образования, несомненно, принадлежали к тому среднему кругу читателей, для которого трудился он в качестве писателя и издателя. Он горячо сочувствовал разночинцам и глубоко возмущался, видя, что они везде и во всем вынуждены были уступать дворянству, в особенности — богатому и знатному. В его «Трутне» есть рассказ о том, как три человека добивались одного и того же места, требовавшего «человека разумного, ученого и прилежного». Первым из конкурентов был дворянин, неумный от природы, невежественный и безнравственный. Все его достоинство заключалось в том, что у него было две тысячи душ крестьян («но сам он без души», ехидно прибавляет автор рассказа) и много знатных родственников. Вторым соискателем места был небогатый дворянин, хотя и не обладавший очень большим умом, однако не лишенный образования и отличавшийся хорошим поведением. Третий соискатель был, — «по наречию некоторых глупых дворян», — человек *подлый*, т.-е. *мещанин*. Он обладал очень большим природным умом и долго учился как в России, так и за границей. Его нравственные качества были безупречны: «защитник истинны, помогатель бедности, ненавистник злых нравов и роскоши, любитель человечества, честности, наук, достоинства и отечества; верной друг, благоразумной отец, безмятежной сосед, рассмотрительной и беспристрастной судья». Вдобавок ко всему этому он уже раньше имел много служебных заслуг. Перечислив редкие достоинства этого кандидата, рассказчик ставит читателю многозначительный вопрос: «глупость ли подкре-

[1]) Сочинения Н. С. Тихонравова, т. III, часть 1-я, стр. 131—145.

пляемая родством с боярами, или заслуги с добродетелию наградятся?» [1]). Сам автор, очевидно, нимало не сомневается, как ответит на его вопрос действительность: глупый, но богатый и имеющий знатных родственников дворянин победит и небогатого, но обладающего кое-каким образованием помещика, и очень образованного разночинца.

Неудивительно, что разночинцы охотно читали издания Новикова. Кроме разночинцев, у него были читатели также в купеческой среде. Новиков выступал врагом того, подчас совершенно дикого, произвола «благородного» сословия, от которого больше или меньше страдало все остальное население и на который жаловались представители купечества в Комиссии об Уложении. Насколько это было возможно, издатель «Трутня» и «Живописца» горячо защищал купцов от барского самодурства. Так, например, в «Трутне», ч. I, лист IV, есть поучительное сообщение о том, как одна богато одетая дама украла в Гостинном Дворе две дорогие сетки и как жестоко пострадал обокраденный ею торговец, который, не желая стыдить ее в присутствии других покупателей, пришел для об'яснения с ней на дом: «боярыня купцу не только волосы выщипала и глаза подбила, да еще и кожу со спины плетьми спустила». Автор сообщения с неподдельным жаром восклицал по этому поводу:

«Ништо тебе бедной купец! Как ты честной здоровой человек осмелился назад требовать своей сетки у благородной воровки? Благодари еще барыню, что бесчестья с тебя не взяла. В самом деле, не великая ли милость купцу зделана?»

Новиков не раз выдвигал против «знатных господ» упрек в том, что они, слепо увлекаясь всем иностранным, не менее слепо предпочитали иностранные промышленные изделия русским. Он доказывал, что некоторые продукты русской промышленности, — в пример приводились им сукна, — уже не уступают заграничным. Вопросами экономической теории он занимался немного, а пожалуй и вовсе не имел к ним интереса [2]). Однако деятельности торгово-промышленного сословия он придавал весьма большое значение, будучи твердо убежден, что она обогащает государство [3]). Больших иллюзий насчет тогдашнего характера

---

[1]) «Трутень», часть 1-я, лист IV.

[2]) Основанный им в виде одного из приложений к «Московским Ведомостям» «Экономический Магазин», в котором работал Болотов, не имел ровно никакого отношения к вопросам экономической теории.

[3]) В его взгляде на народное богатство заметна значительная примесь меркантилизма.

этой деятельности он не имел. В «Живописце» (ч. 2-я, лист 18) мы встречаем указание, — правда, сделанное мимоходом, — на то, что большинство нашего купечества не знает «начальных правил торговли». Как кажется, не очень нравилась ему, — *стороннику Петровской реформы*, — и внешность этого невежественного большинства [1]). Но было в купеческой среде такое меньшинство, в котором Новиков замечал желание просветить себя и к которому он хотел прийти на помощь. Это можно считать не подлежащим сомнению.

Нужно только помнить, что меньшинство это составляло очень тонкий слой. В нашем распоряжении слишком мало данных, на основании которых можно было бы определить, какую часть составляли купцы в общей сумме подписчиков на разные издания Новикова. Мы знаем, например, что, когда он основал в 1773 г. «Общество, старающееся о напечатании книг», и предпринял издание дю-Гальдова «Описание Китая», то в провинции у него совсем не нашлось подписчиков, а в столице значительную часть их составили *придворные* [2]). Нам известно, кроме того, что на «Древнюю Российскую Вивлиофику», которую Новиков издавал с начала 1773 г., подписалось несколько купцов и даже один крестьянин Холмогорского уезда [3]). А. Незеленов, насчитавший до 9 человек таких подписчиков, сообщает, что остальные принадлежали к дворянству («благородия», «высокоблагородия» и «превосходительства») или к духовенству [4]). В первый (1777-й) год издания «Утреннего Света» у него было 52 подписчика из купцов, тогда как общая цифра подписчиков простиралась до 800. В следующем году «Утренний Свет» имел 49 подписчиков, принадлежавших к торговому сословию, а всех их было 620 [5]). Эти немногие данные не свидетельствуют о широком интересе купечества к изданиям Новикова. Конечно, другие его издания могли иметь больше подписчиков между купцами. Может быть, сатирические журналы его распространялись в этой среде успешнее, нежели

---

[1]) «Трутень» (ч. I, лист XXXIV) напечатал обличительный рассказ о том, как один купец угощал в трактире «Правосудие». Угощению предшествовали переговоры, в которые вступили с трактирщиком два человека: «один одет так, как обыкновенно городские купцы одеваются, а другой чисто». Это «чисто» в данном случае весьма выразительно.

[2]) См. статью *В. Семенникова*, Раннее издательское общество Н. И. Новикова, «Русский Библиофил», сентябрь 1912 г., стр. 41.

[3]) Вероятно, из числа тех, которые, числясь крестьянами, в действительности были торговцами.

[4]) «Новиков», стр. 204.

[5]) *Незеленов*, Новиков, стр. 226, 270 и 272.

специальные издания, вроде «Древней Российской Вивлиофики», или благочестиво-назидательные — вроде «Утреннего Света». Но вообще приходится сказать, что, по крайней мере в 70-х годах, Новиковские издания расходились плохо. Это засвидетельствовано им самим. В марте 1775 г. он писал из Москвы Г. В. Козицкому:

«Новостей здешних никаких сообщить не могу, кроме того, что от'езд Двора произвел в делах моих такое замешательство, что я не знаю, как могу окончить вивлиофику на нынешний год, ибо не только что не прибавляются подписчики, но и *других книг почти совсем не покупают*» [1]).

Отсюда мы видим, что плохо продавалась не только «Вивлиофика» и подобные ей специальные издания, но и другие книги. Кроме того, двор Екатерины II тоже ведь состоял не из специалистов по русской истории, однако покупал же он специальные издания Новикова. Это характеризует положение. Характеризует его также и тот факт, что, когда Новиков принялся (в 1777 г.) за издание «Санктпетербургских ученых Ведомостей», он посвятил их *калужскому дворянству*. Мы, разумеется, никогда не узнаем, почему он в этом случае обратил свое внимание на дворянство Калужской, а не какой-нибудь другой губернии. Но для нас достаточно того, что без поддержки со стороны *дворян* или даже *придворных* не в состоянии был обойтись издатель, сочувствие которого клонилось в сторону разночинцев и купечества. Этот знаменательный факт об'ясняется, конечно, тогдашнею нашею отсталостью, которая наложила очень заметную печать на общественные взгляды Новикова.

III

«Учатся мещане, праздно живут дворяне, торгом государство обогащают купцы», читаем мы в очень интересном письме, напечатанном в 4-м и 5-м листах «Кошелька» и, по всей вероятности, вышедшем из-под пера самого Новикова. Основываясь на этом афоризме, следовало бы сказать, что наш автор так же отрицательно относился к дворянству, как относились к нему идеологи третьего сословия во Франции: известно, что они считали это сословие охватывающим *весь французский народ за исключением привилегированных* (toute la nation moins les privilégiés). Но при более основательном знакомстве с сатирическими изданиями Новикова убеждаешься, что он *совсем не одинаково отно-*

[1]) «Раннее издательское общество Н. И. Новикова», — «Русский Библиофил» сентябрь 1912 г., стр. 47.

сился ко всем слоям дворянства. Выше мы видели, что из трех соискателей одного и того же места полным бездельником изображен был в «Трутне» только богатый помещик, а его «благородный» же, но небогатый конкурент получил известное образование, хотя, правда, и не такое основательное, как разночинец. Выходит, что небогатые дворяне доступнее были, по мнению Новикова, для просвещения, нежели богатые и знатные.

На это его мнение можно было бы возразить ссылкой на тот приведенный мною выше факт, что в 1775 г. у Новикова почти прекратилась продажа книг, когда покинули Москву составлявшие двор «знатные бояре». Но для нас важно в данном случае собственно не то, какова была действительность, а то, что думал о ней, вопреки указанному факту, наш автор. А он думал о ней именно так, как я говорю. И совершенно очевидно, что он несравненно больше сочувствовал небогатым дворянам, нежели богатым и знатным. Он едко осмеивал отсталые, старозаветные элементы провинциального дворянства [1]), но возлагал довольно большие надежды на его прогрессивные элементы. Мысленно сближая их с разночинцами, он думал, что общими силами эти два слоя могли бы противодействовать вредному влиянию «знатного боярства» на русскую общественную жизнь. Напечатанное в VIII листе «Трутня» и подписанное: Чистосердов — письмо к издателю содержит в себе интересное указание на своеобразный антагонизм между знатными господами и простыми дворянами. По словам Чистосердова, один придворный, осуждая в его присутствии издательскую дерзость Новикова, говорил: «Веть де знатной господин не простой дворянин, что на нем тоже взыскивать, что и на простолюдимах». Таким образом, получалось знаменательное *противопоставление знатных господ простым дворянам и простому народу.* Чистосердов считал такое противопоставление вполне естественным и, с своей стороны, иронически советовал издателю: «Продолжайте печатать такие пиэсы, какие мы по сие время в Трутне читали: но только остерегайтесь наводить свое зеркало на лица знатных Бояр и Боярынь. Пишите сатиры на дворян, на мещан (sic!), на приказных, на судей, совесть свою продавших, и на всех порочных людей; осмеивайте худые обычаи городских и деревенских жителей; истребляйте закоренелые предрассуждении и угнетайте слабости и пороки, да только не в знатных».

[1]) См., например, талантливые письма «Уездного дворянина» Трифона Панкратьевича, его жены и брата к их сыну и племяннику Фалалею в первой части «Живописца» (листы 15 и 23).

В следующем листе «Трутня» (IX) Чистосердов сам оказывается *«мещанином»*. Конечно, этот мещанин — вымышленное лицо. Но это совсем не важно. И, наоборот, для истории русской общественной мысли очень важно то обстоятельство, *что Новиков, в первом же своем сатирическом журнале,* противопоставлял знатным боярам всю остальную массу населения от имени разночинца, а не от имени представителя какого-нибудь другого общественного слоя. Разночинцам должны были, по мнению Новикова, принадлежать почин и руководство в деле оппозиции населения знатным дворянам.

Исторический ход развития общественной жизни во Франции противопоставил *всю «нацию» — всему привилегированному сословию.* Сознанное передовыми писателями Франции противоречие это естественно привело их к требованию *отмены всех сословных привилегий.* В отличие от них, Новиков и его единомышленники, причислявшие простых дворян к «нации» и мысленно противопоставлявшие ей только «знатных бояр», не могли принципиально отрицать такие привилегии. Логическое развитие их собственной мысли должно было примирять их с *дворянскими* привилегиями и подсказывать им лишь весьма скромное требование того, чтобы *знатные господа* не злоупотребляли своим высоким общественным положением. В XXXII листе первой части «Трутня» мы находим интересный перечень тех требований, с которыми обращался к ним некий *«Я»* (очевидно, сам Новиков).

«Я» хотел, чтобы знатный господин «по елику отличен от прочих знатностию своего сана, по толику бы отличался и добродетелию; чтобы восходя на степень знатности, не позабывал, что те бедные от коих он отличен, остались еще такимиж бедными, и что они требуют его помощи, также как и он сам требовал в подобном находясь состоянии; чтобы не затворял своего слуха от прозьбы бедных, и тем не скучал, что он может делать добро, чтобы старался о благостоянии государства больше, нежели о самом себе, и чтобы не откладывал того до завтра, что нынче может сделать, ради того, что нужда времени не терпит».

В этом перечне пожеланий нет даже и отдаленного намека на какие-нибудь политические или общественные реформы. *«Я»* ровно ничего не имеет против существующего порядка и очень хорошо понимает, что при этом порядке без «знатных господ» обойтись невозможно. Все, чего желает *«Я»,* сводится к тому, чтобы знатные господа преисполнились добродетели. Согласитесь, что более умеренная программа просто-напросто немыслима.

Чтобы убедить читателя в полной осуществимости своих пожеланий, Новиков указывал на то, что преисполненные добродетели знатные господа уже встречаются в русской действительности. Он приводил даже начальные буквы их имен: О..., П..., Н..., С..., В..., Ш..., Б..., В...[1]). Это показалось тогда дерзостью. Да отчасти продолжает казаться ею и до сих пор. В конце XIX века г. Е. Шумигорский с явным неодобрением отозвался о том, до чего «дошел» издатель «Трутня».

«Называя добродетельными одних вельмож, — писал г. Шумигорский, — и бросая бездоказательно подозрения на прочих, Новиков, конечно, поступил очень неосторожно» [2]).

Как я сказал выше, Новиков, — *в эпоху издания своих сатирических изданий*, — был одним из самых передовых русских людей [3]). Теперь мы лишний раз видим, как скромны были тогда у нас передовые люди.

Благодаря нашей экономической отсталости и в противоположность тому, что имело тогда место во Франции, антагонизм между непривилегированными и привилегированными, — неизбежный везде, где существуют сословные привилегии, — еще не стал у нас двигателем общественно-политического прогресса. Слой образованных разночинцев еще не дорос до принципиального отрицания дворянских привилегий. Он не шел дальше почти совершенно безобидной оппозиции «большим господам» и, на почве такой оппозиции, считал себя солидарным со всем остальным дворянством. Но как бы ни было подчас велико недовольство этого дворянства своекорыстными и произвольными действиями «больших господ», оно не могло, разумеется, итти против самого себя и поднимать вопрос об отмене крепостного права. Вот почему мы лишь очень редко встречаем отрицательное отношение к этому праву образованных русских разночинцев того времени.

Купечество тоже не делало принципиальных против него возражений. Оно само хотело, по известному нам выражению Соловьева, иметь рабов и было недовольно только тем, что владение крепостными душами сделалось у нас исключительной привилегией дворянства. В главе о За-

---

[1]) То-есть: Орлов (Гр.), Панин (Н.), Нарышкин (Л.), Салтыков, Вяземский, Шувалов, Бецкий и Всеволожский. — Статья, о которой я говорю здесь, озаглавлена: «Разговор. Я и Трутень». Начальные буквы добродетельных вельмож указывал, собственно, «Трутень». Но «*Я*» нашел его указания совершенно правильными.

[2]) См. его статью «Государыня-публицист» в «Русском Архиве» за 1890 г., кн. I, стр. 41.

[3]) См. выше, «Влияние западной общественной мысли», т. XV.

конодательной Комиссии мы уже видели, что в социальном отношении купечество наше отличалось тогда консервативным, а отчасти даже реакционным настроением. В политическом отношении оно выражало недовольство полицейским произволом. Но и это недовольство не подсказывало ему широких преобразовательных стремлений. Видя, что Екатерина охотно идет навстречу многим дворянским вожделениям, купечество склонялось к идеализации эпохи Петра. Но идеализировать эту эпоху значило смотреть не вперед, а назад. И в той же главе о Законодательной Комиссии мы видели, что тогдашнее наше купечество показало себя мало доступным для прогрессивного влияния того самого Запада, на который любили ссылаться, — подчас даже вовсе некстати — его представители. Такое настроение нашего купечества не могло не отразиться и на отношении его к литературе. В его среде стали появляться люди, не совсем равнодушные к журналу и книге. Кое-кто из них сам брался за перо. Но таких людей было немного, да и эти немногие смелостью мысли совсем не обладали.

Новиков был чуть-чуть смелее своих читателей. Но только чуть-чуть. Он издавал свои сатирические журналы в такое время, когда частью надвигалась, а частью уже надвинулась гроза пугачевщины [1]). Но в этих его журналах нет даже и намека на ту, хотя бы и условную, веру в самодеятельность закрепощенного крестьянства, с какою мы встретимся у Радищева. Новиков очень сочувствовал крестьянам, находившимся во власти *дурных помещиков*. Однако этот сторонник просвещения вряд ли много задумывался о просвещении крестьянства. Скажу больше: позволительно думать, что он и не видел в его просвещении большой надобности. Выше приведено было мною то замечание г. Барскова, что Новиков делал в своем имении сельско-хозяйственные опыты, нисколько не смущаясь тем, что они основывались на крепостном труде [2]). Но опыты, которые имеет в виду г. Барсков, делались Нови-

---

[1]) Первая часть «Трутня» относится к 1769 г., вторая—к 1770, «Живописец» выходил в 1772 г., наконец, «Кошелек»—в 1774 г.

[2]) Правда, есть некоторые данные, позволяющие оспаривать это замечание г. Барскова. В письме к А. Ф. Лабзину от 27 марта 1798 г. Новиков говорил, что деревня его состояла в *нераздельном* владении с его братом, и этот последний привык хозяйничать, а потому и распоряжается их общим имением. «Я уже ото всего уклоняюсь,—прибавлял Новиков. — Может быть у нас расположение не одинаково, следовательно даже и советы мои не годятся, да он же и слишком упрям в своих мнениях. А как весма нередко делается совсем не по моим правилам, то я уклоняюсь, глядя на то, только что страдаю и могу сказать, что я почти как чужой живу». («Русский Библиофил», 1913, № 3.) Это—очень важное признание.

ковым уже после того, как он был освобожден из заключения. Можно сказать, — как и говорил А. Незеленов, — что Новиков того времени был уже не похож на самого себя. Вот примеры, заимствуемые из журналов *прежнего* Новикова.

В 19-м листе первой части «Живописца» напечатано было письмо, в котором предавались осмеянию легковерные люди, прибегавшие к услугам ворожей. Автор письма утверждал, что шайка старух, занимавшихся ворожбой и гаданием на кофе, принадлежала к числу извергов человеческого рода, и очень огорчался тем, что доверие к этим старухам распространено было не только в простом народе.

«От простого народа, — рассуждал он, — ничего лучшего и не ожидают, как опытов крайния глупости и сумазбродного суеверия. Но поверитель вы, государь мой, етому, что многие из знатных, и многие из средних особ толь много состояние свое посрамляют и ведут себя в сем случае так же как и глупая чернь? Люди, от коих по малейшей мере здравого человеческого ума чаять долженствовало, суть так просты, что дозволяют себя обманывать таким бабам! Ето несносно... Сколь часто благородная особа черни уподобляется, столь часто заслуживает она и посмеяние всех честных и умных людей...».

Эти крайне презрительные отзывы о «черни» напечатаны были в журнале Новикова без каких бы то ни было возражений и оговорок со стороны редакции.

В «Трутне» помещены были сатирические «Картины», достойные внимания не по яркости таланта, — таланта в них нет даже и тени, — а по содержанию, по крайней мере, одной из них. В ней осмеивается некий Худосмысл, лишенный всякой способности стать господином над своими собственными людьми: «Всякий лакей смеет ему противуречить, оттоваривать и доводить до того чтобы он был всегда в их повелениях, только что они не секут ево, да и он их сечь не смеет, а для сего подлый народ *Худосмысла* и называет: *то-то господин, то-то отец, люди у него*

Но от чего страдал Н. И. Новиков: оттого ли, что хозяйство основывалось на крепостном труде, или же оттого, что его брат пользовался крепостным трудом, держась чересчур суровых правил? На этот существенный вопрос письмо Н. И. Новикова не отвечает. А из другого письма его к Лабзину,—того, которое, по всей вероятности, и имел в виду г. Барсков и которое относится к 1802 году,— Н. И. Новиков сообщает о заведенной им «суконной фабричонке», совсем уже не как «чужой»,—брат его скончался в 1799 г.,—и притом, как человек, считающий совершенно естественным применение кропостного труда в фабричном производстве (там же, стр. 27). Я уже указал, как на смягчающее обстоятельство, на страшное расстройство дел Новикова.

как в раю живут!.. Только *Худосмысл* у людей своих живет как на каторге».

Эти соображения тоже не вызвали никаких критических замечаний со стороны редакции. Напротив, напечатав в своем журнале «Картины», редактор «Трутня» обратился к их «молодой сочинительнице» со следующими поощрительными словами: «Ваше сочинение так хорошо, что я бы желал таковые получать чаще: но по несщастию моему редко сие случается. Естьли вы будете ко мне и впредь подобные сему сообщать сочинении, то я вам буду весьма за то благодарен» [1]).

В главе о сатирических журналах я допустил, что в глубине души Новиков отрицательно относился к крепостному праву. Но я там же прибавил, что если и было у него такое отношение к этому праву, то оно ничем не выразилось в его изданиях, в которых мы встречаем нападки не на помещичью власть, *как таковую*, а лишь на различные *злоупотребления* названною властью. Только что приведенные мною примеры дают основание утверждать, что, даже выступая против злоупотреблений, Новиковские издания не были в состоянии совершенно разделаться с идеологией, свойственной тем слоям населения, которые видели в крепостном праве естественное и не подлежащее критике учреждение.

Говоря, что Новиков мало заботился о просвещении народной массы, я не хотел сказать, что он не считал нужным обращаться к ней с какими бы то ни было наставлениями. В той же главе о сатирических журналах я изложил содержание комедии, напечатанной в «Кошельке» под названием «Народное игрище». В предисловии к ней Новиков высказался в пользу «Комедий для народа», в которых заключалось бы нравоучение и «представлялись бы примеры, к подражанию народному годные». Но на основании того, что уже известно читателю о содержании пьесы «Народное игрище», он согласится со мною, если я скажу, что нравоучение, в ней заключавшееся, сводилось к очень старому правилу: помещики должны добродушно обращаться со своими крепостными (не избегая, однако, исправительных телесных наказаний), а крепостные обязаны любить добрых помещиков. Против подобных советов рабовладельцам и против таких наставлений рабам не могли ничего иметь и самые убежденные крепостники, если только они не стояли на уровне Скотининых и Простаковых [2]).

---

[1]) «Трутень», часть II, лист XIII.

[2]) В мае 1773 г. Новиков, в письме к Козицкому, утверждал, что дворяне — «ни что иное, как люди, которым государь вверил некоторую часть людей же, во

В историческом введении к первому тому этого моего сочинения я отметил, что между тем как французские короли, ведя борьбу с феодалами, опирались на *жителей городов,* московские великие князья и цари, вследствие там же указанных мною исторических условий, могли, вступая в борьбу с боярами, искать опоры только в известном слое своих *служилых людей.* И я тогда же прибавил, что это обстоятельство наложило свою печать на весь дальнейший ход нашего исторического процесса. Теперь мы видим, что в литературе, возникшей у нас под влиянием Петровской реформы, имело место подобное же обстоятельство.

IV

Исследователи, утверждающие, что Новиков был издателем мещанской литературы или что его издания предназначались для «*людей среднего сословия*» [1]), делают большую ошибку. На самом деле то *среднее сословие*, к которому обращался Новиков со своими изданиями, в весьма значительной, — если не наибольшей, — части своей состояло из *дворян.* Да и долго после Новикова, — до эпохи Герцена включительно, — наша оппозиционная литература вынуждена была рассчитывать преимущественно на известные элементы дворянского сословия.

В следующих томах мы увидим, как отразилось это на дальнейшем ходе развития русской общественной мысли. Что касается собственно эпохи Новикова, то мы уже видели, что, выступая в роли литературного руководителя оппозиции против «знатных бояр», он не мог бы, если бы даже и хотел, защищать мысль о необходимости серьезного общественного преобразования. Но подобная мысль не соответствовала также настроению двух остальных элементов интересного для нас «среднего сословия», *т.-е. купцов и разночинцев*, тогда еще очень консервативных.

«Знатные бояре», против которых говорил Новиков в своих изданиях, сильно подчинялись тогда французскому влиянию. Уже одно это

всем им подобных, в их надзирание» (цитировано у *Незеленова*, «Новиков», стр. 206). Незеленов и здесь готов был видеть принципиальное отрицание крепостного права. На самом деле, взгляд, высказанный тут Новиковым, представляет собою по существу лишь повторение унаследованного от допетровской Руси взгляда Посошкова. Правда, повторяя этот взгляд, Новиков напоминает, что крестьяне—люди, во всем подобные своим владельцам. Но ведь о том же самом напоминал римским рабовладельцам Сенека, отнюдь не отрицавший рабства в принципе. Посошков, говоривший, что «помещики крестьянам не вековые владелцы», сам имел крепостных людей. Его пример отчасти помогает нам понять психологию Новикова.

[1]) Выражение Н. С. Тихонравова, Сочинения, т. III, ч. 1-я.

могло вызвать недоверие к названному влиянию тех слоев населения, которые находились в оппозиции, хотя бы и крайне скромной, к «знатным боярам». Но была и другая причина, усиливавшая нерасположение «уездных дворян», купцов и разночинцев к французам: по своему консерватизму, это «среднее сословие» не могло сочувствовать реформаторским требованиям передовых французских писателей и пугалось их смелых выводов. Оно относилось к «вольтерьянству», если не с бо́льшим страхом, то, наверно, с большею наивностью, чем Лопухин и другие «знатные» дворяне, некогда вкушавшие от запретного плода. Новиков и в этом отношении был типичным представителем взглядов нашего «среднего сословия». Его неприязнь к «знатному боярству» одним из своих источников имела убеждение в том, что люди, хорошо владевшие французским языком, слишком скоро и легко поддавались на доводы нечестивых писателей, доказывавших «по фисике, что солнце, луна, звезды, земля и все вообще строение мира могло получить свое бытие и без посредства Божия». Он думал, что «другие», т.-е., очевидно, те, которые французского языка не знали или владели им плоховато, были более устойчивы в традиционной привязанности к старому миросозерцанию и более способны с презрением отнестись к «мечтательным и богопротивным доказательствам» дерзких французских мыслителей. По крайней мере так говорится в письме некоего Р..., заключающем в себе чрезвычайно назидательный рассказ о благочестивом сновидении автора и напечатанном в «Живописце», который справедливо считается наилучшим из сатирических журналов Новикова. Автор письма прибавлял, что атеистической «заразы ни чем (sic!) другим предупредить не можно, как только частым напоминанием молодым людям того, что кто Бога забывает, тот верно навлекает на себя праведный его гнев» [1]). Такие назидания, как видно, приходились по вкусу тогдашним читателям «из мещан».

Хотя Новиков усердно пополнял чтением весьма многочисленные пробелы своего образования, но, по тем или по другим причинам, запас его знаний навсегда остался недостаточным для понимания французской философии. В главе о Фон-Визине я уже говорил, что ее учение странным образом сочеталось в уме Новикова с правилами «волосоподвивательной науки». Теоретическое мышление, как таковое, было, повидимому, недоступно для него. Когда приехал в Петроград Дидро, Новиков сказал о нем: «Это умный Француз, да ему, как неверующему, нельзя верить». К этому прибавлять ничего не нужно.

---

[1]) См. 21-й лист II части этого журнала.

Но если мы захотим подвести итог тогдашним воззрениям Новикова, то мы никак не должны забывать его собственного признания в том, что до половины 70-х годов он стоял на распутьи между «вольтерьянством» и религией [1]). В действительности, даже в течение этого периода своей жизни наш автор был гораздо ближе к религии, нежели к «вольтерьянству». И его свидетельство о самом себе приходится понимать в том смысле, что не все стремления новых французских философов казались ему тогда достойными решительного порицания. Этим и об'ясняется, почему в его тогдашних изданиях неожиданно встречаются похвальные отзывы о наиболее «славных» французских энциклопедистах.

Как литературный представитель тех общественных слоев, которые, испытав на себе влияние Запада, уже сознавали, что нельзя не учиться, Новиков горячо сочувствовал всему, что могло способствовать просвещению этих слоев. При всем своем нерасположении к французам, он видел, что Франция далеко опередила Россию в культурном отношении, и как бы завидовал французам. Но он утешал себя историческими соображениями.

«Русские люди в рассуждении наук и художеств... столькож имеют остроты, разума и проницания, сколько и Французы, — читаем мы в «Кошельке», — но гораздо более имеют твердости, терпения и прилежания (sic!); разность же между Французом и Русским в рассуждении наук вся в том состоит, что один после другого гораздо позже принялся за науки».

Сказав мимоходом комплимент Екатерине Великой, делами своими весь свет удивляющей и с таким же усердием распространяющей науки и художества в России, с каким распространял их Людовик IX во Франции, автор продолжает:

«Если посмотреть на скорые успехи, каковые Россияне в рассуждении наук и художеств оказали, то должно будет заключить, что в России науки и художества придут в совершенство гораздо в кратчайшее время, нежели в какое доведены они были во Франции» [2]).

Но просвещение никогда не сделает больших успехов в России, если будет ограничиваться узкими пределами придворного круга. Мысль эта была одною из любимых мыслей Новикова. Он продолжал держаться за нее и тогда, когда, все более и более увлекаясь мистицизмом, сжег очень многое из того, чему поклонялся прежде. В его «Московском Еже-

---

[1]) *Лонгинов*, Новиков и московские мартинисты, стр. 99.

[2]) «Кошелек», лист 3-й.

месячном Издании» напечатана была во многих отношениях замечательная статья: «О главных причинах, относящихся к приращению художеств и наук», автор которой настаивал на том, что просвещение должно глубоко пустить свой корень в народную почву. «Народ, — писал он, — есть первой собиратель плодов науками приносимых: к знатным же (опять знатные! — *Г. П.*) они приходят весьма поздно. Не должно думать, что оные вдруг процвели в каком-нибудь народе, или чтобы для сего довольно было только ученых людей из других Государств. Они могут украсить царский дом; но весьма редко бывает, чтоб они могли и все государство сделать ученым».

В доказательство приводятся исторические примеры:

«Птоломей Филадельф, Константин Порфирогенит, Карл Великий и Алфред, хотя имели у себя великое число ученых из разных мест собранное, однако, науки у них не утвердились и хотя оные процветали под тенью престола, но до того только времени пока десница государская орошала, а лишившись сего призрения, испытали всю суровость чуждого климата; оставленные увяли со всеми своими плодами, принесенными во время короткого споспешествования их покровителей» [1]).

V

В сороковых годах XIX века А. С. Хомяков усердно доказывал «бессилие знания, отрешенного от жизни» [2]). В сущности это та же мысль, которую развивал автор статьи о главных причинах приращения наук и художеств. Но сама по себе мысль эта еще не заключает в себе ничего специально славянофильского. Ее можно найти, — правда «в другой связи», как выражаются немцы — еще у Ломоносова. И ее же высказывал и обстоятельно обосновывал Рэйналь [3]).

Со славянофилами Новикова, как и Фон-Визина, как и Лопухина, роднит боязнь передовых идей Запада. Так как главным очагом этих идей была Франция, то он, подобно Фон-Визину, решительно *предпочитал немцев французам*. В «Разговоре между Немцем и Французом» первый из двух собеседников выступает перед нами образцом «чистосердечия», а второй изображен от'явленным негодяем. По тогдашнему обычаю русских авторов, ему дано имя, громко выражающее его нравственные

---

[1]) «Московское Ежемесячное Издание», 1781 г., часть I, стр. 282, 283.

[2]) См. статью «Мнения иностранцев о России». См. также статьи «О возможности русской художественной школы» и другие.

[3]) См. выше главу об отношении России к Западу.

свойства: *Шевалье де Мансонж* [1]). Боязнь передовых идей Запада, бесспорно, была в высокой степени свойственна русским славянофилам XIX века, но и она не может быть отнесена к числу отличительных признаков славянофильства. Кроме того, как уже было отмечено в одной из предыдущих глав, Новиков был поклонником Петровской реформы [2]).

Наконец, — и это самое главное, —Новиков не нашел в старинной жизни России таких ценностей, противопоставление которых передовому общественному и идейному движению Запада могло бы дать ему сколько-нибудь прочное удовлетворение. На этом надо остановиться.

В течение некоторого времени Новиков сильно склонялся к идеализации русских нравов доброго старого времени: Петровской и даже допетровской эпохи. Издавая свой «Кошелек», он, повидимому, переживал сильнейший пароксизм такой идеализации. «Чистосердечный» немец, громивший в этом журнале лживого француза, восклицал:

«О когда бы силы человеческие возмогли, дабы ко просвещению Россиян возвратить и прежние их нравы, погубленные введением кошельков во употребление; тогда бы можно было поставить их образцем человеку».

Далее наш автор подсказывает своему доброму немцу характерное историческое соображение о том, почему государи Московской Руси не торопились просвещать свой народ.

«Кажется мне, — говорит добрый немец, — что мудрые древние Российские Государи яко бы предчувствовали, что введением в Россию Наук и Художеств наидрагоценное Российское сокровище, нравы, погубятся безвозвратно; и по тому лучше хотели подданных своих видеть в некоторых частях наук незнающими, но с добрыми нравами, людьми добродетельными, верными Богу, Государю и Отечеству».

Это соображение, заставляющее нас вспомнить, как об'яснял Болтин, почему московское государство неохотно отпускало за границу своих подданных, дополнялось у Новикова доводом, как будто всецело заимствованным из «Антидота»: «Не возражай мне, что и в древние времена Россияне свои имели пороки; я скажу тебе в ответ, что все народы во всякие времена имели особые пороки: прочитай со вниманием свою историю, увидиш там варварства еще более, нежели сколько его было в России» [3]). Именно так рассуждали Болтин и Екатерина.

---

1) «Кошелек», лист 2-й.

2) Правда, и между славянофилами XIX века не все осуждали реформу Петра М. П. Погодин готов был защищать ее до бритья бороды включительно.

3) «Кошелек», лист 3-й.

Если в других странах было еще больше варварства, то очевидно, что Россию следовало признать самой просвещенной страной, и что не ей должно было учиться у других народов, а другим народам у нее. Но, подойдя вплотную к этому выводу, Новиков сам устрашился его. На него напали сомнения.

В следующем листе «Кошелька» вместо окончания разговора между добрым немцем и злым французом появилось интересное письмо к издателю, заключавшее в себе язвительный протест против идеализации древних российских добродетелей. В письме категорически утверждалось, что любовь к ним издателя есть не более, как сумасбродство.

«Вам было должно родиться давно давно — говорил автор письма, — то есть, когда древние Российские добродетели были в употреблении, а именно: когда Русские Цари в первой день свадьбы своей волосы клеили медом, а на другой день парились в бане вместе с Царицами, и там же обедали; когда все науки заключалися в одних святцах; когда разные меды и вино пивали ковшами; когда женилися, не видав невесты своей в глаза; когда все добродетели замыкалися в густоте бороды; когда за различное знаменование... сожигали в срубах или из особливого благочестия живых закапывали в землю».

Приступая к «изысканию» тех старых, русских добродетелей, которые взялся защищать издатель «Кошелька», автор письма указывал на полную несостоятельность его метода. Издатель на-слово поверил старикам, упрямо твердящим: в старину жилось лучше, в старину люди были богаче и умнее, в старину хлеб лучше родился и т. п. Но «не все словесные известия заслуживают вероятие»; лучше обращаться к книгам. А из книг наибольшего доверия заслуживают французские. «Французский народ так прилеплен к наукам, а наипаче к словесным, что и об нашей истории прежде нас потрудились (sic!) нам подать понятие и просветить наше в том невежество». На основании французских источников автор письма утверждает, что о добродетелях древней Руси не может быть и речи. И это кажется ему вполне естественным. Даже тогда, когда допетровская Русь становилась сильною, — как это было, например, во времена царя Ивана Васильевича, — она страдала от деспотизма, и невежество сохраняло свою прежнюю силу, так как «бичем, ярмом и мечем нравы никогда не исправляются». К сожалению, в том месте письма, где говорится о Петровской реформе, есть большой пропуск, конечно, сделанный страха ради цензурна. Мы узнаем о ней одно: «*Он*» не с той

стороны взялся за дело просвещения русского народа, обратившись не к французам, которые одни только и могли просветить нас, а к немцам, голландцам и англичанам.

Далее в письме говорится о пользе, которую приносят путешествия в Париж и усвоение французских светских обычаев. Видно, что Новикову, который, по всей вероятности, сам и написал это письмо, хотелось, по своему обыкновению, изобразить увлеченного Францией отрицателя древних русских добродетелей человеком легкомысленным и даже смешным. Но это ему не удалось: читатель видит, что приводимые в письме доводы имеют под собою довольно серьезное основание. Новиков обещал ответить автору письма, «что бы не возмнил он, что возражения его справедливые и опровержены быть немогущие». Обещания своего издатель «Кошелька» не выполнил. Повидимому, его сомнения в древних русских добродетелях оказались более глубокими, чем казалось ему первоначально, и что он не сумел справиться с ними. Таким образом, если он и примыкал к тому умственному течению, которое Н. С. Тихонравов назвал «своего рода славянофильством Екатерининских времен» [1]), то устойчивостью он в этом отношении не отличался. Увлечение древними русскими добродетелями сменилось у него сомнением в них. Это сильно отразилось на дальнейшем ходе развития его взглядов.

VI

А. Н. Пыпин утверждал, что в развитии Новикова не было ни внезапных перерывов, ни перемен направления [2]). Это и так, и не совсем так. Ниже мы увидим, в каком смысле это правильно, а теперь отметим, в какой поправке нуждается утверждение А. Н. Пыпина.

Когда русский человек XVIII столетия, испытавший страх перед безбожным «вольтерьянством», становился мистиком, он не вступал в резкое противоречие с самим собою. Мистика была только последним шагом в том направлении, которого такой человек держался и раньше. Но пока этот шаг не был сделан, у человека, испуганного «вольтерьянством», все-таки оставалась логическая и психологическая возможность интересоваться такими общественными задачами, которые не имеют значения с точки зрения последовательного мистика. Утрата интереса к таким задачам может быть названа *перерывом* в ходе развития против-

1) Сочинения, т. III, ч. 1-я, стр. 260.

2) «Русское масонство», стр. 173.

ника «вольтерьянских» идей. И вот такой-то перерыв и наблюдается у Новикова.

Если он, в эпоху издания своих сатирических журналов, был противником передовых французских учений, то все-таки под косвенным влиянием тех же учений у него было известное, — правда, крайне скромное, — стремление улучшить существовавший в России порядок вещей: вспомним его оппозицию «знатному боярству», его нападки на жестоких помещиков, его насмешки над нашим тогдашним «правосудием». Но когда он увлекся мистицизмом, вопрос о взаимных отношениях людей в обществе представился ему совершенно незначительным в сравнении с вопросом об отношении человека к божеству. Прежде взор его, хотя и очень сильно затуманенный предрассудками, был устремлен на *землю;* теперь он обратился к *небу*. Мысль о загробном существовании сделалась преобладающей мыслью Новикова. И если он попрежнему хотел распространять *просвещение,* если, усердно поддерживаемый Шварцем, он пользовался своими связями с богатыми мистиками для беспримерного в тогдашней России расширения своей издательской деятельности, то не нужно забывать, что теперь он «просвещал» людей в духе настоящего «кладбищенства» (как сказал бы Помяловский). Этим духом пропитано было уже первое мистическое издание Новикова — упомянутый выше «Утренний Свет».

Там проповедывалось, что человек создан для блаженства, которое заключается в нем самом. Если он добродетелен, то будет счастлив даже и в оковах, потому что нельзя заковать душу. Как бы велики ни были земные бедствия добродетельного человека, смерть прекращает их, а в загробной жизни его ждет вечное блаженство. Поэтому страдающий в нашей юдоли плача добродетельный человек сравнивается с невольником, который завтра станет королем: такого невольника никто не назовет несчастным. Другими словами: счастья нужно искать не в жизни, а в смерти. И потому смерть лучше жизни, а *мрак,* удаляющий душу от земной суеты и заставляющий ее погрузиться в самое себя, *лучше света*. Противоположность между жизнью и смертью есть не что иное, как противоположность между телом и духом. Когда душа освободится от тела, она будет созерцать истину и жить внутри самой себя. В этом и заключается то блаженство, к которому все мы должны стремиться, а нравственность состоит в том, чтобы помогать другим в его достижении. Одна из статей, напечатанных в «Утреннем Свете», развивает ту мысль, что хотя земная премудрость принесла много пользы искусствам и науке, но искусства и науки оставляют нас, после нашей смерти, сугубыми ни-

щими, а потому не следует и дорожить ими [1]). В другой статье проповедывалось, что «грубое неведение и очень высокая наука вредительны в рассуждении закона» и что мы должны «верить слепо». Любопытно, что «Утренний Свет» предвосхитил философию «Крейцеровой Сонаты». Он об'явил злом взаимную любовь людей разных полов, потому что в ней обнаруживается «сродство наше со скотами». Казалось бы, трудно итти дальше этого в области «кладбищенства». Однако «Утренний Свет» пошел дальше: в нем говорилось, что «смех есть едва ли не преступление».

Если *смех вообще* есть едва ли не преступление, то ясно, что и *насмешка сатирика* не должна была приходиться по вкусу нашему мистику. Новиков, когда-то защищавший сатиру «на лица», теперь считал позволительной только сатиру «на общие пороки», т.-е. как раз ту безвредную сатиру, идею которой отстаивала когда-то, в противоположность «Трутню», «Всякая Всячина». Правда, даже сделавшись мистиком, Новиков иногда снова ощущал потребность бичевать пороки. В «Московском Ежемесячном Издании» (1781 г.) говорилось, что «уязвить порочного до внутренности сердца и мучить его возбужденною его совестью» есть обязанность человеколюбия и что небом разрешается сие «мщение добродетели». Для такого мщения нужна была сатира «на лица», а еще нужнее — *сатира на учреждения*. Но сатира на лица и на учреждения не мирилась с мистическим настроением, и потому Новиков вспоминал о ней теперь лишь в очень редкие минуты. Больше того: он готов был теперь осуждать ее даже с большею строгостью, чем та, с которой осуждала ее «Всякая Всячина». В «Покоящемся Трудолюбце» [2]) напечатано было письмо (опять *«письмо»*) к издателю, рассказывающее о том, как автор путешествовал во сне по Парнасской дороге. Между представителями разных отделов литературы он встретил на ней сатириков и критиков. И они представились ему в самом непривлекательном виде. Глаза их сверкали, как молния, язык никого не щадил, постоянно произнося «бранные и хульные» слова, и они нападали на других, как разбойники. Много нужно было пережить издателю сатирических журналов, чтобы дойти до такого понятия о сатириках!

Новиков и прежде был индифферентистом в политике. Теперь его политический индифферентизм получил идейное обоснование. Если добро-

[1]) Гамалея последовательно держался этого учения. Когда Витберг познакомил его со своим проектом Храма Спасителя в Москве, он указал даровитому архитектору на нравственную опасность увлечения искусством.

[2]) Новиков издавал его в 1784—1785 г.г.

детель делает даже самого несчастного человека похожим на раба, который завтра (т.-е. на том свете) сделается королем, то политикой не стоит и заниматься. «Московское Ежемесячное Издание» проповедывало, что только злой человек не свободен, а добродетельный наслаждается равной свободой во всяком государстве. Читатель видит, о какой свободе шла здесь речь: о той, которая достигается бегством из грешного мира земных отношений.

Но даже и после своего бегства из нашего грешного мира Новиков сохранил нерасположение к освободительной французской философии. Борьба с энциклопедистами продолжалась во всех его мистических изданиях. Уже в «Утреннем Свете» напечатана была статья «Путешествие добродетели», одна из глав которой называется: «*Подлые*». В этой главе к подлым отнесены Свифт, Ларошфуко, Бэйль, «Ламетрий» и Гельвеций.

А. Незеленов замечает: «Не должно думать, что борьба «Утреннего Света» с энциклопедистами состояла в подобном порицании этих писателей; название их «подлыми» в одной статье есть факт единичный, можно сказать случайный. Журнал вел полемику иного рода: он возражал против сущности учения новых философов. При этом все доказательства его сводились к одной цели — к доказательству бессмертия души» [1]).

Само собою разумеется, что название тех или других писателей подлыми в *одной* статье представляет собою факт *единичный*. Однако этот единичный факт отнюдь не был тут случайным. В своих сатирических журналах Новиков не раз говорил, что *подлыми* делает людей не происхождение, а *безнравственность*. И уже в этих журналах энциклопедисты изображались проповедниками безнравственности. А когда он сделался мистиком, тогда он еще больше укрепился в своем убеждении насчет их безнравственности. В июльской книге «Утреннего Света» новые философы названы были подлыми, а в декабрьской его книге доказывалось, что добродетель предполагает веру в бессмертие души. Какими же людьми должны были казаться Новикову те, которые отрицали это бессмертие? Очевидно, — лишенными добродетели, безнравственными, т.-е. «подлыми». Правда, в действительности бессмертие души отрицалось не всеми проповедниками освободительной философии. Из этого следует только то, что, лучше разобравшись в разных ее от-

[1]) «Н. И. Новиков, издатель журналов», стр. 250. Изложение взглядов, выражавшихся в мистических журналах Новикова, делается мною главным образом на основании этого сочинения.

тенках, Новиков не всех ее представителей отнес бы к категории *подлых*. Но ясно, что и тогда он не перестал бы относить к ней «Ламетрия» с Гельвецием и вообще всех последовательных материалистов.

Сам же А. Незеленов цитирует в своей книге напечатанную в «Вечерней Заре» эпиграмму «к г. Изыскоеву», где на вопрос: какое животное менее всего похоже на человека? дается ответ: *философ* [1]). Это ничем не лучше «*подлых*». На одну доску с этой остроумной эпиграммой можно поставить ряд напечатанных в том же журнале и приводимых проф. Незеленовым мнений, достойных разве только инквизитора. Так, например, напечатанное в том же издании «Слово о вольнодумцах» Ж. Сорэна напоминает, что, согласно книге Левит, неверующих надо побивать каменьями [2]). У Незеленова это об'ясняется очень просто: Новиков «не доглядел», что в его журнал «пробралось» несколько произведений, содержанием своим *противоречащих* общему характеру его взглядов [3]). Но беда в том, что тут не было ровно никакого *противоречия*.

«Вечерняя Заря», в которую «пробрались» произведения, относящие философов к самому низшему разряду животных и советующие побивать их каменьями, издавалась (в 1782 — 1783 г.г.) Новиковым при ближайшем участии Шварца. Некоторые исследователи называют этого последнего главным руководителем названного органа [4]). А мы уже знаем, каким убежденным и последовательным обскурантом был Иван Егорович. И совершенно ошибочно утверждал проф. Незеленов, что «в тех серьезных сочинениях Новиковских журналов, где опровергаются учения материалистов и деистов, обыкновенно не говорится о необходимости запрещать сочинения, высказывающие эти учения» [5]). Еще в ту пору, когда он издавал свои сатирические журналы, Новиков думал, что без цензуры обойтись никак невозможно. «Общее спокойствие государства и безопасность каждого гражданина в особливости требует, — говорил он, — чтоб не дозволено было издавать книги опровержениями Божия закона наполненные, самодержавию и отечеству противные, також

---

[1]) «Н. И. Новиков» и т. д., стр. 323.

[2]) Там же, стр. 322 и 323.

[3]) Там же, стр. 323.

[4]) Например, В. Н. Тукалевский («Из истории философских направлений в русском обществе XVIII века»—«Журнал Мин. Нар. Просвещения», 1911, май, стр. 36). По мнению г. Тукалевскаго, «Новиков слишком был занят издательством и потому выбор материала принадлежал большею частью Шварцу». См. его же статью: «Н. И. Новиков и И. Г. Шварц» («Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 209 и след.).

[5]) «Н. И. Новиков», стр. 322.

сочинения язвительные и соблазнительные, могущие повредить сердце и душу молодых людей, или привести невинность на злодеяние. Таковых сочинений творцы недостойны носить сие имя, а должны почитаться вредительными гадинами в обществе». Исходя из этого, он указывал на необходимость духовной и светской цензуры, при чем первая занималась бы главным образом сочинениями, способными поколебать веру, а вторая — сочинениями, касающимися нравственности [1]). Неудивительно, что, ударившись в мистику, наш автор еще более утвердился в своем убеждении насчет пользы, приносимой цензурой в борьбе с материалистами и деистами, и еще прочнее усвоил себе взгляд на неверующих философов, как на *«вредительных гадин»*. В его первом мистическом журнале «Утренний Свет» автор статьи «Путешествие добродетели» взывал к монархам: «Истребите неверие, распространяющееся через вольность печатания» [2]). А в последнем журнале того же направления (в «Покоящемся Трудолюбце») говорится, что «все книги, которые содержат в себе хулы на Бога, поносные примечания против величества Божия, учения и мнения, нарушающие благоустройство в обществе, ненавистные рассуждения о правительстве, поносительные и ругательные сочинения и друг. т. п. достойны того, чтобы их сжечь» [3]). Незеленов прибавляет, что автор статьи, заключавшей в себе это, далеко не либеральное, мнение, требовал предварительного уголовного суда над нечестивыми сочинителями [4]). Но это ничего не поправляет. Вообще говоря, суд, конечно, лучше административного усмотрения. Но когда суд постановляет свои приговоры на основании варварских уголовных законов, тогда интересы подсудимаго все-таки остаются нарушенными. Много ли утешительного для авторов «Système de la Nature» заключалось в том, что их сочинение сожжено было по приговору парламента, а не по приказанию того или другого администратора? Писатель, требующий сожжения книг неприятного ему направления, во всяком случае выступает как обскурант.

Неверно и то утверждение Незеленова, что Новиков противопоставлял освободительной философии XVIII века «не масонские бредни, а философскую мысль» [5]). Конечно, пока Новиков не сделался масоном,

---

1) «Живописец», часть II, лист 20-й.

2) *Незеленов*, Н. И. Новиков, стр. 243.

3) Цитировано у Незеленова, там же, стр. 400.

4) Там же, та же страница.

5) «Литературные направления в Екатерининскую эпоху», стр. 348. То же утверждение повторяется во многих местах книги «Н. И. Новиков, издатель журналов».

он не мог опираться на «масонские бредни» в своей борьбе с названной философией. Но в то время содержание его «философской мысли» сводилось к нескольким избитым фразам о премудрости творения, недоступной уму «неверующих», и о безнравственности этих последних. А когда он вступил в масонский орден, особенно же с той поры, как превратился, под влиянием Шварца, в розенкрейцера, главной отличительной чертой его «философии» стало отрицание важнейших приемов философского и научного мышления.

VII

Незеленов стремился доказать, будто, в противоположность с настоящими масонами, — т.-е., точнее, розенкрейцерами, — Новиков не верил в «таинственные науки». И действительно, в его мистических журналах встречаются статьи, осмеивающие эти науки. Однако наличностью таких статей в названных журналах еще не доказывается правильность утверждения Незеленова. Образ мыслей Новикова никогда не отличался строгою последовательностью. Поэтому в его сатирических журналах, рядом с ожесточенными нападками на освободительную философию, совершенно неожиданно встречаются похвальные отзывы о наиболее видных ее представителях. И точно так же в его мистических журналах, одновременно с проповедью самого мрачного кладбищенства, встречаются иногда светлые мысли вроде той, — отмеченной мною выше, — что не может считаться просвещенной страна, где просвещение ограничивается придворным кругом, или той, что деспотическое правление представляет собою серьезное препятствие для экономического развития, или, наконец, той, что «таинственные науки» достойны осмеяния. Но эти исключения нимало не колеблют общего правила и свидетельствуют только о том, что просветительное влияние освободительной французской философии отчасти распространялось даже на тех, которые находили ее крайне опасной и считали себя нравственно обязанными вести с нею непримиримую борьбу. Подобного влияния не избежали Лопухин и другие русские мистики из среды родовитого дворянства. Еще менее могли предохранить себя от него Новиков и те более или менее образованные разночинцы, к которым он обращался. Но не это влияние характеризует собою миросозерцание Лопухина. И не оно определило собою воззрения Новикова.

Что касается, в частности, его отношения к «таинственным наукам», то правильное представление о нем можно составить на основании показаний, данных им на допросе. В одном из них он говорил:

«О делании золота, искании камня философского и прочих химических практических работах предписанных, во взятых бумагах; хотя и находится там: но как из нас не было ни кого еще, ктобы практическое откровение сих работ знал, то посему все предписания и оставались без всякого исполнения. Пред от'ездом же Кутузова из Берлина сказано было; о чем в показаниях моих не упомню в которых местах упомянуто, что Кутузов в Берлине будет научен и наставлен между прочим и в практических химических работах; но исполнилось ли сие обещание или нет, незнаю, а слышал я от кн. Трубецкого, что Кутузов, писал к нему, что он упражнялся в практических работах» [1]).

Выходит, что Новиков совсем не отрицал возможности делания золота, изготовления философского камня и т. д., а только не занимался работами этого рода по той, *вполне достаточной,* причине, что еще не получил необходимого для них «практического откровения».

Работы, относившиеся к вызыванию духов, повидимому, *всегда* осмеивались Новиковым. Он писал А. А. Ржевскому: «Призывание духов не что иное есть, как мерзость Ваалова или так называемая како-магия, проклинаемая на (sic!) многих местах Св. Писания» [2]). И, конечно, такое отношение к «*како-магии*» делает честь здравому смыслу Новикова. Но, во-первых, отрицание како-магии есть не более как отсутствие веры в одну из разновидностей магии, а именно — в «*дурную*» магию. Кто отвергает «*дурную*» магию (како-магию), тот верит в *хорошую, истинную* магию. А такой веры довольно для того, чтобы характеризовать миросозерцание человека в весьма определенном смысле. Во-вторых, нет ничего ошибочнее, как воображать, будто отличительным признаком «*настоящего масонства*» является вера в како-магию. «Английская система» была далека от такой веры, однако это не мешало ей быть *масонской системой.* Даже между розенкрейцерами возможность вызывания духов не пользовалась всеобщим признанием. Лопухин тоже высказывался иногда *против* «како-магии». Скажем ли мы, что и он не был «настоящим масоном»?

В высшей степени замечательно, что в том самом письме к А. А Ржевскому, в котором Новиков резко высказался против како-магии, он с неподдельным восторгом отзывался о розенкрейцерской мудрости, ставшей доступной московским масонам благодаря усердию Шварца. Он говорил, что «по не заслуженному их (московских масо-

[1]) *Лонгинов,* Новиков и московские мартинисты, прилож., стр. 105.

[2]) Письмо от 14 февраля 1783 г., (См. *Я. Л. Барсков,* Переписка московских масонов, стр. 243.)

нов.—*Г. П.)* щастию удостоились они превышающего и самые величайшие награждения орденския об'ятия и благословения (? — *Г. П.)*; они обоняют уже небесный и чистый и натуру человеческую оживляющий запах ордена; позволили уже им утолять жажду их к познаниям из источника Едемского изобильно и непрестанно протекающего от начала веков во все четыре конца вселенныя» [1]).

Так мог говорить только «*настоящий* масон», усвоивший себе образ мыслей *розенкрейцеров*.

Отвергая возможность вызывания духов, Новиков, тем не менее, обеими ногами стоял на почве мистицизма. В какое отношение к науке стал он благодаря этому, показывает знаменитое письмо его к Карамзину, где он излагал свой взгляд на задачи истинной философии. «Философия холодная мне не нравится, — говорил он там, — истинная философия, кажется мне, должна быть огненна, ибо небесного происхождения». Такая философия ведет прямым путем к познанию истинного бога. В числе основных вопросов, ею выдвигаемых, заслуживают внимания следующие: «Одна ли есть натура или более? Таковым ли видимый или чувственный мир вышел из рук Божиих, каким мы его видим, или был инаков? Что есть небо и одно ли оно или более? Впечатлена ли троичность Божия во всей его твари или нет, и как мы сие разуметь должны?». Не менее важным считал Новиков также вопрос о том, «почему Моисей сказал, что Бог сотворил Адама в мужа и жену, а известно, по его же словам, что Адам уже существовал, когда Евы еще не было, и что Ева уже сотворена была из ребра Адамова, тогда, когда Адаму уже нужно было спать?». Здесь Новиков, сам того не подозревая, подходил к одному из интереснейших вопросов, возникающих при изучении мифологии семитических народов. Само собою разумеется, что он искал решения этого вопроса не в науке, — которая, нужно заметить, *и не могла бы решить этот вопрос в то время*, — а в мистическом откровении. На науку он глядел сверху вниз, как смотрят на нее все мистики, считающие себя обладателями высшего знания. «С позволения наших почтенных астрономов», он утверждал, что наука «бредит», насчитывая более семи планет: «ни больше, ни меньше семи планет быть не может, понеже Бог их сотворил только семь и наполнил их силами, каждой приличными». Подобные суждения не нуждаются в комментариях.

Огорчало Новикова и то, что «нынешние *физики*», не довольствуясь четырьмя стихиями, принимают гораздо большее число их (т.-е., точнее,

---

[1]) *Я. Л. Барсков*, там же, та же стр.

элементов), а «*химики* все прежнее отбросили и наделили нас какими то газами, т.-е. пустыми словами, не имеющими ни значения, ни силы». Отказываясь исчислить все «бредни» ученых, Новиков, в укор им, замечал: «Любезные древние философы и Патриархи не так разумели философию...» [1]).

Такие взгляды высказывались им не только в этом письме к Карамзину. В одном из писем к Х. А. Чеботареву он очень сожалел, что «нынешней просвещенной век все чудеса отметает; новые философы называют это суеверием. Я бы желал, чтобы какой грамматик этимологиею слова «суеверие» доказал им, что суеверные не те, которые веруют чудесам, но те, которые им не веруют» [2]).

Еще более характерно для образа мыслей Новикова письмо его к тому же Чеботареву и М. О. Мудрову (от 17 июня 1813 г.). Из этого письма мы узнаем, что в деревне, соседней с его Тихвинским, «одна молодая глупенькая баба» умерла, но через сутки воскресла и рассказывала о поучительных беседах, которые пришлось ей вести на том свете. Некто Светлый, сидевший на престоле, сообщил, что ее отпустят на землю, но при этом велел ей передать разные наставления людям.

«Скажи своей княгине, — наказывал, между прочим, Светлый, — что она весма глупо зделала, приказавши после освящения новой церкви обвенчать несколько пар, а умерших в то время младенцов приказала хоронить в старой церкви; она бы гораздо лутче зделала, ежели бы приказала младенцов отпевать в новой церкви, а свадбы венчать в старой» Далее следовало наставление о том, что нюхать табак и есть картофель

---

[1]) Не имея под руками переписки Гамалеи, во второй части которой напечатаны письма Новикова к Карамзину, цитирую по книге *А. Н. Пыпина,* Русское масонство, стр. 257.—П. Н. Милюков, в своих «Очерках по истории русской культуры», говорит, что в XVIII веке сама наука выступала на тот путь, который как будто вел туда же, куда стремилась проникнуть и натурфилософия: «Ученой новинкой, поразившей воображение тогдашней публики, были первые открытия химии. Вещества, повидимому, простые... оказались сложными. Являлась надежда открыть еще более первичные элементы, в которых и ожидали найти начало всех начал и ключ к превращению одних веществ в другие». Эту догадку почтенного историка повторил автор новейшего исследования о Новикове, Г. К. Боголюбов («Н. И. Новиков и его время», Москва 1916, стр. 149). Но мы видим, что химические открытия XVIII века наводили Новикова на мысли, не имеющие никакого сходства с теми, которые подсказывают мистикам г.г. Милюков и Боголюбов. Притом же, открыть «начало всех начал» мистики стремились еще в эпоху Парацельса.

[2]) *Б. Л. Модзалевский,* К биографии Н. И. Новикова—«Русский библиофил», апрель, 1913 г., стр. 34.

не грех, а грех ненавидеть своего ближнего, завидовать ему, желать зла и т. д. Бедный Новиков брал всерьез всю эту болтовню «молодой глупенькой бабы». Он наставительно прибавлял: «сие приключение достойно замечания».

Проф. Незеленов, повидимому, думал, что отличительным признаком настоящего масонства служит суеверие вроде признания возможности вызывать духов при помощи «како-магии». Это смешно. Однако допустим, что это правильно. Тогда возникает вопрос, чем же отличается от такого суеверия наивно-доверчивое отношение Новикова к бабьим россказням?

Проф. Незеленов сам видел, что есть много фактов, не оставляющих никакого сомнения в «настоящем масонстве» Новикова, но он утверждал, что все они относятся к тому времени, когда тот уже перестал издавать свои журналы.

«Новиков наконец сделался настоящим масоном, — говорится в много раз уже цитированной мною книге А. И. Незеленова, — но он сделался им уже *после* «Покоящегося Трудолюбца», т.-е. после того, как вполне высказал свою *идею,* дающую ему право на высокие значение в истории нашей литературы и образованности». Затем профессор удивлялся тому, что «падение», доведшее Новикова до масонства, совершилось непосредственно вслед за прекращением последнего из его журналов, с особенной ясностью и силой выражавшего эту идею. Но из собственных слов А. Незеленова видно, что дело происходило совсем иначе.

Процесс, приведший Новикова к «падению», приурочивался нашим исследователем к 1784 и 1785 г.г. «В эти именно годы, — говорит он, — в душе знаменитого деятеля стал совершаться переворот, отчасти подобный перевороту, сразившему впоследствии Гоголя» [1]). Но в эти именно годы и выходил «Покоящийся Трудолюбец». Стало быть, Новиков с особенной ясностью и силой выражал «свою идею» *как раз в такое время, когда совершался процесс его падения.* Это, в самом деле, удивительно. Когда Гоголь начал переживать «сразивший» его переворот, он стал малоспособным к литературной деятельности. Хорошо ли справился проф. Незеленов с хронологией?

Плохо! Цитированное мною выше письмо к А. А. Ржевскому, выражающее радость Новикова по поводу того, что московские масоны, «по незаслуженному их счастью», получили возможность «обонять небесный и чистый и натуру человеческую оживляющий запах ордена», относится

---

[1]) «Н. И. Новиков, издатель журналов», стр. 429—430.

к февралю 1783 года, т.-е. ко времени, предшествовавшему появлению «Покоящегося Трудолюбца». Одного этого достаточно было бы, чтобы, подобно карточному домику, рассыпалось все искусственное построение проф. Незеленова.

VIII

Весьма возможно, что А. Н. Пыпин имел в виду это фантастическое построение, когда говорил об отсутствии скачков и переворотов в ходе умственного развития Новикова. Если это так, то он был прав. *После* того, как прекратился выход «Покоящегося Трудолюбца», в душе Новикова никакого переворота не происходило: он *оставался мистиком, каким сделался прежде, чем приступить к изданию «Утреннего Света»*.

Г. Тукалевский не повторил ошибки проф. Незеленова, слишком плохо разобравшегося в хронологии душевных переживаний Новикова. Однако он сделал другую, — не менее, если не более, важную. Он ошибочно истолковал мистический взгляд Новикова и неосновательно противопоставил его мистическому взгляду других московских розенкрейцеров. Вот что говорит он об этом:

«Если *царствие Божие внутри нас* самих, то ясно, что надо строить жизнь согласно идеалу, выражающемуся в любви к людям, помощи ближним и других христианских добродетелях; и тогда тело и земная жизнь законны и необходимы» [1]).

«Если же *царствие Божие на небе*, если земная жизнь лишь переход к будущей, то надо все свои силы и духовные очи устремить к небу и умирать «телесной жизни». Для всех было ясно: надо «следовать Христу». Но как? Следовать ли Христу, помогающему и облегчающему, как проповедывал Арндт, или же следовать Христу страдающему, к чему звал Фома Кемпийский?» [2]).

Г. Тукалевский думает, что Шварц «своим проникновенным умом» (!), может быть, нашел бы для всех удовлетворительное решение этого вопроса. Но Шварц умер, вопрос не получил надлежащего решения, и масонство раскололось: Новиков пошел туда, куда звал его Арндт; Лопухин, Колокольников, Невзоров и другие последовали за Фомой Кемпийским; наконец, Трубецкой, Кутузов и Петров «ушли в алхимию» [3]).

---

[1]) «Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 219.

[2]) Там же.

[3]) Там же, стр. 220.

Тут перед нами опять совершенно искусственное построение.

Конечно, в московском розенкрейцерстве были разные оттенки. Это естественно и неизбежно. Но это были именно только *разные оттенки одного и того же миросозерцания*. Ни о каком расколе между московскими розенкрейцерами говорить не приходится. Если бы он существовал, то как об'яснить, что Новиков даже не намекнул на него ни в одном из своих писем? Почему о нем ни слова не говорит Лопухин в своих «Записках» и совсем не упоминается в переписке московских розенкрейцеров?

Г. Тукалевского ввело в ошибку совершенно ложное понимание им внутренней логики принципа: *царство божие внутри нас*.

В действительности, она прямо противоположна той, которую вкладывает в названный принцип г. Тукалевский.

Если царство божие *внутри нас, то все внешнее,—т.-е. также и вопрос* о взаимных отношениях людей в обществе, — имеет лишь ничтожное значение и не заслуживает внимания добродетельного человека. Разумеется, надо строить жизнь согласно идеалу, но идеал состоит совсем не в том, чтобы установить правильный общественный строй. Как отмечено выше, уже первый мистический журнал Новикова, «Утренний Свет», категорически утверждал, что добродетельный человек свободен и в неволе.

Это не все. Если царство божие внутри нас, то главная наша работа должна заключаться в том, чтобы стать в надлежащие отношения к божеству. А эти отношения лучше всего понимаются с точки зрения *вечности*. Точку зрения вечности и усвоил себе Новиков, сделавшись масоном. А когда он усвоил ее, тогда земная жизнь,— *как временная*,— утратила цену в его глазах. Вот почему уже в «Утреннем Свете» проводилась та «кладбищенская» идея, что смерть выше и желательнее жизни. Одной из бесчисленных вариаций этой кладбищенской идеи было то, уже знакомое нам, мнение Лопухина, что в свои сношения с подчиненными ему людьми истинный франк-масон должен вносить главным образом заботу об их будущей жизни. С этой стороны между Лопухиным и издателем «Утреннего Света» нет ни малейшего разногласия, а ведь эта сторона важнее всех прочих.

Если земные отношения людей, как временные, теряют цену в глазах мистика, поднявшегося на точку зрения *вечности*, то он остается вполне верным себе, отказываясь вкладывать в понятие о нравственности какое-нибудь *общественное* содержание. К поступкам людей он применяет только критерий *индивидуальной нравственности*, которой

он очень дорожит, так как ею определяются отношения человека к божеству. Совершенно такое понимание нравственности встречаем мы в мистических журналах Новикова. Новиков хочет улучшать людей per enumerationem simplicem. Подобно нынешним толстовцам, он охотно распространяется о том, как будет хорошо, когда все люди станут добродетельными. «И так если бы возможно было людей привести к тому, чтобы они сперва вообще себя, как средоточие всех вещей, почитали за образ благородия и добродетели: тогда б мы каждого особливо находили склонным признавать себя за важную и достойную часть его средоточия» [1]). Условная форма, в которой изложена здесь мысль Новикова (*если* бы возможно было и т. д.), не должна вводить нас в заблуждение: он твердо убежден в полной возможности осуществления своего идеала. «Самый непорядочный человек, — говорит он,— недолго будет противиться, если его заблуждение станут ему доказывать кротким образом» [2]).

Усовершенствование индивидуальной нравственности людей посредством влияния более добродетельных индивидуумов на менее добродетельных, — такова программа действий, которую выработал себе Новиков, сделавшись мистиком. Но совершенно такова же была программа всех московских розенкрейцеров. Разница лишь в том, что *Новиков гораздо деятельнее,* нежели другие, осуществлял эту программу. Эта разница заслуживает большого внимания. Но об'ясняется она вовсе не расхождением в понимании принципа: царство божие внутри нас. В деятельности Новикова и его ближайших сподвижников дала себя почувствовать молодая энергия нашего «среднего сословия», т.-е., собственно, разночинцев [3]).

Это возвращает нас к возникшему перед нами в конце предыдущей главы вопросу:

---

[1]) Предуведомление к «Утреннему Свету», стр. XII.

[2]) Этим об'ясняется и отрицательное отношение Новикова-мистика к сатире «на лица»; в ней отсутствует надлежащая «кротость».

[3]) Как уже сказано в предыдущей главе, Шварц очень заботился о привлечении к своим предприятиям учащейся молодежи Его примеру усердно следовал Новиков. В издававшихся им мистических журналах всегда сотрудничало много студентов. С. Г. Сватиков называет «Покоящийся Трудолюбец» первым студенческим журналом в России, так как у него было 11 сотрудников из числа студентов. Но весьма значительную часть студенчества составляли разночинцы. По мнению, С. Г. Сватикова, преобладание разночинцев в русском университете XVIII столетия несомненно. (См. его статьи: «Студенческая печать с 1775 по 1915 г.», отдельный оттиск, стр. 2, и «Русское студенчество прежде и теперь», отдельный оттиск, стр. 3).

Почему мистики показали себя гораздо более склонными к работе в области филантропии и просвещения (как они его понимали), нежели «вольтерьянцы»?

Я сказал, что решить этот вопрос поможет нам изучение деятельности Новикова. Теперь мы достаточно ознакомились с нею, чтобы следующим образом формулировать искомый ответ:

Если мистики больше «вольтерьянцев» потрудились в указанных областях, то этим они обязаны были наличности в их среде «мещанства», самым деятельным элементом которого были разночинцы, а самым выдающимся идеологом явился Новиков.

IX

Этот ответ ставит нас лицом к лицу с новым вопросом:

Чем же об'яснить тот, на первый взгляд странный, факт, что проповедь мистицизма имела у нас успех не только в известном слое консервативного «знатного боярства», но также и в «мещанстве»?

Чтобы ответить на этот новый вопрос, надо вспомнить то, что мы уже знаем о тогдашнем настроении нашего своеобразного «среднего сословия».

Лица, входившие в его состав, чувствовали потребность в самообразовании и в работе на пользу просвещения. Эта их потребность явилась плодом западного влияния, — отголоском того, к чему стремилось третье сословие во Франции. Но наши общественные отношения были еще так неразвиты, что плод оказался слишком малосочным, отголосок — до последней степени слабым. Наше «мещанство» никак не могло усвоить себе идеологию третьего сословия Франции. Дорожа просвещением, оно хотело, чтобы просвещение было старательно очищено от французского свободомыслия. «Вольтерьянство» страшило и возмущало его как единственная, известная ему, форма выражения этого свободомыслия. Недовольство «знатным боярством» прочно сочеталось в душе русского «мещанина» со страхом, который внушали ему французские писатели, «по фисике» доказывавшие несостоятельность старых верований[1]). Это обстоятельство в известной мере облегчало

[1]) По выходе из Шлиссельбурга, Новиков одно время надеялся, что гр. Ростопчин «учинится истинным и великим орудием милосердия Божия ко истинному благу отечества нашего», или, говоря проще, что этот «знатный боярин» будет полезен масонам. Но, когда представился случай познакомиться с Ростопчиным, Новиков прежде всего спросил: «не философ ли он? т.-е. не вольнодумец ли (это

сближение «среднего сословия» с мистиками, которые не менее сильно чуждались «злых вольнодумцев». Но это не все.

Стремившееся к самообразованию и просветительной деятельности «среднее сословие» было еще слишком бедно для того, чтобы в своей собственной среде найти необходимые для нее денежные средства.

Нам уже известно, в какое замешательство пришли книгоиздательские дела Новикова весною 1772 г., когда двор покинул Москву. Он настоятельно просил Козицкого исходатайствовать ему помощь государыни. «Без сея же помощи нахожусь в крайнем принуждении бросить все мои дела неоконченными, — писал он; — что делать, когда усердие мое в оказание услуг моему отечеству согражданами моими так плохо приемлется». Императрица до поры до времени поддерживала Новикова, хотя преимущественно тогда, когда он предпринимал какие-нибудь *специальные* издания. Нет надобности повторять, как не любила она его сатиры. Да и не терпела она его предприятий, начинавшихся по чужому почину. Двор Екатерины, конечно, подражал ей, а вдобавок он как раз был средоточием зараженного вольтерьянством того «знатного боярства», на которое Новиков нападал в своих изданиях за его нечестивые французские взгляды и за его нерусские привычки. Эти его нападки вызывали неудовольствие в придворном кругу. Ясно, стало быть, что расчеты на поддержку двора не могли быть основательны. Надо было искать поддержки в другой среде. И Новиков нашел ее в той части «знатного боярства», которая, испугавшись французского вольнодумства, устремилась в мистику. А. И. Тургенев высказал очень интересный взгляд на отношение Новикова к Лопухину и его товарищам: «Новиков был часто их орудием и употреблял и их, как орудие» [1]). Ввиду краткости этого суждения, трудно с полной точностью выяснить себе его смысл. Но необходимо признать, что в нем много правды: *мистики из богатой и родовитой среды служили Новикову орудием в том смысле, что давали средства для его широкой издательской и благотворительной деятельности.*

ныне синоним) и не считает ли он наше *любимое* или глупостью и скудоумием, или обманом только для глупых?» (*В. Боголюбов*, «Новиков и его время», стр. 471). Кстати, Ростопчин, уверявший, что считает за честь для себя знакомство с Новиковым, в 1812 г. обвинил этого последнего в сношениях с Наполеоном!

[1]) См. примечание Б. Л. Модзалевского к одному из писем Новикова к М. Я. Мудрову («К биографии Новикова»—«Русский библиофил», апрель 1913, стр. 41). Часть этого замечательного отзыва Тургенева приведена мною выше (о «вольных» типографиях).

В 1781 г. П. А. Татищев явился со своим богатством на помощь «Дружескому обществу». Вслед за ним значительные суммы внесены были в кассу «Общества» князьями Трубецкими (Ю. Н. и Н. Н.). кн. Черкасским, В. Чулковым, И. П. Тургеневым и другими.

В 1784 г., когда члены «Дружеского общества» основали «Типографическую Компанию», ее капитал составился из взносов: от бр. Лопухиных — 10.000 р.; от кн. Трубецких — 6.000 р.; от кн. Черкасского, от Тургенева, Чулкова и Ладыженского по 5.000 р.; от бар. Шредера — 3.500 р.; от Кутузова — 3.000 р. и т. д. [1]).

Во время голода 1787 г. большая денежная сумма получена была Новиковым от Походяшина, в лице которого на помощь голодавшим пришло наше «среднее сословие» в истинном смысле этого слова: Походяшин был сыном богатого купца-заводчика.

Все это подало впоследствии Екатерине повод сначала подозревать, а потом и формально обвинять Новикова в том, что он с корыстной целью старался «уловлять» в свое общество богатых и влиятельных людей. Читатель понимает, что желание Новикова и его ближайших единомышленников привлечь к своему делу таких людей было, как небо от земли, далеко от своекорыстия и что ученица Вольтера, как образцовая эгоистка, ровно ничего не поняла в нем. Но факт налицо: мистически настроенный слой «знатного боярства» поддержал Новикова своими денежными средствами.

Конечно, это было уже после того, как сам Новиков сделался мистиком. Но и раньше этой поры необходимость заручиться материальной поддержкой со стороны «знатного боярства» должна была предрасполагать его к сближению с теми элементами этого общественного слоя, которые, благодаря своему благочестивому настроению, все-таки были более симпатичны ему, чем не менее «знатные», но уж совсем не благочестивые «вольтерьянцы».

Конечно, *известное сближение с мистиками* совсем не равносильно *увлечению мистицизмом*. Поэтому только что указанные мною обстоятельства еще не об'ясняют того факта, что наиболее видный, деятельный и самоотверженный представитель русского «мещанства» XVIII века сам проникся мистицизмом. Между тем, этот важный и знаменательный факт настоятельно требует об'яснения.

Надо заметить, что его отчасти уже об'яснил Карамзин в одном из своих писем к Лафатеру.

---

[1]) *В. Боголюбов,* Новиков и его время, стр. 329, 330 и 332.

В этом письме, *со слов самого Новикова,* говорится о том, что *внешние обстоятельства* заставили бывшего издателя лучших сатирических журналов взяться за искание «*иных путей быть полезным своему отечеству*» [1]).

Комментируя письмо Карамзина, г. Тукалевский так изображает пережитый Новиковым психологический процесс:

«Он (Новиков.—*Г. П.*) понял, что неудача сатирических его журналов зависела от произвола власти, что те, кого он хотел сатирой обратить к новой жизни, с любопытством читают его листки, а исправления нравов не замечается». Новые организации — масонские ложи, на которые он возлагал свои надежды, сами не знают, чего они хотят, или, лучше сказать, не знают, как им достигнуть того, к чему они стремятся. И вот Новиков принимается за тяжелую, медленную, но верную работу — просвещение русского народа через книгу [2]).

Г. Тукалевский и здесь ошибся. Целью просвещения русского народа через книгу Новиков задался еще в то время, когда был фурьером Измайловского полка. Издание сатирических журналов было в его глазах *одним из средств достижения этой цели.* И если запрещение названных журналов могло навести его на какую-нибудь новую мысль, то таковою, очевидно, не могла быть уже давно и хорошо знакомая ему мысль о том, что средством просвещения русского народа должна служить книга. Что касается масонских лож, в одну из которых он вступил в 1775 году, то они действительно оставляли его в течение известного периода неудовлетворенным, однако вовсе не потому, что они сами плохо сознавали, каким способом надо просвещать русский народ, а потому, что взгляды их вообще не отличались тогда определенностью. Вдобавок он подозревал в них стремление к *политике.* Тогда у нас еще преобладала шведская система масонства. Против этой системы предупреждал его приехавший в Россию представитель берлинской Landesloge, барон Рейхель. На допросе Новиков трогательно рассказывал, как он «со слезами» просил Рейхеля указать ему такой признак, по которому можно было бы безошибочно отличить *истинное* масонство от *ложного.* Рейхель тоже «со слезами», ответил ему: «Всякое масонство, имеющее политические виды, есть ложное; и ежели ты приметишь хотя тень политических видов, связей и растверживания слов равенства и вольности, то почитай его ложным». После этого Новиков,

---

[1]) Курсив мой.

[2]) «Масонство в его прошлом и настоящем», т. I, стр. 189—190.

по его собственным словам, стал еще осторожнее относиться к масонству шведской системы [1]).

Масоны этой системы отнюдь не были поклонниками равенства и вольности. Однако они в самом деле не чуждались политических интриг, которые Новиков, в простоте души своей, смешивал с политикой. Нимало не расположенный к «политике» и только что собственным опытом узнавший, какими непреодолимыми затруднениями усеян был его прежний путь служения отечеству посредством хотя бы и самого скромного разоблачения царившей в нем общественной неправды, Новиков захотел приносить пользу своим соотечественникам посредством указания им наилучшего пути к благочестию. Лишенный возможности отстаивать их *земные* интересы, он нашел утешение в той мысли, что интересы эти, *как временные,* ничтожны в сравнении с вопросом о том, как следует готовить себя к *загробной жизни.* Другими словами, он сделался мистиком.

Он сделался мистиком, повинуясь тому же побуждению, которое заставило молодого В. Ордина-Нащокина бежать за границу, а «дукса» Хворостинина постричься в монахи: он неспособен был примириться с окружавшим его общественным злом и не нашел на земле средств для преодоления этого зла. Почувствовав себя лишним в земной жизни, он устремил свой взор на небо.

Ни Кантемир, ни Татищев, ни другие европеизованные русские люди первой половины XVIII столетия не переживали того, что пришлось пережить В. Ордину-Нащокину, Хворостинину и Новикову. Птенцы гнезда Петрова и деятели эпохи, непосредственно следовавшей за Петровским преобразованием, верили, что находившийся в руках правительства «Моисеев жезл» неограниченной власти просветит Россию. Такой веры *еще не было* ни у В. Ордина-Нащокина, ни у Хворостинина, и она, как видно, *уже исчезла* у Новикова, который, однако, не без большого труда расстался с нею и не далее как в своем «Живописце» пропел целый панегирик автору комедии «О Время».

Говоря, что Новиков не нашел на земле средств для преодоления общественного зла, я разумею не только утрату им надежды на «Моисеев жезл», но также и разочарование его в древних русских добродетелях. Если бы у него сохранилась вера в эти добродетели, то, вынужденный «независящими обстоятельствами» отказаться от сатиры и публицистики, он, пожалуй, окончательно увлекся бы идеализацией старины и

---

1) *М. Лонгинов,* Новиков и московские мартинисты, прилож., стр. 076.

придумыванием таких средств, которые позволили бы «ко просвещению Россиян возвратить и прежние их нравы» [1]). Конечно, все подобные средства имели бы совершенно утопический характер, но они продолжали бы привлекать его внимание к условиям *земной* жизни его соотечественников и, может быть, предохранили бы его от того шага, который проф. Незеленов справедливо назвал его *падением*. Но после напечатания неоконченного разговора немца с французом, Новиковым овладели непреодолимые сомнения в старых русских добродетелях. Поэтому, после прекращения «Кошелька», ему уже не за что было ухватиться, и он «*пал*», уйдя в мистику.

Проф. Незеленов довольно удачно сравнил падение Новикова с переворотом, «сразившим» впоследствии Гоголя. Гоголь тоже пал. Но когда совершилось его падение, передовые читатели его произведений отказались следовать за ним, и чувства, ими овладевшие, нашли блестящее выражение в знаменитом письме Белинского к автору «Переписки с друзьями». Не то произошло при падении Новикова. Насколько мы знаем, оно не вызвало неприятного изумления в среде «мещан», еще так недавно с удовольствием читавших Новиковские сатирические журналы. Напротив, большинство их доверчиво пошло за своим вожаком по избранному им новому пути. Учащаяся молодежь принялась усердно работать в его новых, — *мистических*, — изданиях, а «мещане» более зрелого возраста стали читать выходившие из его типографий душеспасительные сочинения.

Это была целая трагедия. Найдя нравственное успокоение в мистике, Новиков *вложил всю свою редкую энергию* в проповедь «философии», ставившей смерть выше жизни и тем самым отрицавшей значение всякой *энергичной деятельности* на земле. Этот самоотверженный человек, выступивший на Руси идеологом разночинцев, которые, при всем своем тогдашнем консерватизме, не могли быть довольны своим положением, стал распространять взгляды, в корне подрывавшие всякий интерес к вопросам общественного устройства. О тогдашней «просветительной» деятельности Новикова приходится сказать словами Гейне:

Er sang das alte Entsagungslied,
Das Eiapoppeia vom Himmel,
Womit man einlullt, wenn es greint,
Das Volk, den grossen Lümmel...

---

[1]) «Кошелек», лист 3-й, продолжение разговора между добрым немцем и злым французом.

Он громко и восторженно пел замогильную песню, а более или менее образованные разночинцы с удовольствием слушали ее и дружным хором подхватывали ее кладбищенский припев. Трагедия, которую мы видим здесь, была трагедией не отдельных лиц, а *целого общественного слоя*. Настроение, овладевшее Новиковым, оказалось соответствующим настроению весьма значительной части европеизованного «мещанства». Выступление нашего разночинца на арену общественной деятельности совершалось теперь под знаменем духовной реакции против передовых идей XVIII столетия. Вино новое влилось в мехи старые.

Это замечательно уже само по себе. Но еще замечательнее становится это ввиду того, что наша тогдашняя власть не могла помириться даже и с таким выступлением «среднего сословия». Московские розенкрейцеры подверглись преследованию. Ученица Вольтера никогда не прощала своим подданным самостоятельного почина, в каком бы виде он ни проявлялся. А тут было еще одно обстоятельство, возбудившее в ней большие опасения.

Согласно закону, изданному Петром I, русский монарх мог по собственному усмотрению назначать себе наследника. Но русские обыватели второй половины XVIII века плохо понимали «правду воли монаршей» и довольно сильно склонялись к тому убеждению, что право на русский престол принадлежало не Екатерине, а сыну императора Петра III — Павлу. Екатерина знала это и с крайней подозрительностью относилась к своему сыну. Однажды, во время пребывания великого князя Павла Петровича в Париже, — куда он приехал, как известно, в мае 1782 г. под именем графа Северного, — у него зашел разговор с Людовиком XVI, спросившим его, между прочим, правда ли, что в его свите нет ни одного лица, на которое он мог бы положиться. Павел с живостью отвечал: «Ah bien, je serais bien faché qu'il y eût auprès de moi le moindre caniche fidèle à ma personne dans ma suite; ma mère l'aurait fait jeter à l'eau avant que nous ayons quitté Paris» [1]).

Это дает понятие об отношениях, установившихся между матерью и сыном. Теперь вообразите, что преданностью к великому князю отличается не «собачка», а целая организация, обладающая денежными средствами и связями в обществе. Ясно, что Екатерина непременно должна

[1]) «Было бы для меня очень печально, если бы в моей свите оказалась хотя самая маленькая верная мне собачка: мать моя приняла бы меры, чтобы бросить ее в воду до моего отъезда из Парижа». *(Кобеко,* Цесаревич Павел Петрович, стр. 237.)

была «утопить» ее. Но такой организацией и явилось общество московских розенкрейцеров.

Г. Шумигорский не сомневается в том, что тогдашний наследник русского престола был посвящен в масонские тайны кн. А. Б. Куракиным и под его влиянием сделался вольным каменщиком. Помощником Куракина в этом деле названный исследователь считает С. И. Плещеева. По другим известиям, Павел принят был в масоны И. П. Елагиным [1]). Как бы там ни было, в самом деле неоспоримо, что великий князь интересовался масонами, а масоны видели большую выгоду в привлечении его на свою сторону. Московские розенкрейцеры, подобно петербургским масонам, тоже старались войти в сношения с великим князем, и это им удалось. Старательно избегая «*политики*», они, как видим, не избегли известной доли *политиканства*. Разумеется, полиция Екатерины II внимательно следила за русскими масонами вообще и за московскими—в частности: нам уже известно, что переписка их подвергалась «перлюстрации». Весь вопрос в том, что же собственно открыла полиция и было ли что-нибудь преступное, даже с точки зрения наших тогдашних законов, в сношениях розенкрейцеров с Павлом. Г. Шумигорский приводит следующую песню, написанную, по его предположению, Лопухиным и напечатанную в первой части первого тома «Магазина свободнокаменщического» за 1784 г.:

Залог любви небесной
В тебе мы, Павел, зрим;
В чете твоей прелестной
Зрак ангела мы чтим.
Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом!

Судьба благоволила
Петров возвысить дом
И нас всех одарила,
Даря тебя плодом.
Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом!

С тобой да воцарятся
Блаженство, правда, мир!
Без страха да явятся
Пред троном нищ и сир.
Украшенный венцом,
Ты будешь нам отцом!

[1]) *Е. С. Шумигорский,* Император Павел I и масонство.—Масонство в его прошлом и настоящем», т. II, стр. 139—142.

Уже ты видишь ясно
Врата бессмертных в храм,
К которому опасно
Ступают по трудам.
Тебе Минерва мать,
Ты можешь путь скончать!

Петрова кровь бесценна,
Богини русской сын,—
О отрасль вожделенна,
Теки, как исполин,
Блаженства вечный свет
Куда тебя ведет!

Г. Шумигорскому слышатся в этой песне какие-то опасные намеки. Он говорит: «Екатерине не нужно было читать в сердцах, чтобы оценить смысл стихотворения, постоянным припевом которого было: «Украшенный венцом, ты будешь нам отцом!» [1]). Но странно было бы ставить верноподданным в вину надежду на то, что наследник престола сделается их отцом, когда ход судеб украсит его короной. Нужно было именно *читать в сердцах,* чтобы в печатном выражении такой надежды открыть желание деятельно вмешаться в естественный ход судеб для приближения того времени, когда наследник престола превратится в императора. Вероятно, Екатерина подозревала московских розенкрейцеров в готовности поддержать Павла, если бы тот попытался отнять у нее власть. После многолетнего слежения за ними и разного рода придирок ученица Вольтера нашла нужным «уничтожить это почтенное общество из которой окроме книг не сходные с Православием не выходило» (ее собственные слова). Тринадцатого апреля 1792 г. она подписала указ об аресте Новикова.

Следствие по этому делу велось, разумеется, в полном противоречии с правовыми принципами тех передовых писателей, которых некогда обирала Екатерина при сочинении своего «Наказа». Интересы обвиняемых систематически нарушались следователями. И все-таки властям не удалось открыть в действиях московских розенкрейцеров что-нибудь преступное [2]). Предание их уголовному суду оказалось неудобным. А так как государыня во что бы то ни стало хотела покончить с Новиковым, которого она считала умным и потому опасным фанатиком, то пришлось прибегнуть к «Моисееву жезлу». По распоряжению Екатерины, Новиков был заключен в Шлиссельбург на 15 лет (что сказал бы о таком распо-

[1]) Там же, стр. 145.

[2]) Об этом см. у г. *Боголюбова,* назв. соч., стр. 432 и след.

ряжении Беккария?!). На его имущество наложен был арест: все изданные «Типографической Компанией» книги — захвачены. «Разбор им продолжался несколько лет, — говорит Лопухин, привлекавшийся к тому же делу. — Множество сожжено, и все почти исчезло. Многим участвовавшим в прежде бывшей... типографической компании нанесло оное крайние убытки — и мне особливо» [1]).

Распространяться о том, как сильно нарушались всем этим самые элементарные требования правосудия, совершенно излишне. Не мешает заметить, однако, вот что. Жалующийся на разорение Лопухин все-таки отделался *сравнительно* дешево. Он не только не был заключен в тюрьму, но его даже не выслали из Москвы: ему позволено было остаться там ввиду болезни его престарелого отца.

Другие, как выражалась Екатерина, «сообщники» подверглись неодинаковым наказаниям. Князь Трубецкой и И. П. Тургенев сосланы были на житье в свои деревни. Кн. Енгалычев, В. В. Чулков, О. Я. Поздеев, Херасков и многие другие вовсе не пострадали, если не считать пережитого ими волнения [2]). Походяшина совсем не тронули. Зато много вынесли Колокольников и Невзоров, арестованные в Риге, при возвращении своем из-за границы [3]). Колокольников скоро умер под арестом, а Невзоров долго страдал психическим расстройством. Сохранилось прошение его о том, чтобы его перевели в другую комнату, так как под его тюремной кельей сохранялось, — писал он, — «множество горючих материй, да думаю, что тут много и мертвых» [4]). Это явный бред. Очевидно, к Невзорову вернулась болезнь, которой он страдал когда-то за границей. Неизвестно, скоро ли перестала Тайная Экспедиция мучить больного арестанта и скоро ли был он отправлен в больницу, но на волю выпустили его только в апреле 1798 года [5]).

Г. Боголюбов считает, что продолжительное заключение Невзорова в доме умалишенных совсем не было наказанием [6]). Пусть так. Но спрашивается, не содействовало ли заболеванию Невзорова следствие, в про-

---

[1]) «Записки», стр. 63.—Из книг, захваченных у Новикова, 1.964 отдано было в духовную академию, 5.194 в университет и 18.656 сожжено.

[2]) *М. Лонгинов,* Новиков и московские мартинисты, стр. 353, 354.

[3]) Вина их состояла в том, что они учились за границей медицине на счет Лопухина.

[4]) «Новые документы по делу Новикова» (сообщены А. Н. Поповым) во II томе Сборника Имп. Русск. Ист. Общества, стр. 143.

[5]) *Н. К. Кульман,* Михаил Иванович Невзоров («Масонство в его прошлом и настоящем», т. II, стр. 211).

[6]) Назв. соч., стр. 444.

должение которого Шешковский грозил бить его «четверным поленом»? А если — да, то ведь это, пожалуй, хуже наказания.

Происходя из духовного звания, Невзоров до от'езда своего за границу учился в университете, как степендиат «Дружеского Общества» [1]). Он был типичным разночинцем *школы Новикова-мистика*. При совершенно реакционном характере его взглядов, в нем не угасло стремление «просвещать» своих ближних. С этой целью он впоследствии практиковал даже своего рода «хождение в народ». Часто видали его на площадях, среди густой толпы, в горячем и оживленном разговоре, — сообщает Бессонов [2]).

Доктор Багрянский попал в Шлиссельбург вместе с Новиковым. Большинство исследователей утверждает вслед за Лонгиновым, что Багрянский заключен был туда по его собственной просьбе, вызванной желанием ухаживать за Новиковым. Но проф. Незеленов цитирует донесение чиновника Тайной Экспедиции Макарова, который был в 1784 г. командирован в Шлиссельбург для «обозрения секретных арестантов и их содержания». В его донесении сказано, что Багрянский содержался в тюрьме «за перевод развращенных книг» [3]). Мы не имеем основания игнорировать это известие.

С разночинцами расправились более сурово, нежели со «знатными боярами» [4]). Это нимало не противоречит внутренней логике тогдашнего положения: разночинцев и в школе секли «снем штаны», между тем как господские дети, подвергаясь сечению, оставались одетыми.

Вместе с Новиковым содержался в тюрьме и его крепостной человек — «за что неизвестно», замечает об этом в своем донесении Макаров. Но совершенно ясно, что он сидел именно «за то», что находился в *крепостной* зависимости; крепостной человек был не более, как *говорящей вещью,* которая должна была следовать за своим *собственником*.

Новиков подал Екатерине прошение о помиловании. С нынешней нашей точки зрения лучше было бы, если бы он этого не делал. В поведении А. Н. Радищева, а потом и декабристов, мы тоже встретим

---

[1]) Повидимому, он явился *первым* стипендиатом названного общества. См. *В. Боголюбов*, назв. соч., стр. 329, и *Н. Кульман*, назв. статья («Масонство» и т. д., том II, стр. 205).

[2]) Назв. статья, «Русская беседа», 1856 г., т. III, стр. 126. — Невзоров умер в октябре 1827 г.—Указанное хождение его в народ относится к последним годам его жизни.

[3]) «Литературные направления в Екатерининскую эпоху», стр. 382.

[4]) Разночинец Гамалея отделался простым полицейским допросом. Но слишком уж била в глаза полная безвредность этого божьего человека.

известные черты, по теперешним нашим понятиям, достойные сожаления. Но чтобы правильно судить о тогдашних явлениях, необходимо принимать во внимание *психологию тех эпох, к которым они относятся.*

В Шлиссельбурге Багрянский, Новиков и его «человек» просидели вплоть до восшествия на престол Павла, т.-е. четыре года. Багрянскому позволялось брить бороду и выходить на прогулку; Новиков этими привилегиями не пользовался. Выходил ли на свежий воздух «неизвестно за что» попавший в каземат «человек» — остается невыясненным...

Мы видели, что Новиков до самой смерти своей (31 июля 1818 г.) остался глубоко убежденным розенкрейцером. Но и Шлиссельбург не убил в нем склонности к «просветительной» и благотворительной деятельности. Вместе со своим другом Гамалеей он усердно готовил материал для огромного труда: «Библиотека, содержащая в себе некоторые герметические, каббалистические, магические и иные книги; также писание Брр. З. Р. К. [1]) истинных свбднх. кмнцкв. древния системы. На российск. яз. составл. и собран. из раз. переводов для пользы тех, кои пожелают упражняться в познании Бога, натуры и себя, и для показания им, между многими ложными, одного истинного к тому путя» (sic!) [2]).

В 1812 г. невдалеке от его имения стали показываться французские отряды. Новиков спокойно оставался дома. А когда началось отступление Наполеона, он всячески старался прийти на помощь к отсталым солдатам неприятельской армии, чем навлек на себя новые подозрения власти [3]). Время не уничтожило благородных порывов в душе этого замечательного человека. Грустно становится при воспоминании о перенесенных им страданиях и о тех до последней степени неблагоприятных условиях, в которых совершалось его умственное развитие и которые привели его в тупой переулок кабалистики, магии и прочих «знаний». Поистине, Новиков заслуживал гораздо лучшей участи.

---

[1]) Т.-е. братьев златорозового креста.

[2]) *Боголюбов*, стр. 467.

[3]) Там же, стр. 477.

Глава XIII

А. Н. Радищев

(1749—1802)

I

В своей «Philosophie der Geschichte» Гегель, закончив обозрение истории древнего Востока и переходя к Западу, говорил: «В Греции мы чувствуем себя как бы на своей родине». Эти его слова вспоминаются мне теперь, когда от мистиков я перехожу к Александру Николаевичу Радищеву.

Миросозерцание Радищева, хотя и не тождественно с миросозерцанием передового человека нашего времени, — по весьма понятной причине тождество является здесь, очевидно, невозможностью, — однако связано с ним узами близкого родства. Идеи, на которых он воспитался, были теми идеями, под знаменем которых совершился плодотворный общественный переворот конца XVIII века и которые частью до сих пор сохранили свое значение, а частью послужили теоретическим материалом для выработки нынешних наших понятий.

Если мы, вслед за Гегелем, назовем освободительное движение XVIII столетия величественным восходом солнца, то мы должны будем сказать, что, в противоположность мистикам, А. Н. Радищев принадлежал к числу немногочисленных русских людей, оценивших это достопамятное явление и искренно поклонявшихся ему. Скажу больше: он был самым выдающимся между ними.

Обстоятельства сложились, как мы видели, весьма неблагоприятно для умственного развития Новикова. Напротив, Радищев вырос в обстановке, значительно облегчившей для него усвоение наиболее прогрессивных теорий того времени. С французским языком, не зная которого невозможно было тогда сделаться образованным человеком, он освоился

еще с детских лет. Правда, в родительском доме язык этот преподавал ему не совсем надежный учитель: он оказался дезертиром. Но вскоре юный ученик беглого сына Марса перевезен был в Москву, к родственнику своему по матери, М. Ф. Аргамакову. Там его французским учителем был человек более образованный. К тому же, кроме этого учителя, у Радищева были и другие: ему давали уроки некоторые профессора университета, куратором которого состоял тогда М. Ф. Аргамаков. Во время коронации Екатерины II Аргамакову удалось записать своего маленького родственника в пажи, вследствие чего тот увезен был в Петербург. В 1765 г. Екатерина приказала отправить в Лейпцигский университет двенадцать молодых людей для изучения наук. Радищев попал в их число [1]).

Для надзора за молодыми людьми назначен был некий майор Бокум. Этот «гофмейстер» обкрадывал сданных под его надзор студентов, кладя в карман значительную часть денег, отпускавшихся на их содержание, а, вдобавок, обращался с ними в высшей степени грубо. Требуя от них безусловного повиновения, он велел построить особую клетку, чтобы сажать туда провинившихся. Все это, разумеется, не могло нравиться его жертвам. У них возникло сильное неудовольствие, началась «история».

«Мы не столько помышлять начали о нашем учении, — рассказывал впоследствии Радищев, — как о способах освободиться от толико несносного ига. Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения, и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятия и все, что при заговорах бывает: взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях. Тут отважность была похваляема, а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всем души». Короче, произошло то, что мы называем теперь *студенческими беспорядками*. По приговору своих товарищей, один из студентов дал пощечину Бокуму, а тот, с своей стороны, обрушился на непокорных молодых людей, как на уголовных преступников.

Положение их стало так тяжело, что они *помышляли уже о бегстве в Америку*. К счастью, *их выручил русский посланник* в Саксонии

[1]) Товарищами Радищева были, по словам его сына Николая, Янов, Челищев, Кутузов, Рубановский, кн. Несвицкий, Ф. Ушаков, М. Ушаков, Насакин, кн. Трубецкой, Олсуфьев. Потом на место умерших кн. Несвицкого, кн. Трубецкого и Ф. Ушакова присланы были Козодавлев и Волков.

кн. А. М. Белосельский, значительно укротивший педагогическое рвение корыстолюбивого и сердитого их воспитателя[1]).

«Истории» мешают студентам «помышлять об учении». Это понятно. Однако, вызывая дух протеста, они *иногда* побуждают учащихся задумываться о таких вопросах, которые при других, на первый взгляд более благоприятных, условиях совершенно остались бы вне их поля зрения. Во всяком случае, мы можем с уверенностью сказать, что столкновения с Бокумом не только не отняли у русских студентов в Лейпциге интереса к тем предметам, которые они должны были изучать согласно официальной программе своих занятий, но также и ко многим другим.

Так, например, по инструкции, написанной самой Екатериной, они должны были обучаться латинскому, немецкому, французскому и, по возможности, славянскому языкам, моральной философии, римскому праву, «а наипаче праву естественному и всенародному». Но, помимо этих предметов, Радищев по собственному желанию много занимался естествознанием, особенно химией и медициной.

Как всегда бывает там, где существуют хотя бы весьма небольшие группы молодежи, усердно работающей над выработкой своего миросозерцания, между нашими лейпцигскими студентами нашелся человек, которому досталась роль духовного руководителя своих товарищей. Это был Федор Васильевич Ушаков.

Все, что мы знаем о нем, дает основание думать, что он отличался выдающимися умственными способностями, ненасытной любознательностью и большой силой характера. Когда решена была Екатериной посылка Радищева и других молодых людей за границу, Ушаков состоял

---

[1]) С. Г. Сватиков, кажется, считает это столкновение заграничных русских студентов со своим казенным опекуном за первую нашу студенческую историю. Это не совсем точно. В 1763 г. вдова Стефаненкова пожаловалась префекту Киевской Духовной Академии на четырех студентов философии, которые будто бы украли у нее дрова. Префект распорядился круто: двух обвиняемых он приказал высечь розгами, а других двух лишил «кондиций». Потерпевшие принесли на него жалобу киевскому митрополиту, прося учинить им «удоволство» за бесчестие и побои; за них вступились все остальные студенты философского класса, которые после бурного об'яснения с префектом, назвавшим их бунтовщиками, грозили коллективным выходом из Академии (см. статью *М. В. Довнар-Запольского*, «Семен Иванович Гамалея»—«Масонство в его прошлом и настоящем», т. II, стр. 28.—С. И. Гамалея был в числе пострадавших от энергичного префекта). Неизвестно, чем кончились эти студенческие беспорядки, но очень возможно, что и они были не первыми в своем роде.

уже на службе, однако стал добиваться и добился позволения ехать с ними. Не столь юный, как его товарищи, он был лучше их подготовлен к слушанию университетского курса на немецком языке, а также к серьезному чтению. В выборе книг и предметов для своих самостоятельных занятий они руководились его указаниями. Ф. В. Ушаков умер в Лейпциге 23 лет от роду, не успев окончить университетский курс. Как это ни странно, однако его ранняя смерть дала некоторым нашим исследователям приятный повод бросить камнем в освободительную философию XVIII века.

Дело вот в чем. Ушаков умер, по словам А. Н. Радищева, написавшего его биографию, от болезни, которая была «неизбежным следствием неумеренности и злоупотребления телесных услаждений».

Радищев утверждал, что к неумеренности приучило Ушакова обращение «в большом свете». К этому утверждению Радищева профессор Незеленов назидательно прибавил:

«Нравы тогдашнего европейского общества, гармонировавшие с материалистической философией времени, подействовали соблазняющим образом не только на Ушакова, но и на Радищева. В жизнеописании своего погибшего товарища Радищев высказывает и свои взгляды на любовь, на молодость; эти взгляды оказываются такими же чувственными, как воззрения Ушакова» [1]).

Нельзя не согласиться с тем, что нравы «большого света» во всей тогдашней Европе вообще, — а *особенно в Екатерининской России,* — могли приучить молодого человека к «злоупотреблению телесных услаждений». Наши придворные привычки и наши крепостные гаремы могли служить образцовой школой «неумеренности». Но было бы очень трудно понять, при чем тут материалистическая философия, если бы мы не знали, что отношения материалистов к потребностям здорового человеческого организма издавна истолковывались как проповедь разврата. Аскетическая мораль смотрит на эти потребности как на нечто, равняющее людей «со скотами». Нам уже известно, что именно в таком смысле высказывался «Утренний Свет» Новикова, говоря о половой любви. Материалисты всех оттенков решительно отвергают такой взгляд, утверждая, что удовлетворение *нормальных* потребностей человеческого тела не заключает в себе ничего, достойного осуждения. Но отсюда крайне далеко до проповеди чрезмерных телесных услаждений. И если представители «большого света» в ту или другую историческую эпоху,—напри-

[1]) «Литературные направления в Екатерининскую эпоху», стр. 323—324.

мер, в Англии во время реставрации и у нас при Екатерине II, — ссылались иногда на материалистическую философию для оправдания своей неумеренности в известных «услаждениях», то дело тут, конечно, не в философии, а только в нравах большого света и в общественных условиях, эти нравы порождающих. Что касается, в частности, Ушакова, то весьма легко убедиться, что его взгляд на любовь отнюдь не отличается тем характером «чувственности», какой вздумал навязать ему благонравный профессор Незеленов.

II

К этому полезно прибавить, что, по своим основным философским понятиям, Ушаков вовсе не был материалистом. Правда, неоспоримо, что, не будучи материалистом, он в то же время почти целиком усвоил себе материалистическое учение о человеке. Материалистом выступает он перед нами также в своем взгляде на половую любовь и вообще на человеческие «страсти».

«Нравоучители, противу страстей восстающие, — говорит он в написанной им небольшой статье «О любви», — рассуждают о человеках вообще по человеку, в их воображении сотворенному, или, углубяся в отдаленнейшую [1]) метафизику, доказывают весьма велегласными словами, что все несходствующее с совершеннейшею совершенностию (которую не об'ясняют) и существенным порядком вещей (которого не знают), есть противудобродетель, порок и зло».

Ушаков отвергает такое понятие о «противудобродетели»: по его мнению, добродетелью следует называть все то, «что удовольствие и благосостояние всех, а как сие невозможно, по крайней мере, многих людей соделывает». Сообразно с этим, «противудобродетелью», пороком, злом он считает все то, что вредит человеческому благосостоянию и удовольствию. Лишь с точки зрения таких понятий находит он возможным рассматривать вопрос о половой любви.

Удовлетворение потребностей человеческого тела само по себе не имеет к добродетели ни положительного, ни отрицательного отношения. Оно становится источником добра или зла только в тех случаях, когда осложняется известными психическими переживаниями, под влиянием которых люди совершают те или другие, — полезные или вредные для их ближних, — действия. В естественном состоянии, —

---

[1]) Т.-е.—отвлеченнейшую.

т.-е. *ранее* возникновения общества, — половая любовь оставалась чисто физиологическим актом. Но с возникновением общества дело изменилось именно в том смысле, что физиологическая страсть между мужчиной и женщиной стала дополняться такими чувствами, которые могут толкать людей на полезные для общества поступки или же, наоборот, на действия вредные для него. Поэтому *с указанной поры* стало уместным рассматривать любовь с точки зрения добродетели.

Ушаков говорит, что *мужчины* всегда стараются сделаться такими, какими хотят видеть их *женщины,* а не наоборот, не *женщины* — такими, какими следует быть им, по мнению *мужчин*. Благодаря этому, «любовь в обществе не на телесных токмо и чувственных основывающаяся чувствованиях, но тысячию чувствованиями производимая, любовь сия, зависящая от предрассуждений, от обыкновений и состояния... становится добродетелию или пороком, располагаяся по воспитанию женщин, тот или другой вид приемлющему». А воспитание женщин не остается неизменным. В античном мире оно было таково, что женщины побуждали мужчин к полезным для общества поступкам: «мать слезы проливала, когда сын ее без лавр возвращался, дева прославившемуся сердце свое дарила». Не то теперь. Теперь женщина воспитывается в играх и забавах, «вся разума ее округа внешним ограничивается блеском», а ее нравственные чувства искажаются постоянным жеманством и притворством. Она «злословна для того, что неведуща, честолюбива, для того, что не имеет должного к себе почтения и коварна, для того, что живет всегда в принуждении и беспрестанно безделицами упражняется». Она стремится неограниченно управлять своими обожателями. Но Ушаков настоятельно советует мужчинам не поддаваться вредному для общества влиянию женского пола. «Достойна ли она (женщина. — *Г. П.),* — спрашивает он, — чтобы быть ее жертвою, в угождение ей наполнять голову свою замысловатыми безделицами, оставить любовь истины, дабы ей понравиться, посвятить ей время свое, коего потеря всегда невозвратна?». Далее следует довольно подробное указание на те опасности, которым подвергается мужчина со стороны красивой кокетки, а в заключение молодой автор апеллирует к гражданским чувствам своих читателей. Сетей, расставляемых для него женским кокетством, может, по словам Ушакова, избежать только тот, «кто старается познать истинное определение человека, кто украшает разум свой полезными и приятными знаниями, кто питается противными сим страстями, кто величайшее услаждение находит в том, чтобы быть отечеству полезным и быть известным свету».

В «Кандиде» Бернара Шоу, помощник пастора Мореля, Александр Милль, говорит стенографистке Прозерпине Гернэт: «О, если бы вы, женщины, умели так же легко находить ключ к силе мужчины, как находите его к его слабостям, тогда не было бы вовсе женского вопроса» [1]).

Как видите, Александр Милль говорит то же самое, что задолго до него высказал русский студент в Лейпциге, Ф. В. Ушаков.

Женщины вредно влияют на мужчин, действуя на их слабости, и женский вопрос заключается в том, чтобы избавить мужчин от их вредного влияния. Александр Милль не договорил своей мысли: мы не слышим от него, каким же образом можно побудить женщин искать ключа не к слабостям, а к силе мужчины. Позволительно предположить, что, по его мнению, такая задача должна быть решена *воспитанием.* Что касается Ушакова, то мы уже не предположительно, а с уверенностью можем сказать, что только в *воспитании* видел он средство избавления женщины *от недостатков и пороков,* свойственных ей в «наш век», т.-е. ключ к решению женского вопроса. Но, — и это очень характерно, — его взгляд на воспитание отличался широтой, которая придана была ему изучением тогдашних материалистов. Под воспитанием Ушаков понимал *всю совокупность воздействия общественной среды на отдельных личностей.* Он и рад был бы привить современной ему женщине те гражданские чувства, которые проявляли, по его словам, античные матери и «девы», да не видел возможности сделать это иначе, как переустроив наше общество на античный лад. А так как подобное переустройство никак не могло быть легким делом и так как для этого дела, во всяком случае, нужны были усилия передовых граждан, то Ушаков и советовал этим последним, пока что, не поддаваться женским чарам. Об этом совете можно, пожалуй, сказать очень многое. Одного нельзя сказать о нем: того, чтобы он был продиктован чувственностью.

Изложенное мною содержание статьи Ушакова «О любви» дает нам представление о том, какие серьезные в теоретическом и важные в практическом отношении вопросы занимали руководителя русской молодежи, учившейся в Лейпциге. О глубине его теоретических запросов свидетельствует и другая его статья, посвященная вопросу *о праве и цели наказания.*

«Разыскание» об этом праве разделяется на три части: *в первой* Ушаков рассматривает, на чем это право *основывается;* во второй — кому оно принадлежит; в третьей у него идет речь о смертной казни.

---

[1]) Действие I, явление 3-е.

Держась теории общественного договора, Ушаков на первый вопрос отвечает, что право наказания коренится в соглашении членов общества: они не могут не защищать своих прав от покушений злонамеренных лиц, а «кто желает цели, тот желает и средства». Второй вопрос решается им в том смысле, что право наказания принадлежит единичному или коллективному государю. Наконец, смертная казнь осуждается Ушаковым как мера, не соответствующая своей собственной цели.

Читатель сам видит, что в этом «разыскании» русский студент шел по следам передовых просветителей Запада. В одном месте Ушаков прямо ссылается на «творца книги о преступлениях и наказаниях». Но и там, где нет прямых ссылок, вполне ясно, что он с большим усердием изучал новое тогда сочинение Беккарии [1]). (Кроме влияния Беккарии заметно также влияние французских просветителей» [2]).

Разбирая мнения тех криминалистов, которые учили, что, наказывая преступника, общество восстановляет справедливость путем воздаяния злом за зло, Ушаков выдвигает такие доводы, которые и теперь могут иметь цену при анализе пресловутой теории непротивления злу насилием.

Он говорит, что человек, который имел несчастье сломать одну из своих ног, поступил бы бессмысленно, если бы вздумал, воздавая злом за зло, сломать себе и другую. Но положение общества подобно положению отдельного человека. Общество есть юридическое лицо. Все его действия должны стремиться к его благосостоянию, «а награждать злом за зло есть то же, что невозвратное зло себе соделать. Желать себе зла противно существу общества и таковое действие предполагает безумие, но безумие права не составляет». В этих словах целиком содержится истина, свойственная много нашумевшему в наши дни учению гр. Л. Н. Толстого: если общество в своем обращении с преступниками преследует цель воздаяния злом за зло, то оно, несомненно, только увеличивает сумму совершающегося в его недрах зла. Но Ушаков не довольствуется этой неоспоримой истиной и не говорит, что общество не должно прибегать к силе для защиты своих интересов. По его мнению, общество обязано отнять у преступника возможность вредить своим ближним. Но в то же время оно обязано принять меры

---

[1]) Исследование «Dei delitti e delle pene» вышло в 1764 г.

[2]) У которых очень много заимствовал сам Беккария.

к его нравственному исправлению. Ему необходимо пользоваться обоими этими средствами, чтобы уменьшить сумму совершающегося в его недрах зла. Нельзя не признать, что хотя Ушаков и не дает нам здесь полного решения вопроса о том, каким образом само *зло,* — в данном случае насилие над преступным членом общества, — может быть сделано источником *добра,* однако ход его «разыскания» гораздо правильней, нежели ход рассуждения гр. Толстого.

Следует, впрочем, заметить, что при исследовании вопроса о том, какими средствами могло бы достигаться исправление преступника, Ушаков высказывает мысли, способные показаться нам теперь не только наивными, но еще и жестокими в своей наивности: он возлагает свои исправительные упования на одиночное заключение. «Посаженный в тюрьму преступник, видя себя покрытого бесчестием и срамотою, у всех в презрении, один среди всех и преданный себе самому, прибегает к раскаянию, яко к единой несчастных отраде, которая по истине сильнее, нежели думают».

Передовые французские просветители гораздо шире ставили вопрос об исправлении преступной воли. Они говорили, что источником преступления является противоречие интересов *отдельного лица* интересу общества. Для устранения этого противоречия, — а вместе с ним и наклонности к преступным деяниям, — нужно так организовать общество, чтобы его интерес совпадал с интересами отдельных лиц [1]). Правда, только немногие из французских просветителей полагали, что можно прийти к полному совпадению этих двух родов интереса. Но они доказывали, что нужно, по крайней мере, всеми силами стремиться к нему, и тем самым придавали своей теории *реформаторский* характер. *Эта* сторона теории почему-то не отразилась на рассуждениях Ушакова о праве наказания. В сравнении с передовыми французскими

---

[1]) Кондорсэ писал: «Le perfectionnement des lois, des institutions publiques, suite des progrès de ces sciences, n'a-t-il point pour effet de rapprocher, d'intensifier l'intérêt commun de chaque homme avec l'intérêt commun de tous? Le but de l'art social n'est-il pas de détruire cette opposition apparente? Et le pays, dont la constitution et les lois se conformeront le plus exactement au voeu de la raison et de la nature, n'est-il pas celui ou la vertu sera plus facile, ou les tentations de s'en écarter seront les plus rares et les plus faibles? Quelle est l'habitiude vicieuse, l'usage contraire à la bonne foi, quel est même le crime dont on ne puisse montrer l'origine, la cause première, dans la législation, dans les institutions, dans les préjugés du pays ou l'on observe cet usage, cette habitude, ou ce crime s'est commis?» («Esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. — Dixième époque. Des progrès futurs de l'esprit humain».)

просветителями, — например, с Гельвецием, — он представляется здесь человеком довольно умеренного образа мыслей.

Он говорит: «Опыты всех веков и настоящее государств состояние доказывают невозможность равенства имений. А неравенство оных производит, с одной стороны, нищету, а с другой — роскошь». То же самое говорил и Гельвеций.

Но, признавая невозможность имущественного равенства, Гельвеций утверждал, что законодатель должен стараться уменьшать имущественное неравенство, а Ушаков об этом не говорит ни слова. Его молчание можно, пожалуй, об'яснить тем, что *экономические* отношения не входили в область предпринятого им *юридического* исследования. Однако, если бы он часто задумывался об экономике, то и в этом исследовании высказался бы о ней, хотя и мимоходом. Это было бы тем более уместно, что, как сам он замечает, крайняя бедность всегда близка к преступлению. Ведь совершенно ясно, что если крайняя бедность способствует росту преступности, то борьба с этой последней требует, между прочим, и экономических мероприятий. Но этого вывода Ушаков не делает, и вот почему его интересное юридическое исследование дает основание думать, что собственно экономические вопросы не привлекали к себе его внимания.

Этот замечательный человек, усердно трудившийся над своим образованием, несмотря на жестокую болезнь, и, подобно всем передовым французам XVIII века, сильно увлекавшийся гражданской добродетелью героев Плутарха, не только мирился с неравенством «имений», но, ввиду этого неравенства, ввел в свое учение о наказании весьма знаменательную поправку:

«Человек с разумом или человек, сладострастное житие имевший, — писал он, — гораздо наказание живее восчувствует, нежели невежда или телосильный и крепкий, к нужде и нищете привыкший, то заключаю: если таковые люди за одинаковые преступления одинаково наказуются, один наказан будет жесточее другого и казнь вине не будет соразмерна». А это значит, что для преступников, обладающих «разумом» или имевших «сладострастное» житие, законодатель должен придумать *более мягкое наказание*. С этим вряд ли согласились бы передовые французы XVIII века. Совершенно не касаясь тут вопроса о том, способна ли темница содействовать нравственному исправлению преступника, можно согласиться, что человеку, «сладострастное житие имевшему», труднее переносить в тюрьме *материальные* лишения, нежели бедняку, с детства привыкшему к ним. Но что касается *нравствен-*

ных страданий, то ниоткуда не следует, что бедняк переносит их с большею легкостью, нежели человек, пользовавшийся благами материального богатства. В этом случае справедливо было бы сказать, что *более* испорченный преступник недоступен для таких нравственных страданий, которые переживает в тюрьме преступник менее испорченный. Но степень нравственной испорченности не определяется ни степенью материального благосостояния, ни даже «разумом». Тут привходит очень много других факторов. Как мы уже знаем [1]), передовые французы XVIII века были убеждены, что нравственный уровень людей привилегированного сословия *ниже уровня народной нравственности*. Если бы Ушаков держался этого взгляда своих передовых современников, то он умозаключил бы, что бедняков следует наказывать не так строго, как людей, «сладострастное житие имевших». Но если он и разделял этот взгляд [2]), то в своем «разыскании о праве наказания» он о нем не вспомнил. Поэтому у него получился вывод, менее сответствовавший учениям идеологов третьего сословия, чем старым предрассудкам дворянства, представители которого и в XIX веке нередко говаривали у нас, что мужику острог не страшен, так как и в остроге он питается лучше, чем у себя дома.

III

Разбор сочинений Ушакова может показаться излишним. Но на самом деле он помогает нам уяснить себе миросозерцание тех русских людей XVIII века, которые больше всех других увлекались освободительной французской философией. Ушаков был центральной фигурой между русскими студентами в Лейпциге. Те взгляды, до которых доработался он, имели большое влияние на понятия, определившие собой последующую деятельность многих его товарищей. Радищев, написавший «житие» Ушакова и сохранивший для нас его, разобранные выше, статьи, был согласен с ним в очень многом, если не во всем. Разбирая взгляды Ушакова, мы в то же время узнаем воззрения Радищева.

Наиболее характерной чертой этих воззрений является бо́льшая или меньшая близость их к теориям передовых французских мыслите-

---

[1]) См. выше, гл. VII.

[2]) Вспомним сделанную им характеристику воспитания светской барышни. Кокетка высшего круга изображена у него существом, до последней степени испорченным, и ему трудно было отрицать, что женщина, воспитанная в трудовой крестьянской обстановке, должна быть выше ее в нравственном отношении.

лей. Поэтому мы должны заботливо отмечать все отступления от этих теорий, замечаемые нами как в воззрениях самого Радищева, так и во взглядах его старшего товарища, Ушакова.

Мы видели, что в своей статье о праве наказания Ушаков шел по следам французских просветителей. Но мы видели, кроме того, что, идя по их следам, он не всегда становился в точно такое же отношение к важнейшим общественным вопросам, в какое становились они. Так, подобно Гельвецию признавая неизбежность имущественного неравенства, он гораздо легче мирился с ним, нежели Гельвеций. Высказывая ту мысль, что надо смягчать участь преступников, принадлежавших к богатому классу, он обнаружил не то настроение, какое господствовало во французской интеллигенции. Короче, он *отставал* от передовых французов своего времени. И не трудно понять, как это случилось. Во Франции горячее дыхание приближавшегося общественного переворота гораздо сильнее давало себя чувствовать, нежели в отдаленной России или даже в Германии, где учились отправленные Екатериной за границу русские студенты. Вследствие этого, «крайности», — как выражаются у нас многие благонамеренные исследователи, — до которых доходили передовые мыслители Франции, отпугивали от себя и германских профессоров, и их слушателей — как немецких, так и русских [1]).

Вот пример. Один сановный русский путешественник [2]), проездом через Лейпциг, указал нашим студентам на книгу Гельвеция «De l'Esprit», к которой он, по словам Радищева, «толикое имел пристрастие, что почитал ее выше всех других» («да других, может быть, и не знал»,— ехидно прибавляет Радищев). По совету знатного путешественника, Ушаков, а за ним все его русские друзья «читали сию книгу, читали со вниманием и в оной мыслить научалися». Однако, научившись мыслить по сочинению Гельвеция и целиком усвоив себе огромное большинство второстепенных его теоретических положений, они отказались принять лежавший в основе этих последних *материалистический сенсуализм*. Ушаков нашел даже нужным опровергнуть Гельвеция. От него осталось пять «писем», посвященных критическому разбору первых глав книги «De l'Esprit». Оригинального в этом разборе нет ровно ничего: возражая Гельвецию, Ушаков берет свои доводы у разных немецких философов, всегда отличавшихся гораздо более сильной склонностью к ком-

[1]) Правда, во взгляде на женский вопрос Ушаков показал большую широту мысли. Замечательно, что и в XIX веке передовая русская интеллигенция всегда широко смотрела на этот вопрос.

[2]) В. В. Каллаш высказывает предположение, что это был граф Ф. Орлов.

промиссу со старыми воззрениями на мир, нежели французские. Но для истории русской общественной мысли имеет немало значения то обстоятельство, что совсем неоригинальные возражения, сделанные Ушаковым Гельвецию, оставили глубокий след в уме Радищева и с особенной силой пришли ему на память в самое тяжелое для него время, когда он, живя в своей сибирской ссылке, чувствовал нужду в религиозных утешениях и проклинал память французского мыслителя, по книге которого он в молодости учился мыслить [1]).

В написанном им тогда сочинении «О человеке и его смертности и бессмертии» повторяются почти все те же философские доводы, с какими Ушаков еще в Лейпциге выступал против материалистического сенсуализма Гельвеция. Мы рассмотрим главнейшие из этих доводов, когда перейдем к этой поре жизни Радищева. Но до нее в нашем изложении пока еще далеко.

В ноябре 1771 г. Радищев вернулся в Россию. Он ехал на родину с горячим желанием посвятить ей все свои силы. В написанном им «Житии Ф. В. Ушакова» он говорит, обращаясь к своему другу, будущему мистику А. М. Кутузову: «Воспомни нетерпение наше видеть себя паки на месте рождения нашего, воспомни о восторге нашем, когда мы узрели межу, Россию от Курляндии, отделяющую. Естьли кто, бесстрастный, ничего иного в восторге не видит, как неумеренность или иногда дурачество, для того не хочу я марать бумаги: но естьли кто понимая, что есть исступление, скажет, что не было в нас такового и что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнию для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого». Родина не нашла такого приложения для его молодых сил, при котором нужна была бы значительная доля восторженного героизма.

Вместе с А. М. Кутузовым и другим своим товарищем по пребыванию за границей он был определен на службу в Сенат, в звании протоколиста. Сын его Николай сообщает, что немного радости принесла эта служба Радищеву: «Незнание русского языка, товарищество с приказными и обхождение высших чиновников, не отличавших их от прочих приказно-служителей, сделали им сей род служения противным». Вследствие этого сначала Кутузов, а потом Радищев перешел в военную службу. Он причислен был, в чине капитана, к штату тогдашнего петербургского главнокомандующего гр. Брюса, при котором отпра-

---

[1]) В письме к графу А. Р. Воронцову из Иркутска от 26 ноября 1791 г. упоминается «Helvetius de mémoire maudite».

влял должность обер-аудитора. По словам его сына, эта новая служба была самой приятной эпохой в жизни А. Н. Радищева. Это возможно. Однако факт тот, что при петербургском главнокомандующем Радищев прослужил только три или четыре года и вышел в отставку.

В 1776 г. мы опять видим его на службе. Теперь он выступает перед нами в роли асессора коммерц-коллеги. Роль эта, конечно, тоже не имела в себе ничего героического. Но пословица не без основания говорит: не место красит человека, а человек место.

Как только бывшему лейпцигскому студенту удалось вникнуть в дела коммерц-коллегии, он выступил на борьбу за правду. Первым нам известным поводом для этого послужило дело «пеньковых браковщиков», обвинявшихся в упущениях по должности. Президент, вице-президент и все остальные сослуживцы Радищева считали их виновными. Один он, — бывший тогда самым младшим членом коллегии, — составил себе противоположное мнение об этом деле и не преминул его высказать. Это вызвало целый переполох. Перепуганный вице-президент коллегии долго убеждал Радищева замолчать, чтобы не ввести во гнев президента, гр. А. Р. Воронцова. Радищев твердо стоял на своем, и дело дошло до его личного об'яснения с президентом. К удивлению перепуганных чиновников, этот последний признал его доводы убедительными, и «браковщики» были оправданы. С этих пор А. Р. Воронцов обратил внимание на своего умного и смелого подчиненного, а потом в годы тяжелых, обрушившихся на него преследований оказывал ему весьма серьезную поддержку [1]). Вообще все, что мы знаем о служебной деятельности Радищева, рисует нам его как умного, деятельного и совершенно бескорыстного чиновника. Иначе и быть не могло. Он привез с собой из-за границы на родину совсем не такой идеал, какой нужен служакам, заботящимся о своем обогащении и о служебных отличиях. Но само собой разумеется, что этому идеалу мало сответствовала даже и усердная, бескорыстная служба. Радищев стремился к литературной работе и уже вскоре после возвращения в Россию принялся за перевод весьма известного в свое время сочинения Мабли «Observations sur l'histoire de la Grèce». Его перевод появился в 1773 году под названием: «Размышления о греческой истории или о причинах благоденствия и несчастия греков. Сочинение г. аббата де-Мабли». Издан был он

[1]) Гр. А. Р. Воронцов переписывался с Радищевым во время пребывания его в Сибири. В одном из писем к нему ссыльного Радищева находится приведенное мною выше проклятие по адресу Гельвеция.

«Обществом, старающимся о напечатании книг», которое основал Новиков в самом начале 1773 года [1]). Аббат Мабли принадлежал к числу тех французских писателей, произведения которых ревностно изучались русским студенческим кружком Ф. В. Ушакова в Лейпциге. Какие взгляды почерпал этот кружок в названных произведениях, показывает, между прочим, следующее пояснительное примечание Радищева к слову «*самодержавство*», которым он перевел французское слово деспотизм. «Если мы уделяем закону часть наших прав и нашея природныя власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу: о сем мы делаем с обществом безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашея обязанности. Неправосудие государя дает народу, его судии, то же, и более, над ним право, какое ему дает закон над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества».

Одновременно с переводами наш автор занимался поэзией. Однако уже вскоре после выхода на русском языке книги Мабли, А. Н. Радищев надолго прервал свою литературную деятельность.

Н. П. Павлов-Сильванский видел главную причину такого перерыва в резком столкновении юношеских идеалов Радищева с некрасивой действительностью. Он указывал, что в своем «Житии Ф. В. Ушакова» Радищев, вспоминая о том восторге, который овладел лейпцигскими русскими студентами при возвращении их на родину, меланхолично прибавлял: «Признаюсь, и ты, мой любезный друг (он обращался здесь к А. М. Кутузову. — *Г. П.),* в том же признаешься, *что последовавшее по возвращении нашем жар сей в нас гораздо умерило*». Далее у Радищева следовал горячий упрек по адресу власть имевших. «О, вы, управляющие умами, колико вы бываете часто кратковидцы и близоруки, коликократно упускаете вы случаи на пользу общую, утушая пламень, об'емлющий сердце юности! Единожды смирив юношу, нередко навеки соделаете его калекою». Н. П. Павлов-Сильванский был прав, придавая этим признаниям и упрекам значение важных для биографии нашего автора психологических документов. Но он неправильно полагал, что отмеченное им столкновение юношеских идеалов с суровой действитель-

[1]) В. Семенникову удалось открыть, что, кроме указанного перевода сочинения Мабли, названное Общество представило Академии Наук для напечатания другой перевод Радищева: «Офицерские упражнения». Но эта книга вышла, опять в издании Новикова, лишь в 1777 г. (См. статью *В. Семенникова,* Раннее издательское общество Н. И. Новикова,—«Русский Библиофил» 1912 г., № 5, стр. 40, 1-е примечание.)

ностью временно заглушило в Радищеве его «идеалистические стремления», которые пробудились и с новой силой овладели им будто бы только с 1785 года [1]). На самом деле «идеалистические стремления» никогда не засыпали в душе бывшего лейпцигского студента, а если даже и засыпали, то пробудились во всяком случае раньше 1785 года. Это очень ясно видно из брошюры Радищева: «Письмо к другу, жительствующему в Тобольске, по долгу звания своего».

Брошюра эта помечена 8 августа 1782 г.; в ней речь идет о предмете, в течение весьма долгого времени имевшем самую тесную связь с «идеалистическими стремлениями» передовых русских людей. Говоря об открытии в Петербурге памятника Петру, Радищев ставит вопрос: за что собственно дают этому государю название великого? Такого названия заслуживают только те государи, которые оказали услуги своему отечеству. Какую же услугу оказал Петр I России? Радищев говорит, что хотя бы этот государь «не отличился различными учреждениями, к народной пользе относящимися, хотя бы он не был победитель Карла XII, то мог бы и для того великим называться, что дал первый стремление столь обширной громаде, которая яко первенственное вещество была без действия». Давая такой ответ, он сознательно расходится с Руссо («женевским гражданином»), отрицательно относившимся, как помнит читатель, к Петровскому преобразованию, и склоняется к мнению Вольтера, видевшего в нашем преобразователе какого-то демиурга, взявшего на себя плодотворный труд организации аморфной и неподвижной русской громады [2]).

Достойно замечания, что при этом, в отличие от молодого Карамзина [3]), Радищев отнюдь не забывает о темных сторонах деятельности Петра. «И я скажу, — сознается он, — что мог бы Петр славнея быть, возносяся сам и вознося отечество свое, утверждая вольность частную». Но Радищев был убежден, что вообще невозможно ждать от монархов добровольного утверждения вольности.

«Если имеем примеры, что Цари оставляли Сан свой, дабы жить в покое; что происходило не от великодушия, но от сытости своего Сана; но нет и до скончания мира примера, может быть, не будет, чтоб Царь упустил добровольно что либо из своея власти, седяй на Престоле». Это замечание о психологической невозможности добровольного отказа монархов от своей власти показывает, каково было политическое

[1]) См. выше главу, посвященную вопросу об отношении России к Западу.
[2]) См. ту же главу.
[3]) См. ту же главу.

настроение Радищева как раз в тот период жизни, который, по мнению Н. П. Павлова-Сильванского, характеризуется упадком «идеалистических стремлений». Можно сказать, что тогда образ мыслей Радищева был, по крайней мере в политике, радикальней, нежели в тот год, когда вышло его знаменитое «Путешествие». В самом деле, письмо к тобольскому другу, написанное в 1782 году, напечатано было только в 1790. И вот, к тому месту его, где говорится, что монархи никогда не делали добровольных уступок свободе и никогда не будут их делать, Радищев прибавляет такое примечание: «Если бы сие было писано в 1790 году, то пример Лудвига XVI дал бы сочинителю другие мысли» [1]). Что же это значит? Конечно, не то, что в 1782 г. слабы были идеалистические стремления Радищева, а то, — и только то, — что, вообразив, будто Людовик XVI искренне расположен был удовлетворить политические требования французского народа, Радищев стал доверчивее, нежели прежде, относиться к доброй воле власть имущих. Мы увидим, что это последнее обстоятельство об'ясняет некоторые страницы его «Путешествия», как будто мало согласные с обычным его отношением к «самодержавству». Кроме того, к годам, отличающимся, по мнению Н. П. Павлова-Сильванского, упадком идеалистических стремлений в душе Радищева, относится переписка его с А. М. Кутузовым, которым стало овладевать мистическое настроение.

По словам сына нашего автора, Н. А. Радищева, письма, которыми обменялись по этому случаю старые друзья, могли бы составить целую книгу. Чрезвычайно жаль, что они не сохранились. Но что А. Н. Радищев не только не проникся кладбищенским настроением, которое овладело А. М. Кутузовым, а, наоборот, упорно отстаивал свое прогрессивное миросозерцание, заимствованное у французских просветителей, в этом мы должны быть вполне уверены на основании всего, известного нам как о нем самом, так и об отношении к нему московских розенкрейцеров [2]). Ну, а кто упорно отстаивает прогрессивный идеал, в том

---

[1]) Полное собрание сочинений Радищева. изд. 1907 г., т. I., стр. 5.

[2]) Об этом отношении см. выше в XI главе. — Взгляд на мистическую «философию» Радищев высказал в «Путешествии из Петербурга в Москву». Он рассказывает там, что на станции Подберезье с ним встретился семинарист, шедший в Петербург «для приобретения» науки. В тетрадке, оброненной любознательным семинаристом, встречаются, между прочим, такие строки: «Разверни новейшие таинственные творения, возмнишь быти во времена схоластики и словопрений, когда о речениях заботился разум человеческий, не мысля о том, был ли в речении смысл. Когда задачею любомудрия почиталося и на решение исследователей истинны отдавали вопрос, сколько на

не спят и те стремления, которые Н. П. Павлов-Сильванский назвал идеалистическими [1]).

Молчание русского писателя, — да еще, как в данном случае, писателя XVIII века, — очень часто причиняется вовсе не упадком «идеалистических» его стремлений. Очень часто его об'яснение нужно искать в «независящих обстоятельствах». Если удручающее влияние этих обстоятельств могло вогнать Новикова в мистицизм, то они же могли привести Радищева к тому убеждению, что безнадежны были бы всякие попытки печатных выступлений против некрасивой действительности. Такого убеждения вполне достаточно, чтобы умолкнуть, если не навсегда, то на известное время. Вероятнее всего, что именно таким убеждением и об'ясняется временное молчание Радищева.

Но живой о живом и думает. Радищев, всегда внимательно следивший за передовыми течениями западно-европейской литературы, не мог не ощутить, так или иначе, приближения революционной бури во Франции. И вполне естественно, что, ощутив ее приближение, он почувствовал усиленную жажду литературной деятельности. Вот почему он опять взялся за свое перо, давно уже лежавшее без употребления.

игольном острии может уместиться душ». Радищев прекрасно понял, что мистицизм XVIII века был реакцией против новой французской философии во имя средневековых понятий.

[1]) Употребление этого эпитета в нравственном смысле иногда нужно для краткости речи. Ради краткости употребил его в своей биографии и Н. П. Павлов-Сильванский, который был чужд филистерских предубеждений против материализма. Однако не надо забывать, что общепринятая в этом случае терминология вызывает огромную путаницу понятий. В своей замечательной работе о Людвиге Фейербахе Энгельс говорит: «Убеждение в том, что человечество,—по крайней мере, в данное время,— подвигается, вообще говоря, вперед, не имеет ничего общего с вопросом об идеализме и материализме. Французские материалисты почти фанатически держались этого убеждения,—не меньше деистов Вольтера и Руссо,—и приносили ему часто величайшие личные жертвы. Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь служению «истине и праву» (в хорошем смысле этих слов), то именно Дидро». Далее Энгельс осмеивает филистерское предубеждение против материализма. «Под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, тщеславие и плотские наслаждения, жадность и скупость, стремление к наживе и биржевые плутни, короче, все те грязные пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм же означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще «лучший мир», о котором он кричит перед другими и в который сам начинает веровать лишь тогда, когда у него голова болит с похмелья или когда он обанкротился,—словом, когда ему приходится переживать неприятные последствия «материалистических» излишеств». Цитирую по заграничному изданию моего перевода этого сочинения.

В 1789 г. вышло его, не раз уже упомянутое мною, «Житие Ф. В. Ушакова», заключающее в себе драгоценные данные для его собственной биографии. Если судить по этому сочинению, то главным его интересом был тогда *интерес политический*. Он метко характеризует нравы нашей бюрократии, рассматривая их как неизбежный результат нашего политического строя. «Пример самовластия Государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихотей, — говорит он, — побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуяся уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется, что противоречие власти начальника есть оскорбление верховной власти».

Радищев говорит, что эта «несчастная» мысль губит тысячи любящих отечество граждан, теснит дух и разум. Но при данных условиях мысль эта, по его мнению, совершенно неизбежна. «Иначе и быть не может, — категорически заявляет он, — по сродному человеку стремлению к самовластию, и Гельвециево о сем мнение ежечасно подтверждается» [1]).

Что же делать? Неужели мириться с деспотическими привычками лиц, власть имеющих? Или утешаться тем соображением, что добродетельный человек свободен даже в цепях? Ни то, ни другое. Нужно бороться; нужно научиться давать отпор более или менее высокопоставленным деспотам. Гражданин служит своей стране, но не прислуживается к начальству. На этот счет Радищев выработал себе целый ряд правил, которым он следовал в своей практической жизни и которые были изложены им в его сочинениях. Мы уже знаем, как независимо держал он себя на службе по отношению к своему начальству; теперь посмотрим, как внушал он чувство независимости своим читателям.

---

[1]) Полное собрание сочинений, т. I, стр. 18—19.—В примечании Радищев старается подробнее об'яснить происхождение «несчастной» мысли и, следуя примеру Гельвеция, ищет в *общественных отношениях* ключа к *общественной психологии*. Он пишет: «С вероятностию корень сего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских законоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе Отечеству с военного состояния и, привыкнув давать подчиненным своим приказы, на которые возражения не терпит воинское повиновение, вступают в гражданскую службу с приобретенными в военной мыслями. Им кажется везде строй; кричит в суде «на караул!» и определение нередко подписывает палкою».

В своем «Путешествии» он выводит некоего дворянина, будто бы встреченного им на станции «Крестьцы». Дворянин этот провожает своих детей на службу и, расставаясь с ними, преподает им уроки практической мудрости. Вот эта мудрость, не имеющая ничего общего с «пошлым опытом глупцов».

«Старайтеся, — говорит отец, — паче всего во всех деяниях ваших заслужить собственное свое почтение; дабы обращая во уединении взоры свои во внутрь себя, нетокмо не могли бы вы раскаяваться о сделанном, но взирали бы на себя с благоговением».

Это — общее правило, а вот одно из его приложений:

«Вошед в свет, узнаете скоро, что в обществе существует обычай посещать в праздничные дни по утрам знатных особ; обычай скаредной, ничего незначущей, показующей в посетителях дух робости, а в посещаемом — дух надменности и слабой рассудок».

Как видим, здесь выводимый Радищевым дворянин предупреждает своих детей против того же холопского недуга, который бичевал впоследствии Некрасов в первой части своих «Размышлений у парадного под'езда». Обычай посещения знатных особ по праздникам имеет целью снискание их расположения. А это недостойно уважающего себя чиновника. «Да непреступит нога ваша, — продолжает дворянин, — порога, отделяющего раболепство от исполнения должности. Непосещай николи передней знатного боярина, разве по долгу звания твоего. Тогда среди толпы презренной и тот, на кого она взирает с подобострастием, в душе своей тебя, хотя с негодованием, но от нее отличит».

Интересно, что, стараясь внушить своим читателям чувство независимости и наставляя их насчет того, как нужно вести себя по отношению к знатным боярам, Радищев осуждал также страсть к щегольству, подвергавшуюся беспощадному осуждению в кружках передовой молодежи шестидесятых годов.

«Систематическое, так сказать, расположение в щегольстве означает всегда сжатой рассудок,—говорит у него тот же дворянин.—Если повествуют, что Юлий Кесарь был щеголь; но щегольство его имело цель. Страсть к женщинам в юности его была к сему побуждением. Но он из щеголя облекся бы мгновенно во смраднейшее рубище, если бы то способствовало к достижению его желаний».

Как известно, щегольство, способствующее достижению желаний, достойных уважающего себя человека, допускалось даже и самыми крайними представителями передовой молодежи XIX столетия. Так называвшиеся у нас нелегальные одевались весьма щегольски, когда этим

облегчалось достижение их революционной цели. Вообще, читая наставления крестицкого дворянина своим детям, невольно вспоминаешь некоторые статьи Добролюбова, преподававшие молодым читателям правила о том, как следует им вести себя в жизни, и особенно о том, как давать отпор самодурам. Радищев явился у нас первым в ряду тех передовых учителей жизни, между которыми такое видное место заняли потом Чернышевский и Добролюбов. Сходство его практических правил с правилами, выработанными этими последними, тем более достойно внимания, что в теории он весьма часто опирался на посылки, имевшие очень много общего с философскими посылками Чернышевского и Добролюбова. Хотя он, как мы видели, и не решился пойти за французскими материалистами в их окончательных выводах, но все-таки целиком заимствовал у них свое учение о развитии человеческого характера. В свою очередь, Чернышевский и Добролюбов были решительными сторонниками материалистической философии Фейербаха, который много обязан был французским материалистам, не всегда отдавая себе в этом ясный отчет. Неудивительно, что одинаковая или почти одинаковая точка отправления обусловила собой одинаковые или почти одинаковые выводы у писателей, принадлежавших к двум весьма различным историческим эпохам.

Вот характерный пример. Крестицкий дворянин предупреждает своих детей: «Невоображайте себе, что бы я хотел изторгнуть из уст ваших благодарность за мое о вас попечение, или же признание, хотя слабое, ради вас мною соделанного. Вождаем собственныя корысти побуждением, предприемлемое на вашу пользу, имело всегда в виду собственное мое услаждение... Вы мне ни чем не обязаны». Совершенно такой же взгляд на всякого рода альтруистические свои действия высказывают, — только гораздо лучшим языком, — герои знаменитого романа Чернышевского «Что делать?». Каждый из них утверждает, что им руководят исключительно эгоистические побуждения (побуждения корысти, как выражается крестицкий дворянин), и это на том основании, что, собираясь совершить альтруистические поступки, каждый ждет от них большого для себя удовольствия. К этому и сводится та проповедь эгоизма, за которую пришлось выслушать столько упреков как французскими материалистами XVIII века, так и нашим великим просветителям шестидесятых годов XIX столетия!

Единственное, в чем можно не без основания упрекнуть и тех и других, состоит в неопределенности терминологии. Чем самоотверженнее данная личность, тем с большим удовольствием служит она своим

ближним. Это само собой понятно. Но из этого отнюдь не следует, что она в своих действиях руководится «собственныя корысти побуждением».

Вопрос решается тем, в чем видит свою корысть данная личность: если она видит ее в благе других, то мы не имеем никакого права причислять ее к эгоистам, корысть которых идет вразрез с интересами других людей. Но если Лопухов и Кирсанов впадали в романе Чернышевского в точно такую же терминологическую ошибку, какую гораздо раньше их делал крестицкий дворянин в «Путешествии» Радищева, то ведь это вовсе не значит, что Чернышевский или Радищев устами своих героев проповедывали эгоизм. Напротив, проповедь их была проповедью самого возвышенного альтруизма. Хулители Чернышевского никогда не давали себе труда выяснить, в чем же собственно обнаружил свой эгоизм Лопухов, приняв решение устраниться для того, чтобы не мешать счастью своей жены. Еще менее ясно, почему мы должны считать эгоистом Рахметова, который, готовясь служить своей родине, вел жизнь аскета. Рахметов был как бы прототипом руского революционера семидесятых годов. Но те черты, совокупность которых образует идеал такого революционера, начали возникать у передовой русской интеллигенции уже во второй половине XVIII столетия. Это мы лучше всего видим на примере как самого Радищева, так и его крестицкого дворянина.

По словам этого последнего, правила общежития относятся или к подчинению нравам и обычаям народным, или к исполнению закона, или же, наконец, к поведению, согласному с добродетелью.

«Если в обществе нравы и обычаи непротивны закону, если закон неполагает добродетели преткновений в ее шествии, то исполнение правил общежития есть легко». Но беда в том, что подобное общество не существует в действительности. Повсюду нравы часто противоречат законам, а, что еще хуже, повсюду и те и другие часто противоречат добродетели. Ввиду этого трудно одновременно исполнять обязанности человека и гражданина: «нередко они находятся в совершенной противуположности».

Под обязанностью человека Радищев понимает, как видно, обязанность по отношению к тому, что́ должно быть, т.-е. к идеалу. Обязанностью гражданина называется у него обязанность по отношению к тому, что есть, иначе — к существующему порядку вещей. Когда действительность противоречит идеалу, когда ее требования идут вразрез с требованиями добродетели, и когда, следовательно, приходится выби-

рать между теми и другими, тогда добродетель становится высшим законом. «Небреги обычаев и нравов, — говорит все тот же крестицкий дворянин, — небреги закона гражданского и священного, столь святыя в обществе вещи, буде исполнение оных отлучает тебя от добродетели»

Эти строки показывают, что, оставаясь строгим блюстителем законности в своем качестве чиновника, Радищев нимало не был расположен приносить интересы прогресса в жертву закона. Чиновник охотно уступал в нем дорогу гражданину. Но нарушать требования закона во имя требований прогресса—значит навлекать на себя преследования. Радищев хорошо сознавал и это. Он хотел, чтобы передовые русские люди, служа «добродетели», заранее научились не бояться опасности. «Если бы, закон или Государь, или бы какая либо на земле власть, подвизала тебя на неправду и нарушение добродетели, пребудь в оной неколебим. Небойся ни осмеяния, ни мучения, ни болезни, ни заточения, ниже самой смерти. Пребудь незыблем в душе твоей, яко камень среди бунтующих, но немощных валов». Это уже совсем недвусмысленная проповедь самоотвержения в борьбе с общественной несправедливостью. Радищев отдавал себе ясный отчет в том, в какое безвыходное положение может попасть в России верный слуга прогресса. Он указывал на самоубийство, как на последнее прибежище человека, подвергающегося гонению за свою добродетель. Крестицкий дворянин указывал своим детям на пример Катона: «Если ненавистное щастие истощит над тобою все стрелы свои, если добродетели твоей убежища на земли неостанется, если доведену до крайности, небудет тебе покрова от угнетения; тогда воспомни, что ты человек, воспомяни величество твое, восхити венец блаженства, его же от'яти у тебя тщатся. — Умри».

Екатерина II нашла, что «Путешествие из Петербурга в Москву» распространяет французскую заразу. По-своему она была совершенно права. Радищев, несомненно, выступил, как последователь французских революционеров. И не только в «Путешествии». Теперь уже неопровержимо установлено, что еще раньше появления этой книги Радищев довольно полно и последовательно изложил в печати свои революционные взгляды.

А. Н. Пыпин давно уже (в 1868 г.) высказал то мнение, что Радищев деятельно сотрудничал в «Почте Духов» И. А. Крылова. Он считал вышедшими из-под его пера все те, напечатанные в названном журнале, письма, которые отличались серьезностью своего сатирического содержания. К таким он причислял прежде всего Сильфа Дальновида. Это его мнение до недавнего времени разделялось неко-

торыми из самых серьезных исследователей наших. И, несомненно, существуют веские доводы в его пользу. Однако П. Е. Щеголев противопоставил им еще более убедительные доказательства [1]). И теперь предположения о сотрудничестве Радищева в «Почте Духов» приходится отвергнуть. Но зато, ссылаясь на совсем недвусмысленное свидетельство Тучкова, П. Е. Щеголев установил, что наш автор...

[1]) См. его статью «Из истории журнальной деятельности А. Н. Радищева» в декабрьской книжке «Минувших Годов» за 1908 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

I

Версия к главе XIII (об А. Н. Радищеве)

Что же делать? По своему образу мыслей Радищев никак не мог мириться с деспотическими замашками людей, облеченных властью. Мы уже знаем, что, желая и умея *служить,* он не желал и не умел *прислуживаться.* Он поставил себе за правило «непреступать порога, отделяющего раболепство от исполнения должности». Но этим он не мог удовлетвориться.

Если деспотические привычки людей, облеченных властью, представляют собою неизбежное следствие данных политических и общественный условий, то всякий, кто не склонен к примирению с ними, должен, по мере своих сил, содействовать изменению к лучшему названных условий.

...в данной общественной обстановке, то это вовсе не значит, что не надо с ними бороться.

Радищев сознает, что потребность борьбы с этими неизменными, но очень вредными привычками, неизбежно возникает и будет возникать в сердцах любящих свою родину русских людей. Выражаясь словами Белинского, мы можем сказать, что, в данном случае, Радищев сумел *психологически* развить идею отрицания. Больше того. Он развил (психологически) эту идею, но и позаботился о том, чтобы преподать своим читателям правила для ее проведения в жизнь.

...Но если деспотические привычки лиц, облеченных властью, неизбежны при данных общественных и политических условиях, то отсюда еще не следует, что надо мириться с ними. И Радищев никогда не делал такого вывода.

Мы видели, что, как чиновник, он справлялся с законом, а не с настроением своих начальников. Само собою понятно, что, когда он находил нужным и возможным выступать в роли публициста, то показывал себя еще менее склонным входить в сделку с общественным злом. Радищев принадлежал к числу тех русских людей XVIII века, которые, находясь под влиянием освободительной французской философии, сознательно задавались целью распространять ее выводы в русской читающей публике. Какими средствами? В распоряжении Радищева не было другого средства, кроме распространения в русской читающей публике более или менее решительно усвоенных им выводов освободительной французской философии. И когда, после некоторого перерыва, опять возобновилась его литературная деятельность, он явился усердным их распространителем.

В этом отношении он представляет собою прямую противоположность Н. И. Новикову, считавшему себя нравственно обязанным бороться с ними.

А. Н. Пыпин еще в 1868 г. доказывал, что Радищев принимал деятельное участие в «Почте Духов» Крылова. По его мнению, из-под пера Радищева вышли все те, напечатанные в этом журнале, письма, которые отличались серьезностью своего сатирического содержания, и, прежде всего, письма Сильфа Дальновида. Н. П. Павлов-Сильванский не разделял этого мнения, находя, что в большей части писем названного Сильфа нет прочных признаков авторства Радищева, и что вообще участие этого последнего в «Почте Духов» едва ли было значительно [1]). Напротив, А. Веселовский не сомневается в принадлежности Радищеву писем Дальновида. Самым лучшим из них он считает то, где речь идет о «Мизантропе» Мольера. И это письмо, в самом деле, надо признать замечательным.

Автор этого письма утверждает, что «Мизантроп» сделал Франции больше добра, нежели проповеди Бурдалу и других проповедников. Он готов признать поведение Альсэста образцовым. «Пусть осуждают, сколько хотят [2]), но все то, в чем упрекают мизантропов, говорит в их пользу. Сии ненавидят не людей, а только их пороки, а какой смертный», следующий. . . . . » [3]). «Если бы при дворах государей находилось хоть небольшое число мизантропов, то это было бы большим несчастием для народов» [4]).

Г. А. Веселовский сопоставил высказанный Дальновидом взгляд на «Мизантропа» с местом «Путешествия из Петербурга в Москву», где Истина, явившаяся Царю в сновидении, советует ему дорожить, как лучшими своими друзьями, теми людьми, которые не боятся говорить ему правду в глаза (глава: «Спасская Полесть»), и обнаружилось поразительное сходство не только мыслей, но даже и выражений [5]).

Такое сходство делает весьма вероятным принадлежность писем Сильфа Дальновида или, по меньшей мере, указанного письма его, Радищеву.

Но если бы оказалось, что письма эти на самом деле вышли из-под пера другого лица, то это не ослабило бы правильности той мысли г. А. Веселовского, что Радищев считал нужным подражать Альсэсту. В подтверждение этой его мысли можно было бы привести убедитель-

---

[1]) См. приложение к стр. XXVIII его биографии Радищева: «Путешествие из Петербурга в Москву», стр. 287—288.

[2]) См. Сочинения И. А. Крылова, изд. под редакцией В. В. Каллаша. Цитируемое здесь письмо Сильфа Дальновида напечатано во II томе (см. стр. 355).

[3]) Там же, стр. 352.

[4]) Там же, стр. 354.

[5]) *Алексей Веселовский*, Этюды и характеристики. Москва 1907, стр. 126—129. Ср. его же исследование «Западное влияние в новой русской литературе». 4-е изд., стр. 105—106.

ные отрывки из «Путешествия», а, главное, можно было бы сослаться на деятельность самого Радищева.

Заметьте, что Дальновид не требовал от честного человека безусловного подражания Альсэсту, а только говорил, что ему «надлежит быть несколько подобным мизантропу» [1]). За безусловное подражание не высказывается и Радищев в своем «Путешествии». Он, как и Дальновид, считает, что подражания достойна не та, комичная в своей бесплодности, правдивость Альсэста, которая делает его готовым говорить Эмилии, что в ее возрасте неприлично стараться изображать из себя хорошенькую женщину, или, что она употребляет слишком много белил [2]), а та целесообразная правдивость гражданина, которая заключается в осмеянии общественных пороков и в разоблачении произвольных действий лиц, облеченных властью. Что же касается такой правдивости, то ею не только пропитана каждая страница «Путешествия из Петербурга в Москву», но и вся практическая деятельность Радищева. Вспомните, как вел он себя в деле пеньковых браковщиков. Все его сослуживцы, включительно до президента коммерц-коллегии, находили нужным подвергнуть их наказанию; он один пришел к убеждению в их невинности и упорно отстаивал это убеждение. Таким смелым правдолюбом остался он до конца своей жизни, и именно потому, что «Путешествие из Петербурга в Москву» явилось выражением такого правдолюбия, оно представляет собою одно из самых замечательных явлений в истории русской литературы XVIII столетия.

Пушкин назвал его весьма посредственной книгой. Это большая ошибка, поистине удивительная со стороны такого умного человека и такого тонкого критика, каким всегда был Пушкин.

Самый главный недостаток знаменитой книги Радищева, это — плохой язык. Недостаток этот об'ясняется теми условиями, в которых совершалось развитие нашего автора. Он еще в детстве владел французским языком. Впоследствии Радищев хорошо ознакомился также с немецким и английским языками, но русскому языку, как это почти всегда бывало в то время, учился по Псалтырю и Часослову, т.-е. с помощью таких пособий, которые в лучшем случае могли научить церковно-славянскому языку. Когда он попал в Лейпциг, то как ему, так и его товарищам совсем не приходилось заниматься русским языком, и они стали забывать его. Поступив на службу по возвращении своем в Россию, Радищев тотчас же почувствовал, как плохо знает он свою родную речь, и старался пополнить этот важный пробел своего образования. Но он и теперь учился русскому языку главным образом по церковно-славянским книгам. Поэтому в его сочинениях на каждом шагу встречаются «славянщины», придающие слогу его архаический характер. И хуже всего то, что, чем более увлекается Радищев, чем большее значение имеет в его глазах предмет, о котором он пишет, тем охотнее облекает он свои мысли в тяжеловесное церковно-славянское

[1]) Сочинения Крылова, т. II, стр. 355—357.

[2]) «Le Misantrope», acte I, scène 1.

одеяние. Конечно, в то время еще не совсем умерла привычка к рекомендованному Ломоносовым *«высокому штилю»*, и на тогдашних читателей он, по всей вероятности, не производил того удручающего впечатления, которое производит теперь на нас. Но не все же современные Радищеву русские писатели употребляли такой «штиль». За примером ходить недалеко: письма Сильфа Дальновида, приписываемые Пыпиным, А. Веселовским и некоторыми другими исследователями Радищеву, написаны легким русским языком. Замечу мимоходом, что эта их особенность служит довольно серьезным доводом *против* предположения о принадлежности их Радищеву. Но, как бы то ни было с этим предположением, несомненно, что язык «Путешествия из Петербурга в Москву» должен был казаться устарелым уже и в то время.

Другим недостатком этой книги является в глазах нынешнего читателя избыток «чувствительности». Но в то время сентиментальное настроение распространялось, как поветрие, и возможно, что чувствительность Радищева казалась скорей достоинством, чем недостатком.

Приступая к чтению «Путешествия», сильно чувствуешь эти два его недостатка. Но, по мере того как вчитываешься в эту книгу, впечатление, производимое недостатками, ослабевает, а впечатление, получаемое от ее содержания, наоборот, все более и более усиливается, так что . . . . . .

II

Заметки о Радищеве

Бобров — Виноградов — Олеарий.

Письмо к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего. 8 авг. 1782 г. Издание 1907 г., т. I.

На стр. 71-й. Интересное замечание, показывающее сознание недостатка самодеятельности обществ.

Стр. 75. — Интересное замечание о самодерж. власти.

Том II. *«О человеке»*.

Стр. 143 . — Он, как будто, *виталист*. № ср. о витализме, стр. 143 и стр. 291...

147 — 8. — Гносеология Радищева.

150. (о) Ламетри: Радищев с ним не согласен насчет: человек-растение.

№. — *Цель Рад.:* показать и пр.

153. — Рад. противоречит себе: *его замечание о размышлении у животных*. Ср. 2-е примеч. *Боброва 87:* «Очевидно» не только то, что «очевидно» Боброву, а еще кое-что другое.

155. — Возраж(ение) Рад(ищева) Бюффону *неосновательно*.

157. — Возражение Гельвецию насчет руки — *тоже*.

№. 162. — Тирада против уродования, как наказания.

Против Радищева.

168. — Животн(ому) свойственно внутреннее ощущение правого и неправого. Ср. *193.*

175. — О строгости и наказании.

Гуманность Радищева.

№. 178. — Почти целиком взято у Гельвеция. История умственн. развития человечества.

№. — Ср. стр. *275.*

180. — Опять Гельвецию.

191. — *Что именно побуждает* Радищева *верить в бессмертие. Не рассудок,* сердце, потребность в *самоутешении.* Очень важно.

193. — Прим.: Рад. имеет в виду «одну так наз. душу человеческую».

196. — Радищев (говорит) об «одном д-ре Пристлее», опыт которого и т. д. На стр. 122, выпуск III своего соч. «Фил. в России» проф. Евг. Бобров возражает Рад., что тот доказывает то, против чего никто не спорит со времени Канта (что все является в пространстве и времени), но Рад. (вывод его на стр. 199), говоря: *непроницательность — вымышленное свойство,* ср. стр. 225, повидимому, повторяет *Пристлея.*

«Пристлей, путеводительствующий нам в сих суждениях» — 202. *Важно.*

№.198.—«Увы!—Мы должны ходить ощупью, как скоро вознесемся превыше чувственности».

203. — «Утверждать, что бездействие есть свойство природы, кажется нелепо».

203 ...«*Движение ему (веществу. — Г. П.) сродно*».

203. — «Движение от нее (от вещественности. *Г. П.)* неотделимо».

203 — 206. *Тут Рад. — материалист* и — следующ. страницы. Заметить особенно вывод на стр. 214, II.

№.— Материалистич(еский) монолог, начин(ающийся) на стр. 215 и кончающийся на стр. 225, тоже написан под влиянием Пристлея.

На монолог материалиста Рад(ищев) отвечает восклицанием: «*жестокосердый!*» и т. д.; стр. 226.

Возражения Рад(ищева) материалисту, начинающиеся в III книге, ничего не опровергают, они построены на простом petitio principii. См., напр., стр. 235: тут предполагается, что душа есть отдельная от тела субстанция, а между тем именно это и опровергал материалист, а потому это и должен был доказать Радищев.

На стр. 236 — опять petitio principii: вопрос имеет смысл только, если признано доказанным существование души, как отд. субстанции. (В «Филарете Милостивом» — он *анимист,* стр. 9-я). Он сам это чувствует, см. стр. 237.

237 — 8. — «*Если* бы материя была бездействующая и находилась в покое смертном, то всегда пребыла бы мертвой». Но выше это «если» решительно отвергнуто. 239. — Его примеру с краской можно противопоставить пример: H и O не то же, что H_2O.

На 243—рассуждение не лишено остроумия, хотя и неубедительно.

245. — *Опять petitio principii.*

246. — *Он без доказательства утверждает, что Sein предполагает Denken, т.-е. Denken предшествует ему.*

248. — Очень слабо о «неминуемом» предположении вещества «превыше человека и силы невидимыя».

249. — «Неужели человек конец творению?» А почему бы и нет? Ср. Шварца. Стр. 252.

NB. 251. — Рад. допускает, что жизненная сила есть посредство между душой и телом.

252. От неуничтожаемости силы заключает к неуничтожаемости и души.

269. — *Начало 4-й книги.* «Вот, мои возлюбленные, все, что вероятным образом в защищении бессмертия души сказать можно».

Это немного и противоречит *им же признанному в первых книгах.*

NB. — *Тут резюме его выводов в защиту бессмертия души.*

NB. 270 — Сам признает, что видит сон наяву; ср. 276.

275. — *Оч(ень) важно о значении обстоятельств в жизни великих людей; ср. 178.*

NB. 279. — *Гносеология Радищева.*

284. — *Наивный вывод.* *Верх наивности.*

285. — Рад. «надлежит оказать, что с душою станется, когда она от тела будет отделенна».

288. *Называет Лейбница «умственным исполином».* Ср. Т. II.

437 (письма).

NB. 293. — *Окончательный вывод Радищева.*

В письме от 26 ноября 1791 Радищев проклинает Гельвеция.

350. II. *О крепостном праве.*

371 — 372. — Idem (NB).

NB. 396. — Многие русск. стихотворения могут служить усыпительным зельем (напр., его собственные. — *Г.П.).*

Письма, II том.

440. — О том, как он состарился.

457. — *Душа его болит, и сердце страдает.*

К об'яснению его книги о бессмертии.

459. — *Неразумные требования книг.*

NB 460. — К философии истории.

475. — *«Вся философия» Рад. «исчезает»;* ср. 479.

483. — Книги.

490. — В 1792 он сочувственно говорит *о Кондорсэ,* чего уже нельзя было бы ждать от Рэйналя.

NB. 490. — Просьбы о книгах и журналах.

4987